

Русская литература

№ 1

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1962

Год издания пятый

СОДЕРЖАНИЕ

А. Бушмин. О научном и общественном авторитете литературоведения . . .	3
Н. Тихонов. В поисках образа времени (к 70-летию со дня рождения К. А. Федина)	15
Б. Городецкий. Всегда с нами (к 125-летию со дня смерти А. С. Пушкина	20
Л. Гинзбург. Пушкин и реалистический метод в лирике	27
Г. Турчанинов. К изучению поэмы Пушкина «Тазит»	38
Н. Филиппова. Закончен ли пушкинский «Рославлев»?	55
П. Берков. «Смелый властелин» или «смелая сатира»? (К текстологии строфы XVIII главы первой «Евгения Онегина»)	60
Б. Марьянов. Об одном примечании к статье А. С. Пушкина «Джон Теннер»	64
Г. Макогоненко. Литературная позиция Карамзина в XIX веке	68
Ф. Прийма. Об эзоповском языке В. Г. Белинского	107
Лекция А. В. Луначарского о Достоевском (предисловие и комментарии Вал. Щербины)	126
Характер современника в литературе	157

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Г. Моисеева. Ломоносов в работе над древними рукописями (по материалам ленинградских рукописных собраний)	181
Н. Розенблюм. Белинский в неизданной переписке современников	195
В. Лейкина-Свирская. Н. Г. Чернышевский и «Записки из Мертвого дома»	212
В. Базанов. Капитон Сунгуров и его записная книжка	216
Е. Бушканец. Неизвестные памятники революционной поэзии 1880-х годов	230

(См. на обороте)

ЗАМЕТКИ; УТОЧНЕНИЯ

И. Ениколопов. Еще о кавказском списке «Горя от ума»	236
Г. Самосюк. Антонович или Салтыков?	237
А. Храбровицкий. Нарушение авторской воли	239

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

К. Муратова. Горький-публицист	240
Н. Берковский. Критика в содружестве с историей литературы	244
В. Ковалев. Серьезный труд по истории русской советской литературы	246
Г. Галаган, Н. Пруцков. Проблема положительного героя в творчестве Льва Толстого последнего периода	252
В. Кулешов. Первая советская монография о С. Т. Аксакове	254
ХРОНИКА	258



Редакционная коллегия:

В. Г. БАЗАНОВ (главный редактор), А. С. БУШМИН, В. Е. ГУСЕВ,
В. А. КОВАЛЕВ, Ф. Я. ПРИЙМА, Вс. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
В. В. ТИМОФЕЕВА

Отв. секретарь редакции А. А. Горелов

Адрес редакции: Ленинград, В-164, наб. Макарова, д. 4. Тел. А 2-42-24



Журнал выходит 4 раза в год

О НАУЧНОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ АВТОРИТЕТЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Советское литературоведение имеет свои существенные достижения. Они выражаются в разработке некоторых важных проблем научной методологии и эстетической теории, в создании крупных трудов по современной литературе и по истории литературы, в написании серии научных монографий о выдающихся художниках слова и учебных книг для средней и высшей школы, в научном издании сочинений классиков, литературных и фольклорных памятников, в огромном количестве публикаций, вводящих в научный оборот множество историко-литературных материалов. Но ниже речь будет идти не о достижениях, которые бесспорно есть, а о тех недостатках, преодоление которых необходимо для того, чтобы наше литературоведение заняло более высокое положение в культурной жизни общества и в ряду других наук.

Несомненно, что на нашем литературоведении в сильной степени сказались отрицательные последствия периода культа личности. В то время масса усилий литературоведов тратилась, например, на торопливое комментирование высказываний Сталина, на бесконечные славословия по поводу их, на сердитое соревнование: кто кого превзойдет в этом непроизводительном труде.

Конечно, было бы неверно считать, что все наше литературоведение только и делало, что занималось писанием панегириков личности «вождя». Научная работа не прекращалась, хотя и вынуждена была пробивать себе дорогу через искусственные препятствия и терпела от этого значительный ущерб.

Последствия культа личности имели в литературоведении многообразное проявление. В некоторых работах, например, со всей серьезностью утверждалось, что главная тема советской литературы и фольклора — прославление Сталина, а соответственно и главная тема литературоведения и фольклористики — изучение образа Сталина в художественных отражениях. Все суждения Сталина по вопросам литературы признавались непререкаемыми и превращались в догмы, ложившиеся оковами на творческую мысль исследователей. Свободное научное изучение литературных явлений современности и прошлой истории все более подменялось неумеренным и неуместным цитированием высказываний Сталина. Под прямым влиянием его односторонних суждений подверглось умалению революционное народничество, идеализировалась личность Ивана Грозного,шло к упадку сравнительное изучение литератур.

Систематические административные вздергивания, которые претерпевало литературоведение в годы культа личности, наиболее болезненно сказались на изучении советской литературы и на разработке теоретических проблем. Под воздействием очередных выступлений Сталина литературоведы перебегали от проблемы к проблеме, гипертрофировали на какое-то недолгое время значение одной темы в ущерб всем остальным, порождая своеобразные «геологические» наслоения в историографии нашей науки тех лет. В то время теоретическая литературоведческая мысль подневольно прочертила несколько любопытных, но не плодотвор-

ных зигзагов. Был зигзаг нигилистический относительно сравнительного изучения литератур, был зигзаг абстрактно-схоластический в связи с учением о базисе и надстройке, был даже зигзаг эстетско-субъективистский, выразившийся в трактовке типического как исключительного. Были еще и другие зигзаги.

Если сейчас мы можем взглянуть на эти зигзаги литературоведения иронически, то это значит, что мы вышли на более верный путь научного творчества. Однако по инерции некоторые психологические последствия периода культа личности еще напоминают о себе. На новые призывы времени мы порой отзываемся по-старому: шумными речами, торопливыми резолюциями, громкими обещаниями, изнурительными заседаниями. Для того чтобы наша наука о литературе двигалась по-настоящему вперед, нам нужно не митингование, которым мы занимались достаточно, а серьезная, глубокая, сосредоточенная исследовательская работа. Новый курс Коммунистической партии, провозглашенный XX съездом, осуществлявшийся все последующие годы и еще более решительно подтвержденный XXII съездом, открыл науке наилучшие перспективы, и теперь гражданский долг ученых заключается в том, чтобы они свою творческую энергию, свое желание служить дальнейшему расцвету культуры проявили во всю меру обретенных возможностей.

Вся наша страна вдохновлена решениями XXII съезда КПСС и принятой им новой Программой партии на осуществление великого плана строительства коммунистического общества. В этих условиях укрупнение масштабов литературоведческой мысли, забота о коммунистической идейной целеустремленности и о повышении общественно-практического значения научных исследований становятся нашей первейшей обязанностью, нашим общечеловеческим призванием. Поэтому представляется чрезвычайно важным и своевременным, чтобы все деятели науки о литературе прониклись заботой, во-первых, о повышении научного и общественного авторитета литературоведения, и во-вторых, о повышении общественной актуальности литературоведения. Это два взаимосвязанных вопроса, однако каждый из них имеет и свою известную самостоятельность.

Несомненно, что научный и общественный авторитет литературоведения еще не стоит на той высоте, на которой он должен был бы стоять. Отчасти это можно объяснить, как уже говорилось ранее, последствиями культа личности, отчасти тем колоссальным успехом естественных наук за последние годы, сравнительно с которым заслуги общественных наук вообще и литературоведения в частности выглядят довольно скромно. В связи с этим романтика юности устремляет новые таланты преимущественно в ту область, которая ныне поражает всех нас великими открытиями. Таков пафос времени. Мы объясняем, но не оправдываем положение литературоведения и вовсе не считаем, что с этим можно примириться. Напротив, объективно сложившееся положение обязывает литературоведов осознать всю ответственность своей роли и предпринять более решительные действия, более эффективно заявить о себе. Для этого мы делаем далеко не все, что можно и должно. Мы сами в значительной мере повинны в том, что нас начинают недооценивать. Мы сами иногда даем повод для сомнений в важности, необходимости нашей науки. Порой это получается, быть может, невольно с нашей стороны.

Сошлемся для примера на передовую редакционную статью в пятом выпуске «Известий Отделения литературы и языка» за 1961 год. В этой статье, озаглавленной «Оправдать доверие партии», сформулированы основные задачи филологической науки в свете новой Программы КПСС. В статье немало дельных, разумных положений и рекомендаций, но есть в ней и такие места, против которых следует возражать и особенно потому, что статья появилась в ответственное время и по ответственному поводу.

Общественное значение историко-литературных исследований по классической литературе сводится в этой статье преимущественно к удовлетворению потребностей современного литературного развития, к оказанию помощи мастерам социалистической культуры, к выявлению традиций, наследуемых современной художественной литературой. Следует ли доказывать, что таким сужением задач литературоведения в области изучения классического наследия мы обкрадываем себя, обедняем предмет, снижаем самостоятельную ценность нашей науки.

Правда, фактически наше академическое литературоведение выглядит лучше, нежели в наших же публицистических документах; оно вовсе не сводит изучение опыта прошлой литературы к выработке рецептов и рекомендаций современным художникам слова. Однако часто встречающаяся односторонность в формулировках целей и задач изучения классического наследия не может не сказаться отрицательно и на формировании общественного мнения относительно литературоведения, и на ходе нашей научной работы.

Мы действительно нередко так специализируем, так профессионализируем свои задачи, что со стороны могут заподозрить литературоведческие институты Академии наук СССР в желании превратиться в одну из секций Союза писателей.

Когда мы читаем важные партийные документы, раскрывающие нам перспективы нашей деятельности, то угадываем себя, ищем себе вдохновения исключительно или преимущественно в «литературных» местах, т. е. там, где речь идет об искусстве, художественной литературе и литературной критике, и совершенно недостаточно углубляемся взором и мыслью в те положения, которые говорят об общественных науках и науках вообще.

Воспитание новых поколений художников слова на научно познанном опыте предшественников — важная задача литературоведения, но далеко не единственная и даже не самая главная. Такая чисто посредническая роль не давала бы нашей науке права на самостоятельное существование.

Результаты историко-литературных исследований необходимы не только для современных писателей, они нужны непосредственно для последующего развития науки о литературе, а также для эстетиков, философов, историков, социологов, психологов — одним словом, для представителей всех наук, занятых изучением истории общества. Ни одна из этих наук не может обойтись без другой, не испытав известного ущерба. Как литературоведение пользуется достижениями философии, эстетики, социологии, гражданской истории, психологии, так и каждая из этих наук прибегает к достижениям литературоведения. Во все эти области знаний историко-литературные исследования призваны внести свой вклад, свой элемент, без которого наука об обществе не была бы полноценной. Но и это еще не самое главное. Результаты научных исследований по литературе прямо или косвенно, непосредственно или опосредствованно оказывают свое воздействие на культурное развитие всех слоев населения. Все это — очень простые истины, но мы не уделяем достаточного внимания их разъяснению. Литература принадлежит народу. Следовательно, и назначение литературоведения состоит в том, чтобы вырабатывать правильные научные представления о литературе и распространять их в народной массе. И если уж говорить о литературоведении в роли посредника, то вовсе не только в пределах общения литератур и писателей, а прежде всего между писателями и читателями, между литературой и народом. Короче говоря, наше литературоведение должно по характеру своих проблем и по кругу своих задач быть более емким и потому более общественным, чаще «выходить» из своего дома для встреч с соседями по научной работе и со всем народом.

Что же касается повышения общественной актуальности нашего литературоведения, то это отчасти достигается тем, о чем уже сказано выше, т. е. более широким пониманием задач и целей литературоведения и соответственным расширением круга литературоведческих изучений до пределов непосредственного соприкосновения с другими науками и тесного взаимодействия с ними. Не менее важной задачей в стремлении к актуализации является определение современного аспекта во всей литературоведческой проблематике.

Связь с современностью, с задачами строительства коммунизма, актуальность научных исследований — это принцип советской науки. Но как следует понимать эту связь, в каком направлении ее укреплять и развивать?

Наши писатели, выступая на XXII партийном съезде, высказали ряд острых критических суждений относительно примитивного понимания современной темы, актуальности в художественной литературе. Так, А. Т. Твардовский высмеивал писателей, которые «выполняют план молокопоставок маслом, купленным в магазине», т. е. берут готовые идеи из газетной передовой или даже из партийного документа и только расцветывают их средствами художественного оформления, не давая никакого прироста. Все это очень верно и очень своевременно не только по отношению к писателям. Смысл этих замечаний, как нам кажется, может быть распространен и на многие литературоведческие произведения. Сколько написано литературоведами так называемых современных сочинений, крикливо откликающихся на разного рода кампании, лозунги, мнимые проблемы и утопляющих в праздном шуме проблемы действительные. Пришло время покончить с этим парадом пустозвонных фраз, опошляющих советскую науку. Претворяя в своей научной деятельности великие идеи XXII съезда партии, нельзя допустить в этом ответственном деле прежнее поверхностное понимание актуальности науки. Впрочем, старая закваска еще не выветрилась. И прозорливый А. Твардовский скептически заявил в той же своей речи на партийном съезде: «Не могу не высказать здесь и опасения, что найдутся и теперь люди особо быстрого пера, под которым замелькают самоновейшие события и факты нашей жизни без того, чтобы по-настоящему вызвать в сердце автора и явиться внутренней необходимостью обращения к читателю».

Каждая подлинно научная проблема обязательно имеет тот или иной современный интерес, в том или ином отношении жизненно необходима. Если она не отвечает этому условию, значит она не может называться научной проблемой. Все дело в том, следовательно, чтобы уметь пайти наиболее современный аспект. Но современный аспект литературоведческих проблем следует искать без отступления от научности, без дурной тенденции. Искусственная актуализация никому не нужна. Как бы мы ни стали, например, актуализировать, модернизировать, осовременивать древнерусскую литературу, как бы мы ни напрягались и ни изощрялись в доказательстве самостоятельной сегодняшней художественной ценности произведений житейного жанра, мы не достигли бы другого эффекта, кроме комического, т. е. выставили бы самих себя в смешном виде перед людьми здравого разума. Когда мы начинаем красноречиво витийствовать по поводу эстетических прелестей «житий» и «сказаний», то делаем это с той целью, чтобы оправдать наши занятия древнерусской литературой. Ясно, что оправдывать надо при помощи другой, более научной аргументации: современное литературоведение не может успешно развиваться, если оно не примет во внимание всю сумму конкретных литературно-исторических явлений (даже самых отдаленных от нас этапов) в их исторической сменяемости и генетической преемственности.

Поэтому, выдвигая в качестве важнейшей нашей задачи исследование проблем социалистического реализма и вообще современной литера-

туры, мы не должны умалять и значение историко-литературных исследований, осуществляемых на уровне требований современной марксистско-ленинской методологии.

Повышения общественной актуальности литературоведения мы должны добиваться как более серьезным решением важных для коммунистической культуры проблем, так и более эффективным распространением результатов научных исследований. Академическое литературоведение нередко упрекали в некоторой замкнутости. С этим нельзя не согласиться. Надо расширять круг читателей литературоведческих трудов. Но как этого достигнуть?

Существует два мнения, может быть не всегда резко формулируемые, но тем не менее проявляющиеся как две тенденции в наших разговорах об укреплении связей литературоведения с жизнью. Одни считают, что все наши научные работы должны быть прямо, непосредственно адресованы к миллионам читателей, и поэтому следует в известной мере поступиться научностью ради популярности, общедоступности. Другие полагают, что мы должны добиваться общественной эффективности наших трудов, не снижая, а напротив, повышая их научно-теоретический уровень. По нашим убеждениям, верной является вторая точка зрения.

Популяризация, массовая пропаганда научных знаний — великое и благородное дело! Известно немало ученых, которые в своей деятельности прекрасно сочетали исследование с пропагандой. Советские литературоведы должны быть активными общественниками, должны находиться в первых рядах строителей коммунистической культуры, должны быть исследователями и пропагандистами знаний о художественной литературе. Литературоведение по самому характеру своему обладает большими возможностями для популярного изложения научных проблем, и эти возможности мы должны максимально использовать, освобождая наши труды от напрасно обременяющего их эмпирического балласта, непереваренного фактического сырья и геллертерской учености. И в этом смысле надо приветствовать передовую статью «Известий Отделения литературы и языка» (1961, вып. 5), призывающую преодолеть недоверие к научно-популярному жанру. Там сказано: «Народ должен получать знания по истории и теории литературы из первых рук» (стр. 366). Тезис хороший, он должен послужить руководством к действию, но есть в нем одна недоговоренность: выражен тезис слишком прямолинейно, без необходимых пояснений и осложнений. Вследствие этого создается представление, что будто бы популяризация и есть основная и чуть ли не единственная форма приобщения литературоведения к жизни, к массовому строительству культуры.

Не следует забывать, что ограниченность сферы влияния литературоведческих работ далеко не всегда объясняется их недостаточно популярной формой. Многие книги не привлекают к себе широкого внимания как раз именно потому, что они слишком популярны по своему содержанию, освещаемые в них вопросы слишком избиты, банальны. В них мало новизны, поисков, открытий, оригинальности мысли и много дешевой публицистичности, мало научной убедительности и много голословной декларативности. Такая литературоведческая беллетристика ставит нас в межеумочное положение, в положение двустороннего непризнания. Мы уходим от науки и в то же время не выигрываем соревнования с беллетристкой в собственном смысле слова.

Следовательно, дело не столько в недостатке работ научно-популярного жанра, сколько в фактической неудовлетворенности этого жанра. Но заботясь о популяризации, даже правильно понимаемой, основанной на доступности формы и научной ценности содержания, не следует забывать и о научных жанрах в собственном смысле слова, о жанрах,

укрепляющих и развивающих основы самой науки, без которых она не может существовать.

Всякая наука потому и называется наукой, что в ее ведение входит круг таких основополагающих проблем, без которых она сама перестает быть наукой, решение которых требует значительной специальной подготовки и которые не могут быть без ущерба для ее развития популяризированы до степени их общедоступности. Это и невозможно, и в этом нет надобности. Но это не означает, что решение тех сложных специфических проблем науки, которые не могут войти в популярные жанры, остается бесполезным в общественно-практическом смысле. Всякая подлинная наука должна служить народу, помогать улучшению материального и духовного благосостояния масс. Самые сложные открытия и казавшиеся первоначально отвлеченными теории (например, электроника, кибернетика), научная сущность которых вполне доступна только узкому кругу специалистов, доходят до народа в виде тех или иных вызванных ими технических или культурных преобразований. Совершенно верно говорится, что не должно быть «науки для науки». Но это верно только в том общем смысле, что каждая наука в конечном счете должна работать для блага и счастья человека. Когда же мы рассматриваем собственно внутреннее содержание отдельной науки, то мы не можем не признать необходимость таких ее составных частей, которые призваны обслуживать эту науку, совершенствовать ее собственное оружие, наилучшим образом обеспечивать ее внутреннее развитие, делать ее способной решать общественно-практические задачи. Таковы, например, в литературоведении проблемы, связанные с ее методологией и методикой.

Итак, отдавая должное внимание популяризации, адресуя наши труды широкому кругу читателей и нашим современным писателям, мы должны сами помнить и убедительно разъяснять другим, что литературоведческие исследования предназначаются также и советским ученым, а в их числе литературоведам прежде всего, и ученым зарубежных социалистических стран, и ученым капиталистических стран. И в этом последнем случае «облегченные» жанры не достигают цели. Здесь оказывается порой более целесообразна даже излишняя, с нашей точки зрения, «техническая» оснащенность.

Однако признание необходимости филологически оснащенных научных жанров в академическом литературоведении вовсе не означает, что в понимании этих жанров можно оставаться при прежних, устаревших представлениях. Напротив, назрела потребность в том, чтобы до конца пересмотреть их и уяснить, какой должна быть современная академическая наука о литературе, каковы должны быть типы и жанры ее работ.

В определение «академический», в слово «академизм» порой вкладывается предосудительный смысл. Так, например, журнал «Вопросы литературы» открыл в 1960 году и продолжает дискуссию под рубрикой «Эстетика и жизнь». Многие авторы, участвующие в этой оживленной дискуссии, обозначают словом «академизм» такую науку, которая не имеет никакого общественно-практического значения. Как должны отнестись представители академической науки к подобному взгляду? Попытки вложить в эпитет «академический» вообще отрицательный смысл едва ли заслуживают опровержения. Однако нельзя не согласиться, что для употребления слова «академизм» в предосудительном значении наша наука порой дает достаточные поводы.

Академическая наука как нечто замкнутое, каковой она по преимуществу была в царской России, отжила свой век. В нашем советском государстве она вышла на широкий простор общественной жизни. И эту свою исторически обусловленную возможность академическое литературоведение должно осуществить с наибольшей полнотой. Академическая

наука о литературе не может оставаться академической в прежнем смысле. Ее двери должны быть широко открыты в большой мир народной жизни, ее научные теоретические достижения призваны служить коммунистическому строительству. На пути постоянного и широкого взаимодействия теории и практики, науки и жизни нетерпимы никакие помехи, никакие консервативные традиции. Все это мы сознаем и признаем, но не проявляем достаточной последовательности и решительности в окончательном преодолении консерватизма, который порой сказывается в нашей работе. Сошлемся на пример из деятельности Пушкинского дома.

Приступив к подготовке академического издания собрания сочинений и писем И. С. Тургенева, институт, основываясь на опыте предшествующих академических изданий классиков, предполагал, что количество подписчиков не превысит нескольких десятков тысяч. Так полагало и Издательство Академии наук. Предположение казалось тем более основательным, что в Гослитиздате собрания сочинений Тургенева не переставали выходить в свет. Фактически же количество подписчиков на академическое издание Тургенева достигло 200 тысяч.

Приятная эта неожиданность или неприятная? Казалось бы, странный вопрос! Конечно, приятная! Она, эта неожиданность, свидетельствует о высокой культуре нашего народа и о том, что народ с большим уважением и доверием относится к академическим трудам. И это должно было бы действовать вдохновляющим образом на людей, занятых подготовкой издания. И вот, как ни странно это, отдельные сотрудники издания восприняли массовость подписки как печальный факт. Почему же? Да просто потому, что для 200 тысяч подписчиков академическое издание должно иметь другой тип, нежели тот, который практиковался прежде.

И в самом деле, нет никакого смысла сопровождать тома подписных изданий огромным материалом разного рода приложений. Этот вспомогательный источниковедческий материал нужен, во-первых, для самого процесса подготовки издания, и, во-вторых, для дальнейшей научной работы специалистов-литературоведов, причем, конечно, для очень немногих литературоведов. А это значит, что в своей преобладающей части этот материал должен быть опубликован лишь в сотнях или даже десятках экземпляров, и вовсе не требуется, по остроумному замечанию В. Шкловского, вести всех читателей в столовую через кухню.

Бесспорно, что тип изданий текстов литературных памятников и сочинений классиков нуждается в решительной, смелой реформе. Сущность этой реформы, очевидно, должна состоять в том, чтобы основные тексты, научно выверенные и сопровождаемые самым необходимым справочным аппаратом, имели в виду широкий круг читателей, а весь остальной материал, фиксирующий сложную историю текста, выходил в свет небольшими тиражами, может быть даже безнаборным способом. От такой реформы ничего не потеряют ни академическая наука, ни массовый читатель. Впрочем, редколлегия академического издания сочинений и писем Тургенева уже стала на путь этой реформы. Изданию будет сопутствовать серия сборников, рассчитанная на специалистов-литературоведов, которая разгрузит подписные тома от излишнего материала. По-видимому, этот принцип следует осуществлять более решительно.

В интересах повышения общественной и научной эффективности следует критически пересмотреть также типы и жанры исследований по истории литературы и монографий об отдельных писателях. Так, вообще всем нам известно, что подлинно необходимой научной работой, строго говоря, может быть названа только такая, которая построена с точным учетом уже сделанного по данной теме, которая не повторяет сделанного, а дополняет его новыми открытиями отвергает или уточняет то, что

у предшественников было ошибочным, развивает то, что было ими только намечено, но не развернуто. Но систематическим подведением итогов в избранной теме многие литературоведы почти не занимаются. Очень часто монографии разных авторов об одном и том же писателе представляют результат параллельных литературоведческих чтений одних и тех же источников и потому очень сходны между собой, отличаются лишь некоторыми вариациями, не подвигающими дело изучения вперед. Работы в области одинаковых или близких тем слабо координированы одна с другой. Учет работы предшественников в позднейших исследованиях страдает неполнотой и носит с точки зрения научной случайный характер. В подходе к предшественникам все еще заметны групповые тенденции, кружковая дипломатия. Не составило бы труда показать, что во многих работах кооперирование и размежевание имен, ссылки на авторов в положительном или отрицательном смысле обусловлены явно не научными соображениями, а личными пристрастиями.

Недооценка важности научной преемственности в литературоведческих исследованиях проявляется и в том, что обычно вспоминаются только работы последнего времени, хотя бы они и не отличались самостоятельностью. Вне поля зрения остается масса серьезных работ. Замалчивание или же просто незнание работ предшественников делает возможным многократно объявлять в качестве новых открытий такие истины, которые давно уже были высказаны другими.

Неизбежным следствием отсутствия надлежащей заботы о выработке более или менее точных критериев научной оценки является жанровая, проблемная, тематическая аморфность многих литературоведческих работ. Назрела необходимость разобраться, что означает методологическая и методическая пестрота, наблюдающаяся в наших работах: то ли это законное и необходимое разнообразие, обусловленное объектом исследования и творческим своеобразием исследователя; то ли это эклектизм, равнодушно принимаемый нами. Как нам кажется, второе предположение не будет безосновательным для довольно многочисленной группы исследований.

Все эти вопросы о критериях научной оценки, о жанрах и типах литературоведческих трудов неоднократно возникали на наших научных заседаниях, но они затрагивались лишь попутно, никакой договоренности по ним не состоялось, и они вновь и вновь стучатся в двери, требуют специального серьезного обсуждения.

Все это лишний раз убеждает в том, что без надлежащего понимания специальных методологических и методических задач и исследовательских принципов науки о литературе мы не сумеем успешно идти вперед. Расширение и обновление проблематики, расширение фактической, историографической базы исследований требует постоянного возвращения к вопросу о том, каков должен быть научный подход к этим новым проблемам и новым материалам.

Следовательно, дальнейшее укрепление и развитие разных форм связи литературоведения с жизнью всего нашего общества обязывает нас не просто отдать предпочтение популярным жанрам, а осуществить более решительные меры по преодолению консерватизма и традиционализма в понимании наших задач, предусмотреть более дифференцированную шкалу жанров, более разнообразную, новаторскую тематику, более гибкий подход к выбору современного, актуального аспекта исследуемых проблем.

Важнейшим условием дальнейшего роста научно-общественного авторитета и актуальности советского литературоведения является повышение его идейно-теоретического уровня. XXII партийный съезд призвал полностью покончить с фактами недооценки идеологической работы. Такие факты встречаются и в литературоведении. Наблюдаются пошутки

трактовать науку о литературе как науку нейтральную, попытки реабилитировать старый формализм, пропагандировать неформализм под флагом защиты «специфики» литературы и новаторства, подменить принцип классовости в историко-литературных исследованиях принципом «единого потока» и т. п.

Советская наука о литературе всем своим существом включается в большую идеологическую работу по идейно-нравственному и эстетическому воспитанию человека и потому не может оставаться равнодушной к принижению своей идеологической роли. Эта роль вырастает не только в связи с новыми задачами в области развития нашей отечественной коммунистической культуры. Современное мировое литературоведение — это фронт острой идеологической борьбы. На мировой арене идет ожесточенная схватка, битва книг вокруг проблем эстетики и теории литературы, вокруг выдающихся художников слова и целых национальных литератур. Усердие врагов социализма в области художественной культуры становится вполне понятным, если учесть, что художественная литература является одним из самых широко и глубоко захватывающих средств воздействия на психику и нравственность народных масс.

Идеологи буржуазии, деятели реакционного искусства, ревизионисты предпринимают яростные идеологические диверсии против социалистического реализма. Ожесточенным нападкам подвергается не только советская литература, но и наше литературное наследие. Отсюда ясно, как велико заблуждение тех, кто пытается порой оправдать позицию нейтралистского литературоведения ссылками на принцип «сосуществования». Коммунистическая партия, последовательно борясь за осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем, постоянно разъясняет, что это вовсе не должно означать уступок в области коммунистической идеологии, в области марксистско-ленинской теории.

Гражданский долг советских ученых — высоко держать знамя марксистской науки о литературе, быть достаточно решительными и достаточно научно вооруженными для того, чтобы активно и последовательно противостоять реакционным тенденциям зарубежного буржуазного литературоведения, всякого рода попыткам проталкнуть в науку те или иные элементы чуждого нам буржуазного мышления.

Полемическая особенность некоторых наших работ заключается в том, что авторы их, опираясь на свое методологическое превосходство, стремятся не столько опровергнуть, сколько просто отвергнуть своих идейных противников. Разумеется, что научная полемика достигает своей цели только тогда, когда она опирается одновременно на правильную методологию, основательную профессиональную подготовку и на фундаментальные труды, которые давали бы теоретическое обобщение движущегося эстетического опыта всей прошлой и современной литературы.

В последние годы появляется все больше работ по эстетике и теории литературы, предвещающих близкий успех в преодолении всеми нами признаваемого отставания теоретической литературоведческой мысли. Здоровый и сильный интерес к теории, обозначившийся в литературоведении, надо всемерно поддерживать и развивать. Вместе с тем неоднократно и справедливо отмечалось, что многие современные теоретические работы страдают абстрактным схематизмом, умозрительностью логических построений, отдаленностью от конкретной истории литературы. Иногда под видом «теоретических» исследований читателю преподносятся абстрактные словосочетания, скрепляемые цитатами, весьма произвольно извлеченными из произведений великих умов человечества. Все это делает такого рода сочинения малоубедительными и удобными лишь в том отношении, что они не обременяют их авторов чрезмерным трудом, свя-

занным с кропотливыми разысканиями и исследованиями в области конкретной истории литературы и других видов искусства.

При обсуждении проблемы построения теории литературы высказывались опасения, не приведет ли попытка дать теоретические проблемы в историческом освещении к подмене теории историей. Нам представляются такие опасения напрасными. Пока работам наших теоретиков, к сожалению, не угрожает опасность такого рода. Говорим — к сожалению, потому что подавляющая масса современных работ теоретического характера болеет худосочием от ограниченности фактического историко-литературного материала и от его бессистемности и случайности. С другой стороны, многим историко-литературным работам, в частности и в особенности создаваемым Институтом русской литературы, присущи эмпирическая описательность, фактографичность, дробность. Иными словами, существенные недостатки теоретических и исторических литературоведческих исследований в значительной мере обусловлены их разобщенностью.

В связи с таким положением было бы более целесообразным развивать теорию литературы не только и, может быть, не столько путем обособления ее в особый жанр, в специальную тематическую рубрику, к чему обнаруживается все большая склонность, сколько усилением теоретической мысли во всех исследованиях, повышением теоретического уровня всех наших работ. Пусть создаются отдельные работы и по теории литературы и по истории литературы. Для их раздельного, самостоятельного существования есть достаточные основания как объективные, так и субъективные, выражающиеся в особенностях личного опыта и индивидуальных склонностей исследователей. Но всего лучше, если теоретики будут стоять ближе к истории, а историки литературы — ближе к теории, если теория и история будут чаще выступать в единстве без разграничения зон действия, взаимно обогащая друг друга в одних и тех же трудах. Именно всего важнее сейчас теория, понимаемая не как особый жанр литературоведческих исследований, а как органическая качественная особенность всех наших исследований. Уместно напомнить указание В. И. Ленина о том, что теоретическая работа должна быть направлена на «конкретное изучение», должна быть основана «на детальном и подробном изучении русской истории и действительности».¹ Наши теоретические исследования только тогда оправдывают свое назначение, когда их методологическое превосходство будет соответственно поддержано превосходством конкретной аргументации.

Институт русской литературы справедливо упрекают в том, что в числе его трудов мало собственно теоретических работ. И, конечно, надо стремиться к тому, чтобы таких работ было больше. Вместе с этим надо признать, что более существенный недостаток не только работ Пушкинского дома, но и вообще нашего литературоведения заключается не столько в малочисленности теоретических тем (в заглавиях книг и статей такие темы встречаются довольно часто), сколько в недостаточности теоретического уровня по всему фронту литературоведческих исследований. И уже изданные прежде Пушкинским домом многотомная «История русской литературы» и «История русской критики», и подготавливаемые ныне к изданию «История русского романа», «История русской поэзии», «Итоги и проблемы пушкиноведения» — все эти труды могли бы стать достаточно просторным полем для деятельности теоретической мысли. Использование такой возможности является нашей задачей.

Но и в том случае, когда предполагается разработка теоретических проблем под специальной рубрикой, в виде особого жанра, она может

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 278.

стать плодотворной лишь при условии последовательного проведения принципа историзма. Исторической теории литературы, основанной на марксистско-ленинской методологии, у нас пока нет. И потому вполне понятен интерес к коллективному труду, создаваемому Институтом мировой литературы, под заглавием «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении». С основными принципами построения этого труда предварительно ознакомили читателей статья Г. Абрамовича «Историзм в теории литературы»² и статья Я. Е. Эльсберга и Ю. Б. Борева «Теория литературы в историческом освещении и современность».³

Серьезность замысла исследования и авторитетность авторского коллектива внушают большие надежды. Однако хотелось бы обратить внимание на отдельные формулировки Я. Е. Эльсберга во второй из названных статей, которые, на наш взгляд, ослабляют развиваемую автором концепцию исторической теории литературы. Здесь можно прочитать, что каждое художественное произведение — это целый мир, «живущий по своим закономерностям»; что изящные искусства — это «грозные, чудесные явления природы», «нечто природное, стихийное» (стр. 378); что «художественный мир, встающий перед нами в литературном произведении, как и во всем творчестве писателя, — индивидуально неповторим» (стр. 383); что в художественном образе сходятся «все солнечные нити... волшебной пряжи» (стр. 389), и т. д. Прежде всего заметим, что эти и подобные выражения, принадлежащие автору или солидарно приводимые им со ссылкой на источники, придают теоретической работе излишнюю беллетристичность. Но беда не в этом, а в том, что, несмотря на массу оговорок относительно объективной обусловленности искусства, акцент на неповторимости творческих индивидуальностей, на особых, замкнутых в себе закономерностях каждого отдельного художественного произведения поставлен с такой силой, что остается совершенно непонятным, как, если быть логически последовательным, можно будет говорить после этого об общих закономерностях литературы и как все это будет гармонизировать с тем коллективным трудом («Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении»), к которому данная статья служит введением.

Роль творческой индивидуальности — гения, таланта, личного почина, инициативы, фантазии — в области художественного творчества проявляется, быть может, более ярко, нежели в других сферах духовной деятельности человека. И разумеется, что в марксистской теории литературы не должно быть места для унылой тенденции сглаживания творческих личностей. Но ясно также, что признание огромной важности творческих индивидуальностей в искусстве вовсе не отменяет возможности и необходимости применения к ним научного критерия повторяемости, без чего немыслимо построение теории литературы. В творческих личностях, при всей оригинальности каждой из них, повторяются — так или иначе, более или менее полно, более или менее ярко, но повторяются — черты эпохи, нации, народа, класса, той или иной более узкой социально-общественной, идеологической группы.

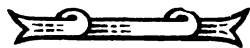
Выдвижение на первый план тезиса о неповторимости творческой индивидуальности при ослаблении внимания к ее социально-классовой, идеологической обусловленности превращает самое понятие индивидуальности в нечто абстрактное, лишенное реального содержания. Чрезмерный нажим на специфику отдельной творческой индивидуальности мог бы иметь известное оправдание в специальном исследовании, посвященном сравнительному изучению индивидуальных творческих концепций и ху-

² «Вопросы литературы», 1959, № 3.

³ «Известия Академии наук СССР, Отделение литературы и языка», 1961, т. XX, вып. 5.

дожественно-изобразительных систем. Но когда речь идет вообще о специфике художественного творчества как особой формы познания, о разработке марксистско-ленинской теории литературы, об исследовании закономерностей исторического развития литературы, то не должно забывать о значении критерия повторяемости. Марксом «был применен к социальной науке тот объективный, общенаучный критерий повторяемости, возможность применения которого к социологии отрицали субъективисты». Отрицая критерий повторяемости в общественной науке вообще (в том числе, следовательно, и в науке о литературе), толкуя о неповторимых индивидуальностях, «живых личностях», субъективисты «приходили таким образом благополучно к превращению общественной науки в ряд назиданий мещанской морали»;⁴ «... „индивидуальности“ существуют не только в духовном, но и в физическом мире. Все дело в том, что подведение „индивидуальностей“ под известные общие законы давным-давно завершено для мира физического, а для области социальной оно твердо установлено лишь теорией Маркса».⁵

Нам нужна была бы сейчас такая теория литературы, которая внимательно исследовала бы художественную специфику словесно-образного искусства, но не маршировала бы себя в этой специфике, не порывала бы с историей литературы и вместе с тем входила бы в тесное взаимодействие с другими науками о человеке и обществе и прежде всего с философией и социологией. Нам представляется, например, что борьба против формулы «реализм — антиреализм» осуществлялась некоторыми литературоведами не вполне удачно. Действительно, необходимая критика этой догматической формулы, как грубого аналога борьбы между материализмом и идеализмом в истории философии, велась так, что посеяла тень недоверия к проблемам связи реализма с материализмом. Справедливо отстаивая специфику истории искусства от уподобления ее истории философии, не следует все же забывать, что реализм в основной тенденции своего исторического развития связан с материалистическим мировоззрением, соотносится прежде всего с ним, а не с идеализмом. Именно эта глубокая историческая и гносеологическая соотносительность художественного реализма с философским материализмом, реалистической эстетики с материалистическим мировоззрением обосновывает правомерность применения ленинской теории отражения как в философии, так и в искусстве. Другое дело, конечно, что соотносительность реализма и материализма проявляется весьма сложно и противоречиво и что поэтому она не должна трактоваться прямолинейно. Подобно этому теоретикам литературы не следует страшиться и соседства с социологией, перестав путать последнюю с вульгарным социологизмом, который все еще отпугивает многих воспоминаниями об ошибках школярского овладения азбукой марксизма. Другими словами, теория литературы должна стать более обществоведческой наукой, чем она есть теперь. Несомненно, что в этом случае мы, литературоведы, решая свои специфические задачи, вместе с тем стали бы крупнее, авторитетнее, необходимее и для наук, с которыми соседствуем, и для общества, в котором живем и для которого трудимся.



⁴ В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 390

⁵ Там же, стр. 391.

В ПОИСКАХ ОБРАЗА ВРЕМЕНИ

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. А. ФЕДИНА)

В феврале 1962 года исполнилось семьдесят лет со дня рождения выдающегося русского писателя и общественного деятеля — Константина Александровича Федина. Это хороший возраст для прозаика, возраст, с высоты которого можно видеть широчайшие горизонты, мудро измерять величайшие изменения времени, используя весь накопленный литературный опыт — добиваться крайней выразительности и точности изложения.

Сам памятный день — хороший предлог для того, чтобы кое-что вспомнить из того большого прошлого, которое мы, пришедшие в литературу после Октября, пережили вместе...

Сорок лет назад в один пасмурный вечер я входил в так называемый Дом литераторов, находившийся на Бассейной улице в Петрограде. Я никогда до этого не бывал в этом доме, столь знакомом многим литераторам, и никого там не знал. В моей руке было извещение, которое меня очень волновало, потому что я ставился в известность, что мой рассказ под названием «Сила» получил премию на литературном конкурсе и что я должен прибыть на торжественное собрание, посвященное результатам этого конкурса.

Я должен был получить и денежную премию, которая выражалась в такой сумме, на какую тогда можно было купить полкило хлеба на рынке. Но дело было, конечно, не в этом.

Я вступил в переполненный зал как никому неизвестный человек и с большим интересом рассматривал сидевших в президиуме почтенных представителей литературы, имена которых я знал, книги которых мне были хорошо знакомы.

Там сидели ученые, критики, писатели, и при одной мысли, что они читали мой рассказ (плод работы молодого писателя, в бессонные ночи желавшего рассказать некоторый удивительный случай неизвестному читателю) и, прочитав, так высоко его оценили, что присудили премию, правда, третью, я испытывал доселе неизвестное волнение и старался угадать, кто же еще из присутствующих оказался в одном списке со мной.

Они — эти счастливицы — вставали один за другим, и я, к своему удивлению, заметил, что они все знают друг друга и разговаривают как свои люди. Я не знал, за какие рассказы они получили премию, я не читал их, но среди разных названий и имен прозвучало имя Константина Федина и название его рассказа: «Сад».

Я, надо сознаться, был очень удивлен, когда моему рассказу присудили премию. Он был груб и мрачен. Сюжет его рассказал мне в свое время один из офицеров крейсера «Аскольд», корабля со странной и необычайной судьбой. В моем рассказе дело шло об одном матросе с «Аскольда», сильно погулявшем на берегу, и о его необычном приключении в Шанхае, в городе, который я тогда мог только воображать. И я воображал так убедительно, что вся строгая коллегия, сидевшая в президиуме, поверила, что я или свидетель, или, кто знает, сам участник происшествия.

После заседания я вышел на улицу, переполненный самыми противоречивыми чувствами. Тут меня окружили те молодые люди, которые получили со мной премии за свои произведения.

— Давайте знакомиться, — сказали они, — вы давно пишете?

— Да, — храбро отвечал я, — с детства!

— У вас есть еще рассказы?

— Конечно, есть рассказ «Тележка», есть повесть «Всякое холодное...».

— Почитайте нам, приходите к нам, мы дадим адрес!

— С удовольствием, — сказал я, — конечно приду! А кто вы?

— Мы — серапионы! — воскликнул самый молодой и самый горячий.

И я пришел к серапионам в другой дом, совсем непохожий на Дом литераторов. Он назывался «Диск» — Дом искусств. Так я познакомился с «Серапионовыми братьями», так я познакомился с Константином Александровичем Фединым.

Но я мог познакомиться с ним и раньше. И, может быть, даже мы проходили мимо друг друга, не зная этого. Как я узнал позже, он в 1919 году заведовал экспедицией Отдельной башкирской кавалерийской дивизии. Я встречал лихие эскадроны этой дивизии, с гиком и звоном проходившие по улицам молчаливой, угрюмой, безлюдной приневской столицы, я видел башкир из этой дивизии в их вольном стане, раскинутом среди кладбищ Александро-Невской лавры, я видел их за Литейным, где у них, кажется, стоял штаб. Мог ли я знать, что в то время Федин имеет какое-то отношение к этим яростным сынам степей, под красным знаменем защищавшим Петроград от Юденича.

Но зато в популярной комнате в Доме искусств, где происходили чтения новых произведений, Константин Александрович занимал особое место и особую позицию по отношению к читаемому. Быт и жильцы этого странного дома, объединявшего необъединяемое, хорошо описан, старательно, резкими мазками, пестрыми красками в романе «Сумасшедший корабль» жившей там же Ольгой Дмитриевной Форш.

Споры литературные в то время принимали очень острый характер. Сталкивались с дикой яростью, с непримиримостью самой последней, с позиций совершенно противоположных. Что же объединяло все-таки спорящих? Почему они не разбегались с проклятиями в разные стороны, чтобы больше не встречаться?

Все действительно любили литературу, любили самозабвенно, как одержимые. Все были молоды и жаждали каких-то открытий, удивительных литературных новшеств. Формализм царствовал с особой силой на берегах Невы.

Все мы были разные. От этого было интересно на наших вечерах и чтениях. Но и тогда Федин сильно отличался от всех. Не только потому, что он был годами старше, что он уже прожил тяжелые годы, много пережил, в то время как иные друзья только оканчивали университет и, по существу, были еще шальными, правда, талантливыми и даже очень, студентами. Их как раз манили такие литературные поиски, которые для Федина просто не звучали, не существовали и не могли ничего сказать.

Он был высокого роста, тонкий, с лицом одухотворенного русского интеллигента, русоволос, голубоглаз, остер, хорошо понимал шутку, любил веселье, стихи, но в спорах он держался такого «горьковского начала», которое, продолжая традиции классической русской литературы, начисто отбрасывало формализм, хотя приветствовало новые опыты. Таким новым опытом, хотя бы в своеобразии композиционном, был роман «Города и годы», где действие развивалось необычно, но и не становилось условным.

Федин являл собой в те молодые годы законченный тип писателя, ищущего изобразить людей и время с той высокой ответственностью и

художественной правдой, которые не шли на легкий компромисс, на литературный анекдот, на прямой вымысел.

Я помню, как в зале бывшего Елисеевского дома, в зале Диска, Федин читал отрывки из романа «Города и годы». Он читал как раз то, как утром еще пустынные улицы Бишофсберга моют, чистят, скоблят и выходит солнце. Зонне, зонне, зонне! И в это мгновение вдруг зазвенели каким-то хрустальным звоном большие елисейские часы, и этот звон, звон, звон слился со словами зонне, зонне, зонне...

Это было удивительное совпадение... Но вот прошло с тех пор почти четыре десятка лет, и, читая сегодня главы последнего романа трилогии — «Костра» — еще в журнале, я невольно вернулся к тем временам, когда началось неизбежное столкновение больших исторических тем и событий, свидетелем которых оказался русский писатель — Константин Федин.

Я помню, как он читал в своей квартире на Литейном, в маленьком, заваленном книгами кабинете, свои новые произведения, которые как будто ничего не имели общего с темой, о которой я говорил выше, но мне сейчас кажется, что имели.

И в «Братьях», и в «Трансваале», и в «Похищении Европы», и в «Санатории Арктур» то ясно, то как подводное течение ощущался ход тем: народ—революция, Восток—Запад, и чем дальше шли времена, тем с большей силой.

Константин Александрович рос на глазах, его талант ширился, с каждой новой книгой рос и его читатель. Нельзя было пройти мимо волнующих вопросов, тревожных проблем, которые мучили не только писателя, но и многочисленных его современников.

Федин вырос в большого русского писателя. Он стал уже широко известен за рубежом. Его друзьями были передовые писатели Европы. Ромен Роллан приветствовал его в своем швейцарском уединении. Когда после долгого отсутствия (он лечился за границей и едва спасся от смерти) Федин вернулся на родину, ленинградцы встретили его с шумной, искренней радостью. Писатель уже пользовался большой популярностью и настоящей любовью новых читателей.

Что же было ведущим, главным в его книгах, в его упорных поисках? Говоря в своей автобиографии о работе над трилогией, над третьим романом «Костер», он подводит итог, подчеркивает свою принципиальную установку: «Постоянное мое стремление найти *образ времени* и включить время и повествование на равных правах с героями повести — это стремление выступает в моем нынешнем замысле настойчивее, чем раньше. Другими словами, я смотрю на свою трилогию как на произведение историческое».

Писки этого знака времени мы можем усмотреть и в самом раннем периоде, когда создавался роман «Города и годы».

Федин однажды был жестоко обманут судьбой. Молодым студентом поехал он в мирную Германию для усовершенствования в немецком языке и вдруг оказался военнопленным, провел годы в странной и угнетающей обстановке. Самое неожиданное, сильнейшее впечатление произвели на него крушения российской и кайзеровской империй. Он вернулся в Россию, полыхавшую пожаром Октябрьской революции.

И с момента рождения нового русского писателя Константина Федина среди бурь и громов гражданской войны, на разоренной земле, на которой начали появляться ростки нового, главным для него стало становление человека родного народа в гигантском борении за будущее.

И в «Городах и годах» для него были важны не отдельные герои. Недаром, отвечая аспиранту, взявшему темой роман «Города и годы», он с подчеркнутой ясностью указывает: «Когда Вы спрашивали меня о главном герое романа, я ответил Вам: главный герой — Германия...»

Я когда-то писал, что все герои «Необыкновенного лета» уже действовали рядом с героями «Городов и годов».

Ведь и жандармский подполковник Полотенцев, и авантюрист Зубинский, и драматург Пастухов, и пресловутый Мамонтов могли быть на страницах, где действуют Андрей и Рита, Курт и Голосов.

Время воспитало новых деятелей, тех, которые в «Первых радостях», в этом своеобразном лирическом отступлении, переживали молодые годы. Потом они явились нам в «Костре», с теми изменениями, которые были неизбежны, которые внесли годы, протекшие между решающим боем за молодую Советскую республику, описанным в «Необыкновенном лете», и решающим боем за судьбу Советского Союза, всего мира, о котором идет речь в романе «Костер».

Связь между немцами маленького Бишофсберга и немцами сорок первого года, ворвавшимися в пределы Советского Союза 22 июня 1941 года, может быть очень убедительно доказана. Подготовка к первой мировой войне, подготовка ко второй мировой войне были ясны Федину как писателю в поисках знака времени. Будучи за границей в период зарождения романа «Похищение Европы», разве не видел он уже явные неистовства фашизма, за которыми с горящими глазами покровительственно следил тот же прусский милитаризм, который в 1914 году писал рукой кайзеровского солдата: на Париж!

После пестрой галереи героев, прошедших перед читателем в книгах Федина, два образа, перешедшие в последнюю книгу трилогии, остаются главными, направляющими действие и объясняющими его, независимо от их личных переживаний и от того, что с ними произойдет на страницах романа. Это образы большевиков Извекова и Рагозина. Это представители того нового мира, которому назначено судьбой разгромить фашизм, привести народы Советского Союза к величайшей победе, доказать свою неисчерпаемую силу и принять бой за советскую власть, как он был принят на роковых полях необыкновенного лета 1919 года.

Но вместе с этими старыми нашими знакомыми, вероятно, дальше мы найдем в романе и своеобразное продолжение линии того представителя вильгельмовской Германии, того затянутого в корсет цур Мюлен-Шенау, который явится в новом облике милитариста, служащего Гитлеру, как его предшественник служил кайзеру. И у того и у другого цель была та же самая. Покоритель мира шел ва-банк!

Я не знаю концепции романа, но мне кажется, не зря оказался писатель Пастухов в Ясной Поляне в дни фашистского нашествия. И, вероятно, Ясная Поляна, которая подверглась разгрому и была оккупирована фашистами, станет ареной идеологического спора двух миров.

Может быть, она будет только местом возмездия, сокрушения черных планов гитлеровцев. Это не так важно. Важно, что вместе с коммунистами, рядом, плечом к плечу борются советские люди в том решающем бою, который решает судьбы народов.

Мне кажется, что красной нитью, идущей через все произведения Федина, идет становление человека революции, победа коммуниста — героя нашего времени и что, пройдя 1919 и 1941 год, этот победитель, идущий в будущее, снова видит сегодня зловещий призрак, возникший за Эльбой, в котором можно узнать черты современного вампира — и кайзеровца четырнадцатого года, и гитлеровца сорок первого года, мечтающего снова зажечь пожар войны, доведя до безвыходности берлинский кризис и поставив Европу и мир перед взрывом безумного реваншизма.

Тот фашист, что перешел границу 22-го незабываемого июня, что глумился в Ясной Поляне над человеческой мыслью и памятью, он из уцелевших и сейчас полон такой же злобы и человеконенавистничества.

Поиски образа времени привели Федина к большому, ответственному, историческому рубежу. События, о которых расскажет нам «Кюстер», вошли в мировую историю.

Тема Восток—Запад не такая простая тема. Я видел Федина в Германии после войны. Он — свой человек среди друзей мира и литературы. Он — голос мира и будущего, дружбы народов и торжества веры в человечество.

Он кончит свою трилогию, и его герой дойдет до победы, которую он купил дорогой ценой.

Я видел Константина Александровича не только гуляющим перед старым дворцом в Пушкине, веселого, улыбающегося новой весне и цветущей зелени, но я видел его, как будто он сидел передо мной, читая его очерк о разрушенном дворце, о сожженных деревьях, об уничтоженном городе Пушкине, видел его гневное лицо, читал его гневные слова о виденном.

Когда я встречаю сегодня Константина Александровича в Переделкине, на дороге, по которой мчатся машины, идут пешеходы, стоят знакомые, старые деревья, над которыми проходят мирные облака, которые не грозят радиоактивными дождями, я искренне радуюсь этому так давно знакомому мне, близкому, чудесному человеку, столько пережившему, столько видевшему и от молодых лет до строгого возраста, в который он сегодня вступает, сохранившему самую преданную и верную любовь к нашей родной, многоцветной, бесстрашной русской литературе.

Мы знали с ним вихри революции, сложные годы мирного строительства, мрачные дни Великой Отечественной войны, новый подъем жизни в нашей родной стране...

Мы прошли длинный путь, дружески деля тревоги и опасности. Я хочу видеть впереди только мир, мирную вечернюю зарю, венчающую долгий добрый день над великими пространствами родины!



ВСЕГДА С НАМИ

(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА)

Чувство какой-то особой светлой скорби охватывает нас всегда в торжественные дни, овеянные памятью Пушкина. Но скорбное чувство просветляется могучей жизнеутверждающей силой, пронизывающей все существо Пушкина-человека и Пушкина-художника и сохраняющейся на века в его безмерно прекрасном творчестве.

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую...

Самое замечательное во всем духовном облике Пушкина — это органическое и нерасторжимое соединение в нем великого художественного гения и столь же великого, всеобъемлющего ума.

С этим великим гением и великим умом Пушкин входил в жизнь своей сложной и противоречивой эпохи. То было время сплошной нивелировки человеческой личности, свыше предписанного стремления к единому ранжиру, эпоха, когда вся Россия была превращена в огромную канцелярию, где свободно продавались и покупались не только живые, но и мертвые крестьянские души; эпоха военных поселений и солдатских шпидрутенов, полосатых плагбаумов и холерных карантин; эпоха казенного недоверия ко всему, что превышало средний уровень. «Ужасный, скорбный удел, — писал об этом времени Герцен, — уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок».

В то время Грибоедов работал над своей бессмертной комедией, в которой так ярко отразил эту основную ситуацию эпохи, выразительно охарактеризованную первоначальным названием: «Горе уму».

Смысл, какой вкладывался Грибоедовым в эти два слова, убедительно раскрывается на целом ряде фактов из жизни того времени.

В 1824 году М. С. Воронцов пишет о Пушкине министру иностранных дел К. В. Нессельроде: «...собственный интерес молодого человека, не лишнегого дарований, недостатки которого происходят, по моему мнению, скорее от головы, чем от сердца, заставляют меня желать, чтобы он не оставался в Одессе».

В том же году П. А. Вяземский пишет жене о Пушкине: «Скажи ему, чтобы он не дурачился, то есть не умничал, ибо в уме или от ума у нас и бывают все глупости».

В 1826 году Бенкендорф, по поручению Николая I, давал следующую оценку пушкинской записке «О народном воспитании»: «...принятое Вами правдо, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия... Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному».

В личной судьбе П. Я. Чаадаева, объявленного в 1836 году сумасшедшим за его «Философическое письмо», почти в точности повторилась основная ситуация комедии Грибоедова.

Десятилетие, протекшее между катастрофой на Сенатской площади и «Философическим письмом» Чаадаева, было жутким и страшным. Оно полностью оправдывало грибоедовскую формулу — «Горе уму». Ни в какое другое время не произносились так часто и так упорно слова: «сумасшествие», «сошел с ума».

Талантливый художник Чертков из гоголевского «Портрета» распродав в розницу свой замечательный талант, сходит с ума. Бедный чиновник Поприщин из «Записок сумасшедшего» сходит с ума, не будучи в состоянии понять, отчего все, что ни есть лучшего в жизни, достается только камер-юнкерам или генералам.

После перенесенных потрясений, постигших художника Пискарева на Невском проспекте, он также «помутился в разуме», а по истечении недели «нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом». И после рассказа об этой трагедии чистой человеческой души на всю Россию раздался страстный вопль потрясенного автора: «О, не верьте этому Невскому проспекту!.. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!.. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект...»

В таком освещении Невский проспект становился символом мрачной императорской столицы, по ночным улицам которой бродит мертвый чиновник, ищущий украденную у него шинель, где обыкновенный человеческий нос превращается в действительного статского советника, скромный канцелярист — в испанского короля Фердинанда VIII, где гибнут талантливые Пискаревы, преуспевают пошляки Пироговы и сходят с ума незаметные люди на мысли о том — «отчего же происходят все эти разности».

Сходит с ума мельник из пушкинской «Русалки», не перенесший разрушения семьи и гибели дочери.

Германия из «Пиковой дамы» сходит с ума, не будучи в состоянии осуществить мечту своей жизни.

Евгений из «Медного всадника» сходит с ума, раздавленный железной силой самодержавия.

Сам Пушкин, потрясенный всей этой страшной действительностью, писал о себе

Не дай мне бог сойти с ума,

непосредственно связывая эту опасность, как можно думать, с судьбой своих друзей-декабристов

...Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков...

В это тяжелое время официального непризнания ума, угнетения ума, почти невероятного для здравого смысла утверждения страшной опасности, таившейся для всей государственной системы в свободном человеческом разуме, одна только «звонкая и широкая песнь Пушкина», наперекор всему, являлась мощным утверждением человеческого разума, его силы и всепобеждающей мощи. Она «продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее».

Утверждение силы человеческого ума, пронизывающее все творчество Пушкина, приобретало в этих условиях характер подлинной общественно-политической декларации.

По существу, все творчество Пушкина являлось непрерывным, величественным и торжествующим гимном свободному человеческому разуму, приравняваемому к солнцу и, как солнце, разгоняющему тьму:

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Он очень хотел жить!

В самые последние и самые трудные для него годы он находил в себе силы утверждать великое счастье жизни:

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу,
Душа не вовсе охладела,
Утрата молодость свою.

Он строил широкие жизненные и творческие планы. «... Жизнь все еще богата, — писал он П. А. Плетневу, — мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; мальчпкп станут повесничать, а девочки сентиментальничать; а нам то и любо... были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

И, в полном соответствии со своим жизнелюбием, приветствовал будущее:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!..

За год до своей смерти он писал П. В. Нащокину: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться».

Между тем складывавшаяся в это же время вокруг него в высшей степени сложная и трудная жизненная обстановка заставила поэта во имя своей чести, чести семьи и своего имени в глазах всей России, поставить на карту свою жизнь.

Пистолетом Дантеса целилась в него вся реакционная николаевская Россия.

В январские дни 1837 года завершалась одна из великих трагедий мировой культуры. Она воочию выявила все величие Пушкина-художника и все величие духа Пушкина-человека.

Известие о гибели Пушкина было воспринято лучшими русскими людьми того времени как непоправимая национальная утрата. «Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним, — писал Гоголь из Рима. — Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изрекнет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы... Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание... Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!»

Живший в то время в Мюнхене Ф. И. Тютчев писал:

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал!
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?

Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою землею,
Навек он выспею рукою
В цареубийцы заклею.

Гибель Пушкина сразу же разделила русское общество на два лагеря, при этом отчетливо выявилась резкая граница между Россией народной и Россией официальной. «Трогательно было видеть толпу, — писала одна из современниц, принадлежавшая к самому высшему аристократическому обществу, — которая стремилась поклониться его телу. В этот день, говорят, там перебывало более двадцати тысяч человек: чиновники, офицеры, купцы, все в благоговейном молчании...» Далее она упоминала о совсем безвестном старике, который долго смотрел на лицо Пушкина. «...Он даже сел напротив и просидел неподвижно четверть часа, а слезы текли у него по лицу, потом он встал и пошел к выходу; Жуковский послал за ним, чтобы узнать его имя. „Зачем вам, — ответил он, — Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России“. И вообще, — продолжала современница, — это второе общество проявляет столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия... среди молодежи этого второго общества подымается даже волна возмущения против его убийцы, раздаются угрозы и крики негодования; между тем в нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина... немало злобных обвинителей».

Незнакомый при жизни Пушкина с ним лично, молодой Лермонтов, как это недавно стало известно, был у его гроба. В толпе вокруг дома Пушкина Лермонтов наблюдал все то негодование и гнев народный, которые с такой полнотой и силой он отразил в своем стихотворении «Смерть поэта», явившемся в полном смысле слова выражением «мнения народного» о смерти великого поэта и суровым приговором его убийцам.

В. В. Стасов рассказывал о потрясающем впечатлении, какое производили эти стихи в те дни. «...Стихотворение Лермонтова... — писал он, — глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром... мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, — так нас подымала сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление».

Так начинали сбываться вещие слова поэта

Нет, весь я не умру...

Его жизнь, его поэзия, весь труд его жизни — все это было насильственно прервано в тот самый момент, когда творческие силы его достигли полного и еще небывалого расцвета.

Что бы он мог еще сделать? По каким неизведанным путям он мог бы еще пойти? Какими новыми и еще небывалыми ценностями он мог бы щедро одарить свою Родину?

Последний период его творчества, далеко еще не раскрытый и не оцененный полностью поистине изумителен. Как чародей из древней легенды, он овладевал искусством и властью превращать в золото все, чего касались его руки и его творческая мысль.

Как бы силою волшебства стирались грани между художественным и научным повествованием, между поэзией и прозой, частным письмом и художественным рассказом — и все превращалось в чистейшее золото поэзии.

Овладевая всеми возможностями искусства, смело и решительно прокладывая новые и широкие дороги в будущее, Пушкин стоял на пороге великих свершений.

Что уносил он с собой?

Вместе с гаснущим сознанием Пушкина уходил навсегда из жизни целый мир замыслов великого художника, ждавших своего воплощения.

«Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского, — говорил Пушкин А. Н. Вульфу в 1827 году. — Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать и царствование Николая, и об 14-м декабря».

В каком бы направлении повел осуществление этих замыслов Пушкин? В набросках и планах неосуществленных пушкинских произведений присутствует местечко Васильков, где произошло восстание Черниговского полка. В незаконченном «Романе на Кавказских водах» одним из действующих лиц должен был быть декабрист Якубович. В начале большого прозаического романа «Русский Пелам» Пушкин намеревался развернуть широкую картину русской жизни первой четверти XIX века. В числе действующих лиц этого романа он предполагал вывести Илью Долгорукова, Сергея Трубецкого, Никиту Муравьева и некоторых других деятелей декабристского движения, объединенных им в «Общество умных».

Свое намерение написать историю или очерк царствования Александра I «пером Курбского», т. е. с резко антагонистических позиций, Пушкин частично начал осуществлять в работе над десятой главой «Евгения Онегина».

К концу жизни Пушкина относится и замысел большой, также незавершенной прозаической драмы о смене социальных формаций, в которой должны были быть поставлены сложнейшие и острейшие для современности проблемы заката дворянства, расцвета буржуазии и появления разночинной интеллигенции.

Одним из центральных эпизодов этой драмы являлось восстание крестьян против власти дворян-феодалов.

Объективное общественно-политическое и художественное значение самого факта появления в творчестве Пушкина 30-х годов темы крестьянской войны и образа Пугачева недостаточно оценено еще и до сих пор.

Связывая движение Пугачева с предшествовавшим движением Разина и с последовавшими крестьянскими волнениями 30-х годов, Пушкин утверждал историческую закономерность всех этих движений, свидетельствовавших о коренном несоответствии существующего строя основным жизненным интересам всего народа в целом.

Пушкин отнюдь не являлся при этом каким-либо идеологом крестьянской революции. Он и не мог быть им в эпоху, когда крепостная Россия была забита и неподвижна, а русское освободительное движение в основном было представлено одними революционерами из дворян, бесильными без поддержки народа. Но Пушкин не мог не заметить основного социального противоречия эпохи, он чутко улавливал настроения народа, его глухое, сдерживаемое озлобление и видел несомненные предпосылки назревавшего народного гнева, который в те годы не мог еще вылиться в широкое общенародное движение.

В этот период почти полного преобладания дворян в русском освободительном движении Пушкин зорко подметил и другое, чрезвычайно важное явление в общественно-политической жизни России — формирование новой социальной среды — разночинной интеллигенции, появление которой свидетельствовало об уже начавшемся процессе «вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении». «...Дружина ученых и писателей, какого б <рода> <?> они ни были, — писал Пушкин, — всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах

образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности».

Неожиданная гибель оборвала замечательный путь поэта, уже различавшего сквозь окружающий его мрак николаевской действительности черты складывавшихся новых общественных отношений.

Не следует игнорировать глубоко знаменательного суждения великого современника Пушкина — Белинского о том, что «Пушкин принадлежал к числу тех творческих гениев, тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приуготовляют будущее».

Это же имел в виду и Гоголь, говоря о Пушкине, что «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

Действительность всецело подтвердила эти слова, значительно сократив только намеченные сроки.

И в новых условиях нашей современности мы с безграничным чувством гордости и радости видим, что великое наследие Пушкина и по сей день продолжает служить мощным оружием в нашей борьбе за нового человека и новые человеческие отношения.

Его светлое и жизнеутверждающее творчество в наше время продолжает служить народу значительно полнее и глубже, чем это было даже при его жизни.

Его великие произведения, как и его язык, границы которого «он более всех, он далее раздвинул» и более показал все его пространство» (Гоголь), сохраняют всю свою свежесть и непреходящее значение не только для нашей, но и для последующих эпох.

В письме к К. С. Аксакову Белинский писал в 1840 году: «Радуюсь твоей новой классификации — Гомер, Шекспир и Гоголь, но и дивлюсь ей... Вот мы и сошлись с тобою; только у меня на месте Гоголя стоит Пушкин, который всего поглотил меня, и которого чем более узнаю, тем более не надеюсь узнать. Это Россия и *единственный* русский национальный поэт, полный представитель жизни своего народа».

Процесс «узнавания» Пушкина, наиболее полного и глубокого освоения всех сторон его многогранного творчества происходит и по сей день, и еще в наше время пушкинское творчество продолжает непрерывно раскрываться все новыми и новыми своими сторонами и гранями.

На всем протяжении короткой жизни Пушкина его творческая мысль была всегда устремлена вперед. Он подходил к осознанию того, что вся история России есть не что иное, как история никогда не прекращавшейся справедливой борьбы народа за свое светлое будущее.

Движение Пугачева раскрыло русскому народу его собственные силы и мощь, но не изменило положения вещей. Оно не было изменено и самоотверженными усилиями дворянских революционеров. Не дождалась осуществления многовековых народных чаяний и великие деятели русской революционной демократии. Эта задача не была решена ни в 1905 году, ни в феврале 1917 года. И только Великий Октябрь 1917 года разрубил наконец полностью этот многовековой и запутанный узел социальных противоречий.

В этом свете становится очевидным, что тайна бессмертия Пушкина и неувядаемой свежести его глубоко гуманного творчества для ряда поколений заключается в том, что в этом творчестве в непревзойденно прекрасной форме нашли свое выражение многие чаяния, устремления и надежды великого народа, которые могли сбыться лишь в наше время.

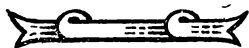
Однако и после разрушения всех этих исторических задач творчество Пушкина не превратилось в историю, но продолжает жить новой и еще более прекрасной и полной жизнью в сердце свободного народа, по-

тому что в этом творчестве нашли свое наиболее полное, глубокое и прекрасное выражение самые лучшие стороны народного характера и русского национального склада в его непрестанном развитии.

Поэтому понять до конца Пушкина — это значит понять до конца все многообразие духовной жизни великого народа, продолжающего стремительно развиваться в своем историческом движении вперед. И долго еще будет созвучен народной душе Пушкин лучшими сторонами своего творчества, своим гуманизмом, своей верой в человека, своим патриотизмом и своим глубоким жизнеутверждающим историческим оптимизмом.

И в наши дни, ознаменованные мощным общепародным движением только вперед и все выше и выше, Пушкин переживает свое новое рождение и получает то всенародное признание, о котором он мог только мечтать в глухую пору николаевской реакции, создавая стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

«Пушкин, — писала «Правда» 10 февраля 1937 года, — целиком наш, советский, ибо советская власть унаследовала все, что есть лучшего в нашем народе, и сама она есть осуществление лучших чаяний народных... В конечном счете творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистической революцией, как река вливается в океан».



ПУШКИН И РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЛИРИКЕ

Как бы ни определять реализм (а определяют его по-разному), заранее ясно, что к лирической поэзии эти категории могут применяться лишь с учетом ее специфики, что в этой области самая проблема реализма должна быть как-то заново поставлена.

В русской литературе второй половины XIX века, наряду с мощным развитием реалистического романа, живет поэзия Тютчева, Фета, романтическая по своим истокам и постепенно смыкающаяся с новым, импрессионистическим направлением в искусстве. И все же невозможно отключить русскую лирику второй половины века от проблематики реализма. Не только потому, что существовала поэзия Некрасова и его школы, но потому, что и у поэтов в корне романтических появлялось какое-то видение вещей, переходящее за грани романтизма.

Для понимания специфики реалистического метода в лирике решающее значение имеет зрелая лирика Пушкина. Движение Пушкина от условных стилей французского классицизма и русской элегической школы 1810-х годов к творческому этапу, на котором он сам осознает и называет себя *поэтом действительности*, не могло не отразиться на его лирике. Однако творческая эволюция Пушкина не была равномерной. В элегии, например, он еще сохраняет традиционные формы, создавая одновременно совершенно необычную структуру романа в стихах (к работе над «Евгением Онегиным» Пушкин приступил уже в 1823 году).

В лирике чрезвычайно велика власть традиции и инерция выработанных стилей. Поэтому и в дальнейшем тщетно было бы искать отчетливую границу между лирикой Пушкина 20-х и 30-х годов, между его реалистической и нереалистической лирикой. Речь здесь должна идти не о границах и законченных построениях, но лишь о новых тенденциях в понимании и поэтическом претворении действительности, прежде всего в понимании человека, в конечном счете определяющем ту или иную поэтическую систему.

Литература, в первую очередь, изображает человека и его судьбу. Специфика лирики состоит в том, что изображаемым человеком является сам автор. Автор то выступает открыто, то он зашифрован миром вещей и событий или своими лирическими «двойниками»; независимо от этого авторское сознание в лирике непосредственно воспринимается как воплощение общего сознания.

Формы выражения авторского сознания в лирике многообразны. И не следует стирать это своеобразие, подводя их под универсальное понятие лирического героя, — подобная тенденция существует в последнее время в нашем литературоведении и критике. Как и любой термин, этот термин уместен и полезен, если он обобщает и фиксирует особенности определенного ряда явлений и, как всякий термин, он излишен и вреден, когда смешивает разные явления воедино и стирает их характерные черты.¹

¹ О лирическом герое подробнее говорится в моей статье «Пушкин и лирический герой русского романтизма» (печатается в кн.: Пушкин. Исследования и мате-

О лирическом герое имеет смысл говорить в тех случаях, когда авторское «я» предстает в виде наделенного определенными чертами персонажа или, перерастая роль лирического субъекта, становится основной темой произведения. Лирический герой не может сложиться в отдельном стихотворении. Это всегда единство — если не всего творчества, то периода, цикла. В лирике Пушкина единство такого рода не возникало. Еще современники Пушкина (в том числе Гоголь и Белинский) говорили об его «протействе», о принципиальной многогранности, всеобъемлемости его творческого опыта.

Юношеское творчество Пушкина 1810-х годов отчасти еще связано с постепенно изживавшейся классической иерархией жанров. В каждый жанр — оду, элегию, сатиру, послание — включен был соответствующий образ поэта, воплощавший ту точку зрения, тот аспект вещей, которому служил весь стилистический строй данного жанра.

В дальнейшем, все больше освобождаясь от жанровых норм, творчество Пушкина вместило различные образы лирического поэта — и мимолетно возникавшие, и ключевые для его времени (в том числе образ поэта-романтика). Овладевая ими, Пушкин пикогда себя с ними не отождествляет, ни к одному из них не прикрепляет свою лирическую стихию.

Однако лирический мир Пушкина не распался. В лирике Пушкина существовало интенсивное внутреннее единство авторского сознания. Поддерживало это единство, постоянно напоминая о нем читателю, присутствие в пушкинской поэзии биографически конкретного образа самого Пушкина,² к которому как бы отнесено все многообразие стилистических первообразов автора. Называть этот авторский образ лирическим героем было бы неуместно. Лирический герой — персонаж, всегда в какой-то мере отодвинутый от автора, хотя его и отражающий. Здесь же, напротив того, лирическое «я» сближается с реальной личностью.

Следует четко отграничить эстетическую функцию биографических элементов от вопроса о биографических, вообще — фактических источниках произведения искусства. Еще Гете говорил, что каждое стихотворение — это стихотворение на случай. Но «случай» иногда входит в художественную структуру в качестве темы произведения или смыслового ключа, подтекста, источника ассоциаций, необходимого для полного восприятия; иногда же реалии, приводившие в движение творческую мысль поэта, оказываются эстетически безразличными. Стихотворение Лермонтова «Погиб поэт, невольник чести...» озаглавлено обобщенно — «Смерть поэта». Очевидно, однако, что стихотворение это существует как художественное единство только при одном условии: читатель должен знать, что в нем идет речь о смерти Пушкина, и должен знать, хотя бы в общих чертах, обстоятельства этой смерти. Между тем совершенно не обязательно знать, что стихотворение Лермонтова «Я верю: под одной звездой Мы с вами были рождены...» обращено к графине Ростопчиной. Факт этот может войти в биографию Лермонтова, но к восприятию стихотворения он решительно ничего не прибавляет.

риалы, т. IV). В этой статье сопоставлены принципы выражения авторского сознания в лирике Пушкина 20-х годов и в лирике поэтов русского последекабристского романтизма.

² О конкретном образе самого Пушкина говорит Н. Л. Степанов в своей книге «Лирика Пушкина». Справедливо протестуя против злоупотребления понятием лирического героя вообще и особенно применительно к Пушкину, Н. Л. Степанов отмечает: «Отказавшись от условного образа „лирического героя“, Пушкин расширяет границы лирики, делает ее центром не условный образ, не романтически-субъективное восприятие действительности, а самую личность поэта...» (Н. Л. Степанов. Лирика Пушкина. «Советский писатель», М., 1959, стр. 124 и др.).

Сквозь творчество Пушкина лейт-мотивом проходит автобиографический образ в сопровождении образов друзей и знакомых поэта. Романтизм сделал избранную личность основным предметом лирики, но эту личность он строил как общую, собирательную. Единичной же личностью во всей ее конкретной «случайности» романтизм обычно не интересовался. Истоки первоначального пушкинского автобиографизма следует искать не в его байронических увлечениях начала 20-х годов, но гораздо раньше — в школе карамзинизма, культивировавшей интимный стиль дружеского послания.

Русское дружеское послание 1800—1810-х годов тесно связано с западноевропейской традицией и вместе с тем это явление в высшей степени национальное, обусловленное обстоятельствами русской культурной жизни.

Русское дружеское послание ориентировалось и на послания Горация и гораздо более непосредственным образом на послания Буало и Вольтера (нередко служившие ему прямым образцом). Но живет русское послание совсем другой атмосферой, устремлениями литературной школы, которая хотела создать поэзию частной умственной и душевной жизни нового человека.

Послание — особенно русское — было жанром, разнообразным по своей стиховой форме (от александрийского стиха до введенного в послание Батюшковым трехстопного ямба) и чрезвычайно емким по своему тематическому охвату. Послание то превращалось в трактат об искусстве (образец дан был еще Горацием в «Послании к Писонам»), то сближалось с сатирой или с элегической медитацией. В то же время послание сохраняло свою специфику: и автор и адресат назывались по имени и наделялись биографическими чертами. Отсюда подтексты, намеки, «домашняя семантика», как называл эту систему Ю. Н. Тынянов.

Поэтические условности, мифология, античная окраска и прочее сочетаются с некоторыми элементами эмпирической, бытовой обстановки. Послание — жанр, в известной степени свободный от классического требования однородности слога, поэтому расширявший возможности лирической поэзии, предсказывавший ее дальнейшие пути.

Абстрактного человека, человека вообще послание заменило новым, частным человеком с именем, с биографией. Все же конкретность этого человека не следует преувеличивать. В дружеском послании условное и отвлеченное как бы борется с эмпирическим и стремится его поглотить. Это относится и к словесной ткани послания, и к его персонажам.

Русское дружеское послание проделало весьма характерную эволюцию. Послание карамзинистов старшего поколения — сам Карамзин, Дмитриев, В. Л. Пушкин — с его мотивами то элегически-медитативными, то сатирическими и полемически литературными, в сущности, только вводило имя, называло адресата, не уточняя его характеристику.

У младших карамзинистов, арзамасцев, адресаты посланий и их друзья становятся уже персонажами, получают некоторую характеристику, правда, весьма условную:

Здесь на почетном месте
Почетный наш поэт,
Белева мирный житель
И равнодушный зритель
Приманчивых сует.
Жуковский, в ранни годы
Гораций-Эпиктет
.....
Питомец сладострастья,
Друг лакомых пиров,

Красавиц и стихов,
Дитя румяный счастья,
И ты, Тургенев, к нам!
И ты, наследник тула
Опасных стрел глупцам
Игривого Катулла,
О Блюдов, наш остряк!
Завистников нахальных
И комиков печальных
Непримиримый враг!

Это послание Вяземского к Батюшкову (1816), в котором античный грим наложен на некие биографические черты, типично для всей поэтики арзамасских посланий. В следующем поэтическом поколении лицейское дружеское послание создавалось в обстановке общения еще более тесного; «домашняя семантика» разворачивается, намеки становятся еще более частными и интимными. Из поэтов ближайшего послепушкинского поколения семантику биографических подтекстов и домашних реаллий широко разрабатывал Языков, притом особенно в связанных с Тригорским — Михайловским посланиях к Пушкину и его няне, к Алексею Вульфу и П. А. Осиповой.

Так преодолевалась безличность жанровых образов поэта. Романтизм, в частности русский романтизм Веневитинова или, позднее, юного Лермонтова, преодолевал эту абстрактность иначе, воздвигая обобщенно-субъективный образ поэта поверх мира биографических реаллий. Недаром в обстановке русского последекабристского романтизма (как и французского романтизма 20-х годов) послание отмирает, а «домашняя семантика» возможна разве что в порядке литературной шутки.

Пушкин же очень рано сделал из поэтики дружеского послания далеко идущие выводы. Об этом писал Ю. П. Тынянов: «Для Пушкина биографически кончился лицейский грим. К 1818 г. относится его послание к Юрьеву, где поэт сбрасывает его... Исключительно биографическими причинами эту смену „лирического героя“ объяснить, конечно, нельзя: „взращенный в дикой простоте“ — мотив, противоречащий и лицейской лирике и биографии одновременно. Но смена „поэта“ совершилась, выступает „поэт с адресом“: потомок пегров безобразный... Лирические стихотворения Пушкина с 20-х годов не только ведутся от имени конкретного „поэта“, но, например, жанр посланий этим совершенно преобразуется: он полон той конкретной недоговоренности, которая присуща действительным обрывкам отношений между пишущим и адресатом».³

Уже Державин ввел в русскую поэзию конкретного человека. Державинский человек, частный, эмпирический, был сыном своего века, но он не был еще посетителем высшей умственной жизни своего времени, выразителем общественного самосознания. В этой пменно роли выступает лирическое «я» Пушкина уже в 20-х годах. В послелицейские послания этих лет проникают декабристские интересы, «домашняя семантика» все явственней перерастает в политические намеки, определяющим становится вольнолюбивый подтекст.

Конкретно-биографический образ поэта с его политическими интересами, литературными и дружескими отношениями всегда сопровождал читателя пушкинских стихов, но никогда не охватывал творчество Пушкина в целом. С посланиями сосуществуют элегии — другая магистральная линия пушкинской лирики 20-х годов.

Пушкин и в элегии рано начинает решать новые задачи. Он решает их без подчеркивания, без резких разрывов с традицией, с великолепным наследием русской элегической школы.

Еще в начале 30-х годов, в разгаре своих реалистических исканий, Пушкин создает ряд стихотворений, всем своим строем связанных с элегической традицией, с его собственным элегическим творчеством прошлых лет: «Заклинание», «Для берегов отчизны дальней...», «В последний раз твой образ милый...», «Когда порой воспоминанье...», «Когда в объятия мои...», «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...» и т. д. В этих стихотворениях 1830—1832 годов авторское «я» предстает в своей элегической оболочке. Изображенный здесь человек любит и страдает, говорит о любви, о смерти, о ревности, об одиночестве и увядании. Но

³ Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы. Изд. «Прибой», 1929, стр. 238—239.

классическая элегия уже перестроена изнутри. Пушкин продолжает здесь психологическую индивидуализацию элегии, начало которой еще в 20-х годах положил он сам и одновременно с ним Баратынский.⁴

В поисках индивидуализации Пушкин не стремился построить новый лирический персонаж, своеобразного лирического героя. Его внимание направлено на другое. В лирическом произведении, кроме лирического субъекта — оценивающего, познающего, переживающего, существует объект, предмет изображения. В традиционной элегии или медитации это чаще всего некая суммарная эмоция или вечная тема, которая в ходе произведения разворачивается и варьируется рядом поэтических формул, нанизываемых на единый стержень. У больших поэтов эти вариации достигали чрезвычайной тонкости, эмоциональной силы, богатства смысловых оттенков — и все же принцип нанизывания и варьирования оставался. Отменяет его элегия Пушкина и Баратынского, выдвинувшая едишечное, психологически конкретное лирическое событие.

Лирическое событие — это не повествовательный эпизод, это некий неповторимый душевный опыт, ставший тем общим опытом, в котором многие узнают себя.

«Мадопа», «Безумных лет угасшее веселье...», «Заклинание», «Для берегов отчизны дальней...», «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...», «Пора, мой друг, пора — покоя сердце просит...» — все это произведения, не оторвавшиеся от прежней лирической традиции, а между тем это небывалое многообразие аспектов душевного опыта и каждый аспект — индивидуальное открытие.

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Здесь говорится, казалось бы, о том же, что варьировалось во множестве элегий: о неизбежности смерти, об усталости от суеты, об уединении и покое и бегстве в любовь и природу. Но здесь совсем другое. Из слов, лишенных иносказательной формы, *нагих*, по выражению Пушкина, всгает неповторимое душевное событие, обладающее всеобщим значением и трагической силой.

Стихотворение внезапно замыкается традиционной поэтической формулой — *обитель... чистых нег*. Но в строгом контексте и эти слова, как и все другие, точно называют свой предмет, сохраняя при этом особый привкус классической прелести.

Страшная реальность этих пушкинских строк, вероятно, не могла бы возникнуть, если бы она не воспринималась как отражение определенной жизненной ситуации. За этой же чреватой гибелью ситуацией следующим планом стояла уже вообще судьба гения в условиях деспотического строя.

2

Автобиографическая конкретность дружеских посланий и других, менее канонических стихотворных обращений к определенным адресатам. психологическая конкретизация элегии — все это подготовляло переворот,

⁴ О психологической конкретности элегий Баратынского см. в статье Е. Н. Купряновой (Е. А. Баратынский. Полное собрание стихотворений. Большая серия «Библиотеки поэта». «Советский писатель», Л., 1957, стр. 16—24).

совершенный Пушкиным в лирике в 30-х годах, переворот, соответствовавший общей направленности его творчества этих лет.

Лирика Пушкина 30-х годов столь же многогранна и несводима к единой формуле, как и его лирика предыдущих лет.

В пушкинском лирическом наследии конца 20 х—30-х годов мы находим и классическую элегию, и сатиру, и стихотворный памфлет («На выздоровление Лукулла», «Французских рифмачей суровый судия...», «Моя родословная»), и гражданские стихи, воскрешающие одические интонации («Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой...»), а наряду с этим альбомные мелочи и шуточные обращения к Д. Давыдову («Тебе певцу, тебе герою!») или Ек. Ушаковой («Я вас узнал, о мой оракул!») и полупереводы-полустилизации, античные, библейские, средневековые.

Среди этого многообразия лирических тем и форм выделяется группа стихотворений совершенно уже внежанровых, принципиально новых по методу и потому с особенной силой раскрывающих новое пушкинское понимание жизни.

В своей книге «Пушкин и проблемы реалистического стиля» Г. А. Гуковский определяет реализм — в том числе и реализм в лирике — в основном как метод социально-исторического истолкования человеческой личности и общественной среды (речь идет о реализме как конкретном направлении, возникающем в середине XIX века). Г. А. Гуковский анализирует два стихотворения 1830 года — «В начале жизни школу помню я...» и «К вельможе» — в качестве замечательных примеров пушкинского исторического реализма, пушкинского воссоздания образов различных исторических культур.⁵ Еще важнее для новых пушкинских решений стихи о современном человеке. Реализм — это конкретное, индивидуальное, включенное в общие связи объективного порядка. По мере того как углублялся историзм Пушкина, автобиографические реалии все больше насыщались историческим содержанием, все больше воспринимались как предметные вехи исторического развития. В этом отношении знаменателен путь, пройденный Пушкиным от лицейских дружеских посланий до лицейских годовщин, где судьбы автора и его друзей пересекаются уже с войнами, революциями, с событиями мирового размаха. Так историческое понимание современности вторгается в лирику — область, наиболее затрудненную для проникновения реализма, ибо лирика, понятно, не располагала и не стремилась располагать теми средствами художественного исследования общих закономерностей, которые присущи, скажем, роману, даже роману в стихах.

В зрелом творчестве Пушкина многообразие лирических тем и форм по-прежнему скреплено конкретно-биографической, конкретно-психологической личностью поэта. Реалии ее биографии по-прежнему обязательно должны быть известны читателям и практически всегда были известны и современникам и потомкам. Теперь эта личность не только выступает в своих исторических и социальных определениях, но и входит в поэзию со своим предметным миром, со своими бытовыми атрибутами, вовсе уже не условными.

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под сободем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

(«Осень»)

⁵ Г. А. Гуковский. Пушкин и проблемы реалистического стиля. Гослитиздат, М., 1957, стр. 280—291.

Для реализма XIX века бытие не распадается больше на противостоящие друг другу сферы высокого и низкого, идеального и вещественного. Реализм открыл художественному познанию единую, монистически понимаемую действительность. Она подлежит нравственному суду и сатирическому обличению, и в то же время в ней самой художник находит прекрасное и великое. Новое понимание действительности порождает новый принцип словоупотребления.

В условных поэтических стилях лирическое слово утрачивало свое предметное содержание, свою материальность. В зрелой поэзии Пушкина слово сохраняет предметность, но оно этой предметностью не ограничено. Оно в то же время является бесконечно расширяющимся поэтическим символом, носителем важнейших жизненных значений.⁶

В 1844 году Белинский писал: «Как истинный художник, Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для своих произведений, но для него все предметы были равно исполнены поэзии... Что для прежних поэтов было низко, то для Пушкина было благородно; что для них была проза, то для него была поэзия».⁷

Лишенное специальной поэтичности, обязательной образности, вообще заранее данного эстетического качества, слово всякий раз приобретает это качество в руках художника. Как это происходит? Каким образом житейское явление претворяется в эстетический факт, обыденное слово — в слово художественное, многозначное, динамическое по качеству своих ассоциаций — вот основная проблема реалистических стилей в поэзии, поскольку в реализме, в отличие от классицизма и романтизма, механизм этих превращений заранее не предreshен.

Пушкин никогда не стремился к безусловному ниспровержению традиций. Напротив того, в своем лирическом обиходе Пушкин до конца сохранил традиционные образы, вековым употреблением освященные поэтические формулы, безошибочно вызывавшие у читателя определенную эмоциональную реакцию и определенный комплекс представлений. В поздней лирике Пушкина традиционная символика нередко втягивает в свой круг обыденное, сырое слово, как бы заражая его поэтичностью окружающего контекста. Но, разумеется, в основном не этим способом создавался новый семантический строй. У писателя-реалиста всегда есть своя шкала высокого и низкого, только обусловлена она не заранее заданными нормами, не метафизическим представлением о противоположности идеального и вещественного, но исторически сложившейся оценкой жизненных явлений. Простое слово, прежде чем стать высоким, поэтическим, эстетически действенным, получает мощный идеологический заряд.

Реализму уже не нужны особые «диалекты» с обязательным отбором слов, освященных эстетической традицией, принадлежащих к той или иной категории поэтической лексики. Ведь теперь любое явление мира, тем самым и любое слово потенциально может вместить жизненную ценность и потому может быть претворено в ценность эстетическую.

Практически, однако, в эстетическое поле зрения попадали все же не все слова и не любые слова. Каждая литературная система — в том числе и реалистическая — имела свои границы изображаемого, свой охват и возможный отбор реалий, обретающих поэтическое звучание. И определялся этот отбор вещей прежде всего присущим данному художнику пониманием человека как носителя общих ценностей.

⁶ Предметность сама по себе вовсе еще не равна реализму. Так, сатира и вообще низкие жанры классицизма широко пользовались предметным, бытовым словом.

⁷ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 330—331. Из «прежних поэтов» Белинский исключал Державина. Он утверждал, что «поэтической натуре» Державина «никакой предмет не казался низким» (там же, стр. 291).

В лирическое произведение автор входит не целиком, не в полноте своего умственного, нравственного, бытового опыта, но лишь некоторыми отобранными и преобразованными чертами своей личности, атрибутами своей жизни, существенными для данной концепции человека.

Пушкин открыл высокую лирику вещам, не наделенным заранее особым эстетическим качеством. Но предметный мир поздней лирики Пушкина — это в большинстве случаев реалии сельской жизни, объемлющей бытие народное, крестьянское и бытие того связанного с деревней дворянского слоя, к которому принадлежал сам Пушкин и в котором он видел самую прогрессивную культурную силу тогдашней России. Поэтизация сельского быта полностью обоснована мировоззрением зрелого Пушкина, его пониманием исторической роли старинного помещичьего дворянства, отношений этого дворянства с народом. Но только гений мог впервые реализовать эту концепцию в мире поэтических представлений.

В «Зимнем утре», в «Осени», в стихотворении «Вновь я посетил...» реалии сельского быта естественно сочетаются с высокими темами природы, свободы, творческого труда и вдохновения. В то же время, вглядываясь в народную жизнь, Пушкин сумел увидеть не идиллию, не гармонию, которую впоследствии искали в ней славянофилы, а трагедию. Поэтому стихотворение 1830 года «Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» предсказало крестьянскую поэзию Некрасова — не только ее тематику, но и самый принцип ее словоупотребления, ее поэтической символики.

В поэзии Пушкина 30-х годов мы не находим, однако, бытовых атрибутов его городского существования. Для Пушкина еще невозможна была поэтизация тех предметных и психологических реалий, которые позднее естественно войдут в лирику поэтов-разночинцев. Некрасов учился у Пушкина предметности и поэтическому преобразованию предметности, но в его лирике охват изображаемого совсем другой. Бытовой материал расширился, стал пестрым, многоплановым.

Кто ей теперь флакон подносит,
Застигнут сеной роковой.
Кто у нее прощенья просит,
Вины не зная за собой?

...
Кто ночи трудные проводит,
Один, ревнивый и больной,
А утром с ней по лавкам бродит,
Наряд торгуя дорогой?
Кто говорит: «прекрасны оба» —
На нежный спрос: «какой взять?»

Меж тем, как закипает злоба
И к черту хочется послать
Француженку с нахальным носом,
С ее коварным: «с'est joli!»
И даже милую с вопросом...
Кто молча достает рубли,
Спеша скорей покончить муку
И, увидав себя в трюмо,
В лице своем читает скуку
И рабства темное клеймо?..

Это не шутка, не насмешка Дмитриева над модной женой, говорившей про шаль из английского магазина: «...Нет, слишком дорога! А ужасно как мила!» Это любовная лирика, полная горечи и страсти. Для изображенного здесь человека, городского интеллигента, данные реалии существенны, выразительны, поэтому они могут стать носителями драматической эмоции.

В лирике XX века урбанистическая личность беспредельно раздвинула границы изображаемого. В поэзии раннего Маяковского сочетание урбанистического начала с революционным, демократическим привело к тому, что действительно любые слова стали возможным лирическим материалом.

Лирический герой «Облака в штанах», огромный человек и в то же время человек вставшей толпы, мятежной улицы, говорит:

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!

Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

То, что в конечном счете к этому привело, началось в русской поэзии именно с Пушкина. Но Пушкин сам в лирическом освоении предметного мира не пошел дальше известных границ. Это были границы основных определений той единичной и исторически обобщенной личности, которую раскрывала зрелая лирика Пушкина.

В свою лирику и в лирические отступления «Евгения Онегина»⁸ Пушкин ввел лицей и лицейское братство, дружеские встречи времен «Зеленой лампы», южную ссылку и странствия по югу России, вторую ссылку, Михайловское, Тригорское. В пушкинском творчестве последнего десятилетия принцип лирического отражения жизненных реалий изменяется.

Лицейское братство 10-х годов и вольнолюбивые мечты 20-х, Кавказ, Черное море, «утаенная любовь», село Михайловское — весь этот жизненный материал органически отливался в поэтические формы. Его оформляли вечные темы дружбы, борьбы за свободу, любви, природы, поэтического уединения, сближения с народом. Теперь только свое пребывание в деревне (Болдино, Михайловское) Пушкин воплощает в лирике бытовыми чертами. Жизнь в Москве и Петербурге, женитьба, семья, литературные отношения, по большей части тягостные, еще более тягостные и губительные отношения с двором и светом — все это многими гранями отразилось в лирике Пушкина, но при этом ушло в подтекст, предстало в опосредствованной форме, не в той откровенно биографической, прямо лирической, в которой даны Михайловское или лицей.

Означает ли это, что в поздней, наиболее зрелой лирике Пушкина авторский образ стал не только обобщеннее, но и абстрактнее, утратил свою единичность? Нет, он не стал отвлеченным, но его конкретность из плана биографического, фактического в какой-то мере переклонила в план философский и психологический. Это оказалось возможным потому, что пушкинские читатели годами воспитывались на живом восприятии реальной судьбы поэта. Они были подготовлены к тому, чтобы в том же личном ключе воспринять философскую лирику Пушкина 30-х годов. В данной связи несущественно, что почти все философские стихи Пушкина последних лет при его жизни не были известны; несущественно потому, что поэт может свои произведения не печатать, но, создавая их, он так или иначе представляет себе своего читателя.

Установки своего читателя Пушкин непрерывно поддерживал, обращаясь к воспоминаниям, т. е. к лирическому материалу, который читатели мгновенно узнавали и принимали во всей его длительно нарастающей эмоциональности. Вне биографических реминисценций не существуют ни лицейские годовщины, ни, скажем, «Вновь я посетил...», стихотворение о связи между прошлым, настоящим и будущим, осмысляющей протекание времени.

... Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять

⁸ О значении автобиографического элемента в лирических отступлениях «Евгения Онегина» см. в статье И. М. Семенко «О роли образа „автора“ в „Евгении Онегине“» («Труды Ленинградского государственного библиотечного института», т. II, 1957, стр. 127–146).

Минувшее меня объемлет живо,
И кажется, вечер еще бродил
Я в этих рощах.

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.

Читатель узнавал воспоминания Пушкина, что помогало ему узнать личность поэта и в других стихах, лишенных биографических реалий. Это была та же знаковая личность, измененная возрастом, временем и обстоятельствами. Она поразила Белинского. «Пьесы, составляющие третью часть, — писал Белинский, — более проникнуты грустью, но не элегическою: это даже не грусть, а скорее важная дума испытанного жизнью и глубоко всмотревшегося в нее таланта».⁹ Высокий строй души, «важная дума испытанного жизнью» человека — это и есть основная тональность поздней лирики Пушкина, особенно философских стихов 1835—1836 годов: «Вновь я посетил...», «Полководец», «Когда за городом задумчив я брожу...», «Из Пиндемонти...», «Мирская власть», «Отцы пустынники и жены непорочны...».

Лирический субъект дружеских посланий 10—20-х годов был непременно эпикурейцем, ленивым мудрецом, приверженцем изящного безделья (это имело свой исторический смысл на фоне требований, предъявлявшихся к человеку бюрократами и ханжами). Авторская личность поздней лирики Пушкина — это, напротив того, прежде всего труженик. Труд поэта и суровая простота трудовой жизни — теперь одна из определяющих тем, и вторгается она иногда неожиданно.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель ..

(«Мадона»)

А стихотворение «Труд» все зиждется на отождествлении поэтического дела с трудом, на том, что поэтическое творчество включается в круг представлений о всяческом созидательном труде человека.

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату принявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Здесь сквозь классически прекрасную оболочку элегических дистихов просвечивает новое и уже вовсе не романтическое понимание творчества. Этот новый поэт в то же время сам Пушкин, грустно расстающийся с только что завершенным «Онегиным».

Стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — программное и ставшее итоговым. В нем образ высокого, народного поэта, казалось бы, обобщен уже до предела. Но для читателя, подготовленного всей атмосферой пушкинской лирики, грандиозные символы «Памятника» естественно сливаются с биографическими реалиями. От общего возвышенного смысла стихотворения ответвляются боковые, частные смыслы, тоже необыкновенно значительные.

Вознесся выше он главою непокорной
Александрійского столпа —

это борьба Пушкина с самодержавием и самодержцев с Пушкиным.

И милость к падшим призывал —

⁹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 353.

это заступничество Пушкина за декабристов.

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца —

это тема журнальной травли, литературного одиночества Пушкина в 30-х годах.

Два образа — самый обобщенный и очень личный — как бы накладываются друг на друга.

В свою позднюю лирику Пушкин, в особом преломлении, внес новые принципы поэзии действительности. Это прежде всего сочетание философского, социально-исторического обобщения с конкретизацией, индивидуализацией явлений предметного и духовного мира. Это конкретность личности лирического поэта, это конкретность единичного лирического события как аспекта его душевного опыта, это, наконец, индивидуализация слова.¹⁰

Поздняя лирика Пушкина, разумеется, не определила в дальнейшем всех путей развития русской лирики XIX и XX веков. Она оказала особенно глубокое воздействие на лирику зрелого Лермонтова, лирику Некрасова, но в центре внимания писателей и читателей так и не оказалась. Вероятно, это произошло потому, что проблему понимания и изображения исторически и социально определенного, психологически раскрытого человека предстояло решать прозе. Пушкин сам этого не сделал, хотя в последние годы своей жизни упорно порывался к психологической прозе. Но Пушкин завещал свою проблематику прозе Лермонтова, Тургенева, Достоевского, считавших себя его наследниками и учениками.



¹⁰ «В реалистическом стиле, — писал Б. В. Томашевский, — вопрос об уместности отдельных слов или выражений в той или иной стилистической системе вытесняется вопросом об уместности слова или оборота в каждом данном индивидуальном случае, в зависимости от темы или предмета высказывания и того отношения к предмету, которое вкладывается в слова писателей». «Стилистическая окраска слова, данная в его собственных исторических судьбах, а не в искусственной системе стилистических слоев классической иерархии, является для Пушкина источником характеристики героев, рассказчика и даже самых идей, на столкновении которых строится лирическое движение» (Б. В. Томашевский. Стих и язык. Филологические очерки. Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 419, 429).

К ИЗУЧЕНИЮ ПОЭМЫ ПУШКИНА «ТАЗИТ»

История изучения неоконченной поэмы Пушкина, условно именуемой «Тазит», свидетельствует о том, что многие вопросы, связанные с ее созданием, еще не решены исследователями. Самой обширной, пытающейся рассмотреть произведение всесторонне и в этом смысле, пожалуй, единственной является статья покойного В. Л. Комаровича «Вторая кавказская поэма Пушкина».¹ Авторы остальных работ, как старых, так и новых, относящихся к этой поэме, чаще всего касались только тех или иных отдельных ее сторон.²

Поэма, как известно, писалась Пушкиным в конце 1829—начале 1830 года. Среди рукописей задуманного поэтом произведения сохранились следующие планы.

I	Изгнание (?)
Обряд похорон	Любовь
Уздень и меньший сын	Сватовство
I день — лань — почта, грузинский купец	Отказ
II — орел, казак	[Священник] Миссионер
III — отец его гонит	Война
Юноша и монах	Сражение
Любовь, отвергнутый	Смерть
Битва — монах.	Эпилог
II	II
Похороны	Похороны
[Три дня] Черкес христианши	Черк. <ес> хр. <христианин>
Купец	Куп. <ец>
[Казак] раб	Раб
Убийца	Убийца
	Изгнание
	Любовь. ³

¹ В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина. В кн.: Пушкин. Временник пушкинской комиссии, 6, Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 211—234.

² См.: С. А. Андреев-Кривич. Пушкин и Ногмов. «Советская этнография», 1948, № 3, стр. 110—113; П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873, стр. 217—220; В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина, статья одиннадцатая и последняя (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, Изд. АН СССР, М., 1955, т. VII, стр. 548—552); С. Бонди. Новые страницы Пушкина. Изд. «Мир», М., 1931, стр. 59—73; Н. Джусоев. Тема Кавказа в русской литературе и в творчестве Коста Хетагурова, 1955, стр. 35—54; Е. Г. Кагаров. Этнографические мотивы в поэзии А. С. Пушкина. «Советская этнография», 1937, № 1, стр. 52—56; Наталья Капиева. Кавказ в русской поэзии первой половины XIX века. В кн.: Литературный Дагестан. Махач-Кала, 1947, стр. 206—208; Н. О. Лерпер. Примечания к стихотворениям А. С. Пушкина. В кн.: Пушкин, т. VI. «Библиотека великих писателей», Пгр., 1915, стр. 457—460 (далее: Пушкин, т. VI); М. Николаев. Пушкин и Кабарда. В кн.: Кабарда. Литературно-художественный альманах Союза советских писателей Кабардинской АССР. Книга третья. Пальчик, 1950, стр. 228—232; З. Г. Османова. О «Тазите» А. С. Пушкина. «Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института», 1957, т. XI, стр. 425—427; В. П. Пожидаев. А. С. Пушкин о Кавказе (к столетию пребывания поэта на Кавказе). Владикавказ, 1930, стр. 12—13; Л. П. Семенов. Пушкин на Кавказе. «Известия Северо-кавказского педагогического института», 1937, т. XIII, стр. 33—62; Б. Томашевский. 1) Поэтическое наследие Пушкина. В кн.: Пушкин родоначальник новой русской литературы. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 315—316; 2) Комментарии к поэме «Тазит». В кн.: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, изд. 2-е, т. IV, Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 565—567; И. Фрадкий. «Тазит». «Литературное обозрение», 1937, № 1, стр. 61—64; Александр Цейтлин. Мастерство Пушкина. «Советский писатель», М., 1938, стр. 77—79.

³ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, 1948, стр. 336—337.

Сравнивая эти планы поэмы с тем, что было написано Пушкиным, убеждаемся, что ни один из них полностью реализован не был.

Из первого плана в тексте поэмы нашли отражение следующие пункты: Обряд похорон; Уздень и меньший сын; I день, грузинский купец (с заменой его армянским); III — отец его гонит; Любовь, отвергнутый. Не разработаны из первого плана в написанном тексте, включая черновики, пункты: из первого дня — лань, почта; из второго дня — оред, казак; Юноша и монах; Битва — монах.

Из второго плана в тексте поэмы Пушкин реализовал: Похороны; Три дня; Купец; Раб; Убийца; Изгнание; Любовь; Сватовство; Отказ. Не реализованы оказались: Черкес христианин; Казак — а также конец плана: Священник; Миссионер; Война; Сражение; Смерть и Эпилог.

Наконец, из третьего плана не был реализован в тексте один только пункт: Черкес христианин, — остальные пункты: Похороны; Купец; Раб; Убийца; Изгнание; Любовь — реализованы.

Из текста поэмы и черновых незаконченных частей ее видно, что в действительности сюжет произведения содержит следующие пункты: Похороны; Уздень и меньший сын; Три дня; Купец; Раб; Убийца; Изгнание; Любовь; Сватовство; Отказ; Сынов изгнание; Скитание.

Все эти сопоставления планов с текстом поэмы, с учетом черновых набросков, сделаны для того, чтобы показать, насколько отошел поэт в процессе работы над поэмой от первоначальных своих наметок, и в связи с этим заняться выяснением основных причин, способствовавших этому отходу.

Следует сказать, что поэма «Тазит» никем обстоятельно не исследовалась с позиций историко-этнографических, кавказоведческих. А между тем Пушкин был осведомлен в этой области куда основательней, чем некоторые его исследователи. Изучение исторических и этнографических сочинений по Кавказу, особенно по черкесам, личные наблюдения явились для поэта важной частью творческого процесса. Во время работы над поэмой кое от чего в первоначальных набросках ему пришлось отказаться, кое-что заменить, переделать. Изучение поэмы с этой точки зрения в ретроспективном плане, т. е. в плане следования от позднего в ее тексте к более раннему, проливает свет на многое в ее творческой истории.

Так, изучая текст поэмы в его отношении к планам и черновым наброскам, мы должны заметить прежде всего, что у таких исследователей поэмы, как П. В. Анненков, Н. О. Лернер и В. Л. Комарович, не было оснований говорить о христианстве героев пушкинской поэмы — Тазите и его воспитателе. Исследователи оказались под сильным воздействием не текста пушкинской поэмы, а ее планов.

Первым мнение о том, что Тазит является христианином, высказал П. В. Анненков.

В своем исследовании «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений» он пишет: «В тетрадях Пушкина отыскана еще и вторая программа Галуба,⁴ которая показывает, что *Тазит был уже христианином еще в ауле своего отца* (курсив мой, — Г. Т.). Ибогда кажется из сличения обеих программ, что поэт имел двойное намерение в отношении своего героя. По первой можно предполагать, что он хотел сделать *инок* орудием его просветления; по второй, что сам инок, или миссионер, упоминаемый в ней, есть Тазит, решившийся на распространение христианства в собственной своей родине».⁵

Рассуждение это вызвано полным незнанием черкесской этнографии. Если бы «Тазит был уже христианином еще в ауле своего отца», Гасуб изгнал бы его из дому и из аула только потсму, что он «гяур» — неверный. История не знает ни одного черкеса, который бы решился в мусульманской среде исповедовать христианство или пропагандировать его. В этом случае он был бы просто убит любым односельчанином, так как этому односельчанину-мусульманину, согласно религиозным представлениям, за этот акт был бы обеспечен рай. Вспомним, как хорошо выразил эту мысль современник Пушкина писатель Илья Радожницкий в своей поэме «Али-Кара-Мирза». Черкесская повесть в стихах, где тени убитых в битве с гяурами черкесов обращаются через странника к своим женам:

Пусть их не плачут, грудь не терзают,
В пебе обещаи нам рай!
С паших кипжалов кровь не стирают...⁶

⁴ Под этим заглавием В. А. Жуковский, неправильно прочитавший в рукописи имя Гасуба, отца Тазита, напечатал поэму в «Современнике» (1837, т. VII). Имя Галуб на Гасуб впервые исправлено С. М. Бонди (А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, т. III, приложение к журналу «Красная нива», М.—Л., 1930).

⁵ П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений, стр. 220.

⁶ Г. Ф. Турчанинов. «Али-Кара-Мирза. Черкесская повесть в стихах» и ее автор. В кн.: Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 81.

Не мог быть Тазит христианином и потому, что воспитывался в чеченском ауле и его воспитателем (аталыком) был старик-чеченец. Из северокавказских горцев-мусульман самыми фанатичными и нетерпимыми к христианству были именно чеченцы. Несомненно, полная неосведомленность П. В. Анненкова в кавказоведческой литературе его времени помешала ему правильно истолковать текст пушкинской поэмы.

Но у П. В. Анненкова были еще и другие шоры — мнение о непременной зависимости Пушкина от Шатобриана, хотя он склонен был думать, что «верность характеру местности и нравственным типам края, истина и трагическое величие сделали бы ее (поэму Пушкина, — Г. Т.) вероятно, явлением совершенно другого рода и не похожим на предшествовавшие образцы».⁷

Комментатор поэмы в издании «Библиотеки великих писателей» под ред. проф. С. А. Венгера Н. О. Лернер, не разделяя точки зрения П. В. Анненкова на то, что рубрика «черкес христианин» в планах Пушкина относится к Тазиту, полагал, что она характеризует воспитателя.⁸ Однако, что такое понимание исключено, явствует уже из сказанного выше о чеченцах.

Наш современник В. Л. Комарович, следуя за П. В. Анненковым, считал Тазита также христианином, но находясь, с одной стороны, под сильным влиянием Шатобриана, а с другой, пытаясь связать образ Тазита с черкесской этнической средой, впадал в противоречие с самим собой. Тазит у него то христианин по врожденной склонности («сам того не зная»), христианин «по природе», то христианин по вероисповеданию — прозелит. Отсюда две различные формулировки. «Тазит, — пишет Комарович, ориентируясь на Шатобриана, — в своих душевных движениях инстинктивен, как женщина, и простодушен, как ребенок. Недаром он, юноша, назван (один раз) *отроком*. Сочетание этих-то признаков Пушкин и озаглавил в соответствующем (2-м) разделе программы (плана, — Г. Т.) словами: „Черкес-христианин“».⁹ В то же время, ориентируясь на черкесскую этническую среду и считая «живым прообразом» Тазита Шору Ногмова (Ногма), Комарович решительно сближает их, в частности, и в отношении к христианству. Последний же, по словам Комаровича, «в детстве и ранней молодости был мусульманином. Следовательно, христианство принял уже взрослым как прозелит».¹⁰ Сделав Ногмова (Ногма) христианином и рассказав о его связях с миссионерами, Комарович пришел к выводу, что эта «ценная биографическая деталь» «разительно совпадает с намеченной для „Тазита“ фабулой».

Этих противоречий можно было бы избежать, если бы В. Л. Комарович менее был озабочен влиянием на Пушкина образов Шатобриана и более интересовался черкесской этнографией. С. А. Андреев-Кривич убедительно показал, насколько путанными и слабыми были сведения Комаровича в этой области.¹¹

Не только В. Л. Комарович, но и предшествующие ему исследователи несомненно достигли бы значительно больших успехов в понимании пушкинской поэмы, если бы они искали разгадку ее образов в черкесской действительности, в черкесской этнографии, которую достаточно хорошо знал Пушкин.

Свидетельством этого является его ранняя поэма «Кавказский пленник», о которой он сам заметил: «...черкесы, их обычаи и нравы, занимают большую и лучшую часть моей повести».¹² Весной 1958 года в библиотеке Центрального военно-исторического архива в Москве научным сотрудником архива Дьяковым была обнаружена давно искомая рукопись современника Пушкина черкесского (адыгейского) бытописателя и этнографа Хан-Гирея.¹³ Рукопись носит заглавие «Записки о Черкесии, сочиненные Хан-Гиреем». Глава IV этого труда, где описывается одежда и вооружение черкесов, заканчивается так: «Едва ли есть народ, в котором каждый воин имел бы на себе столько оружия, сколько имеет каждый воин черкес. Он с ног до головы покрыт и обвешан доспехами. Но все это так хорошо пристроено, что ни одна вещь не мешает ни его ловкости, ни проворству».

Черкес оружием обвешен;
Он им гордится, им утешен;

На нем броня, пицаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан.

⁷ П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений, стр. 220. Здесь и далее за исключением особо оговоренных случаев курсив мой, — Г. Т.

⁸ См.: Пушкин, т. VI, стр. 458.

⁹ В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 226—227.

¹⁰ Там же, стр. 232. Вопрос о Ногмове (Ногма) как возможном прототипе Тазита рассматривается нами ниже.

¹¹ См.: С. А. Андреев-Кривич. Пушкин и Ногмов, стр. 110—113.

¹² Письмо к В. П. Горчакову. См.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 52.

¹³ Это тот самый флигель-адъютант двора е. и. в. полковник Хан-Гирей, с которым встречался у Н. Греча, а затем совместно работал над описанием быта и нравов черкесов В. Бунашев. См.: Из воспоминаний петербургского старожила. «Заря», 1871, № 4, стр. 36—42.

И пашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,

Ничто не брякнет: пеший, конный —
Все тот же он, все тот же вид
Непобедимый, непреклонный.

Эти прекрасные стихи знаменитого русского певца кавказского пленника показывают простоту, удобность и ловкость черкесского оружия и одежды мужчин и действительно одежда и вооружение черкеса в своем роде превосходно.¹⁴

Нужна ли лучшая похвала этнографическим познаниям Пушкина?

Исследователи поэмы Пушкина сплошь и рядом не давали себе труда знакомиться с бытом и нравами черкесов, т. е. с тем источником, из которого черпал свои сведения Пушкин.

Н. О. Лернер считал, например, что «едва ли этнографические сведения Пушкина простирались дальше» фактов, извлеченных из статьи графа Л. Ф. Сегюра (библиотека Пушкина, № 1378), где говорится о кабардинцах по данным записки П. С. Потемкина «О Кабарде».¹⁵

Отправляясь от статьи Сегюра, Н. О. Лернер полагал, что в своей поэме Пушкин, по-видимому, описывает кабардинцев, которых он называет «то черкесами (род), то адехами (вид), то чеченцами (другой вид)».¹⁶ Рассуждение это свидетельствует о совершенном отсутствии у Н. О. Лернера знаний этнографии народов Северного Кавказа. У Пушкина, в противовес Н. О. Лернеру (писавшему, кстати, в 1915 году, когда кавказоведение сформировалось как научная дисциплина), были совершенно четкие представления о народах Кавказа. Пушкин знал, что черкесы это то же самое что адехи (адыге), а чеченцы не имеют к этим двум названиям никакого отношения и являются самостоятельным народом. Достаточно вчитаться в текст поэмы, чтобы убедиться в справедливости такого суждения.

В. Л. Комарович был совершенно прав, когда высказал сомнение в том, что записка графа Сегюра могла сыграть значительную роль для Пушкина в качестве этнографического источника. У Сегюра «Татартуб» читается как «Tatarlouff», «уз-день» как «ousder», названия «адехи» нет вовсе и т. п.¹⁷

Такие названия, как «адехи», «черкес», «чеченец», Пушкин взял из иных источников.

Один из таких источников (откуда Пушкин мог взять термин «адехи») верно указан С. М. Бонди со ссылкой на «Тифлиссские ведомости» за 1829 год, где в №№ 22, 23, 24 и 25 от 31 мая, 7, 14 и 21 июня печатался ряд статей разведчика русской армии поручика Новицкого под заглавием «Географическо-статистическое обозрение земли, населенной народом Адехе».¹⁸ Предположение, что данные статьи могли оказать на Пушкина какое-то влияние, тем более достоверно, что других статей с самоназванием черкесов в таком написании мы во времена Пушкина не знаем.

Однако, как указал Андреев-Кривич, Пушкин, ставя ударение в этом самоназвании на втором слого с конца, указывает и на другой вероятный источник — живую речь,¹⁹ о чем несколько подробнее ниже.

Весьма странно, что исследователи пушкинской поэмы не обращали внимания на книги по Кавказу, имевшиеся в личной библиотеке поэта,²⁰ а именно из этих книг (и, как я постараюсь показать, по преимуществу из сочинения С. Броневского) Пушкин черпал многие этнографические сведения.

¹⁴ См.: В. А. Дьяков. Записки о Черкессии, сочиненные Хан-Гиреем. «История СССР», 1958, № 5, стр. 173—178.

¹⁵ Пушкин, т. VI, стр. 459. Имеется в виду: Mémoires ou souvenirs et anecdots par M. le Comte de Ségur, 3 ed., t. 2, Paris.

¹⁶ Пушкин, т. VI, стр. 459.

¹⁷ См.: Л. В. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 213.

¹⁸ См.: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, т. VI, Путьеводитель по Пушкину, приложение к журналу «Красная нива», М.—Л., 1931, стр. 225.

¹⁹ С. А. Андреев-Кривич. Пушкин и Ногмов, стр. 111.

²⁰ Укажу на следующие книги: П. С. Палас. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб., 1773—1786 (два тома в переплете, пометок нет); Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и дополненные Семеном Броневским. М., 1823 (два тома, обе книги разрезаны); О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске, или общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседственных горских народах, собранные действительным статским советником и кавалером Иосифом Дебу с 1816 по 1826 год. СПб., 1829 (в книге из 464 стр. разрезано 264); Н... Н... Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. М., 1829 (разрезаны стр. 1—12 и 41—47); П. Савенко. Кавказские минеральные воды. СПб., 1828 (разрезана вся); Jean Potocki, comte. Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase. Paris, 1829 (пометок нет).

Обратим внимание прежде всего на термин «чеченец» и убедимся в том, что Пушкин, во-первых, не считал это название видовым к названию «черкес», а во-вторых, имел о чеченцах достаточно сведений, чтобы правильно использовать это название.

О том, что черкесские уздени имеют обычай отдавать своих малолетних сыновей на воспитание в другие аулы и к другим народам, Пушкин мог знать из самых разнообразных источников.

Сведения об аталычестве в том объеме, в каком они были пужны для поэмы, Пушкин мог извлечь прежде всего из книги С. Броневского. Во второй части этого труда, в разделе «Воспитание» (у черкесов), на стр. 107—111 имеются все нужные сведения по этому вопросу, и если там не сказано, что черкесские уздени отдавали на воспитание своих сыновей в Чечню, это отнюдь не значит, что Пушкин по части аталычества не воспользовался Броневским. Сведения об отдаче черкесской знати своих сыновей в чеченские аулы Пушкин мог получить и изустно.

Действие поэмы разворачивается в Малой Кабарде, т. е. на территории, с которой непосредственно граничили чеченцы. Вполне естественно было черкесскому узденю определить сына на воспитание в Чечню.

Теперь обратим внимание на пушкинский текст и посмотрим, в каком значении употреблял поэт термин «чеченец». В поэме этот термин содержится в следующих строках:

Прошло тому тринадцать лет,
Как ты, в аул чужой пришед,
Вручил мне слабого младенца,
Чтоб воспитаньем из него
Я сделал храброго чеченца.

Поди ты прочь — ты мне не сын,
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!
Будь проклят мной!..

Что мог узнать о чеченцах Пушкин из книги С. Броневского? Во второй части этого замечательного для своего времени труда на стр. 172 Пушкин мог прочесть следующее: «... нравы сего колена отличают его от всех кавказских народов злобою, хищностью и свирепым бесстрашием в разбоях, составляющих главное ремесло чеченцев». И далее на стр. 179—181 излагались конкретные приемы этого «ремесла».

Старый Гасуб хотел именно таким видеть своего младшего сына. Это соответствовало вековым традициям черкесского узденя. Именно поэтому Гасуб определил своего сына на воспитание в Чечню. Следовательно, в поэме Пушкина термин «чеченец» употребляется как субстантивированный эпитет, характеризующий одну из сторон старого горского быта. Во времена Пушкина употребительным субстантивированным эпитетом для характеристики горца было слово «хищник». Это слово в силу его частого употребления в речи и печати совершенно потеряло свою экспрессию. Пушкин эпитетом «чеченец» заменяет и обновляет эпитет «хищник», тем более, что и по слухам и по официальным данным о чеченцах шла самая дурная слава. Белинский, который не занимался конкретным исследованием поэмы, которого она интересовала как великое произведение искусства, пушкинский эпитет «чеченец» употреблял вслед за современниками в более широком общественно-политическом значении — для него он был не только синонимом хищничества, но и синонимом варварства и невежества.²¹

Игнорирование исследователями этнографических источников, непосредственно использованных Пушкиным, можно видеть и на другом примере толкования пушкинского текста.

В. Л. Комарович, комментируя слова приведенного выше отрывка — «ты старуха», видит в нем влияние соответствующего места из «Начезов» («Les Natchez») Шатобриана. Для большей ясности приведу это место in extenso: «Родственник Утугамиза, сахем Адарио... лишившийся сына при столкновении с французами... дышит одной только местью... и, подобно старику Гасубу, мстит он хочет во исполнение священного долга перед родиной и умершим, как блюститель традиционного у Начезов обычая кровной мести. Мстителем же избирает последнего в роде, своего племянника, юного Утугамиза. Но месть, задуманная сахемом, распространяется на побратима Утугамиза, Рене. Во имя высшей, чем сама месть, дружбы Утугамиз мстить отказывается. Отказ этот вызывает следующую отповедь из уст Адарио: «Мы поищем другого воина, ревниво помогающегося, чтобы имя его жгло в устах людей. Ну, а ты наденешь на себя одеяние старухи; днем ты будешь по лесам бить маленьких птичек детскими стрелами; ночью ты будешь тайно возвращаться в объятия жены, которая будет над тобой переносить; она народит тебе дочерей, которых никто не захочет взять замуж». «Проклятые Гасуба, — продолжает далее В. Л. Комарович, — тоже выражается в подборе уничтожающих достоинство воина образов; некоторые из них с приведенными из „Начезов“ не схожи вовсе, некоторые имеют отдаленное сходство, один, наконец, тождествен: „Tu prendra

²¹ См.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 549—551.

la tunique de la vieille matrone“ («Ты наденешь на себя одеяние старухи», — Г. Т.). „Ты не чеченец — ты старуха“. Образ — необычайный; тожество его у Шатобриана и Пушкина усугубляется тем, что тожественна породившая его там и тут ситуация, — укор за отказ от долга кровной мести».²²

Представляются весьма сомнительными все эти конкретные сопоставления с Шатобрианом, хотя и не исключена возможность, что своими воззрениями на христианство Шатобриан импонировал Пушкину. Слова «ты старуха» следует рассматривать по связи со сказанными выше относительно слов «ты не чеченец» и искать один, общий источник для всей этой поэтической формулы проклятия.

Заметим, что в одном из черновых набросков у Пушкина вместо слова «старуха» стояло «баба», т. е. «женщина». Это проливает яркий свет на источник пушкинского образа. Он взят из горской, черкесской жизни, и если и связан с шатобриановскими образами из «Начезов», то случайно, ибо эту черту горцев Кавказа, как и североамериканских индейцев, породила одна и та же общественно-историческая обстановка, один и тот же общественный строй: родовая община, военнопатриархальный быт.

У Пушкина для данного образа, как и для «чеченца», источник явно местный. В современной кавказоведческой литературе Пушкин мог почерпнуть этот образ опять у того же С. Броневского. Во второй части его труда читаем: «...всякое мщение, наказание и тем более убийство не может быть произведено в присутствии женщин и отлагается до другого случая». Но что особенно важно для приведенных выше строк Пушкина, так это следующее сообщение Броневского: «Женщина без покрывала и с распущенными волосами бросается в средину толпы сражающихся и тотчас останавливает кровопролитие, тем решительнее и скорее, буде она *пожилых лет* и знатного рода».²³

Можно думать, что, зная Броневского, Пушкин был осведомлен более детально о роли женщины в кровомщении. Он знал не только то, что женщина способна остановить кровомщение, но и то, что сама она по эдату не мстит. Ей это не дозволено, так же как рабу. Был Пушкин осведомлен и о том, с каким пренебрежением относятся черкесская община к трусу.

Иначе говоря, в пушкинском двустишии: «Ты не чеченец, ты старуха, Ты трус, ты раб...» — все было этнографически оправдано и обусловлено, все стояло на своем месте. Недаром поэт во имя единства формулы проклятия заменил рапее имевшееся у него в рукописи слово «пес» на «раб».

На своем месте стоял и «армянин».

Об употреблении Пушкиным слова «армянин» хорошо сказал один из наших современников: «Слово „армянин“ в устах Гасуба вовсе не определяет национальную принадлежность человека; им обозначена совокупность тех понятий и норм поведения, которые составляют моральный кодекс купца, торгующего товаром. Эти понятия и нормы человеческого поведения полностью отрицают то, что Гасуб считал „святым и безусловно истинным“, т. е. „чеченскую мораль“, так как у купца совершенно другое мерило в оценке человеческого достоинства. Он ценит человека не за храбрость в набегах, не за „силу длани“ и „жажду брани“ и не по количеству рабов. В глазах купца оружие и воинственность как средство, а набеги как форма обогащения потеряли всякую цену, для него деньги и коммерческая предприимчивость — вот средства, а торговля — вот форма обогащения. Стало быть, „армянин“ означает нечто враждебное, в корне отрицающее понятия и нормы жизни образцового исполнителя адатов, поэтому именно этим словом, как тягчайшим проклятием, Гасуб заклеил своего сына, отступника адатов».²⁴

Конкретным источником для Пушкина в этом случае мог служить тот же Броневский. В первой части его труда на стр. 55 читаем: «Торговать признается за весьма низкое ремесло между Кавказским рыцарством». А на стр. 56 указано, что предметы торговли «развозятся по всему Кавказу армянами, которые невзирая на трудности путей и претерпеваемые ими насилия, получают нарочитую прибыль в рассуждении малых капиталов, употребляемых на сей мелочной торг».

Пушкин реализовал эти сведения в поэме не только в формуле проклятия, но и в другом плане.

В диалоге Гасуба и Тазита читаем:

Отец.

А не видал ли ты грузин
Иль русских?

²² В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 227—228.

²³ Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и дополненные Семеном Броневским, ч. 2, стр. 131.

²⁴ Н. Джусоев Тема Кавказа в русской литературе и в творчестве Коста Хетагурова, стр. 48—49.

Сын.

Видел я, с товаром
Тифлисский ехал армянин.

Отец.

Он был со стражей?

Сын.

Нет, один.

Отец.

Зачем нечаянным ударом
Не вздумал ты сразить его
И не прыгнул к нему с утеса?

Таким образом, можно считать установленным, что Пушкин пользовался таким письменным источником, как сочинение С. Броневского, но было бы неверным полагать, что Броневский был в этом случае для Пушкина единственным источником.

Мне не удалось, например, обнаружить конкретный источник, которым пользовался Пушкин для характеристики таких сторон кровомщения, как религиозно-мистическая, когда Гасуб угрожает сыну, что неотмщенный брат прыгнет ему на плечи окровавленной кошкой и будет нещадно гнать его к бездне, или такой, как чувство морального удовлетворения: «Упился ты его стенаньем, Его змеиным издыханьем», повертывал ли с наслаждением сталь в горле поверженного врага. К художественному восприятию и той и другой стороны кровомщения могли вести сухие факты вроде тех, которые приводились выше из Броневского.

Вообще можно поражаться, как в немногих словах поэт с исключительной полнотой и художественным лаконизмом представил перед читателем кровомщение, как будто он изучил различные связанные с ним образы и представления.

Идея кровомщения в поэме занимает одно из центральных мест, но будет совершенно неверным думать, как то утверждал В. Л. Комарович, что «темой поэмы и было избрано» «мщение крови».²⁵

Неверно и то, что «в основе поэмы (лежит, — Г. Т.) обычай „аталычества“, как полагал Б. В. Томашевский».²⁶

Кровомщение и аталычество как яркие стороны родового быта горцев выступают у Пушкина в «Тазите» лишь как подтемы, формирующие замысел поэмы, ее тему: изображение нового человека, выросшего на почве столкновений идеи гуманности с человеконенавистничеством, миролюбия с хищничеством, азиатской, «чеченской» морали, как ее назвал В. Г. Белинский, с моралью европейской.

Такое понимание замысла поэмы, ее центральной темы, ставит во весь рост один из труднейших вопросов мировоззрения Пушкина — вопрос об отношении его к христианству, так как первоначально замысел поэмы, ее тема были как-то связаны с ним. Вспомним в его планах такие пункты, как «черкес-христианин», «юноша и монах», «священник», «миссионер». Впоследствии Пушкин отказался от этих пунктов и, как я полагаю, под давлением фактов реальной действительности.

Однако поскольку вопрос о христианстве у Пушкина вставал и замысел поэмы в ее первоначальной редакции имел непосредственное отношение ко взглядам Пушкина на роль христианства в преобразовании бытия черкесов, как это видно по тексту «Путешествия в Арзрум», я не могу не остановиться здесь на отношении Пушкина к христианству как к доктрине.

Наш современник Н. Г. Джусоев высказал мнение, что «распространение христианства Пушкин предлагал как средство против „магометанской веры“, средство, которое религиозному изуверству и вражде между народами — основным идеям мюридизма — противопоставило бы христианское миролюбие и человеколюбие, а также хоть незначительное просвещение, ибо проповедь христианства был связана с церковью, а при ней имелась школа, которая горцам «могла бы дать хоть элементарные начала грамотности».²⁷

Если речь идет о противопоставлении христианства «магометанской вере», то совершенно естественно предполагать, что автор говорит и о христианстве как о вере, ибо противопоставлять можно только равные понятия. Но мы не знаем

²⁵ В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 212.

²⁶ См.: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IV, стр. 566.

²⁷ Н. Джусоев. Тема Кавказа в русской литературе и в творчестве Коста Хетагурова, стр. 50.

у Пушкина таких противопоставлений. Слова Пушкина о том, что черкесы «были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана*, между коими отличался Мансур», «долго возмущавший Кавказ противу русского владычества»,²⁸ противопоставления магометанской веры вере христианской вовсе не предполагают.

Напротив, в одном из вариантов «Путешествия в Арзрум», который писался в годы поездки и был исключен из издания 1836 года, Пушкин говорит: «Терпимость сама по себе вещь очень хорошая, но разве апостольство с нею не совместимо?» Речь явно идет о веротерпимости, о равном, уважительном отношении Пушкина как к магометанству, так и к христианству, которое если и выдвигалось на первый план, то только как средство, «более сообразное с просвещением нашего века» и заслуживающее поэтому самому апостольства.

Нет необходимости «причесывать» Пушкина под ярого противника мюридизма и магометанства. В христианизации черкесов Пушкина интересовала только та сторона, которая способствовала приобщению их к наиболее высокой форме культуры, европейским, а не «азиатским» нормам морали. Этой точки зрения Пушкин придерживался до конца своей жизни, что видно из примечания поэта к очерку «Долина Ажитугай» черкеса Казы-Гирея: «...любопытно видеть, как... магометанин с глубокой думою смотрит на крест — эту хоруговь Европы и просвещения».²⁹

Пушкин, как известно, не состоял членом Русского библейского общества, секретарем которого был близкий его друг А. И. Тургенев, а членами — Орлов, Ипзов и другие знакомые и друзья поэта. Цели и задачи этого общества, его практическая деятельность не отвечали взглядам Пушкина. Оно не занималось приобщением горцев, в частности черкесов, к европейской культуре и просвещению.

Единственная цель, которую преследовал Пушкин, говоря о «дейтельном фанатизме апостолов *Корана*», заключалась в его противопоставлении инертности и ханжеству русских распространителей христианства. «Легче для нашей холодной лениности взамену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты... Лицемеры...» Так заканчивал Пушкин свои замечания о распространении христианства среди горцев.

Приведенное высказывание Пушкина свидетельствует, что он был прекрасно осведомлен о деятельности Русского библейского общества. Это общество в лице его проповедников за все свое многолетнее существование не привлекло в лоно церкви ни одного черкеса, не открыло в землях черкесов ни одной церкви и школы. При отсутствии у черкесов письменности оно печатало для них евангелие на незнакомом им татарском языке.

Во время своего путешествия на Кавказ в 1829 году Пушкин убедился в бесплодности пропаганды христианства среди черкесов не только со стороны русских, но и со стороны шотландских миссионеров под Пятигорском, деятельность которых, может быть, нашла свое отражение в пункте «миссионер».

Нужно ясно представлять себе политическую обстановку в Кабарде в годы путешествия поэта на Кавказ, чтобы говорить о том, в какой мере была реальна пропаганда христианства среди них.

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин писал: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их с привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам».³⁰ Исследователи поэмы «Тазит» почему-то обходили молчанием это место из «Путешествия в Арзрум», а между тем оно является одним из ключей к пониманию того, почему Пушкин в корне изменил замысел поэмы.

В 1822 и 1825 годах в Кабарде происходили всенародные восстания, направленные против колонизаторской политики паризма. Ненависть черкесов имела свои реальные корни. От черкесов действительно отрезали привольные пастбища на реках Золке и Малке, многие аулы были не только разорены, но и сожжены. Заниматься пропагандой христианства в таких условиях было невозможно.

Для того чтобы представить, что непосредственно мог видеть Пушкин во время своей поездки по Кавказу, необходимо совершенно четко и ясно определить путь следования поэта по этому краю.³¹

Кавказский почтовый тракт от Ставрополя до Владикавказа имел на своем пути в 1829 году шестнадцать промежуточных пунктов. Представление о последовательности этих пунктов на почтовом тракте и их названиях весьма важно для

²⁸ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII, Изд. АН СССР, 1938, стр. 449.

²⁹ «Современник», 1836, т. I, стр. 169 (курсив Пушкина).

³⁰ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 449.

³¹ Следует иметь в виду, что официально во времена Пушкина Кавказом именовалась только та территория, которая ныне называется Северным Кавказом. Территория за центральным хребтом именовалась Закавказьем. Название «Северный Кавказ» вошло в употребление лишь с начала 1861 года.

исследователя поэмы, поскольку, как мы увидим, незнание или небрежность в этом отношении могут привести к неверным суждениям и выводам.³²

Кроме этого, необходимо выяснить, где на протяжении этого тракта можно было наблюдать черкесов или каких-либо других горцев.

От Ставрополя до Георгиевска тракт пролегал по степям с русскими казачьими поселениями. Горских аулов здесь не было.

От Георгиевска вправо до Горячих и Кислых вод или по прямой до станицы Екатериноградской тракт либо почти граничил с землями Большой Кабарды (пятигорских черкесов или кабардинцев и отчасти абазинцев), либо непосредственно проходил через эти земли. Наконец, от Екатериноградской до Владикавказа тракт непосредственно пролегал через земли Малой Кабарды (тех же пятигорских черкесов или кабардинцев) и Осетию. Через земли чеченцев тракт не проходил.

Итак, начиная от Георгиевска, включая Горячие Воды и кончая Владикавказом здесь можно было в 1829 году встретить горцев. Но где?

На отрезке тракта от Георгиевска до станицы Екатериноградской путешественники не входили в непосредственное соприкосновение с горской средой. Два черкесских (кабардинских) аула на этом пути следования паходились по ту сторону реки Малки.

Самым небезопасным во времена путешествия Пушкина считался тот отрезок тракта, который пролегал от станицы Екатериноградской до Владикавказа. На этом отрезке пути вплоть до Владикавказа стащили помещались не в казачьих станицах, а при военных постах, отсюда начиналась Военно-Грузинская дорога.

От станицы Екатериноградской караван повозок путешественников и местных поселенцев сопровождал казачий пеший и конный конвой с заряженной пушкой и курящимся фитилем. Однако приводить в действие эту пушку или вступить в перестрелку с черкесами конвою приходилось здесь уже довольно редко. Пушкин верно заметил, что «дух дикого их (черкесов, — Г. Т.) рыцарства заметно упал».³³

Вплоть до Владикавказа через горские аулы тракт не проходил. Встреча с черкесами могла быть здесь только случайной.

Вспомним, как Пушкин, по сообщению М. И. Пущина, пытался на этом отрезке устроить себе встречу с горцами: «...иногда Пушкин садился на казачью лошадь и ускакивал от отряда, отыскивая приключений или встречи с горцами... но ни приключений, ни горцев во всю дорогу он не нашел».³⁴

С горцами Пушкин встретился только под Владикавказом, где он заехал в осетинский аул и попал на похороны. Эти впечатления послужили одним из источников поэмы.³⁵

Больше возможностей было встретить горцев на другом отрезке кавказского почтового тракта: Георгиевск — Горячие Воды.

Непосредственно вблизи Георгиевска в 1829 году горских аулов не было. Находившийся в 40 км к югу от Георгиевска абазинский Бабуков аул во время чумной эпидемии 1813 года был сожжен. В самом Георгиевске черкесов и абазин можно было встретить лишь на местном базаре, да и то в ограниченном числе. Для них большую выгоду представляли Горячие Воды. Сюда они отправлялись для сбыта предметов своего крестьянского труда приезжавшим на воды больным.

Что представляли собой эти горцы и откуда они приезжали? Выяснение местоположения того или иного аула для каждого года, особенно в пределах второго и третьего десятилетий XIX века, для района Горячих Вод является очень важным, поскольку на этой территории Пушкин мог наблюдать жизнь и быт местных горцев (черкесов—кабардинцев и абазин) и поскольку в тот же период времени здесь

³² Перечисляю эти пункты, руководствуясь картой, имеваемой «Почтовая карта Европейской России...», сочиненная, гравированная и напечатанная при Военно-топографическом депо в 1827 году: Ставрополь, Покровское (оно же Бешпигир), Сергиевское, Калиновка, Александров, Сабля, Александрия, Георгиевск, станица Павловская, станица Солдатская, станица Прохладная, станица Екатериноградская (иначе Екатериноград), пост Пришибский, пост Ново-Урухский, пост Верхне-Джугалатский, пост Ардонский, пост Архонский, Владикавказ. От Георгиевска вправо по Подкумку шел тракт на Горячие, а отсюда на Кислые воды. До 1828 года указанный тракт немного отличался в том его отрезке, который представлял Военно-Грузинскую дорогу от Екатериноградской до Владикавказа. После станицы Екатериноградской путь ранее шел через Моздок и далее через редуты Александровский, Константиновский и Камболовский или Елизаветинский. См. по этому вопросу, в частности, справку к путевым запискам «Письма Х. Ш... к Ф. Булгарину или поездка на Кавказ» («Северный архив», 1828, № 4, стр. 103), где сказано: «...ныне переправа через Малку в сей станице (Екатериноградской, — Г. Т.), от которой начинается Военно-Грузинская дорога, а не от Моздока, как до сего было».

³³ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 449.

³⁴ Л. Майков. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899, стр. 391.

³⁵ См.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 449—450; В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 214—212.

происходили сильные изменения в демографическом отношении. В результате вооруженного наступления царского самодержавия на территорию кабардинцев и абазин ряд аулов исчез (они были переселены или уничтожены).

В пачале XIX века в районе Горячих Вод, около гор Бештау и Машуко, было несколько горских аулов. Ранее других упоминался, а затем и исчез черкесский аул Каррас. Название это перешло на основанную здесь в 1806 году колонию шотландских миссионеров. Из черкесов после 1806 года в нем жили только десятка два крещеных. Кроме него, хорошо известен путешественникам был абазинский аул Трам. Сведения и упоминания о нем встречаются почти у всех авторов, посещавших Горячие Воды.³⁶ Находился он в четырех километрах от Константиногорской крепости по дороге, ведущей в Кисловодск. В 1818 году этот аул за противодействие царской колонизаторской политике был сожжен, а жители его переселены за пределы района Горячих Вод.³⁷

Кроме этих двух, сравнительно рано исчезнувших аулов, в районе Горячих Вод известны еще аулы, которые просуществовали здесь более долгое время, например Аджи аул (он же Аджиев аул или Хаджи-Кабак), Карма аул, Арсланбек (или Асланбек) аул и Найман аул.

Очевидцы указывают, что Аджи аул находился у юго-восточного склона горы Бештау, километрах в двух от Карраса и километрах в пяти от Горячих Вод.³⁸ Во второй половине 20-х годов XIX столетия он был особенно известен посетителям Горячих Вод, так как приезжие отправлялись туда, чтобы присутствовать на религиозном мусульманском празднике Байрам, сопровождавшемся пением и плясками горцев.³⁹

По соседству с Аджи аулом находился Карма аул, а на противоположном склоне Бештау Арсланбек или Асланбек аул. В пяти километрах от Карраса был аул Найман.

Осенью 1828 года Аджи аул и Карма аул были переселены на реку Малку, километров за пятьдесят от Горячих Вод. Первый составил квартал Хаджи-хабля в ауле Ашабей (ныне аул Малка), второй самостоятельное селение Карма-хабля (ныне аул Камешномостский). Часть семей Аджиева аула влилась в новый Кармов аул.⁴⁰

Названия аулов Арсланбек и Найман позже 1820 года в источниках не встречаются и, как можно полагать, они были переселены или уничтожены до этого времени.

Переселение аулов или уничтожение их, часто по незначительному поводу, было одной из форм подавления царским правительством народно-освободительной борьбы горцев. После двух больших вооруженных народных восстаний в Кабарде в 1822 и 1825 годах, направленных против колонизаторской политики царизма, Кабарда была замирена, но не покорена. Положение внутри Кабарды было еще напряженным. В связи с этим военное командование не только стремилось рассредоточить группы аулов и переселяло горцев, но и селило так называемых мирных горцев (в данном случае черкесов—кабардинцев и абазин) на землях, граничащих с военной линией. О том же, как частенько вели себя эти мирные горцы по отношению к своим пемирным единоплеменникам, хорошо и верно сказал сам Пушкин.

Исходя из всего сказанного, можно констатировать, что к моменту второй поездки Пушкина на Кавказ, когда по возвращении из Арзрума в августе-сентябре 1829 года он остановился в Горячих Водах, здесь уже не было ни черкесских (кабардинских), ни абазинских аулов, известных ему по пребыванию в 1820 году.

³⁶ См.: *G ü l d e n s t a e d t. Reisen durch Russland und Kaukasischen Gebürge*, II Teil, SPb., 1791, S. 23; *Voyage entrepris dans les gouvernements meridionaux de l'Empire de Russie dans années 1794 par M. le prof. Pallas*, v. I. Paris, 1805, p. 389; Вл. Измайлов. Путешествие в полуденную Россию, ч. 4. М., 1802, стр. 99; *Lettres écrites dans un voyage de Moscou au Caucase, pour servir de guide aux personnes qui se rendent aux de ce pays*, par le d-r Kimmel. Moscou, 1812, p. 187, и др.

³⁷ Б. Потто. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, т. II. СПб., 1913, стр. 395.

³⁸ См.: *W. Glen. Journal of a tour from Astrachan to Karras*. London, 1823, p. 102; *E. Henderson. Biblical researches and travels in Russia, including a tour in the Crimea, and the passage of the Caucasus*. London, 1826, p. 538; Са в е н к о. Кавказские минеральные воды. СПб., 1828, стр. 119—120.

³⁹ См.: П. С в и н ъ и н. Письмо издателя «Отечественных записок» к редактору. «Отечественные записки», 1825, ч. 23, стр. 242—243; *J ä g e r. Reisen von St. Petersburg in die Krim und des Kaukasus in Jahre 1825*. Leipzig, 1830, S. 102—106; П С Письма с Кавказа «Московский телеграф», 1830, № 11, стр. 324; Ив. Д о б р о д е е в. Байрам черкесский. «Вестник Европы», 1828, август, стр. 22.

⁴⁰ Из дневника Глена, посетившего Аджи аул под Бештау в 1820 году, мы знаем о наличии в нем влиятельных фамилий Аджа и Абазаван. Позже, в 1837 году, академик А. М. Шёгрэн, посетивший тогда Кармов аул на Малке, указал, что основными фамилиями этого аула являются Карма, Аджа и Абазан (*Sjögren, Dagbok*, 1837, Архив АН СССР).

Здесь же Пушкин воочию убедился и в полном отсутствии каких-либо результатов от деятельности шотландских миссионеров. Деятельность шотландских миссионеров в колонии Каррас под Пятигорском не только встречала противодействие упорно не желавших креститься горцев, но во время пребывания Пушкина в Горячих Водах в августе-сентябре 1829 года не имела для развития и реальной основы: горских селений здесь уже не было, а миссионерская деятельность шотландских «апостолов» никогда не выходила за пределы аулов, группировавшихся вокруг Горячих Вод.

Таким образом, утверждение В. Л. Комаровича, что «в 1829 г. „апостольство“ среди черкесов, к которому взывал Пушкин, он только и мог найти тогда среди шотландских колонистов Пятигорска»,⁴¹ не имеет под собой должного основания.

Намеченные первоначально Пушкиным в планах поэмы пункты «черкес-христианин», «черкес и монах», «священник», «миссионер» потому именно и исчезли, что поэт видел их жизненную переальность. Будь они оставлены и реализованы, произведение не утверждало бы «правды жизни».

Но что же в таком случае могло оказаться основой произведения и почему образ Тазита не был оставлен поэтом?

Мне представляется, что в образе Тазита нашло свое отражение то новое, что проникало на Кавказ вместе с русской культурой. Это новое заключалось в том, что, несмотря на подогреваемую царскими властями вражду между русскими и черкесами, эта вражда шла на убыль. Мирные формы жизни русского населения оказывали благотворное влияние на соседящих с ними черкесов. Князья и уздени становились менее воинственными и все чаще извлекали пользу не из хищничества и разбоя, а из службы в русских военных организациях. Все это особенно отражалось на молодом поколении, на которое образ русской жизни и культура оказывали действие, смягчающее их нравы и благоприятствующее развитию новых взглядов. Иначе говоря, в поэме показан конфликт между сыном и отцом как конфликт между старыми феодально-патриархальными формами черкесской жизни и быта и тем новым, что неодолимо входило в быт и культуру черкесов благодаря все растущему сближению их с более передовой и развитой культурой русских.⁴²

Пушкин был первым поэтом, который не прошел мимо этой новой поросли в старом черкесском обществе, а Белинский был первым, кто отметил в поэме Пушкина трагическую коллизию между отцом и сыном как коллизию между старым обществом и новым человеком.

Небезынтересны также поиски конкретного лица, которое могло послужить Пушкину прообразом молодого героя его поэмы.

Первую попытку в этой области сделал покойный В. Л. Комарович. В своем исследовании о поэме он выдвинул в качестве прообраза пушкинского героя выдающегося деятеля черкесской (кабардинской) культуры и просвещения первой половины XIX столетия Шору Ногма (Шору Ногмова).

С. А. Андреев-Кривич со знанием кавказоведческого материала подверг критике эту догадку В. Л. Комаровича как необоснованную.⁴³ Это особенно важно было сделать потому, что ошибочное мнение В. Л. Комаровича нашло горячий отклик в кругах черкесской общественности и среди местных литературоведов, давших ему дальнейший ход.⁴⁴

В чем же заключалась ошибка В. Л. Комаровича в отношении Ш. Ногма, которого он выдвинул в качестве прообраза пушкинского героя? Ошибка заключалась прежде всего в том, что Комарович физически «столкнул» Пушкина с Ногма в таком месте и в такое время, где и когда встреча эта не могла состояться.

Со ссылкой на «Путешествие в Арзрум» в качестве предполагаемого места встречи Пушкина с Ногма В. Л. Комарович указал крепость Нальчик, а время — 1829 год.⁴⁵ Между тем во всех рукописных и печатных текстах «Путешествия в Арзрум» крепость Нальчик не упоминается. И это естественно. Крепость Нальчик находилась северо-западнее станицы Екатериноградской и переправы через Малку километров на 40—50, так что Пушкин во время своего путешествия не проезжал даже поблизости от нее.

Источником ошибки В. Л. Комаровича явилось одно место из книги Н. .Н. . «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году» (М.,

⁴¹ В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 231.

⁴² О том, что Пушкин интересовался взаимоотношениями русских и черкесов, говорят наличие у него замысла написать произведение на эту тему. Вот черновой набросок Пушкина к теме «Русская девушка и черкес»: Станица—Терек(?)—за водой—невеста—черкес на том берегу—она назначает ему свидание [он хочет увезти ее]—тревога—бабы [убивают молодого черкеса (?)] берут его в плен—отсылают в крепость—обмен—побег девушки с черкесом» (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 159).

⁴³ С. А. Андреев-Кривич. Пушкин и Ногмов, стр. 110—113.

⁴⁴ См.: М. Николаев. Пушкин и Кабарда; Х. И. Теунов. Введение (в кн.: Антология кабардинской поэзии. М., 1958).

⁴⁵ В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 218.

1829), где на стр. 66—67 читаем: «Здесь (в Екатеринограде, — Г. Т.) оканчивается Кавказская область и поездка в Грузию чрез земли горских народов делается занимательнее. Проезжающие пропускаются отсюда два раза в неделю, тогда, когда проходит почта, с сильным конвоем пехоты и казаков и с одною пушкою; а потому кто придет ранее назначенного для отправления колонны времени, тот должен дожидаться. Мы по несчастью подверглись этой участи и, поместившись в отведенной нам скудной и скучной квартире, приготовились было к терпению дни на три, но судьба, сжалившись над нашим положением, доставила утешительное известие, что завтра следует в крепость *Нальчик* отряд казаков, которому приказано от коменданта проводить нас до первого укрепления, называемого Пришиб».

Не проверив маршрута, В. Л. Комарович решил, что крепость Нальчик лежит на пути из Екатеринограда (станицы Екатериноградской) во Владикавказ, в то время как ни до Пришиба, ни после него на данном тракте никаких крепостей не было. В этом можно убедиться, просматривая перечень пунктов этого тракта в сноске 32. Источником ошибки Комаровича могла стать только эта книга, ибо в других произведениях о Кавказе, которые использовал в своей статье В. Л. Комарович, крепость Нальчик не упоминается.

В доказательство возможности встречи Пушкина с Ш. Ногма В. Л. Комарович ссылается также на свидетельство кавказоведа А. Берже, который в биографической заметке о Ш. Ногма «передает со слов лично знавших его „некоторых кабардинцев“, что „Ногмов познакомился с Пушкиным во время бытности его в Пятигорске; что Ногмов содействовал поэту в собирании местных народных преданий и что поэт, в свою очередь, исправлял Ногмову перевод песен с адыгейского (черкесского, — Г. Т.) языка на русский“».⁴⁶

Самый факт знакомства Пушкина с Ш. Ногма и встреч их на Кавказе не может считаться документально установленным. Возможно, что память «некоторых кабардинцев», рассказывавших А. Берже о знакомстве Пушкина с Ш. Ногма уже в 60-х годах XIX века, изменила им и что речь шла не о Пушкине, а о поэте С. Д. Нечаеве, действительно встречавшемся с Ш. Ногма в Пятигорске летом 1825 года.

Достаточно прочесть соответствующее место из статьи С. Д. Нечаева «Отрывки из путевых записок о юго-восточной России»,⁴⁷ чтобы убедиться в справедливости такого предположения. Нечаев писал: «В стихотворениях кабардинских, древних и новых, не нашел я правильного размера, но везде богатую рифму по образцу арабских и персидских. Из перевода Шоры, за точность которого он сам отвечать не мог, замечается некоторое сходство с шотландскими песнями, изданными Макферсоном. Те же сравнения из дикой, величественной природы, те же предметы: кровавые битвы, похищения красавиц, сегования о убиенных воинах и тому подобное».

Итак, Шора Ногма переводил для С. Д. Нечаева собираемые им местные кабардинские предания, что подтверждается сообщаемой Нечаевым тематикой, а Нечаев исправлял эти переводы с черкесского на русский и, по-видимому, помогал Ш. Ногма в переводе собранных самим Ногма сказаний.

Кабардинцы, звавшие этот факт, со временем забыли фамилию малоизвестного поэта Нечаева и подставили вместо нее фамилию Пушкина, который несомненно был им знаком как творец «Кавказского пленника» и имя которого гремело на Горячих Водах уже в 1827 году.⁴⁸

Для доказательства встречи Пушкина с Ш. Ногма в Пятигорске пока что нет никаких данных, как нет никаких следов и того, что Пушкин собирал черкесские предания, поэтому и досадно, что покойный Б. В. Томашевский принял это утверждение без каких-либо оговорок за истину.⁴⁹

В 1820 году Пушкин был в течение двух месяцев на Горячих Водах, но нам неизвестно, жил ли Ш. Ногма в это время в Аджиевом ауле под Бештау, как неизвестно, бывал ли в эти месяцы Ногма в Пятигорске и посещал ли Аджиев аул Пушкин. Но предположим даже, что Ногма жил в 1820 году в Аджиевом ауле, что Пушкин этот аул посещал, что Ногма в течение двух месяцев пребывания Пушкина на Горячих Водах бывал в Пятигорске, все же факт пребывания в одном и том же месте двух лиц отнюдь не означает, что эти лица должны обязательно встретиться, а встретившись, познакомиться. Иногда даже при желании встреча может не состояться. Достаточно вспомнить из жизни Ногма хотя бы такой факт: в 1821 году миссионер Гендерсон, много слышавший о Ногма от своих собратьев по колонии Каррас, поехал в Аджиев аул, чтобы свидеться с ним, но не застал его дома, так как тот в это время принимал участие в военной операции.⁵⁰

⁴⁶ Там же, стр. 217.

⁴⁷ «Московский телеграф», 1826, ч VII, отд. I, стр 35—37.

⁴⁸ См.: Н. . . Н. . . Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году. М., 1829, стр. 47.

⁴⁹ См.: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IV, стр. 566—567.

⁵⁰ См.: E. Henderson. Biblical researches and travels in Russia, including a tour in the Crimea, and the passage of the Caucasus, p. 538; Г. Ф. Турчанинов. Шора

Еще меньше данных для того, чтобы говорить о возможной встрече Пушкина и Ногма в 1829 году. В это время Ногма находился на военной службе в крепости Нальчик (в 90 км южнее Пятигорска). Он мог, конечно, по той или иной надобности посетить Пятигорск, когда там был Пушкин, но мог и не посетить. К тому же Аджиева аула, в котором он жил ранее, в 1829 году под Пятигорском уже не существовало. В 1828 году он был, как сказано выше, перенесен на реку Малку.

Таким образом, никаких данных, подтверждающих встречу Пушкина с Ногма на Кавказе в 1820 или 1829 годах, у нас нет.

Нет таких данных, чтобы говорить о встрече Пушкина с Ш. Ногма весной 1830 года в Петербурге, когда поэт, вероятно, еще писал поэму. Ш. Ногма прибыл в Петербург 1 (12) апреля 1830 года. 7 (19) декабря 1830 года он в составе Кавказско-горского полужескадрона выступил из Петербурга в Вильно и возвратился в Петербург лишь 28 февраля (11 марта) 1832 года. Пушкина же, как известно, с 13 (25) марта 1830 года и до середины мая 1831 года в Петербурге не было.

В связи со всем этим первый тезис статьи В. Л. Комаровича о том, что Пушкин получил от Ш. Ногма этнографические сведения, которые использовал в поэме «Тазит», как и другой тезис, что Ногма для Пушкина явился прообразом Тазита, не может считаться доказанным.

Однако наряду с этими и некоторыми другими неверными положениями и фактами, критику которых отчасти можно найти в уже цитированной статье С. А. Андреева-Кривича, у В. Л. Комаровича есть одно весьма важное положение, могущее стать плодотворным при правильном подходе к кавказоведческому материалу. Это положение сводится к тому, что «за счет только зрительных впечатлений дороги весь использованный в поэме этнографический материал отнести конечно нельзя».⁵¹

Мы не осведомлены о том, кто конкретно и где именно мог быть собеседником Пушкина, но, вчитываясь в произведение, мы поражаемся той исключительной точности, с какой поэт использовал местный элемент.

В одной из новейших статей о «Тазите», принадлежащей перу З. Г. Османовой, поставлен вопрос, не отражают ли реальную действительность и не служат ли своей семантической основной идеи произведения собственные имена поэмы.⁵² Вывод автора оказался положительным. З. Г. Османова пришла к заключению, что имя «Тазит» было образовано от персидского تاز (тазе) (новый, свежий, молодой)⁵³ тем путем, каким образованы тюркские имена «Мажит», «Сабит» и т. п.

В отношении имени «Тазит» эта точка зрения автора не вызывает никаких возражений, но З. Г. Османова допускает ошибку, когда полагает, что имя «Гасуб» образовано от арабско-персидского гасеб — захватчик, узурпатор.⁵⁴ В русской передаче эта форма не могла бы звучать «гасуб» с «у». Слово «гасуб» взято не из персидского, а из арабского языка, где оно в соответствии русской форме звучания

كاسب (гасыб) означает: хищник, разбойник, грабитель.⁵⁵ Вспомним, что слово «хищник» было официальным эпитетом черкеса пушкинского времени.

Имена «Тазит» и «Гасуб» не являются традиционными ни для черкесов, ни для других народов Кавказа магометанского вероисповедания. Они специально подобраны поэтом для выражения основной идеи произведения и к тому же подобраны в полном соответствии с вековыми приемами образования мусульманских собственных имен. Поэту, как мы убеждаемся, хорошо было известно, что в черкесской среде распространены имена-прозвища, и эта тенденция в образовании собственных имен была им блестяще использована.

Тазит в поэме — представитель свежей поросли, представитель нового, будущего уклада общественной жизни черкесского общества, Гасуб — хищник, пред-

Бекмурзович Ногмов. Серия документальных свидетельств из жизни и деятельности. Нальчик, 1944, лист. 4.

⁵¹ В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 212.

⁵² З. Г. Османова. О «Тазите» А. С. Пушкина, стр. 425—427.

⁵³ Б. В. Миллер. Персидско-русский словарь. М., 1953, стр. 105, 6; Jul. Th. Zenker. Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, Band 1, Leipzig, 1866, S. 245, c.

⁵⁴ Б. В. Миллер. Персидско-русский словарь, стр. 354, в.

⁵⁵ Jul. Th. Zenker. Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch. Band 2, 1876, S. 644, a. После того как эта статья была уже закончена, при подготовке запроектованного Архивом АН СССР краткого обзора рукописей и бумаг, оставшихся после смерти академика Н. Я. Марра, мне удалось обнаружить, что пальма первенства в определении семантики имени «Гасуб» принадлежала ему. В бумагах Н. Я. Марра оказались три небольших листика, посвященных этому имени. Исследование относится к 1925 году и было предпринято, по-видимому, по просьбе кого-либо из пушкинистов. В отношении имени «Гасуб» в нем сказано: «... с каким значением причастие „gasiб“ геср. Гасуб или Хасуб могло служить именем, это уже надо самому догадываться. Вероятно, как имя, причастие это было воспринято со значением насильника, тирана» (Архив АН СССР, ф. 800, оп. 1, № 1227).

ставитель уходящего общественного строя. Эти два имени как нельзя лучше подтверждают истинный замысел и идею поэмы.

Кроме всего сказанного, нельзя не обратить внимания исследователей поэмы на то обстоятельство, что имена «Тазит» и «Гасуб» созданы по подобию имен мусульманского ономастического. Среди кавказских горцев-христиан эти имена не употребительны. Этот факт является неопровержимым свидетельством того, что идея христианизации героя в процессе создания поэмы была оставлена поэтом.

У нас нет данных о том, что поэт знал персидский и арабский языки, между тем имена «Тазит» и «Гасуб» образованы с полным знанием этих языков. Кто был осведомителем и помощником Пушкина в этой ономастической работе? То ли во время путешествия извлек Пушкин эти данные, то ли воспользовался чьими-то консультациями в Петербурге, позже, когда писал поэму? Ответить на этот вопрос невозможно.

Кроме этих двух собственных имен, в поэме весьма интересно в фонетическом отношении, с позиций восприятия туземной речи, название «Татартуб».

О том, что Татартуб являлся в прошлом для черкесов священным местом, Пушкин мог узнать из печатных источников, ближайшим образом из книги С. Броневского. Во второй части этого труда, в разделе «Достопамятности в черкесских областях» можно прочесть: «Кабардинцы имеют великое уважение к остаткам старинного города Татартупа, лежащего в Малой Кабарде на западном берегу Терека, в семи верстах ниже устья реки Камбулея. Сии развалины, из коих некоторые башни и церкви остались в целости, почитаются за нерушимое убежище для убийц от преследования мстителей; прежде сего у Татартупа совершались между кабардинцами все клятвы и договоры для вщящей оных крепости».⁵⁶

Однако, вчитываясь в пушкинские строки поэмы «Тазит», где упоминается Татартуп (у поэта: Татартуб) —

В нежданой встрече сын Гасуба
Рукой завистника убит
Вблизи развалин Татартуба,

и учитывая, что Татартуп отнесен Пушкиным в «Путешествии в Арзрум» к Большой, а не к Малой Кабарде, приходишь к выводу, что Пушкин ввел это название в поэму используя не книжный источник, а живую речь. К такому заключению обязывает и паличие конечного «б», а не «п». Эта форма могла появиться только в результате непосредственного акустического восприятия слова, так как в печатных источниках, которыми мог пользоваться Пушкин, это название дано везде с конечным «п». Тюркское, заимствованное черкесами название «Татартуп» имеет в тюркской среде два одинаково возможных варианта произношения: تاتارتوب (татартуб) и تاتارتوپ (татартуп)⁵⁷ — и означает буквально «место под татрами».

Здесь же следует заметить, что название «Татартуб» с «б» вместо «п» дано Пушкиным и в прозаическом тексте «Путешествия в Арзрум», следовательно, это «б» есть явление фонетически естественное, а не искусственное, не изобретенное ради рифмы: Гасуба — Татартуба.

То же самое можно сказать и в отношении названия «адехи». Пушкин, конечно, мог читать в «Гифлиских ведомостях» статьи Новицкого «Географико-статистическое обозрение земли, населенной народом Адехе», однако постановка ударения в этом слове, как отметил еще Андреев-Кривич, на втором слоге с конца говорит за то, что Пушкин взял его из живой речи. Если присмотреться к пушкинскому «адехи» в сравнении с «адиге» Броневского, «адиги» Гильденштедта и «adighe» Потоцкого,⁵⁸ можно видеть, что Пушкин дает «х» там, где у Броневского, Гильденштедта и Потоцкого стоит «г». Передача Пушкиным самоназвания черкесов в форме «адехи» довольно близка к произношению, ибо в черкесском «адыге» звук «г» фрикативный, средней звонкости, передаваемый, в частности, в этом названии черкесским (кабардинским) филологом пушкинского времени Ш. Ногма через «х». У Пушкина название несколько русифицировано. Эта русификация сказалась в том, что слово склоняется по нормам русской речи, и в том, что «е muet» предпоследнего слога заменен «е». Источником такой получеркесской, полурусской формы мог быть какой-либо местный русский, ибо только недостаточно усвоившим черкесскую речь русским свойственно смещение черкесских передних гласных «ä» (е) и «ы» (е muet).

⁵⁶ Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и дополненные Семенов Броневским, стр. 53—54.

⁵⁷ Для послелогого توب (tüb) или توب (tüb) см.: Jul. Th. Z e n k e r. Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, Band 1, S. 318, a.

⁵⁸ Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и дополненные Семенов Броневским, ч. 1, стр. 43; Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа из путешествия академика И. А. Гильденштедта через Россию по Кавказским горам в 1770, 71, 72 и 73 годах, СПб., 1809, стр. 135; Jean P o t o c k i. Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase, p. 252.

Любопытно, что самоназвание черкесов — ады́ге (у Пушкина — адё́хи), хорошо известное поэту, оказалось неизвестным нашим современникам литературоведам В. Л. Комаровичу и Б. В. Томашевскому. Первый увидел в пушкинском «адёхи» черкесское племя «абадзёхи», а последний без какой-либо проверки принял это.⁵⁹ Однако достаточно было бы заглянуть в сочинение С. Броневского, которым пользовался Пушкин, чтобы убедиться, что этой путаницы у Пушкина быть не могло. Абадзё́хи или абазё́хи относятся к черкесам закубанским,⁶⁰ а Пушкин описывает черкесов кабардинских, из Малой Кабарды, где Татартуп, Военно-Грузинская дорога и река Терек.⁶¹ Абадзёхи сюда даже не заходили.

Не подлежит сомнению, что у поэта в период «заготовок» материала для его поэмы были какие-то осведомители, живые источники, о которых мы ничего не знаем, но которые оставили свой ощутимый след в восприятии поэтом опомастических, топонимического и этнонимического названий в поэме «Тазит».

Нельзя также пройти мимо тех этнографических впечатлений и сведений, которые поэт заново приобретал во время второго своего путешествия через Кавказ, поскольку они создавали тот фон, на котором развертывалось действие поэмы. Поэт, например, блестяще реализовал впечатление от виденных им в осетинском ауле похорон, изменив, однако, по этническому ракурсу поэмы осетинскую среду на черкесскую.

Извлеченное из дневника «Путешествия в Арзрум» и ставшее зачином поэмы описание похорон благодаря изменению этнической среды и места происходящих событий (Малая Кабарда) давало возможность косвенно использовать сообщение о Татартупе как священном для черкесов месте:

Рукой завистника убит
Вблизи развалин Татартуба.

Именно «вблизи» а не «среди» развалин Татартупа. Черкес не мог совершить убийство на священной территории. Но это мог сделать казак, в связи с чем ср. в черновиках поэмы:

Среди развалин Татартуба
Убит рукою казака.

С изменением этнической среды перед поэтом предстала возможность внести определенность и ясность в описание некоторых обрядов. Поэт «очеркесил» их, придал им окраску черкесской мусульманской среды, блестяще отразил сосуществование адата с шариатом:

Слагают тело на арбу
И с ним кладут снаряж войсковой:
Неразряженную пицаль,
Колчан и лук, кинжал грузинской
И пашки крестовую сталь,
Чтобы крепка была могила,
Где храбрый ляжет почивать,
Чтоб мог на зов он Азрайла
Исправным воином встать.

С позиций той же черкесской этнографии подошел поэт и к объяснению факта погребения сына Гасуба вдали от аула. Для поэмы, по-видимому, были использованы те наблюдения, которые Пушкин записал в дневнике своего «Путешествия в Арзрум»: «Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два, три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская (арабская, — Г. Т.) надпись, изображение пашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка».⁶²

То, что сказано у Пушкина в отношении черкесских надгробий, этнографически не совсем точно. Под памятником чаще всего никто не погребался. Наездника хоронили на обычном кладбище в ауле, а памятник ему для обозрения путниками ставился у дороги. Для Пушкина эта этнографическая деталь не так уж была важна. Так, в результате этнографических наблюдений в пути возникли строки:

В долине той враждою жадной
Сражен наездник молодой,
Там ныне тель могилы холодной
Воспримет труп его немой...

⁵⁹ См.: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IV, стр. 586.

⁶⁰ См.: Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и дополненные Семеном Броневским, ч. 2, стр. 62—64.

⁶¹ См.: там же, стр. 53, 90—93.

⁶² Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 448—449.

Можно было бы указать еще ряд других этнографических фактов, не ускользнувших от наблюдательного взора поэта и так или иначе претворенных в поэме.

Наблюдения над текстом поэмы дают основания утверждать, что к использованию сочинения С. Броневского как источника историко-этнографических сведений о Кавказе и черкесах Пушкин приступил уже в процессе работы над поэмой.

Вот несколько примеров.

Фигурировавший в первом плане поэмы «грузинский купец» в тексте заменен армянским. Эту поправку поэт, по-видимому, сделал после того, как прочитал у Броневского о том, что торг среди черкесов ведут армяне (см.: ч. 1, стр. 56).

Первоначально в тексте обращения воспитателя к Гасубу было сказано, что с тех пор, как Гасуб отдал ему на воспитание младшего сына, прошло семь-восемь лет, а в варианте белой рукописи и в последующей ее редакции стоит уже тринадцать лет. Эта поправка сделана после чтения Броневского (см.: ч. 2, стр. 107—108 и далее), где сказано, что сыновья знатных черкесов отдавались на воспитание в возрасте трех-четырёх лет, а возвращались в семью совершеннолетними (т. е. шестнадцати-семнадцати лет).

Достаточно широко представленное в первоначальных набросках поэмы слово «уздень» в последующих редакциях повсеместно исчезло, оставшись только в стихе:

Два узденя за пим выпосят
На бурке хладный труп...

Не назван узденем и Гасуб (хотя в плане стояло «уздень и меньший сын»), и воспитатель Тазита, именовавшийся в черновиках «седой уздень»; переработана строка «собрание гордых узденей» с заменой в ней этого слова самоназванием черкесов «адехи». Из текста поэмы в ее последней редакции мы можем только заключить, что Гасуб знатный черкес, но кто он — князь или уздень — определить не можем.

Возможно, что поэт решил не вводить широко слова «уздень» в поэму потому, что у Броневского он прочел, что по части атальчества, хищничества и кровомщения уздень или князь мало чем отличаются друг от друга и трудно сказать, кому из них следует отдать в этом преимущество. У Броневского сказано, что за убийство «князя и уздени редко соглашаются на денежную пеню и требуют кровь за кровь. В таком случае кровомщение переходит от отца к сыну, от брата к брату и продолжается беспрестанно» (ч. 2, стр. 119). Там же можно прочесть, что не только «князья» не могут воспитывать своих сыновей в родительском доме и «отдают в чужой дом на воспитание», но что «уздени отдают так же детей своих на воспитание другим нижних степеней узденям и на тех же правилах» (ч. 2, стр. 107, 110) и что «воспитатели княжеских и узденских сынов» «в первых летах юношества испытывают силы его и проворство, отправляя в дальние поиски на воровство, приучая сначала красть у подданных своих овцу, корову, лошадь, а потом уже к соседям посылают для отгона скота и похищения людей» (ч. 2, стр. 108).

Чтение Броневского, вероятно, вызвало и исключение из текста поэмы «казака». Первоначально «казак» фигурировал как личный враг старшего сына Гасуба:

Среди развалин Татартуба
Убит рукою казака.

Тазит должен был «бороться с казаками», что оказалось заменено стихом:

... в пабегах отбивать
Коней с ногайскими быками.

Не совсем реальным выглядел этот казак как враг черкеса, когда у Броневского можно было прочесть: «Российские жители Кавказской губернии, по соседству с горцами, *наипаче линейные казаки имеют кунаков у черкесов, кумыков, чеченцев, с коими чаятельно ведут они дружбу (куначество)* не во всей точности по принятым правилам, однако *присяга между российскими и горскими кунаками, сколько известно, в мирное время невреждимо с обеих сторон соблюдается*» (ч. 2, стр. 129).

Так факты, которые извлекал Пушкин из чтения Броневского, оказывали заметное влияние на изменение отдельных эпизодов создаваемой поэмы, входили в противоречие с первоначальным замыслом ее, с отдельными уже написанными строфами.

Обратимся к концу поэмы, точнее к ее фрагментам, и посмотрим, к какому заключению логикой самих фактов оказался подведен автор.

Представитель новой морали, новых общественных отношений, Тазит проклят отцом. Изгнанный из родного аула, из своей общины, он появляется опять в Чечне,

по-видимому, в том ауле, где воспитывался. Его влечет туда любовь. Он сватается и получает отказ. Чем же мотивирует отец девушки отказ?

Тому кто в бой вступить не смеет
 <Кто> слаб <и> телом <?> <и> умом <?>
 Кто мстить за брата не умеет
 Кто робок даже пред рабом
 Кто изгнан и проклят отцом...

Скажи какой отец безумец
 Отда<ть> <?> захочет дочь...

Ступай оставь меня в покое...

Таким образом, придя в Чечню, Тазит столкнулся здесь с тем же непреодолимым законом адата, который он преступил в родном ауле, за что и был изгнан. Иноплеменная горская община также отвергает его. Даже та, которая его любила, «с тех пор не поднимала взора» «па него». Тазит становится вечным изгнанныком.

Глубоко в сердце молодое
 Тяжелый <?> врезался укор
 Тазит сокрылся — с этих пор
 Ни с кем не вел он р<азговора> <?>

Но под отеческую сень
 Не возвратился сын изгнанный...

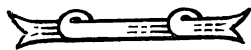
Совершенно естественно, что подобный конец поэмы не мог удовлетворить поэта, так как он не утверждал торжества идеи преобразования черкесов, разошелся с замыслом поэмы.

Проклятие прошлого тяготело над человеком, не желавшим покориться обществу, подчиниться его законам; человек превращался в ничто.

В связи с этим представляется странным тот вывод, который сделал в отношении конца поэмы и судьбы ее героя В. Л. Комарович. Он пишет: «Разрыв героя (Алеко, Тазита) с общинной жизнью — там табора, тут аула — такова общая тема обеих поэм... Изгнание из общины определяет судьбу и того и другого. Но определяет по-разному, потому что один и тот же конфликт изображен там и тут под разным углом зрения: при вторжении в полудикую общину „человека цивилизации“ — при его надуманной и обреченной на неуспех попытке укрыться в ней от „страстей“ и „судеб“, исторических судеб своей цивилизации — морально первенствует община; *напротив, при органическом выделении из полудикой общины одного из ее сынов навстречу цивилизации — первенствует этот, оправданный историей, выходец*».⁶³

Никакого первенства этого выходца из полудикой родовой общины над этой общиной, как мы видим по тексту поэмы, не получилось. В этом-то и заключалась вся трагедия Тазита.

Поэма по совершенно очевидным мотивам не была закончена.



⁶³ В. Л. Комарович. Вторая кавказская поэма Пушкина, стр. 228.

ЗАКОНЧЕН ЛИ ПУШКИНСКИЙ «РОСЛАВЛЕВ»?

Одной из форм литературной критики Пушкина является полемичность некоторых его художественных произведений по отношению к произведениям других писателей. Так, полемична в какой-то мере «Полтава», что отмечал и сам Пушкин в предисловии к первому изданию поэмы, вышедшему в 1829 году: «Некто в романической повести изобразил Мазепу старым трусом, бледнеющим пред вооруженной женщиною, изобретающим утонченные ужасы, годные во французской мелодраме, и пр. Лучше было бы развить и объяснить настоящий характер мятежного гетмана, не искажая своевольно исторического лица».¹ Пушкин имел в виду повесть Е. Аладына «Кочубей», напечатанную в «Невском альманахе» за 1828 год (т. IV), в одном из эпизодов которой Мазепа в страхе отступает перед Марией, когда она с кинжалом в руках требует от него решения участи отца. Все это никак не могло соответствовать сущности характера лица, известного из истории. Целью своей поэмы «Полтава» Пушкин считал, конечно, прежде всего правдивое воссоздание эпохи и характеров, в том числе «мятежного гетмана»: «Мазепа действует в моей поэме точь-в-точь, как и в истории, а речи его объясняют его исторический характер» (VII, 191). Вместе с тем своей поэмой Пушкин хотел показать и то, что значит не допустить «своеволия» в изображении исторических лиц.

Однако в том случае, когда дается подчеркнутое иное сравнительно с другими писателями изображение реальных исторических лиц, можно говорить лишь об известной степени полемичности произведений. Это не столько полемика, сколько выражение автором его собственного отношения к тому, что имело место в действительности. Так, многочисленные произведения о Петре I в русской литературе XVIII и XIX веков нельзя рассматривать в качестве полемичных по отношению друг к другу: каждое из них прежде всего утверждение автором его собственного отношения к деятельности Петра. Такова же и пушкинская «Полтава». Совсем иное дело, когда писатель берется за изображение героев произведения другого автора, лиц не реальных, а вымышленных. Когда писатель обращается к воспроизведению подобного рода героев, художественное произведение является уже действительно полемичным. Таким именно был написанный Пушкиным в 1831 году «Рославлев», явившийся ответом на вышедший в том же году роман Загоскина «Рославлев, или русские в 1812 году».

Взяв в качестве темы своего романа изображение Отечественной войны 1812 года, Загоскин дал освещение событий в романтическом плане, очень далеком от реальной действительности. Роман был насыщен всевозможными эффектами. Так выглядит, например, сцена возвращения раненного Рославлева домой (часть II, глава 5). Спешащий к Полине Рославлев, проезжая ночью в грозу мимо кладбища, видит освещенную церковь, входит в нее: перед ним обряд венчания его невесты Полины, изменившей данному ему слову и выходящей замуж за пленного французского офицера. Читатель удивлен всем этим не меньше, чем пораженный, падающий без чувств Рославлев. Эффекты подобного рода были характерны для стиля автора, мало заботившегося о том, могла или не могла подобная ситуация быть в действительности, не говоря уже о том, сколь она типична.

Прочитав роман Загоскина, Пушкин почувствовал фальшь изображаемого. Из переписки его с Вяземским видно, сколь неестного мнения был он об этом произведении. В письме от 24 августа 1831 года Вяземский так оценивал роман: «В Загоскине точно есть дарование, но за то как он и глуп, уж это, воля Ваша, не Василью Львовичу чета. Тот, во-первых, имел ум не писать прозою, и это уже важный перевес. Не правда ли, что в Рославлеве нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении?»² В ответ на это Пушкин писал Вяземскому 3 сентября: «То, что ты говоришь о Рославлеве, сущая правда; мне смешно читать рецензии наших журналов, кто начинает с Гомера, кто с Моисея, кто с Вальтер-Скотта; пишут книги о романе, которого ты оценил в трех строчках совершенно полно, но к которым можно прибавить еще три строчки: что положения, хотя и натянутые, занимательны; что разговоры, хотя и ложные, живы, и что все

¹ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. IV, Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 519. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

² Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIV, Изд. АН СССР, 1941, стр. 214.

можно прочесть с удовольствием».³ Несколько смягчая резкость суждения Вяземского, Пушкин этим два раза повторенным «хотя» дал, однако, роману не менее осуждающую оценку. Ответ Вяземскому Пушкин писал тогда, когда уже пачал своего «Рославлева», решив выступить с критикой романа, но выступить не со статьей, а с художественным произведением, в котором содержалась бы иная трактовка поведения героев Загоскина. Пушкину казалась неестественной роль, которую играет в романе Полина. В своем плане именно это он прежде всего и отметил: «Москва тому 20 лет [Москва в 1811 году] — [Полина г-на] Загоскина. Ее семейство — ее характер...»⁴ Пушкин хотел дать свое собственное изображение Полины. На страницах его произведения возникает пленительный в неколебимой стойкости и «смелости души» образ героини. Она целиком поглощена происходящим в стране. Она вместе с борющимися народом, бесконечно гордится им, говоря о том, что «никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу» (VI, 213).

В романе Загоскина особенно тягостное впечатление оставляет сцена, когда в Москве, занятой французами, Рославлев видит в окне Полну рядом с Сеникуром; в то время, когда страна охвачена борьбой со страшным бедствием, ей нет дела до этого. В конце романа Загоскин показывает Полину кающейся, что тем не менее не искупает ее вины.

Как бы отвечая на все это, Пушкин рисует такой эпизод: «„Москва взята“, — сказала она мне, не отвечая на поклон Сеникура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Сеникур молчал, потупил глаза. „Благородные, просвещенные французы, — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву!“» (VI, 212—213). В словах Полины — презрение, негодование, гордость; она не отвечает на поклон Сеникура. Не отвечает потому, что французы зажгли Москву, — такова логика этого образа у Пушкина.

В предисловии к своему произведению Загоскин считал необходимым подчеркнуть достоверность рассказанного им: «Интрига моего романа основана на истинном происшествии — теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над главою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе».⁵ В подлинном художественном произведении вымысел не может быть произвольным: он подчинен логике развития характеров, пониманию закономерностей движения жизни общества. Но, с другой стороны, и реальный случай, взятый из жизни, может оставить впечатление выдумки, если не выражает собой общего; в таком случае «обманувший бывает правдивее необманувшего», как гласит старая истина.

Нужно было быть столь топким и пропикловеным художником, как Пушкин, чтобы для «реабилитации» героини найти такую жанровую форму произведения, которая бы в наибольшей мере могла создать иллюзию достоверности — форму «записок дамы», близко знавшей Полину и решившей выступить с этими мемуарами в качестве «защитницы тени». В черновом варианте цель автора записок была обозначена еще более определенно: «Истина и дружба, равно оскорбленные нападениями жестоких и равнодушных, припуждают меня сойти на чуждое мне поприще».⁶ Именно в такой своеобразной форме Пушкин и выступил с полемикой. При этом он все время старается напомнить читателю, что речь идет о героях романа Загоскина, делая это с большим тактом художника. В начале произведения Пушкин замечает в скобках о своей героине: «...г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя» (VI, 199). Нетрудно уловить и подтекст этого замечания: хотя героиня названа именем, данным другим автором, суть дела не в имени, а в самом типе человека. В конце повести автор опять делает аналогичное замечание: «...назову же и его именем, данным ему г-м Загоскиным» (VI, 210) (в другом варианте: «сохраню и ему имя»)⁷. Сначала в рукописи имя героя названо было сразу же после упоминания о появлении французских офицеров.⁸ В более поздней редакции, которая из-за отсутствия белового автографа является для нас и последней, имя героя названо после того, как можно уже было составить какое-то представление о нем. И тут-то как раз автор делает в скобках свое замечание, чтобы читатель знал, что это уже знакомый ему по роману Загоскина Сеникур.⁹

³ Там же, стр. 220—221.

⁴ Там же, т. VIII₂, стр. 752.

⁵ М. Н. Загоскин. Рославлев, или русские в 1812 году. Изд. «Правда», М., 1959, стр. 12.

⁶ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII₂, стр. 731.

⁷ Там же, стр. 736.

⁸ См. там же.

⁹ Б. В. Томашевский в своем комментарии к «Рославлеву» замечает, что поскольку Пушкин ссылается на Загоскина, следует сохранить и форму написания этого имени такой, как она дана у Загоскина (Сеникур) (см.: VI, 768). Замечание это представляется справедливым.

Можно предположить, что и названо было Пушкиным его произведение «Рославлев» потому, что таково название Загоскина. Правда, название это в рукописи вписано карандашом: возможно, сделано это позднее, возможно и то, что оно не было окончательным для Пушкина. Тем не менее оно было определено (записано оно на отдельном листе, который был обложкой части рукописи, напечатанной в «Современнике» под заглавием «Отрывок из неизданных записок дамы»). Можно думать, что если бы не полемическая цель произведения, Пушкин вряд ли бы так его назвал. Как полемическое, направленное против романа Загоскина это произведение и было воспринято современниками. Вот что читаем мы в воспоминаниях Нащокина: «Рославлев, как говорил сам Пушкин, был написан для того, что Пушкину не нравился характер Полины в романе Загоскина: она казалась ему слишком опошленною; ему хотелось представить, как он изобразил бы ее. Весь рассказ вымышлен».¹⁰

Несмотря на полемический характер некоторых других произведений Пушкина, «Рославлев» занимает особое место в его творчестве. Литературный критик был неотделим в Пушкине от писателя, и потому он смог выступить с опровержением и критикой искажающего правду жизни романа Загоскина в форме не критической статьи, а художественного произведения. Но цели, которые ставил Пушкин, шли дальше полемики с одним автором. Цель была не только в том, чтобы показать, какой не могла быть русская женщина, и в противовес этому нарисовать характер прекрасной женщины-патриотки. Пушкин хотел дать свое собственное изображение героического народного характера, но сделать это в форме «записок дамы», что могло бы придать произведению стиль «домашности», который писатель высоко ценил как художественную форму исторического повествования.

Начав писать «Рославлева» летом 1834 года, вскоре после того, как вышел в свет роман Загоскина, Пушкин несколько раз оставлял работу. После части, которая заканчивалась словами «Наполеон был такая бестия, а М^{де} Staël куда была тонка», есть дата: «22 июня». В 1836 году в «Современнике» Пушкиным был напечатан «Отрывок из неизданных записок дамы». Остальная часть рукописи, сохранившаяся только в черновом виде, была опубликована уже после гибели поэта в одиннадцатом томе сочинений Пушкина 1841 года, далее, в 1855 году, П. В. Анненковым. В 1910 году С. А. Венгеров обратил внимание на пропуск в опубликованном тексте такой детали, которая по-новому освещала облик Полины. На основе вновь восстановленного текста Венгеров написал статью «Русская Шарлотта Корде», в которой убедительно показал гражданский характер пушкинской героини: «Какая тонкость чувствования, какой анализ, какое смелое и оригинальное мышление у этого Чацкого в юбке».¹¹ Впрочем, патриотизм Полины отмечался всеми писавшими о «Рославлеве», хотя иногда при этом проводились довольно неожиданные параллели: «Полина — одна из первых пионерок русского женского движения, старшая сестра декабристок, мать тургеневской Елены»;¹² «она считала Наполеона тираном и мечтала „пробраться во французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук“, являясь, таким образом, прообразом Пьера Безухова из „Войны и мира“».¹³

К настоящему времени можно считать изученным текст произведения, не вызывает в основном возражений и интерпретация его идейного содержания, однако весьма спорно, на наш взгляд, мнение о его незаконченности. В библиографических справочниках «Рославлев» упоминается в разделах «незавершенные работы». Большая часть исследователей видит в «Рославлеве» «начало романа»,¹⁴ «только введение, вступление к роману»,¹⁵ и лишь немногие считают это произведение более или менее близким к завершению. Так, А. В. Чичерин относит «Рославлева» к числу «хотя и не совсем законченных, но определившихся произведений».¹⁶ Между тем убеждение в незаконченности «Рославлева» может быть поколеблено, если исходить не только из анализа рукописи (что, бесспорно, необходимо), но и из содержания произведения.

¹⁰ См.: Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 годах. 1925, стр. 39.

¹¹ Пушкин, т. IV, «Библиотека великих писателей», СПб., 1910, стр. 558.

¹² Н. О. Лернер. Проза Пушкина. В кн.: История русской литературы XIX века под ред. Д. Н. Овсянко-Куликовского, т. I, М., 1916, стр. 395.

¹³ Н. Л. Бродский. А. С. Пушкин. Гослитиздат, М., 1937, стр. 727.

¹⁴ Н. Л. Степанов. Проза Пушкина. «Ученые записки Московского государственного педагогического института», 1954, т. LXX, вып. 4, стр. 51.

¹⁵ С. М. Петров. Исторический роман А. С. Пушкина. Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 94.

¹⁶ А. В. Чичерин. Пушкинские замыслы прозаического романа. «Ученые записки Львовского государственного университета», 1953, т. XXIV, вып. 2, стр. 99. См. также: А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. «Советский писатель», М., 1958, стр. 107.

Спорность вопроса становится особенно очевидной, если обратиться к предположениям исследователей о возможных вариантах окончания произведения. Так, С. М. Петров в работе «Исторический роман А. С. Пушкина» пишет: «Судить о перипетиях сюжета, о последующих событиях и судьбе героев трудно. Едва ли могут здесь помочь и параллели с содержанием романа Загоскина. Бесспорно, однако, что „историческое происшествие“ в романе должно было захватить изгнание Наполеона из России, а „романическое“, естественно и органично входя в раму исторических событий, — показать дальнейшие отношения, очевидно любовь Полины и Синекура, и окончиться трагической гибелью героини».¹⁷ Не лишенным основания кажется предположение о том, что произведение должно было закончиться показом изгнания Наполеона. Однако художественное творчество подчиняется своим особым законам. Говоря о завершенности художественного произведения, мы должны учитывать прежде всего степень жизненной мотивированности того или иного изображения судьбы героев. С этой точки зрения трудно представить, чтобы широкое эпическое изображение событий 1812 года было дано в той же форме «записок дамы»: сохранения психологическую мотивированность жанра мемуаров, такого изображения Пушкин дать не мог. Трудно себе представить также, чтобы автор записок продолжила бы свой рассказ о Полине: на все волновавшие ее вопросы, связанные главным образом с Полиной, она дала исчерпывающий ответ. Она защитила «тень», показав в истинном свете поведение своей подруги и его мотивы. Не случайно повествование обрывается в тот момент, когда Полина сообщает подруге о гибели Рославлева: обрывается не тогда, когда сама Полина узнает об этой гибели, а когда узнает об этом сестра Рославлева: «Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия...» (VI, 213). Гибель Рославлева как бы снимает с автора записок обязанность рассказывать о дальнейшей судьбе Полины.¹⁸

В романе Загоскина известие о гибели Рославлева оказывается недостоверным. Это дает возможность автору романтически эффектно повернуть развитие сюжета: показать новую встречу Рославлева с Полиной. Нам кажется, что Пушкин должен был показать не мнимую, а действительную гибель Рославлева, чтобы остаться верным правде жизни. Если предположить даже, что Пушкин продолжил бы свое произведение, то и в таком случае герой его должен был бы погибнуть (как погиб поставленный в аналогичные условия герой повести «Метель»). Если же допустить, что в соответствии с развитием сюжета в романе Загоскина Рославлев не гибнет, какой мелодраматический характер должны были бы в таком случае приобрести слова Полины, обращенные к ее подруге: «Ты не знаешь? — сказала мне Полина с видом вдохновения; — твой брат... он счастлив, он не в плену, радуясь: он убит за спасение России» (VI, 213). Стоит только представить себе после этого возвращение Рославлева, чтобы понять, что в произведении Пушкина это было невозможно. Правда действительности заставляла Пушкина именно так рисовать судьбу своих героев. Если предположить, что Пушкин имел в виду изобразить настоящую гибель Рославлева, то закономерно, что повествование обрывается сообщением о гибели героя.

Что было бы с Полиной далее? Гибель Рославлева снимает ту коллизию, которая существует в романе Загоскина. Возможен ли такой вариант окончания, который предложил М. Гельфанд: «Легко сообразить, что именно из полного нравственного одиночества Полины в русской среде Пушкин собирался вывести в дальнейшем ее сближение с единственно достойным ее Синекуром».¹⁹ Думается, что и такое продолжение вряд ли было возможно, вряд ли Пушкин взялся бы дальше корректировать Загоскина, потому что в этом не было внутренней необходимости: он исчерпывающе ответил на все поставленные им вопросы. Полемическая цель была достигнута полностью. И пусть нам неизвестно, при каких обстоятельствах Полина стала «тенью», то, что она стала «тенью», было более чем уважительной причиной для того, чтобы защитить ее, показать в истинном свете ее душу, действительные стимулы всего ее поведения.

Возникает сомнение: если произведение Пушкина было в основном внутренне завершено автором, почему же в таком случае он опубликовал в «Современнике» его не полностью? Но ведь то, что было опубликовано, и названо не «Рославлев», а «Отрывок из неизданных записок дамы». «Отрывок» имел относительную законченность и самостоятельный интерес, связанный с показом взаимоотношений Полины и мадам де Сталь. Ставился и решался общий вопрос об отношении к французской культуре и просвещению, полемически заостренный против великорусского шовинизма. Как известно, некоторыми французскими читателями этот отрывок, напечатанный без подписи автора, с пометой «с французского», был принят за под-

¹⁷ С. М. Петров. Исторический роман А. С. Пушкина, стр. 94.

¹⁸ В рукописи после слов, которыми обычно заканчивается печатный текст повести, сохранилась запись; ее предположительно можно прочесть так: «Фельд-егерь едет...» Все это рукою Пушкина решительно зачеркнуто. Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 841.

¹⁹ «Литература и марксизм», 1930, кн. 4—5, стр. 89.

линные мемуары. Б. В. Томашевский цитирует Поля Готье, который в книге «Madame de Stäel et Napoleon» (Paris, 1903) ссылается на эти мемуары.²⁰

Следует иметь в виду еще одно обстоятельство: написанное Пушкиным не только соответствует тем пунктам плана, которые набросал писатель в ходе работы, но значительно выходит за его пределы (последний пункт плана: «Мы едем из Москвы»)²¹. Набросок плана был сделан уже после того, как значительная часть произведения была написана.

Все эти соображения приводят к выводу: хотя, быть может, рука автора и поправила бы еще кое-что в тексте, и в том виде, в каком дошло до нас это произведение в рукописи, оно имеет внутреннюю законченность — и в обрисовке характеров, и в развитии сюжета. Пушкин ответил на все поставленные им вопросы и сделал это по-настоящему жизненно и художественно мотивированно. Заслуга Пушкина состояла в том, что в своем произведении он восстановил истину и справедливость, сумев дать глубокое изображение русской жизни в период Отечественной войны 1812 года, дал объективное раскрытие характеров, в противовес субъективно-романтическому изображению Загоскина, и все это в предельно сжатой, максимально сконцентрированной художественной форме, столь характерной для него как писателя.



²⁰ Б. Томашевский. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии (1824—1837). Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 143.

²¹ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VIII₂, стр. 752. См. также: Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 841, л. 70.

«СМЕЛЫЙ ВЛАСТЕЛИН» ИЛИ «СМЕЛАЯ САТИРА»?

(К ТЕКСТОЛОГИИ СТРОФЫ XVIII ГЛАВЫ ПЕРВОЙ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»)

В «Примечаниях на предложение о множественном окончании прилагательных имен» Ломоносов писал: «...славянский язык от великороссийского ничем столько не разнится, как окончаниями речений. Например, по-славянски единственные прилагательные мужские именительные падежи кончаются на *ый* и *ий* — *богатый, старший, синий*, а по-великороссийски кончаются на *ой* и *ей* — *богатой, старшей, синей*».¹

И сам Ломоносов, и русские грамматисты в течение почти 75 лет после его смерти строго соблюдали это разграничение, особенно важное в связи с «учением о трех штилях». Славянские окончания прилагательных на *ый* и *ий* применялись в «высоком штиле», русские, на *ой*, — в «низком» (*ей* почти не употреблялось); «средний штиль» представлял картину довольно пеструю: никаких твердых правил в нем не наблюдалось, но значительная часть писателей следовала указаниям Ломоносова.

Позднее, в XIX веке, под влиянием так называемого «этимологического» направления в русской грамматике стало преобладать написание *ый* вместо *ой*. Знаменитое «Русское правописание» Я. К. Грота полностью закрепило славянские, употребляя термин Ломоносова, окончания. В «Спорных вопросах русского правописания» Грот старался логически и практически обосновать эту замену: «Так этимологические начертания: *добрый, хороший, синий* легко принялись, потому что, не отступая заметно от произношения, первые очень уясняют форму, давая возможность наглядно отличать имен, падеж ед. ч. муж. рода от род. и дат. жен. По аналогии стали также писать *легкий, ветхий*, хотя тут несогласие с произношением уже заметнее». А в подстрочном примечании Грот писал: «В нынешнем произношении таких прилагательных грамотными людьми с ясным сохранением окончаний *ый, ий* мы видим одип из примеров обратного действия письма на живую речь».²

За время, протекшее с момента выхода в свет «Спорных вопросов» Грота (1873), влияние школьной орфографии на живую речь стало еще более ощутимым, и сейчас только филологически образованные люди умеют различать на слух то, что при Ломоносове и даже при Пушкине было грамматико-стилистической погрешностью.

Жалеть об этом не приходится: развитие языка — процесс, если не стихийный, то во всяком случае едва ли обратимый; то, что в нем совершается, и есть так называемые «законы языка».

Однако литературоведам, которые имеют дело с «литературными памятниками», написанными в эпоху, когда еще стилистически и грамматически различались славянский и русский языки, нередко приходится сталкиваться с трудностями в понимании текста. Чаще всего это происходит в тех случаях, о которых говорил Я. К. Грот, — когда графическая передача текста (форма на *ой*) и самый контекст (большей частью стихотворный) допускают двоякое толкование прилагательного: и как именительный падеж единственного числа мужского рода и как родительный падеж единственного числа женского рода. Это имеет место, когда перед нами инверсированный стих, в котором сталкиваются два существительных разного рода (женского — в род. пад. ед. ч. и мужского — в им. пад. ед. ч.), а прилагательное оканчивается на *ой*.

Например:

Я слышу странной шум музыки...

(В. П. Петров. Ода на карусель. 1766)

Глас песни возгремел победной...

(В. П. Петров. Ода на всеобщее рождение вел. кн. Константина Павловича. 1779, апрель)

¹ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VII, Труды по филологии. 1739—1758 гг., Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 83.

² Я. К. Грот. Труды. II. Филологические разыскания. СПб., 1889, стр. 683.

Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрип подземной?
(Державин. Водопад. 1791)

Блестящей меч померкнет славы...
(Радищев. Вольность)

Разверстой медной хляби зев...
(Радищев. Ода к другу моему)

Однако не во всех приведенных примерах перед нами действительно спорные чтения: случаи, взятые из стихов Петрова, как раз не являются трудными — этот автор строго следовал «Грамматике» Ломоносова, и в орфографии Петрова неукоснительно различаются окончания *ый* в им. пад. ед. ч. мужского рода и *ой* в род. пад. ед. ч. жепского рода. Сложнее положение в прочих примерах. У Державина и Радищева не было такой строгости в соблюдении «славянской» орфографии, в их произведениях встречаются формы им. пад. ед. ч. и на *ый*, и на *ой*, и это создает иногда неуверенность в понимании текста и в переводе его на ныне действующее правописание.

К числу подобных спорных чтений относится второй стих в известной поэтической характеристике Фонвизина, данной Пушкиным в строфе XVIII главы первой «Евгения Онегина»:

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелой властелин,
Блестал Фонвизин, друг свободы...

В новейших изданиях он печатается так:

Сатиры смелый властелин...

Просмотр всех изданий «Евгения Онегина», начиная с прижизненных и кончая самыми новейшими, показал, что до 1936 года повсюду неизменно печаталось:

Сатиры смелой властелин...³

В шеститомном издании Пушкина под ред. С. М. Бонди, Ю. Г. Оксмана, Б. В. Томашевского и Д. П. Якубовича (т. III, ГИХЛ, М., 1936, стр. 277), в большом шеститомном издании «Academia» под ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского (т. III, М.—Л., 1936, стр. 16), в однотомнике под ред. Б. В. Томашевского (ГИХЛ, Л., 1936, стр. 105) и во всех последующих изданиях — повсюду находим уже:

Сатиры смелый властелин...

Такой одновременный и фронтальный отход всех без исключения издателей «Евгения Онегина» от старой традиции свидетельствует о том, что вопрос этот был согласован между ними, значит, служил предметом обсуждений и был решен, очевидно, под влиянием чьей-то убедительной аргументации, а затем это первоначально индивидуальное мнение было санкционировано остальными авторитетными пушкинистами.

В печати, насколько нам известно, обоснование нового чтения опубликовано не было. На вопрос, обращенный мною к одному из членов бывшей редакции академического собрания сочинений Пушкина, Д. Д. Благому, — не помнит ли он, как произошла замена стиха «Сатиры смелой властелин» стихом «Сатиры смелый властелин», мне было сообщено следующее: на заседании редакции Б. В. Томашевский указал, что Пушкин не различал форм на *ый* и *ой* и пользовался ими на равных правах, поэтому наличие в беловом тексте поэта стиха с формой на *ый* было

³ Укажу только наиболее авторитетные издания: Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. СПб., 1825, стр. 14; Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. СПб., 1829, стр. 14; Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. СПб., 1833, стр. 11; Евгений Онегин. Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. Изд. 3-е, СПб., 1837, стр. 12; Сочинения Александра Пушкина, т. I, СПб., 1838, стр. 10; Сочинения Пушкина, изд. П. В. Анненкова, т. IV, СПб., 1855, стр. 12; Евгений Онегин. Роман в стихах. А. С. Пушкина. Изд. Общ. любителей российской словесности, под ред. В. Якушкина, М., 1887, стр. 8; Сочинения и письма А. С. Пушкина, под ред. П. О. Морозова, т. IV, изд. т-ва «Просвещение», СПб., 1904, стр. 37; Пушкин, под ред. С. А. Венгеров, т. III, СПб., 1909, стр. 240; А. С. Пушкин. Евгений Онегин. [Под ред. М. Л. Гофмана]. ГИЗ, Пб., 1919, стр. 58; сочинения Пушкина под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева (все издания).

принято как окончательное доказательство того, что Пушкин читал спорный стих так: «Сатиры смелый властелин».

Вполне доверяя сообщению Д. Д. Благого, я все же решил подвергнуть данный стих самостоятельной текстологической проверке.

Обращение к рукописям строфы XVIII главы первой «Евгения Онегина» дало следующие результаты.

В первоначальном автографе главы первой «Евгения Онегина» строфы XVIII, начинающейся стихом «Волшебный край! Там в прежни годы», не было вовсе.⁴ Написанная позднее, в Михайловском, в сентябре 1824 года,⁵ строфа XVIII подверглась длительной и тщательнейшей обработке. Транскрипция ее в т. VI академического издания дает первые три стиха в таком виде:

Веселый край! Там в стары годы
Сатиры смелый властелин
Блистал Ф~~он~~ В~~изин~~ друг свободы...⁶

Несколько позднее, между 2 и 8 октября 1824 года, Пушкин приписывает строфу XVIII, равно как и XIX, к перебеленной Л. С. Пушкиным наборной рукописи первой главы «Евгения Онегина».⁷ Здесь явственно видно «смелый».

Если текст беловой рукописи строфы XVIII не вызывает никаких сомнений в том, что здесь написано «смелый», то чтение в черновике (тетрадь № 2370, л. 20 об.) очень спорно. Слова «сатиры смелый властелин» приписаны Пушкиным сбоку скорописным почерком, причем окончание слова «смелый» неясно: после *л* (высокого, похожего на латинское *h*) идет крупная точка, в которой можно признать и *о*, и первую часть *ы*, и затем короткая волнистая линия со знаком краткости над ней. Таким образом, можно читать и «смелый», и «смелой». Сопоставление находящегося чуть ниже стиха «С молодой Семеновой делил» со стихом «Сатиры смелой властелин» показывает, что окончание *ой* в слове «младой» написано, совершенно так же, но более отчетливо.

Таким образом, перед нами три неоспоримых факта: 1) в черновике окончание слова «смелый» или «смелой» неясно, но скорее всего «смелой»; 2) в каллиграфически написанной беловой отчетливо читается «смелый»; 3) в четырех прижизненных изданиях первой главы неизменно — «смелой».

При этом существенно следующее: первым изданием (1825), вышедшим без авторской корректуры, Пушкин остался недоволен и, выпуская в 1828 году главу шестую «Евгения Онегина», приложил в конце список опечаток, озаглавленный «Примечание»: «В продолжение издания I Части Евгения Онегина вкралось в нее несколько значительных ошибок. Важнейшие из них помещаются здесь. Поправки означены под ними *en italique* (курсивом, — П. Б.)» (стр. 46). Далее на трех страницах помещено сорок одно изменение текста к шести главам, из них четырнадцать относятся к главе первой. Исправления «смелой» на «смелый» здесь нет.

Мы знаем, какими соображениями руководствовались редакторы, введшие это чтение и своим авторитетом санкционировавшие его. Но ведь здесь перед нами явное нарушение основных требований текстологии: принимать за основу надо прижизненные издания, конечно, сверяя их с рукописями, но делая исправления по ним только при явной порче текста в печати.

Имеем ли мы подобную порчу в данном случае?

Чтение «сатиры смелой властелин» может пониматься двояко: оно позволяет эпитет «смелой» отнести и к слову «сатира» — и тогда должно рассматриваться как родительный падеж прилагательного женского рода, и к слову «властелин» — в таком случае оно представляет именительный падеж мужского рода.

Перед нами инверсированный стих. При первом понимании его прямой порядок слов должен быть таков: «Властелин смелой сатиры». При втором: «Смелый властелин сатиры».

Не приходится и говорить, что эпитет «смелый» в применении к слову «властелин» — слабый, бледный, невыразительный; ср. в «Полтаве» о Меньшикове — «Полудержавный властелин». А «властелин смелой сатиры» совсем другое дело. Самое слово «властелин» в пушкинском употреблении включало в себя полноту, неограниченность власти, своеволие в ее применении, переходящее границы законов и обычаев. Иначе обстоит со словом «властитель». Человек может быть «властителем» и не быть в то же время «властелином» (ср.: «Властитель слабый и лука-

⁴ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 892 (Евгений Онегин. Одесса, 1823).

⁵ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, I. Изд. АН СССР, М., 1951, стр. 516; ср. стр. 385: май 29—сентябрь 5, строфы I—XXII (кроме XVIII и XIX) первой главы «Евгения Онегина».

⁶ Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. АН СССР, 1937, стр. 259.

⁷ Там же, стр. 547; М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, I, стр. 520; Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 153.

вый»). Поэтому эпитет «смелый» ничего не добавляет к нашему пониманию образа «властелина», не раскрывает художественно тех сторон понятия, которые от читателя скрыты, т. е. не делает того, что требуется от эпитета.⁸ Больше того. Эпитет почти всегда предполагает возможность применения к данному, «украшаемому» слову другого эпитета, прямо противоположного ему по смыслу, антитетического. Например, если Пушкин пишет: «Властитель слабый и лукавый» — значит, принципиально может быть и «властитель мощный, благородный, прямодушный»; если у поэта встречается «властелин враждебный», то в другом месте мы у него же находим «властелина добродетельного» и могли бы найти «властелина благосклонного», «доброжелательного» (ср.: «дело доброе» — «дело злое», «глупое дитя» — «умное дитя», и т. д.). Таким образом, почти каждое слово может иметь большое число эпитетов, амплитуда которых будет доходить до 180°, т. е. эпитет тогда имеет художественный смысл, когда он мыслим со своей антитезой.

В случае «Сатир смелый властелин» перед нами явное нарушение этого принципа: эпитет «смелый» предполагает как антитезу эпитет «робкий», «боязливый», «трусливый». Возможно ли такое сочетание: «Робкий, трусливый, боязливый, несмелый властелин сатиры»? Нет! Но «сатира смелая» противопоставляется «сатире несмелой, робкой, боязливой, трусливой». «Сатиры смелой властелин» в применении к Фонвизину означает только одно: полный, безраздельный, неограниченный властелин бесстрашной, отважной сатиры.

Изучение языка и орфографии Пушкина подтверждает мнение Б. В. Томашевского, что в вопросе о славянском и русском окончании прилагательных поэт не занимал строго соблюдаемой позиции.⁹ Вполне возможно, что при переписке строфы XVIII с черновика в копию Л. С. Пушкина он, не отдавая себе отчета в том, что «смелой» — родительный падеж женского рода, механически написал «смелый». Ведь известно: чем старательнее переписывается текст, тем большее внимание уделяется чисто внешней стороне дела, тем меньше вникает переписывающий в содержание воспроизводимого и тем больше ошибок он допускает. А строфы XVIII и XIX переписаны Пушкиным, как уже отмечено выше, с исключительной тщательностью.

Можно допустить, однако, что это не так и что в беловую рукопись Пушкин внес чтение «смелый» сознательно и что даже в черновике было «смелый» (что, повторяю, спорно). Но ведь печатные тексты все-таки более поздние «свидетели» чтения. И если мы делаем допущение, что «смелый» в чистовой рукописи — сознательное чтение автора, тогда мы должны предположить, что «смелой» — исправление П. А. Плетнева, наблюдавшего за печатанием первой главы, исправление, сделанное вопреки воле Пушкина. Тогда естественно было бы ожидать, что во втором и последующих изданиях Пушкин должен был восстановить свое сознательное чтение «смелый». Однако этого, как мы видим, не было.

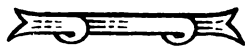
Законно возникает вопрос: почему? Ответ может быть только такой: либо он не обратил ни разу внимания на это исправление Плетнева (или типографии — что сомнительно), либо он заметил это исправление и авторизировал его. Первое допущение, хотя и возможно (теоретически подобное невнимание к опечаткам вполне возможно), приобретет большую обоснованность в том случае, если мы сможем на каких-либо иных примерах подтвердить наличие в практике пушкинских переизданий аналогичных невыправлений опечаток. Впрочем, если подобных случаев и не окажется, то теоретически все же можно утверждать, что здесь единичный пример такого рода. Но это не более, как ничем не подкрепленное упорство.

Второе допущение тоже требует для своего полного признания подтверждения примерами из пушкинской практики.

Однако моя задача заключается не в том, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, а в том, чтобы привлечь к нему внимание советского литературоведения и — больше — советских читателей. Как же надо, наконец, понимать и печатать этот стих: «Сатиры смелой властелин» или «Сатиры смелый властелин»?

⁸ Стих 161 второй части «Медного всадника» — «О мощный властелин судьбы» — на первый взгляд противоречит сказанному. Однако сохранившиеся варианты беловой рукописи (см.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. V, Изд. АН СССР, 1948, стр. 494) раскрывают историю возникновения эпитета «мощный». Здесь мы читаем: «О мощный царь, о муж судьбы!» Последние четыре слова Пушкин позднее заменил более сильным и коротким оборотом: «властелин судьбы», — а эпитет сохранил.

⁹ Е. Ф. Будде. Опыт грамматика языка А. С. Пушкина, вып. II. СПб., 1902, стр. 20—29.



ОБ ОДНОМ ПРИМЕЧАНИИ К СТАТЬЕ А. С. ПУШКИНА «ДЖОН ТЕННЕР»

Статья А. С. Пушкина «Джон Теннер», содержащая известные высказывания о Соединенных Штатах Америки, об американской «демократии», имеет довольно примечательную судьбу. Пожалуй, нет другого пушкинского произведения, которое бы, с одной стороны, так часто цитировалось, было так широко известно, а с другой — было так мало изучено и прокомментировано. Даже примечания к этой статье в собраниях сочинений Пушкина до сих пор содержат ошибки, не говоря уже о том, что они неоправданно кратки, касаются далеко не всех мест, вызывающих вопросы у читателя и требующих пояснения. Цель заметки — исправить одну из ошибок в примечаниях к этой статье, кочующую из одного собрания сочинений в другое, не исключая и академические издания.

Речь идет о примечании к следующему месту пушкинской статьи: «Нравы северо-американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. „Дикари, выставленные в романах, — пишет Вашингтон Ирвинг, — так же похожи на настоящих дикарей, как диаллические пастухи на пастухов обыкновенных“».¹

Возьмем, к примеру, академическое десяти томное полное собрание сочинений А. С. Пушкина. В обоих его изданиях это место поясняется так (примечания Б. В. Томашевского): «„Дикари, выставленные в романах...“ Цитата из предисловия В. Ирвинга к „Запискам“ Джона Теннера».²

Это примечание можно понять только так: автором предисловия к книге Теннера, развернутой рецензией на которую является пушкинская статья, был известный американский писатель Вашингтон Ирвинг. Такое же утверждение встречаем и в ряде других изданий последних лет. В шеститомном издании Гослитиздата (1950, примечания Н. В. Богословского) читаем: «...цитата из предисловия Ирвинга к „Запискам“ Теннера».³ То же — в издании «Библиотеки „Огонек“» (1954, примечания Н. В. Богословского): «...цитата из предисловия Ирвинга к „Запискам“ Теннера».⁴ Аналогичное примечание содержится в украинском четырехтомном издании 1954 года: «...цитата из предисловия В. Ирвинга к „Запискам“ Джона Теннера».⁵ И, наконец, то же самое встречаем во втором издании (1950) сборника «Пушкин-критик» (примечания Н. В. Богословского): «Цитата из предисловия Ирвинга к „Запискам Теннера“».⁶

Как видим, в течение последнего десятилетия это примечание почти без изменений переходит из одного издания в другое. А между тем в ряде довоенных изданий оно сформулировано несколько иначе. Возьмем, например, девятый том первого академического издания, подготовленный к печати еще до Октябрьской революции и изданный в 1928—1929 годах. Здесь в примечаниях сказано: «Цитата из Вашингтона Ирвинга (род. в 1783 г., ум. в 1859 г.), приведенная Пушкиным, находится во „Введении“ к „Запискам“ Джона Теннера...», и далее приведена сама цитата на французском языке.⁷ В полном собрании сочинений, выпущенном к пушкинскому юбилею 1937 года издательством «Academia», имеется такое примечание (комментатор Ю. Г. Оксмап): «Цитата из Вашингтона-Ирвинга заимствована из

¹ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, изд. 2-е, Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 436.

² А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 711; изд. 2-е, М., 1958, стр. 711.

³ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, т. V, Гослитиздат, М., 1950, стр. 624.

⁴ А. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 5, «Библиотека „Огонек“», изд. «Правда», М., 1954, стр. 388.

⁵ О. С. Пушкин, Твори в чотирьох томах, т. 4, Держлітвидав УРСР, Київ, 1954, стор. 570.

⁶ Пушкин-критик. Гослитиздат, М., 1950, стр. 667.

⁷ Пушкин, Сочинения, Изд. АН СССР, т. IX, ч. II, Л., 1929, стр. 824.

введения к французскому переводу записок Джона Теннера.⁸ Наконец, в выпущенном тем же издательством первом издании сборника «Пушкин-критик» читаем (комментатор Н. В. Богословский): «Цитата из Вашингтона Ирвинга (*«Esquisses morales et littéraires»*, Paris, 1822, t. II) приводится и во „Введении“ Э. Джемса к „Запискам“ Дж. Теннера».⁹

Как видим, во всех трех примечаниях говорится о том, что цитата Ирвинга «находится» («приводится», «заимствована») во «Введении», во отнюдь не утверждается, что само «Введение» написано Ирвингом. Более того, в третьем из примечаний названы, во-первых, произведение Ирвинга, из которого, по мнению комментатора, заимствована цитата, и, во-вторых, лицо, которое, как считает комментатор, является автором «Введения» (такие оговорки необходимы здесь потому, что, как будет доказано ниже, оба эти утверждения ошибочны).

Итак, имеются две различные точки зрения: первая — цитата Ирвинга, взятая из какого-то другого произведения, только приведена в предисловии к книге Теннера; вторая — Ирвинг написал само предисловие, из которого Пушкин взял цитату для своей статьи. Кто же в данном случае прав — комментаторы 30-х годов или их коллеги последних лет?

Для ответа на этот вопрос обратимся к самому предисловию к «Запискам» Джона Теннера.¹⁰ Там приведенная цитата из В. Ирвинга читается так: «*„Autant que je puis en juger“, dit Washington Irving, „l'Indien des fictions poétiques est, comme le berger du roman pastoral, une pure personification d'attributs imaginaires“*».¹¹ В переводе на русский это значит: «Насколько я могу об этом судить, — говорит Вашингтон Ирвинг, — индеец поэтического вымысла, как пастух из пастушеского романа, — чистая персонификация воображаемых свойств». (Как видим, Пушкин весьма вольно перевел эту цитату для своей статьи). Уже одно то, что это высказывание приведено именно как цитата, со словами «говорит Вашингтон Ирвинг», свидетельствует о том, что Ирвинга никак нельзя считать автором «Введения». Следующая же фраза оставляет еще меньше сомнений на этот счет. В ней говорится: «Эта общая критика остроумного писателя достаточно основательна...»¹² Если бы даже Ирвинг, будучи автором «Введения», и включил в него свое собственное высказывание в такой несколько необычной форме — со ссылкой на себя, то уж совсем маловероятно, чтобы он мог охарактеризовать самого себя как «остроумного писателя» (*spirituel écrivain*).

Но тогда возникает вопрос, кто же — если не Ирвинг — на самом деле был автором «Введения» к французскому изданию «Записок» Теннера. Как уже упоминалось, Н. В. Богословский назвал автором Э. Джемса. То же самое утверждают и комментаторы ряда других изданий, причем в некоторых из них (шеститомник, изданный Гослитиздатом в 1950 году; девятитомник, вышедший в серии «Библиотека „Огонек“» в 1954 году; издание 1950 года сборника «Пушкин-критик») это примечание курьезно соседствует с приведенным выше утверждением о том, что автор «Введения» — В. Ирвинг.

Эдвин Джемс (1797—1861) — американский исследователь, путешественник, натуралист, этнограф, публицист, записавший под диктовку рассказ неграмотного Теннера и издавший его в Нью-Йорке в 1830 году,¹³ действительно был еще и автором предисловия к американскому изданию. Пушкин же, готовя статью «Джон Теннер», пользовался не американским изданием, а названным выше французским переводом. В этом вопросе у пушкинских комментаторов нет разногласий. И всюду, где в примечаниях упоминается предисловие к «Запискам» Джона Теннера, имеется в виду именно французское издание, а не американское. Об этом с достаточной убедительностью свидетельствуют цитаты из этого предисловия, приведенные на французском языке в упоминавшемся выше девятом томе первого академического издания сочинений Пушкина, а в ряде последующих изданий повторенные (в кавычках или без них) на русском языке.

С учетом всего сказанного утверждение о том, что автором французского предисловия был Э. Джемс, могло бы быть основательным, во-первых, в том случае, если бы это предисловие было просто переведено из американского издания, или, во-вторых, в том случае, если бы Джемс написал еще одно предисловие для французского издания. В примечаниях же к тем нами упомянутым выше изданиям, где

⁸ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах, т. V, «Académie», М.—Л., 1936, стр. 613.

⁹ Пушкин-критик. «Académie», М.—Л., 1934, стр. 570.

¹⁰ *Mémoires de John Tanner, ou Trente années dans les déserts de l'Amérique du Nord. traduits sur l'édition originale, publiée à New-York, par M. Ernest de Blosseville, auteur de l'Histoire de Colonies pénales de l'Angleterre dans l'Australie.* Paris, 1835, t. I: XL + 355; t. II: 416.

¹¹ Там же, стр. XI.

¹² Там же.

¹³ *A narrative of the captivity and adventures of John Tanner... during thirty years residence among the Indians in the interior of North-America. Prepared for the press by Edwin James... New-York, 1830.*

фигурируют имена и Ирвинга и Джемса, первый назван автором «введения», а второй — автором «предисловия». Очевидно, составители этих примечаний считали, что «Запискам» Теннера предпосланы две вступительные статьи: предисловие и введение.

Ясность в этот вопрос вносит лишь обращение к самому предисловию французского издания. Во-первых, здесь нет двух вступительных статей, а только одна — обширное (40 страниц) «Введение» («Introduction»). Знакомство с ним не оставляет никаких сомнений в том, что это не перепечатка предисловия американского издания, а статья, написанная специально к французскому переводу книги. Написал ее переводчик Эрнест Блосвиль, имя которого названо в заглавии книги. «Введение» содержит многочисленные рассуждения об особенностях и трудностях перевода этой книги на французский язык, а также различные пояснения к переводу и т. д.

В предисловии неоднократно упоминается имя Эдвина Джемса («американский издатель», стр. I, XXXIV; «Теннер имел доверенное лицо в Эдвине Джемсе, писателе, заслуженно уважаемом», стр. VI; «Г. Эдвин в добросовестном предисловии объясняет», стр. VII). Как видим, здесь имеется даже упоминание о том, что в американском издании автором предисловия был Джемс.

Итак, Эрнест Блосвиль (1799—1886), французский литератор и публицист, широко известный во многих странах, в том числе и в России, как автор книги о колониях для английских преступников в Австралии, брат не менее известного в то время географа и путешественника Жюль Блосвиля, является автором предисловия к французскому изданию «Записок» Теннера, предисловия, внимательно прочитанного и широко использованного Пушкиным в его статье. Имя Блосвиля должно было бы по праву занять место и в комментариях к пушкинским сочинениям, где оно, к сожалению, ни разу не упоминается, и в указателе дополнительного (так называемого XVII) тома академического полного собрания сочинений Пушкина, как, впрочем, и имена многих других авторов, чьи книги помогли Пушкину составить определенное мнение о современных ему Соединенных Штатах Америки.

Но это уже вопрос, выходящий за рамки нашей заметки. Вернемся к авторству «Введения» к «Запискам» Теннера. История описанной выше путаницы, по нашему мнению, такова. Комментаторы девятого тома первого академического издания сочинений Пушкина, верно определив, что цитата из Ирвинга только приведена в предисловии, неправильно, однако, приписали само предисловие Э. Джемсу. Это, конечно, непростительно для солидного издания, тем более, что авторы примечаний пользовались самой книгой, приводя из «Введения» обширные отрывки на французском языке. Из примечаний же к названному изданию утверждение об авторстве Э. Джемса и перешло в последующие издания, комментаторы которых, видимо, всецело доверились своим предшественникам из академического издания и не затрудняли себя проверкой. Что же касается утверждения о том, что автором «Введения» был В. Ирвинг, то тут скорее всего кто-то из комментаторов однажды неудачно отредактировал, подправил это примечание, в результате чего цитата из Вашингтона Ирвинга, «приведенная во введении» или «заимствованная из введения», стала «цитатой из введения Вашингтона Ирвинга» и в таком виде пошла кочевать из одного издания в другое.

Уточнение наше не было бы полным, если бы не был дан ответ еще и на такой вопрос: из какого же произведения Ирвинга взята злополучная цитата? Выше уже упоминалось мнение Н. В. Богословского по этому поводу: он назвал в качестве источника «*Esquisses morales et littéraires*» — французское издание знаменитой «*Sketch Book*» («Книги эскизов») В. Ирвинга. Такого же мнения придерживаются и составители справочного тома к академическому полному собранию сочинений Пушкина. В указателях, составленных Л. А. Катанской, прямо сказано, что эта цитата взята из «Книги эскизов»¹⁴ (впрочем, ни том, ни страница здесь не указаны, как не указана страница второго тома этой книги в примечании Н. В. Богословского). Однако самый внимательный просмотр двухтомного парижского издания 1822 года, на которое ссылается Н. В. Богословский (этим изданием пользовался и Пушкин), и английского издания не позволяет обнаружить указанной цитаты ни в статьях, непосредственно посвященных американским индейцам («Некоторые черты индейского характера», «Филипп из Поканокета»), ни в прочих статьях. Она была найдена при тщательном просмотре других произведений Вашингтона Ирвинга, изданных по времени ранее французского перевода «Записок» Джона Теннера, а именно в книге «Поездка в прерии», вышедшей в свет в начале 1835 года. Для сравнения с французским и русским переводами приводим ее на языке оригинала: «As far as I can judge, the Indian of poetical fiction is like the shepherd of pastoral romance, a mere personification of imaginary attributes».¹⁵

¹⁴ Пушкин, Полное собрание сочинений, справочный том, Изд. АН СССР, 1959, стр. 218—219, 475.

¹⁵ W. Irving. A Tour on the Prairies. USA, University of Oklahoma press, 1956, p. 45. Небезы интересно, что эта книга сразу же после выхода в свет была переведена на французский язык (газета «*Journal de Saint-Pétersbourg*» 27 июля 1835 года перепечатала из французской «*Le Temps*» рецензию на французское изда-

Как видим, Блосвиль в точности воспроизвел на французском языке это высказывание Ирвинга, очень подходившее для предисловия к «Запискам» Джона Теннера, а Пушкин в вольном переводе перепес его в свою статью, как весьма точно соответствующее ее направленности и духу.

Итак, автор «Введения» к французскому изданию «Записок» Джона Теннера — не Ирвинг и не Джемс, а Эрнест Блосвиль; цитата из Ирвинга заимствована Блосвилем из книги «Поездка в прерии», а не из «Книги эскизов». Такое уточнение к примечаниям пушкинской статьи позволяет положить конец, хотя и со значительным опозданием, путанице в этом вопросе.



ние и сообщила, что книга продается в книжной лавке Беллизара — как раз здесь Пушкин обычно покупал иностранные книги). О книге Ирвинга сообщила в апрельской книжке за 1835 год «Библиотека для чтения», а в майской напечатала подробный пересказ ее содержания, перемежающийся отрывками из самой книги.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ КАРАМЗИНА В XIX ВЕКЕ

Литературное наследие Карамзина огромно. Многообразное по содержанию, жанрам и форме, оно запечатлело сложный и трудный путь развития писателя. Но из всего обширного литературного наследия Карамзина внимание науки привлекло лишь творчество 90-х годов.¹ В историю русской литературы Карамзин вошел как автор «Писем русского путешественника», повестей (прежде всего, конечно, «Бедной Лизы») и нескольких стихотворений, как создатель школы русского сентиментализма и реформатор литературного языка. Деятельность же Карамзин-критика почти не изучается, его публицистика игнорируется. Из многочисленных статей привлекает внимание лишь «Записка о древней и новой России», но не как предмет исследования, а как источник обличающих Карамзина цитат. «История государства Российского» объявлена научным сочинением и на этом основании исключена из истории литературы. Исключена вопреки своему содержанию и характеру, вопреки восприятию современников, вопреки мнению Пушкина, считавшего, что русская литература первых двух десятилетий XIX века «с гордостью может выставить перед Европой» наряду с несколькими одами Державина, баснями Крылова, стихотворениями Жуковского прежде всего «Историю» Карамзина. Делается это, наконец, вопреки убеждению Белинского, писавшего, что «История государства Российского» «навсегда останется великим памятником в истории русской литературы».²

Исключается, таким образом, из общего процесса развития литературы как раз та часть наследия Карамзина (критика, публицистика и «История государства Российского»), которая активно участвовала в литературном движении первой четверти XIX столетия. Вслед за давней традицией наша наука, даже говоря о деятельности Карамзина в XIX веке, до сих пор рассматривает его лишь как главу школы, которая принесла в литературу тему человека и создала язык для раскрытия жизни сердца, т. е. настойчиво натягивает на плечи зрелого Карамзина заячий тулупчик юношеского сентиментализма.

Давно назрела задача изучения всего наследия этого большого писателя. Вне такого изучения нельзя понять ни сильных, ни слабых сторон литературной работы Карамзина, ни важных для литературы побед писателя, нельзя определить действительную его роль и место в русской литературе.

¹ Изучению литературной позиции Карамзина в XIX веке многие десятилетия мешала схема так называемого «карамзинского периода» русской литературы, согласно которой наследие Карамзина искусственно и антиисторически сводилось к творческой практике 90-х годов, а его роль в литературном процессе к посадению сентиментализма. Вот почему мной была написана статья «Был ли карамзинский период в русской литературе?» («Русская литература», 1960, № 4), в которой утверждалось, что отказ от этой схемы не только не умаляет действительно больших заслуг Карамзина, но наоборот, помогая понять истинное богатство и сложность литературного развития первых двух десятилетий XIX века, поможет понять и литературную позицию самого Карамзина в период с 1801 по 1826 год. Настоящая статья в противовес предвзятой схеме является попыткой изучения творчества большого писателя во всей его сложности и противоречивости.

² В Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, Пгр., 1917, стр. 219.

1

Творчеству Карамзина в XIX веке предшествовал большой и сложный путь идейных и эстетических исканий. Увлечение философией и литературой Просвещения определило особенности складывающихся у юноши Карамзина эстетических убеждений. Просветители разбудили интерес к человеку как духовно богатой и неповторимой личности, чье нравственное достоинство не зависит от сословной принадлежности. Идея личности стала центральной и в творчестве Карамзина, и в его эстетической концепции.

Юноша Карамзин увлекался Лессингом и его протестующими героями, Шекспиром и созданными им могучими, цельными характерами людей, которые активно участвовали в бурных событиях своего времени, Руссо и героями романа «Новая Элоиза», пережившими высокую драму любви. Большое значение в жизни Карамзина этой поры имел новиковский кружок, в котором началась его литературная работа. В кружке были люди различных убеждений. Прежде всего влияние оказывал сам Новиков, который пригласил юного литератора в журнал «Детское чтение» и поручил ему переводы для этого журнала. Новиковская вера в благотворительную силу просвещения, его практицизм и активность в организации журнального и книгоиздательского дела были усвоены и унаследованы Карамзиным. Существенную роль в выработке идеала у молодого Карамзина сыграли и писатели-масоны, участники новиковского кружка — А. Петров и А. Кутузов. Кутузов в своих сочинениях и переводах (он перевел, в частности, поэму Юнга «Ночи») культивировал интерес к одинокой, занятой своими переживаниями личности, отрывая ее от интересов общества, гражданской жизни, утверждая субъективизм как основу искусства.

Карамзин, с интересом относясь к различным философским и эстетическим концепциям человека, долгое время не мог самоопределиться. Его письма к Лафатеру 1786—1789 годов свидетельствуют о настойчивом желании понять человека, понять самого себя. Карамзин признавался: «Я есмь и мое я для меня загадка, которую я не могу разгадать; я говорю: моя душа, мое тело, и все-таки не знаю, что такое душа».³

Интерес начинающего писателя к этим проблемам не был новостью для русской литературы тех лет. В 1783 году в журнале «Собеседник российского слова» Фонвизин (правда, анонимно) начал печатать «Повествование мнимого глухого и немого». Учитывая опыт «Исповеди» Руссо, Фонвизин ставит перед собой задачу исследовать человека, чтобы показать противоречивость «сердца человеческого». Автор «Недоросля» считал, что главное дело писателя заключается в том, чтобы «познавать людей, познавать человека». В 1784 году в том же журнале Державин напечатал оду «Бог», в которой под влиянием просветительских идей широко развернул свое понимание этой проблемы. Ода явилась блистательной поэтической декларацией величия человека. Автор подчеркивал нерасторжимость связи человека с обстоятельствами его жизни, раскрывая душу личности не с отвлеченных метафизических позиций, а конкретно, отчего она предстала перед читателями как душа именно русского человека и гражданина.

В 1787 году Карамзин пишет (но не печатает) стихотворение «Поэзия», которое явилось первым и в то же время полным выражением его эстетической позиции. В центре «Поэзии» — мысль о высоких общественных обязанностях писателя. Карамзин убежден, что

Во всех, во всех странах Поэзия святая
Наставницей людей, их счастьем была.

³ Переписка Карамзина с Лафатером. СПб., 1893, стр. 26.

Давая обзор истории мировой поэзии, Карамзин подчеркивает высокую учительную функцию искусства:

Омир в стихах своих описывал героев —
И пылкий юный грек, вникая в песнь его,
В восторге восклицал: «Я буду Ахиллесом!
Я кровь свою пролью, за Грецию умру!»

В этом же заключалась и роль греческого театра:

Софокл и Эврипид учили на театре.
Как душу возвышать...

Но еще больше заслуг Карамзин видит у Шекспира:

Шекспир, Натуры друг! Кто лучше твоего
Познал сердца людей?..⁴

Писатель для Карамзина этой поры — друг природы. Поэт, побразжая натуру, стремится приблизиться к красоте реального мира. В письме Лафатеру Карамзин пишет: «Искусство всегда уступает природе, и копия всегда хуже подлинника».⁵ Позже, как бы развивая эту мысль, он скажет определеннее: «Что суть искусства? — Подражание натуре» («Нечто о науках, искусствах и просвещении»)⁶. Подобные утверждения свидетельствуют, что не масонские взгляды на искусство, не субъективистская философия Кутузова привлекли внимание молодого писателя, — формирование его убеждений проходило под влиянием просветительской литературы.

Иначе складывались социальные убеждения Карамзина. Знакомый с социологическими учениями просветителей — Монтескье и Руссо, Вольтера и энциклопедистов, он не мог не знать, что по вопросу о равенстве среди них нет единства. Демократическая точка зрения Руссо, требовавшего насильственным способом установить равенство в обществе, вырождала интересы народных масс, но многими просветителями не принималась. Гельвеций и Гольбах отстаивали равенство человека только перед законом, полагая, что люди всегда были неравны. Вольтер, будучи не в состоянии преодолеть груза дворянских убеждений, утверждал, что социальное неравенство есть вечный закон общественной жизни. Дворянину Карамзину точка зрения Вольтера была ближе всего. Уже в журнале «Детское чтение», который он готовил вместе с Петровым, был напечатан нравоучительный разговор Добросердова с детьми о неравенстве состояний. Добросердов поучал детей, что только благодаря неравенству крестьянин обрабатывает поле и тем добывает нужный дворянам хлеб. «Итак, — заключал он, — посредством неравного разделения участия бог связывает нас теснее союзом любви и дружбы». С юношеских лет до конца жизни Карамзин остался верен убеждению, что неравенство в настоящих обстоятельствах необходимо, что оно даже благотельно. Но отстаивать идею неравенства в канун и во время Великой французской революции, а позже — в период готовившейся в России дворянской революции, которая должна была уничтожить рабство, значило противопоставлять себя передовым силам страны и в какой-то мере давать господствующему классу освященное традицией Просвещения оружие для защиты своих интересов.

⁴ Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев. Стихотворения. Малая серия «Библиотеки поэта». «Советский писатель», М., 1958, стр. 79—81.

⁵ Переписка Карамзина с Лафатером, стр. 18.

⁶ Карамзин, Сочинения, т. VII, М., 1820, стр. 26. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

Итак, неприятие идеи равенства составляло слабость идеологической позиции Карамзина. Увлечение же философией, этикой и эстетикой просветителей обусловило важнейшие успехи и достижения Карамзина — писателя и критика. Значительным этапом в формировании его убеждений явилось путешествие за границу. Воспитание жизнью неожиданно обострялось событиями огромного исторического значения — во Франции началась революция, которую Карамзин лично наблюдал в 1790 году. Вся последующая литературная деятельность писателя проходила непосредственно под влиянием революции.

2

Путешествие укрепило веру Карамзина во всемогущую силу Просвещения, вызвало в нем искреннее доверие к философам, всю жизнь боровшимся со злом и, как ему казалось, открывшим человечеству истинный путь к счастью и благу. Позже Карамзин признавался в оптимистическом характере своих убеждений начала 90-х годов. «Конец нашего века, — писал он, — почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью; что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сенью мира в крове тишины и спокойствия наслаждаться истинными благами жизни» (VII, 93—94).

Вера была такой глубокой, что она не поколебалась, когда началась французская революция. Ахиллесова пята Просвещения — его политическая теория. Просветители не принимали и боялись революции, полагая, что путь к свободе человека — путь медленный, путь воспитания всех людей и очищения их от пороков зла и эгоизма, путь социальных реформ, осуществляемых через законодательство волей просвещенного монарха. Карамзин не был просветителем, и потому его дворянские убеждения тем более должны были определить враждебность к событиям 14 июля 1789 года.

К сожалению, вопрос об отношении Карамзина к французской революции не только не выяснен наукой, но и неверно освещен. Повелось, с легкой руки Н. Полюдина, характеризовать карамзинскую позицию по его пятой части «Писем русского путешественника», изданных в 1801 году, где давалась резко отрицательная оценка революции. Однако уже давно В. В. Сиповский⁷ установил, что пятая часть создавалась в самом конце 90-х годов, что Карамзин сознательно свой поздний взгляд на революцию выдавал за убеждения того времени, когда он был во Франции. Карамзину явно не хотелось, чтобы читатель знал истинное его отношение к революции, которой он был свидетелем и за ходом которой пристально наблюдал. И все же, как ни затемнен этот вопрос самим Карамзиным, а затем и исследователями его творчества, в нашем распоряжении имеются как прямые, так и косвенные свидетельства, довольно определенно характеризующие подлинное отношение Карамзина к французской революции.

Каковы же эти свидетельства? В 1797 году во французском журнале «Северный зритель» («Spectateur du Nord») Карамзин напечатал статью «Несколько слов о русской литературе». В конце ее для того, чтобы показать иностранным читателям, «как мы видим вещи», он опубликовал часть ранее написанных (видимо, в 1792—1793 годах) «Писем русского путешественника», посвященных Франции, но не включенных им в русское издание «Писем», вышедшее в том же 1797 году. «О французской

⁷ См.: В. В. Сиповский. Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899.

революции он, — пишет Карамзин о себе в третьем лице, — услышал впервые в Франкфурте-на-Майне: известие это его чрезвычайно волнует».⁸

Дела задерживают Карамзина на несколько месяцев в Швейцарии. «Наконец, — говорится в «Письмах», — автор прощается с прекрасным Женевским озером, прикрепляет к шляпе трехцветную кокарду, въезжает во Францию». Некоторое время он живет в Лионе, затем «надолго останавливается в Париже»: «Наш путешественник присутствует на бурных заседаниях в народном собрании, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббату Мори и сравнивает их с Ахиллесом и Гектором». Далее Карамзин пишет о том, что он собирался сообщить русским читателям о революции: «Французская революция относится к таким явлениям, каковые определяют судьбы человечества на долгие годы. Открывается новая эпоха. Мне дано видеть ее, а Руссо предвидел ее...» После многомесячного пребывания в Париже Карамзин, уезжая в Англию, «шлет Франции последнее прощанье, пожелав ей счастья».⁹

Видимо, там же, в Париже, Карамзин слушал и Робеспьера, вызвавшего его сочувствие. По свидетельству Николая Тургенева, человека очень осведомленного и объективно оценивавшего идеологическую позицию Карамзина, «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы».¹⁰

Путешествие способствовало возмужанию Карамзина. Именно в это время у него определился интерес к политике, к политическому бытию не только своего отечества, но и других государств Европы. В сознание «русского путешественника» вошло новое и важное понятие — опыт человечества. Как ни велико достояние великих мужей разума, но их теории, книги, труды должны проверяться опытом. Революция и была таким неожиданным и беспримерным опытом, к которому следовало присмотреться и который должно было изучить. И Карамзин присматривался, изучал. На его языке революция означала эпоху, когда начиналось «важное, общее соединение теории с практикою, умозрепия с деятельностью» (VII, 94).

Вернувшись в Москву «с некоторыми новыми опытами, с некоторыми новыми знаниями», Карамзин с воодушевлением приступил к организации нового журнала. С января 1791 года начал выходить «Московский журнал», в котором специальный раздел занимали рецензии на иностранные и русские политические и художественные произведения, на спектакли русского и парижского театра. Именно в этих рецензиях с наибольшей отчетливостью проявилась общественная позиция Карамзина, его отношение к французской революции.

Появление специального критического отдела в журнале вытекало из убеждения Карамзина, что критика помогает развитию литературы. Доказывая необходимость критики, он писал: «Что была немецкая литература за тридцать лет перед сим и что она теперь? И не строгая ли критика произвела отчасти то, что немцы начали так хорошо писать?»¹¹ Карамзин видел, что в России в течение последних нескольких десятилетий появилось много талантливых книг. Признавая, что «у нас нет недостатка в талантах», он справедливо жаловался на отсутствие критики, которая бы воспитывала вкус: «Храм вкуса... редко открывается перед нашими авторами». Мешало развитию литературы и отсутствие побуждения у авторов «к усидчивому труду», и то, что «в стране, где все

⁸ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, стр. 477 (франц.).

⁹ Там же, стр. 479—480.

¹⁰ Николай Тургенев. Россия и русские, т. I. М., 1915, стр. 342.

¹¹ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 475.

определялось рангами, слава имеет мало притягательного».¹² Критика поэтому, по мысли Карамзина, должна была учить вкусу, требовать от авторов усидчивого труда, воспитывать чувство гордости художественными достижениями и пренебрежение к рангам. В понимании Карамзина эпохи «Московского журнала» критика — это прежде всего рецензия. Рецензент ставил перед собой две цели. Во-первых, популяризовать идеи новых сочинений, широко информировать читателя. Руководить чтением читателя, утверждает Карамзин, это одна из важнейших задач критика. Подобному рецензированию подвергались прежде всего иностранные книги. Во-вторых, задача рецензента — учить автора. Большая часть рецензий, посвященных русским книгам, носила откровенно учительный характер.

Из многочисленных рецензий на иностранные книги необходимо выделить группу сочинений (главным образом французских), посвященных политическим вопросам. Карамзин рекомендовал русскому читателю сочинения активного участника революции философа Вольнея «Развалины, или размышления о революциях империи», книгу Мерсье о Жан-Жаке Руссо. Остерегаясь цензуры, Карамзин кратко, но выразительно характеризовал их как «важнейшие произведения французской литературы в прошедшем году».¹³ Рецензируя перевод «Утопии» Томаса Мора, Карамзин, отметив плохое качество перевода, с сочувствием отнесся к содержанию всемирно известного сочинения: «Сия книга содержит описание идеальной или мысленной республики, подобной республике Платоновой...»¹⁴ Хотя Карамзин и считал, что «многие идеи „Утопии“» «никогда не могут быть произведены в действле», подобные рецензии приучали читателя в пору, когда юная французская республика искала путей к своему реальному утверждению, размышлять о характерных особенностях «мысленной республики».

Особый интерес представляет рецензия на «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» аббата Бартеlemi, с которым Карамзин познакомился в Париже.¹⁵ Интерес к Греции, к древним эпохам человечества, к разнообразным и богатым культурам прошлого очень характерен для Карамзина этой поры. В духе таких деятелей, как Гердер, он не считал высокую культуру древней Греции исключительной, достойной вечного подражания. Он отлично понимает, что при всех огромных достижениях наук и искусств Греции они в ту эпоху «были еще, так сказать, в бессловесном младенчестве». Человечество с тех пор далеко ушло вперед. Более того, даже в те далекие времена культура Греции не была единственной. Существовали еще не менее древние и не менее высокие культуры Востока. Особый интерес представляет культура северных народов Европы. Выражением таких убеждений были статьи, посвященные Оссиану и древнему индийскому поэту Калидасу. В заметке о Калидасе Карамзин, в частности, писал: «Творческий дух обитает не в одной Европе; он есть гражданин вселенной. Человек везде человек... Калидас для меня столь же велик, как и Гомер. Оба они получили кисть свою из рук природы и оба изображали — натуру».¹⁶ Вслед за рецензией на сочинения Бартеlemi и Калидаса Карамзин попытался выступить как художник, чтобы передать дух далеких эпох и культуры так непохожих друг на друга народов. Он пишет очерк «Афинская жизнь» и переводит часть поэмы Калидаса «Саконтала».

Автобиографию Франклина Карамзин называет «примечания достойной книгой». Ее ценность — в поучительности. Франклин — реальное

¹² Там же.

¹³ «Московский журнал», 1792, январь, стр. 15.

¹⁴ Там же, 1791, март, стр. 362.

¹⁵ Там же, июль—сентябрь, стр. 97—113, 201—217, 333—341.

¹⁶ Там же, 1792, май, стр. 125—126.

историческое лицо — рассказывает о себе, как он, бедный типографщик, стал политическим деятелем и вместе со своим народом «смирил гордость британцев, даровал вольность почти всей Америке и великими открытиями обогатил науки».¹⁷ Рецензия эта важна прежде всего как выражение карамзинского идеала человека 90-х годов; писатель восхищается Франклином именно потому, что тот был активен, жил политическими интересами, что душа его была охвачена деятельной любовью к людям, к вольности. Данное суждение Карамзина свидетельствует, что он полностью согласен с той оценкой, которую дает Франклин Платнер и которую Карамзин слышал в Лейпциге. Платнер говорил: «Я вам поставлю в пример Франклина не как ученого, но как политика. Видя оскорбляемые права человечества, с каким жаром берется он быть ходатаем оного! С сей минуты перестает он жить для себя и в общем благе забывает свое частное. С каким рвением видим его текущего к своей великой цели, которая есть благо человечества!»¹⁸

Пропаганда остро политических сочинений в годы, когда во Франции разворачивались бурные события, свидетельствует о глубоком внимании Карамзина к этим событиям, о его желании помочь своим читателям понять их смысл и извлечь из них нужный опыт. Вот почему он ни разу не осудил революцию на страницах своего журнала.

Рецензий на русские книги в журнале немного. Оценивая произведения своего времени, Карамзин прежде всего отмечает как их существенный недостаток отсутствие верности, точности в изображении поведения героев, обстоятельств их жизни. Своеобразным обобщением позиции Карамзина-критика является его утверждение: «Драма должна быть верным представлением общежития». Почему-то в науке утвердился взгляд, что Карамзин как сентименталист не видел зависимости характера от обстоятельств и потому не проявлял интереса к этим обстоятельствам. Факты противоречат подобным суждениям. Сентиментализм того времени, да еще сентиментализм, связанный с просветительской идеологией (в отличие от тех писателей-сентименталистов, которые стояли на субъективистских позициях, например Стерн, Юнг), не отрицал такой зависимости и проявлял интерес к внешнему миру.¹⁹ «Письма русского путешественника» рисовали не только портрет души их автора — читатель нашел в них объективную картину общества, точные сведения о культуре, социальной жизни нескольких европейских стран, реальные биографии известных писателей и философов, множество конкретных сведений и точных фактов. В статье «Несколько слов о русской литературе» Карамзин, может быть, полнее и определеннее всего выразил свою позицию по этому вопросу: «Я видел, — писал он, — первые нации Европы, их нравы, их обычаи, и те мельчайшие черты характера, которые складываются под влиянием климата, степени цивилизации и, главное, государственного устройства».²⁰

Одной из первых русских книг, отрецензированных Карамзиным в «Московском журнале», было отдельное издание поэмы Хераскова «Кадм и Гармония». Пересказав ее содержание, обратив внимание на достоинства, рецензент осторожно отмечает ее несовершенство, ошибки и «неисправности». Отсутствие верности в изображении эпохи — главный упрек рецензента. Поэма, пишет он, «отзывается новизною, это противно духу тех времен, из которых взята басня».²¹

¹⁷ Там же, 1791, декабрь, стр. 355.

¹⁸ Там же, июнь, стр. 313.

¹⁹ В романе Руссо «Эмил, или о воспитании», который отлично знал Карамзин, специальная глава посвящена роли путешествия в познании объективного бытия народов.

²⁰ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 482.

²¹ «Московский журнал», 1791, январь, стр. 104.

Большинство рецензий о русских книгах посвящено переводам на русский язык иностранных сочинений. В них главное внимание уделяется качеству перевода. Серьезно, со знанием дела Карамзин вскрывает просчеты переводчиков, отмечает ошибки в передаче смысла, иногда предлагая вместо неудачного образца свой вариант перевода. Подобные рецензии — новое и интересное явление в истории русской критики, они наглядно учили вкусу, преподавали урок стилистики.

Появление русского перевода романа Ричардсона «Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов» заставило Карамзина подробно разобрать перевод, тем более, что английский роман был переведен с французского языка, который к тому же переводчики не очень хорошо знали. Огромный, в восьми томах, роман вызвал у читателя большой интерес, хотя там не было ни авантюрного сюжета, ни чудес, ни «сладострастных картин», которыми, как правило, «прельщают новейшие романисты» читателя. Карамзин задает вопрос: в чем же достоинство романа, так полюбившегося публике? И отвечает: «в описании обыкновенных сцен жизни», в том, что автора отличает «отменное искусство в описании подробностей и характеров».²² Такое суждение не только констатировало достоинства нашумевшего романа, но и обращало внимание русских авторов на необходимость «описывать обыкновенные сцены жизни», овладевать мастерством изображения подробностей и характеров. «Бедная Лиза» самого Карамзина была своеобразной художественной реализацией этих требований критика, и то, что повесть пришлась по вкусу широкому читателю, свидетельствует о своевременности борьбы Карамзина за относительно демократизацию литературы.

С наибольшей открытостью свое отношение к нормативной поэтике Карамзин высказал в рецензии на трагедию Корнеля «Сид». Признавая поэтические достоинства «Сида», Карамзин решительно не принимает эстетического кодекса Корнеля, целиком отдавая предпочтение Шекспиру в прошлом, Лессингу в настоящем. «Французские трагедии можно уподобить хорошему регулярному саду, — писал Карамзин, — где много прекрасных алей, прекрасной зелени, прекрасных цветников, прекрасных беседок; с приятностию ходим мы по сему саду и хвалим его; только все чего-то ищем и не находим, и душа наша холодною остается; выходим, и все забываем. Напротив того шекспировы произведения уподоблю я произведениям природы, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности; которые с неописанною силою действуют на душу нашу и оставляют в ней неизгладимое впечатление».²³ Из номера в номер Карамзин-критик излагал в своих рецензиях программу развития такого искусства, которое увлекало бы читателя своей «нерегулярностью», своей близостью к природе, своим умением затронуть душу человека.

Переведя в юности «Юлия Цезаря» Шекспира и «Эмилию Галотти» Лессинга, Карамзин теперь вернулся к последнему произведению уже с позиций критика. Так появилась большая статья, посвященная постановке «Эмилли Галотти» на русской сцене. Трагедия привлекает Карамзина тем, что драматург, раскрывая интимную жизнь своих героев, показав в то же время, что человек не может отделиться от общества, от социальных и политических обстоятельств, его окружающих, что счастье не внутри человека, а зависит и от законов, и от действий монарха. Анализируя трагедию, Карамзин прямо заявляет, что упования героя ее Одоардо на справедливость монарха иллюзорно: «Какие же средства оставались ему спасти ее? (дочь Эмилию, — Г. М.). К законам ли прибегнуть, там, где законы говорили устами того, на кого бы ему просить надлежало?»²⁴ Ценил Лессинга за глубокое «знание сердца челове-

²² Там же, октябрь, стр. 108—109.

²³ Там же, июль, стр. 95—96.

²⁴ Там же, январь, стр. 69—70.

ского», Карамзин с одобрением говорит о том, как обстоятельства заставляют Эмилию «языком Катона говорить о свободе души». Карамзин подводит читателя к мысли о праве личности на сопротивление (правда, на пассивное, но все же сопротивление) тирану и вообще всякому, кто «другого человека приневолить хочет». С одобрением критик приводит слова Одоардо: «Кажется, что я уже слышу тирапа, пдущего похитить у меня дочь мою. Нет, нет! Он не похитит, не обесчестит ее!»²⁵ Спасаясь от насилий тирана, Одоардо закалывает свою дочь. Именно за это хвалит Карамзин трагедию, считая ее «венцом лессинговых драматических творений».

К критическим работам Карамзина периода «Московского журнала» примыкают и статьи, написанные зимой и весной 1793 года, — «Что нужно автору» и «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Опыт рецензента подсказал Карамзину необходимость определить те требования, которые должно предъявлять к произведению и, следовательно, к его автору. «Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения — все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется чувством» (VII, 16). Но чувства обуславливаются общественной позицией автора. Каковы убеждения писателя, таковы те чувства, которые он внушает читателю, потому автору нужны не только талант, знания, живое воображение, но «ему надобно иметь и доброе, нежное сердце». Здесь Карамзин формулирует свое знаменитое требование: писатель «пишет портрет души и сердца своего» (VII, 15).

Принято считать, что в этом требовании проявилась субъективистская позиция Карамзина. Подобное заключение ошибочно, ибо слова Карамзина необходимо рассматривать исторически и конкретно, исходя из его понимания души. Признав, вслед за просветителями, что не сословная принадлежность определяет ценность человека, а богатства его внутреннего, индивидуально неповторимого мира, Карамзин тем самым должен был решить для себя, что же отличает одного человека от другого, в чем же выражает себя личность. Еще юношей, как мы помним, Карамзин задал Лафатеру вопрос: что же такое душа? Ведь свойства души и должны составлять особенные, неповторимые качества личности! Лафатер не смог или не захотел объяснять своему юному корреспонденту сложную проблему. Но опыт научил Карамзина, и многое ему открылось. В 90-е годы он уже знает, что главное в личности, в ее душе — это способность «возвышаться до страсти к добру», «желание всеобщего блага». Как видим, для Карамзина важны общественные интересы личности. Писатель тоже индивидуально неповторимая личность, и ему по роду деятельности тем более должно быть свойственно «желание всеобщего блага». Такая душа не отделяет его от мира людей, но открывает путь «в чувствительную грудь» «всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему» (VII, 16).

В духе времени Карамзин считает автобиографию основой нового искусства. Его воодушевляет «Исповедь» Руссо, он ценит глубоко автобиографическую поэзию Державина. Тогда же, в начале десятилетия, Фонвизин писал свое автобиографическое «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях». Сам по себе автобиографизм, раскрытие души писателя не означали ухода из объективной жизни в мир субъективного и подсознательного — произведения Руссо, Державина и Фонвизина были тому примером. «Творец, — пишет Карамзин, — всегда преображается в творении, и часто против воли своей» (VII, 14). А раз так, если даже невольно в произведении отражается душа и сердце автора, то значит необходимо, чтобы этому сердцу было присуще «желание всеобщего блага». Таково отчетливое, несколько своеобразно

²⁵ Там же, стр. 74.

высказанное требование гражданской позиции писателя. Конкретизируя свою мысль, Карамзин говорит о писателе, который на благо человечества рисует портрет своей души. Этим писателем оказывается Руссо. «Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабостями и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, когда он мечтает или запутывается в противоречиях? Оттого, что в самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия, оттого, что самые слабости его показывают некоторое милое добродушие» (VII, 16). Задолго до Карамзина Фонвизин оправдывал Руссо за то, что он верно изобразил портрет души своей даже не в момент ее желания служить человечеству, но в минуту падения. «Книга, которую он сочинил («Исповедь», — Г. М.), есть не иное что, как исповедь всех его дел и помышлений... Изобразил он без малейшего притворства всю свою душу, как мерзка она была в некоторые моменты, как сии моменты завлекали его в сильнейшие злодеяния, как возвращался к добродетели; словом, обнаружил он сердце свое и тем хотел сделать услугу человечеству, показав ему в самой слабости, каково суть человеческое сердце».²⁶

Весной 1793 года пишется статья «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Это гимн человеку, его успехам в науках и искусствах. Карамзин глубоко убежден, что человечество идет по пути прогресса, что именно XVIII век благодаря деятельности великих просветителей — ученых, философов и писателей — приблизил людей к истине. Заблуждения были и будут всегда, но они как «чуждые наросты рано или поздно исчезнут», ибо человек обязательно придет «к приятной богине истине». Усвоив передовую философию своего времени, Карамзин считает, что «просвещение есть палладиум благонравия». Просвещение благотельно для людей всех состояний. Заблуждаются те законодатели, которые думают, что науки кому-либо вредны, что «какое-нибудь состояние в гражданском обществе» должно «пресмыкаться в грубом невежестве». «Все люди, — продолжает Карамзин, — имеют душу, имеют сердце: следственно все могут наслаждаться плодами искусстваа и науки, и кто наслаждается ими, тот делается лучшим человеком и спокойнейшим гражданином» (VII, 49). Правда, Карамзин тут же оговаривает свое понимание роли просвещения, и оговорка характерна для деятеля, который в силу дворянской ограниченности не принимает идеи равенства состояний: «Спокойнейшим, говорю, ибо находя везде и во всем тысячу удовольствий и приятностей, не имеет он причины роптать на судьбу и жаловаться на свою участь» (VII, 49—50).

В статье Карамзин полемизировал с Руссо, который в трактате «О влиянии наук на нравы», не принимая современное ему общество, основанное на неравенстве людей, пришел к ошибочному выводу, что развитие наук не улучшает, а развращает нравы, что человек, когда-то на заре цивилизации пользовавшийся естественной свободой, теперь утратил ее. Пафос Руссо — в отрицании строя неравенства. Карамзин, как уже говорилось, оправдывал существующее в обществе неравенство, но, следуя за просветителями, верил в могучую силу просвещения, в мирный путь ликвидации существующей социальной несправедливости. Оттого он и заявляет так решительно, что просвещение есть палладиум благонравия, поскольку чем интенсивней будет развиваться просвещение, тем скорее обретут счастье все состояния. Как ни ограничена позиция Карамзина, выступление писателя в защиту просвещения, признание его благотельности для всех сословий, хвала наукам и великим идеологам XVIII века, высказанная в годы продолжающейся во Франции револю-

²⁶ Д. И. Фонвизин, Сочинения в двух томах, т. 2, Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 479.

ции, были важным общественным событием 90-х годов, отчетливо отделявшим Карамзина от лагеря реакционеров и консерваторов.

Значение этой статьи еще и в том, что она косвенно характеризует отношение Карамзина к французской революции. Дело в том, что статья писалась зимой или весной 1793 года, во всяком случае незадолго до смерти Ш. Бонне (он умер 20 мая 1793 года), следовательно, после казни Людовика XVI (он был казнен 21 января 1793 года). Как видим, ни суд над французским королем, ни смертный приговор ему, вынесенный Конвентом, ни сама казнь не поколебали веры Карамзина в Просвещение, не вызвали у него возмущения революцией. Наоборот, он закончил статью прямым обращением к законодателям и, судя по терминологии, целиком заимствованной из революционной публицистики, к законодателям не венценосным: «Законодатель и друг человечества! Ты хочешь общественного блага: да будет же первым законом твоим — просвещение!» (VII, 52).

Французская революция и особенно казнь Людовика XVI, как известно, вызвали активизацию русской реакции во главе с Екатериной. Карамзин же в 1791 году в «Письмах русского путешественника», рассказывая о посещении профессора лейпцигского университета Платнера, называет имя его ученика Радищева, осужденного Екатериной и отправленного в Илимский острог. В 1792 году, когда повелением императрицы Новиков без суда был заточен в Шлиссельбургскую крепость, Карамзин пишет и печатает оду «К милости», призывая Екатерину амнистировать Новикова. В 1793 году, после казни Людовика XVI, Карамзин пишет хвалу Просвещению и великим просветителям, помогавшим человечеству двигаться к истине. Все это не только факты личного благородства и мужества, но и свидетельства убеждений человека, далекого от лагеря реакции.

3

Катастрофа разразилась неожиданно — летом 1793 года. В июле Карамзин уехал в орловское имение на отдых. В августе новые известия о французских событиях смутили душу писателя. В письме к Дмитриеву он писал: «...ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою». С горечью и болью думал он «о разрушаемых городах и погибелю людей».²⁷ Тогда же написанный очерк «Афинская жизнь» оканчивался автобиографическим признанием: «Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом плафрое, и не вижу перед собою ничего, кроме догорающей свечи, измаранного листа бумаги и гамбургских газет, которые... повесть меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников» (VII, 90).

Что же случилось? Борьба правых депутатов Конвента (жирондистов), выражавших интересы буржуазии, испугавшейся размаха народной революции, и якобинцев, представителей истинно демократических сил страны, достигла апогея. Весной в Лионе вспыхнуло поднятое контрреволюционерами восстание. Его поддержали жирондисты. Началось грандиозное восстание против революции в Вандее. Спасая революцию, опираясь на восстание парижских секций (31 мая—2 июня), якобинцы во главе с Робеспьером, Маратом и Дантоном установили диктатуру. Вот эти события, развернувшиеся в июне—июле 1793 года, о которых Карамзин узнал в августе, и повергли его в смятение, испугали, оттолкнули от революции. И, думается, тут дело не в боязни якобинской политики террора — ведь не испугался же он казни Людовика XVI, не отказался от своего уважения к Робеспьеру. Дело в другом: события революции приняли такой сложный, противоречивый характер, что не одному Ка-

²⁷ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 42.

Карамзину оказалось трудным понять причину борьбы внутри тех сил, которые совершили революцию, приняли конституцию и единодушно осудили на казнь короля. Не умея проникнуть в суть социально-экономических и политических событий, Карамзин увидел то, что было на поверхности, — хаос: революция совершилась, король казнен, республика учреждена, а народ так же бесправен, нищ, голоден; правительство беспрестанно менялось, казалось, оно было занято не судьбами страны и народа, но только междоусобной борьбой — одна часть Конвента арестовывала другую, посылая лидеров враждебных групп на эшафот. Как трудно было современнику, да еще чуждому революции, понять сущность событий, связанных с якобинской диктатурой, свидетельствует отношение Радищева к Робеспьеру. В «Песни исторической», писавшейся в первой половине 90-х годов в Илимске, Радищев, характеризуя режим римского сенатора Суллы, сравнивает его с Робеспьером: «Нет, ничто не уравняется ему в лютости толкающей, Робеспьер дней наших разве».²⁸

События июня—июля 1793 года нанесли сокрушительный удар убеждениям Карамзина. Рухнула прежняя система взглядов, закралось сомнение в возможности человечества достичь счастья и благоденствия, сложилась система откровенно консервативных убеждений. Выражением новой идеологической позиции Карамзина, исполненной смятения и противоречий, были статьи-письма — «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору». Мелодор и Филалет это не разные люди, это голоса души самого Карамзина, это смущенный и растерянный старый Карамзин и Карамзин новый, ищущий иных, отличных от прежних, идеалов жизни.

Мелодор горестно признается: «Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя, среди убийств и разрушения не узнаю тебя!» (VII, 95). Возникает роковой вопрос: как жить дальше? Искать спасения в эгоистическом счастье? Но Мелодор знает, что «для добрых сердец нет счастья, когда они не могут делить его с другими» (VII, 97). В ином случае, спрашивает Мелодор, «начто жить мне, тебе и всем? Начто жили предки наши? Начто будет жить потомство?» (VII, 101).

Филалет, философски взирая на события, хочет сам «спастись от ковраблекрушения» и спасти друга своего. Надо верить в силу провидения; люди не вечно будут заблуждаться и «когда-нибудь перестанут мучить самих себя и друг друга» (VII, 110). Филалет восклицает: «Терпение и надежда!» А сейчас, когда частное благо отделено от общественного, будем пользоваться тем, что дает просвещение личности, открыв ей «непессякаемый источник блаженства в собственной груди нашей» (VII, 112).

Поскольку Карамзин—Мелодор не мог справиться со своими сомнениями, ему пришлось жить по системе Филалета. С осени 1793 года начинается новый этап в творчестве Карамзина. Разочарование в идеологии Просвещения, неверие в возможность освободить людей от пороков, поскольку страсти неистребимы и вечны, убеждение, что следует жить вдали от общества, от исполненной зла жизни, находя счастье в наслаждении самим собой, определили и новые взгляды на задачи поэта.²⁹ Философия Филалета толкала на путь субъективизма. В центре творчества стала личность автора; автобиографизм находил выражение в раскрытии внутреннего мира тоскующей души человека, бегущего от общественной жизни, пытающегося найти успокоение в эгоистическом счастье. С наибольшей полнотой новые взгляды выразились в поэзии. Карамзин

²⁸ А. Н. Радищев. Избранные сочинения. Гослитиздат, М., 1952, стр. 314.

²⁹ Ю. М. Лотман в статье «Эволюция мировоззрения Карамзина» начало перелома относит к зиме 1792 года, ко времени закрытия «Московского журнала», что противоречит фактам («Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 51, 1957).

теперь ставит искусство выше жизни. Песни поэта, как песни соловья, чудодейственны, они уносят его из суровой и печальной действительности в мир радости, освобождают человека от власти обстоятельств:

Невольник цепи забывает,
Свободу в сердце обретает,
Находит сносным жребий свой

Из стихотворения в стихотворение, как заклинание, проходит тема бегства поэта в мир мечты:

На минуту позабудемся в чародействе красных вымыслов.

Теперь Карамзин, не веря в существование истины, утверждает:

Непроницаемым туманом покрыта истина для нас.

Потому долг поэта — «вымыплять», и истинный поэт — это «искусный лжец». Карамзин признавался читателю, что он

Столько лет мечтой пленялся,
Хотел блаженства, восхищался

как зодчий, создававший «великий храм» — «на диво будущим векам». Но теперь храм разрушен, «упал... и нет его»:

Что ж, бедный зодчий? Он клянется
Не строить впредь, беспечно жить.³⁰

Естественно, в этих условиях Карамзин отказался от критики. Она была нужна, когда строился «храм», когда писатель верил в гражданскую миссию литературы. Кому она нужна теперь? Эстетическое кредо Карамзина непосредственно выразилось в глубоко субъективном творчестве. Как поэт и автор повестей «Остров Борнгольм», «Сиерра Морена», «Юлия», Карамзин именно в эти годы становится вождем того сентиментализма, который справедливо обозначается его именем. В произведениях Карамзина этих лет в силу односторонности субъективистской эстетической позиции автора с наибольшей полнотой выразились черты его поэтики: интерес к противоречиям души, к таинственному и недоговоренному, к напряженной жизни сердца человека, стремящегося убежать из мира, где господствует зло, где неизбежны страдания и пороки. Недаром он демонстративно называет сборник своих произведений «Мои безделки».

Но Филалет не одержал полной победы: Мелодор—Карамзин не мог полностью расстаться со своими прежними убеждениями. Любовь к человечеству (в письме к Дмитриеву в 1793 году Карамзин писал: «Назови меня дон-Кихотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю — человечество!»)³¹ толкала его на поприще активной общественной деятельности. Отсюда — прежнее стремление воздействовать на общество, быть организатором литературы, продолжать издательскую деятельность. И в новых условиях он не отказывается от ранее принятого решения издавать альманахи. В 1794 году им была выпущена первая, а в следующем, 1795 году вторая часть альманаха «Аглая» (их содержание составляли главным образом субъективистские произведения нового периода). В 1796 по 1799 год выходят тщательно подобранные три тома альманаха «Аонида», куда были включены лучшие стихотворения русских поэтов второй половины десятилетия. В конце 90-х годов он подготавливает три тома «Пантеона иностранной словесности», составленных из собственных переводов сочинений лучших

³⁰ «Николай Карамзин» Мои безделки, ч. II. Изд. 2-е, М., 1797, стр. 186—187, 127—128, 159—160.

³¹ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 42.

иностранных авторов, древних и новых. Принцип отбора произведений Карамзин определил так: «Иное для идей, иное для слога». Для идей он включал речи республиканца Демосфена, Цицерона, произведения Руссо и т. д. Характерно решение Карамзина напечатать в «Аглае» те свои произведения, которые писались до кризиса (в частности, там были напечатаны статьи «Что нужно автору?» и «Нечто о науках, искусствах и просвещении»). Карамзин давал понять читателю, что переход его на субъективистские позиции и отказ от веры в Просвещение не носит абсолютного характера. И как бы в подтверждение этого он в 1795 году начинает вести отдел «Смесь» в газете «Московские ведомости».

Содержание отдела Карамзин определил так: «...будем мы в течение 1795 года сообщать нашим читателям разные анекдоты, примечания достойные мысли древних и новых философов, цветы разума и чувства, статьи из натуральной истории... Иногда стихи, иногда известия о новых английских и немецких книгах для любителей иностранной литературы».³² Как видим, Карамзин хотел вернуться даже к практике рецензирования книг. Большая часть статей в отделе — переводные. Другие оказывались живым и лаконичным пересказом больших и громоздких произведений. Печатали Карамзин и свои сочинения. Для понимания сложности идейно-эстетической позиции Карамзина в эти годы (борьба Мелодора с Филалетом) очень важно помещенное в «Московских ведомостях» «Рассуждение философа, историка и гражданина».

Речь философа — это краткое изложение позиции Филалета: «Счастье обитает в моем сердце. Земля не принадлежит мне, но я имею способность мыслить и могу управлять моими склонностями... Человек сотворен быть не ученым, а благоразумным. Ум есть фарос жизни его; ум, который велит мне сносить терпеливо несправедливость людей, запрещает мстить, умиряет всякое сердечное волнение и приводит страсти мои в то приятное равновесие, которое называется добродетелью». Философу отвечает историк: «Гордые мудрецы! Вы хотите в самом себе найти путь к истине? Нет, нет! Не там его искать должно!» Опыт истории — вот что является, по его мнению, «проводником» к «храму истинной мудрости». Гражданин поддерживает историка: «Служить отечеству любезному — истинная добродетель».³³ Мелодор — Карамзин начинает наложить «истинную стезю», эгоистическое счастье Филалета его больше не устраивало.

В 1797 году Карамзин пишет «Разговор о счастье», где в последний раз сталкивает Мелодора с Филалетом. Мелодор задает вопрос, являющийся важнейшим вопросом просветительской философии: «Как достичь счастья?» Филалет поучает: «Человек должен быть творцом своего благополучия, приведя страсти в счастливое равновесие и образуя вкус для истинных наслаждений» (VII, 174). Мелодор теперь уже не слушает покорно своего друга и, не желая принять эгоистического счастья, возражает: «Но если я не нахожу для себя хорошей пищи, то с самым прекрасным вкусом могу ли наслаждаться? Признайся, что крестьянин, живущий в своей темной, смрадной избе..., не может найти много удовольствий в жизни» (VII, 174). Мелодор ставит, как видим, кардинальный социальный вопрос при решении проблемы человеческого счастья. Филалет пытается доказать, что и крестьянин может быть счастлив, поскольку счастье «обитает в его сердце»: «Крестьянин любит жену, своих детей, радуется, когда идет дождь во-время... Истинные удовольствия равняют людей» (VII, 175).

Мелодор, не соглашаясь с позицией своего друга, иронически отвечает ему: «Философия твоя довольно утешительная, только не многие ей

³² «Московские ведомости», 1794, № 104, 30 декабря, стр. 2010.

³³ Там же, 1795, № 97.

поверят» (VII, 178). Первым не поверил Карамзин. Он твердо решил встать на путь активной общественной деятельности, решительно порвать со своей субъективистской эстетикой, оправдывавшей общественную пассивность писателя. Решение это свидетельствовало, что началось преодоление идейного кризиса.

4

Якобинский этап французской революции, испугав Карамзина, обусловил его переход на консервативные позиции. Но революция все еще продолжала свое сложное и противоречивое течение. Лидеры якобинцев во главе с Робеспьером также окончили свою жизнь на эшафоте. Твердо решив взять на помощь историю, а не философию, Карамзин вновь стал внимательно присматриваться к тому, что происходило во Франции. Свое новое мнение о революционных событиях он изложил в статье 1797 года «Несколько слов о русской литературе»: «Я слышу много пышных речей за и против, но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, что мои взгляды на сей предмет недостаточно зрелы. Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море, а люди хотят рассматривать революцию как нечто совершенное. Нет, нет. Мы еще увидим множество поразительных явлений — крайнее возбуждение умов говорит за то».³⁴ Признание, что его мнения о революции еще «недостаточно зрелы», что он не хочет «подражать крикунам», очень знаменательно: оно является свидетельством начавшегося преодоления кризиса. Сейчас Карамзин уже и собственные суждения о революции периода «Аглаи» признает незрелыми и скороспелыми. Следовало ждать дальнейшего развертывания революции, и он ждал, занимаясь подготовкой сборников «Аониды» и переводами для «Пантеона иностранной словесности».

Новые события не заставили себя долго ждать — 9 ноября (18 брюмера по революционному календарю) 1799 года генерал Бонапарт произвел переворот и объявил себя первым консулом французской республики. Начался период удушения революции и ликвидации республики. Финал десятилетней революционной войны народа был поистине ошеломляющим. Революция, начав с ликвидации монархии, как бы исчерпав себя, встала на путь самоликвидации и возрождения новой монархии. Карамзин сразу понял, что Бонапарт это «монарх-консул» и что, хотя его еще именуют во Франции «спасителем республики», он несомненно возродит новую империю, поскольку уже все «повинутся гению одного человека» (IX, 66, 67).

Подобный исход революции требовал теоретического объяснения. Где было его искать? Карамзин обратился к тому, что хорошо знал, — наследию просветителей и прежде всего к сочинениям Монтескье и Руссо. Главный труд Монтескье «Дух законов» (1748) стал источником воззрений на государство Гольбаха и Гельвеция, Дидро и Вольтера. В истории человечества Монтескье усматривал существование трех типов государственного правления — республику, деспотию и монархию. Исходя из этого разделения, он определил и тот тип правления, которого следует добиваться людям, желающим пользоваться свободой, правами и счастьем. Деспотизм — государственное устройство, противное природе человека, унижающее и порабащующее его, — подлежит уничтожению. Республика (аристократическая или, лучше, демократическая) — это идеальный строй, который философу всего более по душе, но неосуществимый в настоящих условиях, так как народ еще не просвещен. Республика — это светлая мечта человечества, дело далекого будущего. Оставалась монархия. Монархия, смягченная просвещением, вдохновляемая

³⁴ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 480.

философией, и признается Монтескье лучшей формой современного государственного устройства народов.

Воззрения Монтескье послужили основанием для политической концепции энциклопедистов. Они также подчеркивали благотворительность монархии. «Существо монархии, — читаем в «Энциклопедии» Дидро, — состоит в том, что государь есть источник всякия государственныя и гражданския власти и что он один управляет государством, по законам, в основание положенным... Ежели государь добродетельный, ежели он разделяет награждения и наказания справедливо и благоразумно, все с великим тщанием стараются заслужить его милость и царствование его есть век златый...

Монарх или государь. Самодержец монархического государства. Престол есть самое лучшее место, которое смертный занимать может, ибо на оном можно делать наиболее добра... Самодержавство есть право повелевать решительно во гражданском обществе, которое право члены общества поручили одной или многим особам для содержания в оном внутреннего порядка и внешнего защищения; а вообще, для приобретения под таковым покровительством истинного благоденствия и надежного пользования своею вольностью».³⁵

Руссо в «Общественном договоре» выдвинул демократическую идею народного суверенитета и отстаивал в качестве образцового правления не монархию, а республику. Но в то же время и Руссо оговаривается, что республиканский строй пригоден лишь для малых стран и народов. Большие же государства, многочисленные народы, живущие на огромных территориях, должны управляться монархами. Эти взгляды получили широкое распространение. В России только революционер Радищев оказался способным оспорить политические теории Монтескье и Руссо. В заметках, которые при его жизни не были опубликованы, он записал, в частности, что Монтескье «мнимое нашел разделение правлений, имея в виду древние республики, ассирийские правления и Францию», забыв о соседях своих. Руссо же, «не взяв на помощь историю, вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно быть насилие». Общий вывод Радищева решителен и категоричен: «Монтескью и Руссо с умствованием много вреда сделали».³⁶

Большинство же русских и западных просветителей и с теорией Монтескье, и с ее развитием энциклопедистами, и с дополнениями Руссо соглашались. Принял эту политическую концепцию и Карамзин, принял потому, что она, как ему казалось, объясняла ход развития французской революции. Непонятное становилось ясным. Проследивая ход развития передовой просветительской идеологии в XVIII веке, Карамзин писал: «С самой половины осьмого надесять века все необыкновенные умы страстно желали великих перемен и новостей в учреждении обществ; все они были, в некотором смысле, врагами настоящего, теряясь в лестных мечтах воображения. Везде обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствие, люди скупали и жаловались от скуки, видели одно зло и чувствовали цепи блага. Проницательные наблюдатели ожидали бури; Руссо и другие предсказали ее с разительной точностью; гром грянул во Францию...» (IX, 103—104).

Карамзин старается быть объективным: он признает, что недовольство монархией во Франции росло и можно было предсказывать даже бурю. Но вот буря уже пронеслась. Народ дорого заплатил за попытку осуществления идей равенства и свободы в рамках республики, вместо того чтобы искать путей к «надежному пользованию своей вольностью»

³⁵ Цит. по: О государственном правлении и разных родах оного из «Энциклопедии». СПб., 1771, стр. 57—58, 60, 73, 75.

³⁶ А. Н. Радищев. Избранные сочинения, стр. 480.

под покровительством монархии. После многих лет тягчайших испытаний пришлось вновь возвращаться к тому правлению, которое сначала было уничтожено. Франция — большая страна, монархия в ней сложилась исторически, и ее уничтожение оказалось гибельным для нации. В соответствии с этими взглядами Карамзин пишет: «Франция по своему величию и характеру должна быть монархией».³⁷

К подобным выводам пришел не один Карамзин. В статье «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени» (1802) он отметил: «Теперь все лучшие умы стоят под знаменем властителей и готовы только способствовать успехам настоящего порядка вещей, не думая о новостях» (IX, 104). Кого имел в виду Карамзин? Думается, прежде всего некоторых французских философов, перешедших на сторону Наполеона. Таков, например, Вольней, талантливый представитель младшего поколения просветителей, один из активнейших участников революции, тот Вольней, книгу которого «Руины, или размышления о революциях империи» Карамзин рекомендовал читателям своего «Московского журнала». Жертва якобинцев, освобожденный из тюрьмы только после переворота Бонапарта, Вольней стал активно поддерживать консула, видя в нем спасителя Франции. Ту же эволюцию проделал Кабанис — просветитель, философ-материалист, революционный деятель, близкий к жирондистам; он принял непосредственное участие в перевороте Бонапарта, содействуя приходу генерала к власти. Подобные примеры не единичны, и о них Карамзин, внимательно следивший за французской печатью, отлично знал. Но Карамзин писал: «под знаменем властителей», — следовательно, он думал «о лучших умах» не только Франции. Весьма вероятно, что он разумел и Россию. В окружении Александра оказалось немало лиц, ранее находившихся в опале. Не исключено, что к числу «лучших умов» Карамзин относил и Радищева, которого Александр восстановил в правах, вернул ему дворянство и специальным указом назначил во вновь созданную комиссию для составления новых законов. Как известно, Радищев в комиссию пошел; вместе с ее председателем Завадовским он ездил в Москву на коронационные торжества (сентябрь—октябрь 1801 года). Статья Карамзина напечатана в июне 1802 года, т. е. в пору, когда Радищев активно работал в комиссии.

Политический опыт французской революции, как его понимал Карамзин, обусловил усвоение им политической концепции просветителей. Россия — обширная страна, «мира половина», и потому также должна управляться монархом. Монархия спасет народ от безначалия и анархии, обеспечит необходимые блага народу и нации и прежде всего «надежное пользование своею вольностию» каждым подданным. Преодолев идейный кризис, Карамзин, вырабатывая новые убеждения, преисполнился даже в эту пору глубокого оптимизма. «Революция объяснила идеи, — пишет он, — мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства» (IX, 102). Опыт революции многому научил и народы и царей. «Но девятый надесять век должен быть счастливее, уверив народы в необходимости законного повиновения, а государей в необходимости благодетельного, твердого, но отеческого правления» (IX, 72). Более того, современные правительства, как кажется Карамзину, «чувствуют важность... союза с лучшими умами... и общего мнения, нужду в любви народной, необходимость истребить злоупотребления» (IX, 104).

Политическая концепция как бы поддерживалась событиями начала века. Вступивший на престол Александр I озаменовал царствование

³⁷ «Вестник Европы», 1802, № 17, стр. 78

свое рядом важных политических акций: уничтожил Тайную экспедицию, дал амнистию политическим «преступникам», еще Екатериной и Павлом заключенным в крепости или сосланным в разные губернии России, создал комиссию по составлению законов.

Карамзин писал в «Вестнике Европы», что уже все граждане России наслаждаются «важнейшим благом», которое есть «нынешнее спокойствие сердец». Фраза примечательна тем, что она является цитатой из Монтескье. В «Духе законов» читаем: «Политическая свобода гражданина есть спокойствие духа, происходящее от уверенности в своей безопасности».³⁸ Теория как бы подтверждалась практикой. Так закреплялись иллюзии, что деятельность Александра принесет благо России. Надо сказать при этом, что в те годы вообще иллюзия эта получила широкое распространение. Даже революционер Радищев, не изменив своим убеждениям, но реалистически учитывая обстоятельства, счел возможным принять участие в работе комиссии по составлению законов и выразить чувство благодарности Александру за его первые манифесты. В стихотворении «Осмнадцатое столетие», сделав обзор важнейших событий, предшествовавших французской революции, Радищев с горечью отметил ее крушение после переворота Бонапарта: «Счастье, и добродетель, и вольность пожрал омут ярый». Заканчивая стихотворение и говоря о политических акциях Александра в 1801 году, он заявлял: «Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона». Приветствуя новое царствование, Радищев вспоминает Петра и Екатерину, явно подчеркивая, что новый монарх будет продолжателем той их политики, которая способствовала процветанию России.

Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами
Зрите на новый вы век, зрите Россию свою
Гений хранитель всегда Александр будь у нас³⁹

В этих конкретно-политических обстоятельствах и определилось решение Карамзина сделать все возможное, чтобы стать голосом того «общего мнения», которое обязано помогать царю в его трудах на благо народа. Активность писателя должна была стать активностью гражданина — нельзя сидеть сложа руки или искать счастья в сердце своем, отделяясь от людей китайскими тенями своего воображения. Это нужно было делать тем более, что, как отмечал сам Карамзин, «мы не хотим уверить себя, что Россия находится уже на высочайшей степени блага и совершенства» (IX, 110). Впереди предстояли великие труды, и в них хотел принять участие Карамзин. Именно потому он выступает в 1801—1803 годах с целой серией политических сочинений: пишет оду-наказ по случаю коронации Александра, «Историческое похвальное слово Екатерине II», издает «Вестник Европы», заполненный политическими статьями-рекомендациями.

В «Историческом похвальном слове Екатерине II» дана фальшивая оценка правления императрицы. Но сочинение интересно другим — в нем изложена программа царствования Александра. В своем первом манифесте молодой царь заявил, что будет управлять «по сердцу и законам» Екатерины. Заявление это давало удобный повод объяснить Александру, по каким именно законам должен он проводить свою политику. Замечательно при этом, что, заговорив о законах Екатерины, Карамзин стал писать об изданном ею в 1767 году «Наказе» комиссии для сочинений нового Уложения, который не стал законом. Как известно, комиссия Екатерины распустила и отказалась от идеи дать России новые законы, которые должны были писаться в духе «Наказа» Карамзина и свел все

³⁸ Дух законов. Творение знаменитого французского писателя де Монтескью, ч. I. СПб., 1839, стр. 270.

³⁹ А. Н. Радищев. Избранные сочинения, стр. 241.

содержание «Слова» к популяризации идей «Наказа», объявляя их программой для составляемых Александром новых законов.

В чем же смысл карамзинских рекомендаций? Обращение к «Наказу» было тактическим шагом. Александру удобно было напомнить о «Наказе», поскольку он публично клялся в верности политическим принципам своей бабки. В действительности же в «Слове» Карамзин излагал программу законов, определенных Монтескье, поскольку «Наказ» повторял основные статьи «Духа законов» и сама Екатерина признавалась, что «обобрала» Монтескье. Прямо следуя за автором «Духа законов», Карамзин определяет в «Слове» и понимание монархии, и значение монархического правления для большой страны, и содержание понятий «политическая вольность» и «равенство». Контаминируя две важных статьи «Наказа» (следовательно, и «Духа законов») и кое-что дополняя от себя, Карамзин формулирует основные положения своей концепции, которую он хочет сделать и концепцией Александра. «Предмет самодержавия, — пишет он, — есть не то, чтобы отнять у людей естественную свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу» (VIII, 51). Далее, ссылаясь на екатерининский «Наказ», Карамзин развивает понимание свободы и равенства: «Монархия, сказав, что самодержавие не есть враг свободы в гражданском обществе, определяет ее следующим образом „Она есть не что иное, как спокойствие духа, происходящее от безопасности, и право делать все дозволенное законами (38, 39); а законы не должны запрещать ничего, кроме вредного для общества; они должны быть столь изящны, столь ясны, чтобы всякий мог чувствовать их необходимость для всех граждан: и в сем-то единственно состоит возможное равенство гражданское“» (VIII, 52). Подмена вопроса о социальном равенстве равенством политическим, равенством перед законами приводила в новых условиях к оправданию крепостного права.

Одобрив намерение Александра подготовить новые законы (создание комиссии и определение программы ее работ специальным рескриптом), Карамзин связывает их издание с развитием просвещения. «Когда умы для лучших законов не готовы, то приготовьте их, когда же надобно для счастья народа переменить его обычаи, то действуйте одним примером» (VIII, 53). Просвещение нужно и для подготовки народа к новым законам, и для того, «чтобы люди умели наслаждаться и быть довольными во всяком состоянии мудрого политического общества» (VIII, 58).

Воспитание должно быть двояким: нравственное воспитание, «общее во всех странах», и «политическое воспитание гражданина, различное по образу правления» (VIII, 58). Поскольку в России монархическое правление, то должно воспитывать в гражданах «любовь к отечеству, к его учреждениям, и все свойства, нужные для их целостности». Следовательно, должно «вкоренять в человека благоволение к монарху, соединяющему в себе государственные власти, и, так сказать, образ отечества» (VIII, 59). Карамзин, как мы видели, к политической концепции просвещенного абсолютизма пришел трудным путем, преодолев систему субъективистских убеждений, толкавших его на проповедь эгоистического счастья. Теперь он искренне поверил в спасительность русского самодержавия, смягченного просвещением. Оттого он активно и самоотверженно утверждал свой политический идеал и в публицистических статьях «Вестника Европы», и в художественных произведениях этого времени, и позже, в «Истории государства Российского». Объективно такая позиция идеологически укрепляла русский царизм. В исторических обстоятельствах, когда с каждым годом нового века все с большей очевидностью проявлялась реакционная роль самодержавия, использовавшего необъятную силу власти для того, чтобы удержать Россию на старых, феодально-крепостнических путях развития и защитить интересы дворянства и прежде всего его право владеть крестьянами, подобная по-

зияция Карамзина, особенно выраженная в десятиные годы, оттолкнула от него передовой лагерь.

Но, думается, антиисторически было бы рассматривать Карамзина на этом основании как идеолога реакции, как выразителя интересов реакционеров-крепостников. Я уже говорил, что его новые убеждения определены были политической концепцией просветителей. История же распространения этой концепции исполнена драматизма. Все те, кто ее исповедовал, неминуемо попадали в ложное по отношению к передовому общественному движению положение. Так, политические убеждения Вольтера и Дидро обусловили их оболечение Екатериной. Поддерживая ее своим авторитетом, распространяя по всему свету легенду о ней как о просвещенной монархине, они объективно укрепляли русское самодержавие. Русским просветителям приходилось не только бороться с деспотизмом Екатерины, но и выступать против политических взглядов французских просветителей. После катастрофы 14 декабря 1825 года та же концепция ввергла Пушкина в тягчайшие и двусмысленные отношения с Николаем. Своей гибелью поэт показал человечеству ложность и несостоятельность этой теории. Политические убеждения поставили и Карамзина во враждебное к передовой России положение, что отразилось на всей его работе писателя.

Но как свидетельствует деятельность Карамзина в XIX веке, он не стал лидером реакционной России, России Шишковых и Аракчеевых. В полном соответствии с просветительским учением он не только доказывал спасительность монархии для Франции и России, но с тем же жаром отстаивал республиканский строй и республиканскую свободу для малых стран и народов. В первом же номере «Вестника Европы» за 1802 год Карамзин выступает с защитой прав Швейцарии, считая, что там должна быть восстановлена свобода. «На Альпах раздается голос, — пишет он, — требующий восстановления древней гельветической свободы, уничтоженной безрассудными французскими директорами. Республиканская свобода и независимость принадлежат Швейцарии так же, как ее гранитные и снежные горы» (VIII, 69). Так, конечно, не мог писать идеолог реакции.

Карамзину выпала задача сразу после великих и драматических событий французской революции отвечать на многие важные, самой жизнью выдвинутые вопросы социального и политического существования народов. Не вина, а беда его, что на некоторые из них он давал неправильные ответы, а на другие ответить не мог. Но несомненной заслугой было его стремление во всем разобраться. Он смело обсуждал возникающие вопросы, предлагал свои решения, воспитывая тем русское общество. Так, отстаивая республиканскую свободу для Швейцарии, Карамзин позже, в конце того же года, еще раз вернулся к ее судьбе, так как там произошли важные события: Бонапарт «уважил независимость швейцарцев». И опять Карамзина подстерегала историческая неожиданность — начало независимости республики стало одновременно и началом «междоусобной войны»: «Сия несчастная земля представляет теперь все ужасы междоусобной войны, которая есть действие личных страстей, злобного и безумного эгоизма. Так исчезают народные добродетели» (IX, 77).

Великий теоретик Руссо утверждал возможность существования республики в малых странах. Практика вносила поправку — в республиках торжествует эгоизм, который разъединяет людей, ожесточает их друг против друга, делает равнодушными к судьбам отечества, «а без высокой народной добродетели республика стоять не может» (IX, 77). Получалось, что и современные политические события как бы с новой стороны подкрепляли убеждения Карамзина, что единственное спасение народов в монархии. Он пишет: «Вот почему монархическое правление гораздо

счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падают» (IX, 77). Но Карамзина не удовлетворяет извлечение подобного вывода — он хочет понять, отчего же разрушаются добродетели в республиках, почему там торжествуют эгоизм, себялюбие, вражда людей? Он ищет ответа и предлагает его публике, и надо сказать, что ответ Карамзина имеет огромное значение, свидетельствуя об умении писателя замечать новые явления в общественных отношениях.

Карамзин приходит к заключению: «Разврат швейцарских нравов начался с того времени, как Телевы погони вздумали за деньги служить другим державам; возвращаясь в отечество с новыми привычками и с чуждыми пороками, они заражали ими своих сограждан. Яд действовал медленно в чистом, горном воздухе... Дух торговый, в течение времени, овладев швейцарцами, наполнил сундуки их золотом, но истощил в сердцах гордую, исключительную любовь к независимости. Богатство сделало граждан эгоистами и было второю причиною нравственного падения Гельветии» (IX, 77—78).

Карамзин увидел растлевающую роль духа торговли, показал, как стяжательство, жажда богатства, торговля губят добродетели и уничтожают подлинную свободу граждан даже в республиках, как буржуазные отношения превращают республику в пустой звук и губят человеческую личность. Заметка о Швейцарии не случайна. Вслед за Швейцарией внимание Карамзина привлекает североамериканская республика. В «Вестнике Европы» появляется новая статья (переводная) о нравах и образе жизни в республике за океаном. «Дух торговли, — говорится в ней, — есть главный характер Америки. Все стараются приобретать. Богатство с бедностью и рабством являюся в разительной противности (contraste)... Люди богаты и грубы; особливо в Филадельфии, где богачи живут только для себя, в скучном единообразии едят и пьют».⁴⁰ Как же быстро исчезли добродетели! Ведь североамериканская республика родилась совсем недавно, на глазах у юноши Карамзина. А уже через два десятилетия и здесь нравы развращены, богатые республиканцы оказываются рабовладельцами, богатство сделало граждан эгоистами, «высокая народная добродетель падает», а без нее истинной республики быть не может.⁴¹

В своем истолковании истории Карамзин опирался на опыт современности. Были, например, и на русской земле республики — Новгородская и Псковская, которые уже давно пали. Почему они пали? — спрашивает Карамзин. Только ли потому, что они стали жертвой самовластиа Иоанна? Или были и другие причины, которые подготовили их падение? «Падение Новгорода, — отвечает он, — ознаменовалось утратою воинского мужества, которое уменьшается в державах торговых с умножением богатства, располагающего людей к наслаждениям мирным... Счастлием спасенный от Батыя и почти свободный от ига татар, он (Новгород, — Г. М.) более успевал в купечестве, но слабел доблестью... Богатые новгородцы стали откупаться серебром от князей Московских и Литвы; новольность спасается не серебром, а готовностью умереть за нее: кто откупается, тот признает свое бессилие и манит к себе властелина».⁴²

В 1803 году Карамзин печатает повесть о падении Новгорода — «Марфу Посадницу». Вот как оценивает он сражение новгородцев за

⁴⁰ «Вестник Европы», 1802, № 24, стр. 315—316

⁴¹ Подобные суждения Карамзина совершенно категорически отвергают мнение некоторых исследователей, которые приписывают ему идею, будто человек по природе своей эгоист и потому природа человека антиобщественна. Карамзин многократно подчеркивал и в настоящей статье ясно утверждает, что обстоятельства меняют человека, что «богатство делает граждан эгоистами».

⁴² Н. М. Карамзин > История государства Российского, т. VI. СПб., 1817, стр. 128—129.

свою вольность: «...сопротивление новгородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев: они сражались за древние свои уставы и права» (VI, 204). Карамзину, как видим, чужда ненависть реакционеров к республике и свободе. Он убежден, что республиканская свобода принадлежала новгородцам так же, как швейцарцам принадлежат их гранитные и снежные горы. Именно потому Карамзин публично выражал свои симпатии к республиканскому правлению и добродетели республиканцев. В «Историческом похвальном слове Екатерине II» он признавался: «Мое сердце не менее других воспламеняется добродетелями великих республиканцев» (VIII, 50). В «Марфе Посаднице» он сообщал о себе, что «автор сей повести даже и в душе своей не винил Иоанна (уничтожившего самостоятельность Новгорода, — Г. М.). Это делает честь его справедливости, хотя при описании некоторых случаев кровь новгородская явно пргает в нем» (VI, стр. 205).

Этой новгородской крови Карамзин не стыдился. В письме Дмитриеву он так характеризовал свои убеждения: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое!»⁴³ Действительно, противоречие было мнимым. Вслед за просветителями он признавал благодетельным республиканское правление для малых стран, где добродетели народа и каждого гражданина достигают высочайшей степени развития. Верный ученик Монтескье и Руссо, он искренне верил, что в такой стране, как Россия, только монархия может отстоять интересы народа, защитить его от многочисленных врагов и возвысить отечество. Это отлично понимал декабрист Николай Тургенев. Он передавал слышанные от Карамзина слова: «Я республиканец в душе, — говорил он иногда; — но Россия прежде всего должна быть великой, а в том виде, какой она имет сейчас, только самодержец может сохранить ее грозной и сильной».⁴⁴

5

Преодоление идейного кризиса повело и к изменению эстетических убеждений. Карамзин отказывается от своей прежней субъективистской позиции. Опираясь на опыт работы в «Московском журнале», он после многолетнего молчания испытывает в изменившихся обстоятельствах необходимость подробно изложить свои новые взгляды. Так вновь появляется нужда в критике. В 1797 году Карамзин пишет две крупные статьи: «Несколько слов о русской литературе», которую печатает во французском журнале, и предисловие ко второму сборнику «Аонид». В предисловии он не только дает критическую оценку поэтическим произведениям, тяготеющим к классицизму, но и показывает, как отсутствие естественности, верности натуре делает их «надутыми» и холодными. Карамзин стал вновь утверждать, что писатель должен находить поэзию в обыденных предметах, его окружающих и ему хорошо известных: «...истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах поэтическую сторону». Поэт должен уметь показывать «оттенки, которые укрываются от глаз других людей», помня, что «один бомбаст, один гром слов только что оглушает нас и до сердца не доходит», напротив, «умный стих возвращается в память».⁴⁵

Здесь Карамзин уже не ограничивается критикой классицизма, но подвергает критике и писателей-сентименталистов, т. е. своих последователей, настойчиво насаждавших в литературе чувствительность. Для Ка-

⁴³ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, стр. 248—249.

⁴⁴ Николай Тургенев. Россия и русские, т. I. М., 1915, стр. 342.

⁴⁵ «Аониды», кн. II, 1797 (предисловие).

рамзина чувствительность, подчеркнутая сентиментальность так же неестественны и далеки от натуры, как и риторика и «бомбаст» поэзии классицизма. «Не надобно также беспрерывно говорить о слезах, — пишет он, — прибирая к ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми — сей способ трогать очень ненадежен». Уточняя свою позицию, Карамзин формулирует требование психологической правды изображения, необходимости говорить не о чувствах человека вообще, но о чувствах данной личности: «...надобно описать разительную причину их (слез, — Г. М.), означить горесть не только общими чертами, которые, будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного действия на сердце читателя, но особенными, имеющими отношение к характеру и обстоятельствам поэта. Сии-то черты, сии подробности и сия, так сказать, личность уверяют нас в истине описания и часто обманывают, но такой обман есть торжество искусства».⁴⁶ Это суждение не случайно для Карамзина конца 90-х годов. В письме А. И. Вяземскому от 20 октября 1796 года он писал: «Лучше читать Юма, Гельвеция, Мабли, нежели в томных элегиях жаловаться на холодность и непостоянство красавиц. Таким образом, скоро бедная муза моя или пойдет совсем в отставку или... будет переключивать в стихи Кантову метафизику с Платоновскою республикою».⁴⁷

В научной литературе уже давно утвердилось мнение, что в период издания «Вестника Европы» Карамзин отказался от критики. Основанием для подобного мнения служит предисловие к журналу, в котором Карамзин писал: «Но точно ли критика научает писать, не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры».⁴⁸ Только по недоразумению можно выдать данные слова Карамзина за отрицание важности и значения критики для литературы. Из всех выступлений Карамзина в новом журнале ясно, что он отказывается не от критики, но от рецензий того типа, которые он писал в «Московском журнале».

Вместо рецензий Карамзин в «Вестнике Европы» стал писать серьезные статьи, посвященные насущным задачам литературы, — о роли и месте литературы в общественной жизни, о причинах, замедляющих ее развитие и появление новых авторов, о языке, о важности национальной самобытности литературы и т. д. Статьи Карамзина в «Вестнике Европы» поднимали критику на новую ступень: от отдельных и частных замечаний по поводу рецензируемых книг критик перешел к изложению строго продуманной, принципиально новой программы развития литературы. Карамзин стал настойчиво обосновывать важную общественную роль литературы. Литература, утверждал теперь Карамзин, «должна иметь влияние на нравы и счастье», каждый писатель обязан «помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский, развивать идеи, указывать новые краски в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах со благом других людей».⁴⁹ Карамзин, как видим, умел чутко улавливать потребности времени, понимать запросы читателя.

Но в то же время еще с конца 90-х годов все чаще стали раздаваться в обществе голоса недовольства деятельностью того Карамзина, большинство сочинений которого, написанных в пору идейного кризиса, составило сборник «Мои безделки». Даже в кругах, близких Карамзину, это недовольство выражалось открыто. С 1801 года в Москве начались собрания «Дружеского литературного общества», которое объединяло совсем молодых литераторов — Андрея и Александра Тургеневых, братьев Кай-

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ «Русский архив», 1872, стр. 1324.

⁴⁸ «Вестник Европы», 1802, № 1, стр. 7.

⁴⁹ Там же, стр. 6.

саровых, Жуковского, Мерзлякова и других. На собраниях члены общества читали доклады. В докладе о русской литературе Андрей Тургенев, юный просветитель, начинающий литератор и критик, особенно рьяно нападал именно на Карамзина: «Скажу откровенно: он (Карамзин, — Г. М.) более вреден, нежели полезен нашей литературе...»⁵⁰ Вред Карамзина усматривали в том, что он утверждал интерес к частным темам, к «безделкам», поощрял подражания. «...Пусть бы русские продолжали писать хуже... — говорилось далее, — но писали бы оригинальнее, важнее, не столько применялись к мелочным родам...»⁵¹ Карамзин же, по мнению А. Тургенева, истощает «жар души своей в безделках», противостоит «благу и успеху всего отечественного».⁵² А Карамзин уже давно не истощал души в безделках. Пока в различных кругах ругали его произведения, написанные в пору торжества субъективности, он решительно и смело вырабатывал программу развития литературы по пути национальной самобытности, желая сам способствовать «благу и успеху всего отечественного».

Когда-то сам обосновывавший культ уединения, ныне Карамзин восстает против него: «...человек от первой до последней минуты бытия есть существо зависимое. Сердце его образовано чувствовать с другими и наслаждаться их наслаждениями» (VII, 224—225). Утвердившееся представление, что уединенный человек в сердце своем обретет счастье, пишет Карамзин в «Вестнике Европы», — это «сладкая, меланхолическая мысль, поэзия воображения, и ничего более!.. Нет, нет! Человек не создан для всегдашнего уединения и не может переделать себя» (VII, 226).

В ряде статей «Вестника Европы» Карамзин изложил свою позитивную программу развития литературы. «Великий предмет» словесности — забота о нравственном образовании русского народа. В этом образовании главная роль принадлежит патриотическому воспитанию. «Патриотизм, — говорит Карамзин, — есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях» (VII, 129). Патриотов немало на Руси, но патриотизм свойствен не всем; поскольку он «требуется рассуждения», постольку «не все люди имеют его». Задача литературы и состоит в том, чтобы воспитать чувство патриотической любви к отечеству у всех граждан. Этим необходимо заниматься тем более, что русские люди еще плохо знают себя, свой национальный характер. «Мне кажется, — продолжает Карамзин, — что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике вредно. Кто себя не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут» (VII, 130). Чем сильнее любовь к своему отечеству, тем яснее путь гражданина к собственному счастью. Отвергнув культ эгоистической уединенной жизни, Карамзин показывает, что только на пути исполнения общественных должностей человек приобретает истинное счастье: «Мы должны любить пользу отечества, ибо с нею неразрывно связана наша, ... любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие гордость народную, которая служит опорой патриотизма» (VII, 130). Вот почему и «таланту русскому всего ближе и любезнее прославлять русское». «Должно приучить россиян к уважению собственного» (VII, 247) — такую задачу может исполнить только национально самобытная литература.

Каков же путь к этой самобытности? Карамзин пишет статью «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств». Эта статья должна рассматриваться как своеобразный манифест нового Карамзина. Естественно поэтому, что прежние

⁵⁰ «Русский библиофил», 1912, № 1, стр. 29.

⁵¹ Там же.

⁵² Там же, стр. 30.

убеждения в ней решительно пересматриваются. Патриотическое воспитание лучше всего может быть осуществлено на конкретных примерах. История России дает великолепный и бесценный материал художнику. Предметом изображения должна являться реальная, объективная действительность, а не «китайские тени собственного воображения», героями — исторически-конкретные русские люди, причем их характеры должны раскрываться в патриотических деяниях. Писатель — это уже не «лжец», умеющий «вымыслить приятно», заставляющий читателя забываться в «чародействе красных вымыслов». Художник, ваятель или писатель является, по Карамзину, «органом патриотизма». Основой деятельности писателя должно быть убеждение, что «труд его не бесполезен для отечества», что он, как автор, помогает согражданам «лучше мыслить и говорить» (VII, 254).

Писатель должен изображать «героические характеры», которые он может с легкостью найти в русской истории. Карамзин тут же предлагает некоторые сюжеты, в которых ярко проявился характер русского человека. Таков Олег, «победитель греков»; Святослав, который «всю жизнь свою проводил в поле, делил нужду и труды с верными товарищами, спал на сырой земле, под открытым небом». Святослав дорог русским еще и тем, что он «родился от славянки». Его легендарная храбрость служит выражением черт русского характера, сформировавшихся еще в глубокой древности. Карамзин рассказывает, как, окруженный со своей дружиной преческими воинами, Святослав не дрогнул и, воодушевляя дружинников на бой, произнес речь, «достойную спартамца или славянина»: «...ляжем зде костыми: мертвые бо срама не имут» (VII, 255).

Обращается Карамзин и к эпохам великих бедствий и испытаний отечества, предлагая запечатлеть «память русского геройства в несчастиях», поскольку именно они «более всего открывают силу в характере людей и народов. Тени предков наших, хотевших лучше погибнуть, нежели принять цепи от монгольских варваров, ожидают монументов нашей благодарности» (VII, 263).

Наряду с описанием героических мужских характеров Карамзин высказывает желание создать «галерею россиянок, знаменитых в истории». Одну из таких россиянок — Марфу Посадницу — он сделал героиней своей одноименной повести. Как бы обобщая свой новый взгляд на человека, Карамзин формулирует одно из важнейших свойств национального русского характера, а именно его способность выходить «из домашней неизвестности на театр народный» (IX, 119). Новые взгляды Карамзина сближаются с тем пониманием человека, которое в 70—80-х годах XVIII столетия выдвинули Новиков и Фонвизин. Так же как и они, Карамзин ценит теперь человека не за интенсивность чувства, не за скрытую от людей богатую жизнь сердца, но за способность выходить «из домашней неизвестности на театр народный», за деятельность на благо отечества, ту деятельность, которая с наибольшей полнотой раскрывает внутреннюю красоту личности, обаяние души русского человека.

Новые задачи и новые темы, которые выдвигал перед писателями Карамзин, требовали, естественно, и нового языка. Он призывает авторов писать «простыми русскими словами», отказывается от прежней ориентации на салон, на вкусы дам, утверждая, что русский язык по природе своей обладает богатейшими возможностями, которые позволяют автору выразить любые мысли, идеи и чувства. «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен» (VII, 137). Писатели, считает Карамзин, «не имеют такого любезного права судить ложно. Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гармониею.

нежели французский, способнее для излияния души в тонах, представляет более аналогических слов, т. е. сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки!» (VII, 138).

Программа развития литературы, предложенная Карамзиным-критиком, отвечала насущным потребностям нового времени. С первых лет XIX столетия перед литературой встала проблема национальной самобытности и народности. Она была поднята еще в прошлом веке, у ее колыбели стояла идеология Просвещения. Отстаивание интересов угнетенных масс, естественно, направляло внимание писателей на изучение истории поработанного народа, его роли в общественной жизни, его художественного творчества, культуры, нравов, обычаев. Уже с конца 60-х годов стали появляться сборники пословиц и народных песен; в литературе начали изображать крестьян и представителей демократических кругов города. Защита интересов крестьянства одновременно являлась и обличением господствующего дворянского класса, его паразитической жизни, его эгоистической морали, космополитического быта и культуры. С развитием интереса к различным национальным культурам возникала проблема познания национального характера. Русские просветители стали ценить литературу прежде всего за «отечественность ее содержания». С требованием «отечественности» выступали и Новиков, и Фонвизин, и Крылов, и Плавильщиков. Ярko запечатлелся русский характер, русский ум в стихах Державина. Радищев, выдвинувший идею народной революции и требовавший истребления дворянства, указывал, что именно трудящаяся масса является носителем национального характера, хранителем духовных богатств нации.

В XIX веке идеи народности получили дальнейшее развитие. Крылов, не приняв народной революции Радищева, вместе с тем стал знаменосцем именно этой, последовательно демократической трактовки народности. Радищевский демократизм, его эстетический опыт изображения народа как творца истории, как «зидителя», как хранителя национального духа и истинно человеческой нравственности, показ национальной и трудовой обусловленности морали — все это было усвоено и воспринято Крыловым и органически претворилось в его басенном творчестве. Используя традиционные басенные сюжеты, Крылов создавал картины русской жизни, раскрывал характер русских людей. В этом была одна из побед реализма — изображение крестьян, людей труда перестало носить отвлеченно моральный и функциональный характер. В баснях Крылова изображались русские мужики; их чувства, мысли, поступки, представления, мораль были национально обусловлены. Крыловым была открыта, по словам Белинского, «тайна национальности».

Одновременно с Крыловым в литературе действовала группа молодых писателей, связанных с просветительской идеологией прошлого века (Н Гнедич, Мерзляков, Нарезный и др.). Во многом отличаясь от баснописца — и степенью демократизма, и, главное, масштабом таланта, они, каждый по-своему, решали тот же круг проблем, что и Крылов. Девизом новой эпохи стало требование самобытности литературы. Часто необходимость самобытности доказывалась ссылками на пагубное влияние Карамзина и его школы. При этом имелось в виду творчество писателя периода идейного кризиса. Казалось, всеобщим было стремление покончить с подражательством, с безделками, с культом частного человека, в уединении наслаждающегося эгоистическим счастьем, со стилем *élégance*, со всем тем, что так активно насаждали в 800-е годы бесталанные эпигоны Карамзина. С Карамзиным боролись люди различных идеологических позиций: и Крылов, и Андрей Тургенев, и Шишков. В поисках самобытности многие обращались к фольклору. Среди других чрезвычайно важны в этом направлении опыты такого большого поэта, как Державин. Адмирал Шишков, обрушившийся на Карамзина и его школу, пытался

утвердить самобытность литературы на путях возврата к старинной, многовековой традиции церковности. Его стремление навязать литературе церковно-славянский язык и понимание национальных русских традиций как традиций церковной письменности безусловно глубоко реакционно. При этом нельзя не отметить, что его критика субъективистской эстетики и культа частного человека, критика литературы, выражающей сердечные переживания личности языком манерным и перифрастичным, помогала общей борьбе за самобытность литературы.

Карамзин, не вступая в полемику со своими противниками справа и слева, активно создавал новую эстетическую программу развития литературы по пути национальной самобытности и по-своему понятой народности. Просвещение и воспитание всей нации, по Карамзину, как мы знаем, должно было стать центральной задачей и для правительства, и для общественности. Литература, занимаясь воспитанием патриотизма, должна была проявлять интерес к отечественному, уважение к собственному, прославлять русское. Народность, по мысли Карамзина, могла быть обретаема на материале истории. Естественно, что понимание народности, вытекавшее из убеждений Карамзина, лишено было демократизма. Сторонник сохранения социального неравенства, он не мог в трудовом человеке видеть носителя национального характера. В его понимании народный характер — значит национальный. Но «дворянство есть душа и благородный образ всего народа» (IX, 117). Вот почему не народ в целом, а отдельные личности могли быть героями литературы, и этими героями, естественно, оказывались люди господствующего класса — князья, цари, дворяне.

Призыв Карамзина обратиться к истории и в ней искать ключ к самобытности литературы и искусства был встречен литературной общественностью того времени с воодушевлением. В журнале передового литератора И. Мартынова, связанного с сыновьями Радищева, Гнедичем и Батюшковым, немедленно появился отклик, принадлежавший Александру Тургеневу. Приветствуя статью анонима (как многие другие критические статьи Карамзина, статья «О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств» была опубликована без подписи), Тургенев в то же время пытался расширить круг сюжетов, оспорить некоторые из предложенных «Вестником Европы». Так, Карамзин пропустил в своем перечне сюжетов события, связанные с борьбой новгородцев за свою независимость. Тургенев же сосредоточивает свое внимание как раз на Новгороде: «Давно бы пора нашим артистам, вместо разрушения Трои, представить разорение Новгорода; вместо той героической спартанки, радующейся, что сын ее убит за отечество, представить Марфу Посадницу, которая не хочет пережить вольности Новгородской». ⁵³ В последующих номерах издатель Мартынов обещал опубликовать капитальное сочинение в развитие карамзинской статьи, которое должно было обогатить литературу и искусство множеством важных тем и сюжетов. Труд предполагалось написать в двух частях — первая прямо продолжала и дополняла статью Карамзина и называлась «Предметы для художников из российской истории и прочих сочинений»; вторая представляла особый и самостоятельный интерес, поскольку в ней обещались совершенно новые темы: «Картины, избранные из российских сочинений, касательно до русских предметов». ⁵⁴

В 1818 году Карамзин в связи с принятием его в члены Российской Академии произнес речь на торжественном заседании Академии; эта речь явилась его последним большим критическим выступлением. В речи много официального, обязательного, даже парадного. Но есть в ней и собственно

⁵³ «Северный вестник», 1804, ч. II, № 6, стр. 268.

⁵⁴ Там же, ч. IV, № 10, стр. 11.

карамзинские мысли о задачах критики в новых условиях и о некоторых итогах развития литературы по пути самобытности.

По-прежнему Карамзин считает, что роль критики очень велика. Она должна прежде всего, содействуя успехам писателей, заниматься «справедливым оценением всякого нового труда, имеющего признаки истинного дарования, хотя еще и не зрелого, хотя еще и слабого, не украшенного искусством» (IX, 309). С начала 800-х годов Карамзин требует от критики бережного отношения к таланту. Поддерживать талант, воспитывать у писателя чувство долга и нужности его труда обществу, создавать ему славу, стремиться отмечать у дарований прежде всего удачу, не спешить осуждать недостатки и слабости — такова, по мнению Карамзина, обязанность критика.

В речи на собрании Российской Академии Карамзин еще глубже развил эту мысль. Он предложил Академии не только награждать достойных, но и взять на себя труд справедливо оценивать произведения авторов. Карамзин выступал против «излишне строгой критики», которая «мертвит, уничтожает; а мы должны оживлять и питать, приветствовать славолюбие, не утруждать его, ибо оно ведет ко славе, а слава автора принадлежит отечеству» (IX, 310).

В заключение речи Карамзин говорил об особенных чертах русского национального характера, который складывался в течение веков, и о необходимости изображения этого характера писателями. Оценивая литературу за полтора десятилетия XIX века, Карамзин высказывает оптимистический взгляд на ее дальнейшее движение по пути народности. «Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского: для того ли, что не хотел, или для того, что не мог, ибо и власть самодержцев имеет пределы» (IX, 315) — таков первый исходный тезис Карамзина. «Сходствуя с другими европейскими народами, — продолжает он свою мысль, — мы и разнствуем с ними, в некоторых способностях, обычаях, навыках, так, что хотя и не можно иногда отличить россиянина от британца, но всегда отличим россиян от британцев: во множестве открывается народное» (IX, 316). Сразу вслед за этим Карамзин дает свое определение народности литературы: «Сию истину отнесем и к словесности: будучи зеркалом ума и чувства народного, она также должна иметь в себе нечто особенное, незаметное в одном авторе, но явное во многих... Есть звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей словесности, которая еще более отличится ими в своих дальнейших успехах» (IX, 316).

Борьба за народность литературы, начатая русскими просветителями в 70—80-е годы XVIII столетия, с особой силой развернулась в первые годы нового, XIX века. Различная идеологическая позиция деятелей литературы определяла и разное понимание народности. Важную роль в становлении национально самобытной литературы в эту эпоху сыграл Карамзин, хотя и стоявший на монархических позициях, но выдвигавший требование, чтобы литература стала «зеркалом ума и чувства народного», а писатель — «органом патриотизма».

6

С 1804 года Карамзин целиком отдался работе над «Историей государства Российского». Однако и изучение летописей, архивных материалов и книжных источников не оторвало его от современности: внимательно следя за внутренней и внешней политикой Александра, он все больше и больше тревожился за судьбу России. И когда неожиданное обстоятельство (знакомство и беседа с сестрой императора, Екатериной Павловной) открыло ему возможность оказать прямое воздействие на Александра, он, верный своей политической концепции просвещенного

абсолютизма, не мог ею не воспользоваться. Так появилась «Записка о древней и новой России» (представлена Александру в марте 1811 года) — сложный, противоречивый, остро политический документ. В нем, собственно, две темы: доказательство (в который уже раз!), что «самодержавие есть палладиум России», и смело высказанная критика правления Александра, утверждение, что для действий правительства характерно пренебрежение к интересам отечества, в результате чего «Россия наполнена недовольными».⁵⁵

Первая тема вылилась в политический, одобренный историческими экскурсами урок царю. Уже не прикрываясь «Наказом», а прямо ссылаясь на Монтескье, Карамзин учил, что и как должен делать Александр как самодержец, а чего делать не должен и не смеет. С тех же позиций доказывалось, что у монархии опорой престола является дворянство, и потому недопустимо какое-либо ущемление его прав. В очередной раз рассматривает Карамзин вопрос и о крепостном праве. Правда, в «Записке» он исследуется глубже. Здесь он как бы пытается исторически объяснить не только причины рабства, но и причины, по которым оно должно быть сохраняемо сейчас. «Не знаю, — пишет он, — хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не во-время свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным; а система наших виновных откупов и страшные успехи пьянства служат ли к тому спасительным приготовлением?»⁵⁶

Несомненно, эти слова свидетельствуют о желании Карамзина прикрыть свои убеждения тезисом просветителей, что крестьян надо сначала просветить, а потом освободить. Но при этом трудно не заметить, что подобная сентенция принадлежит помещику Карамзину всегда чувствовал себя дворянином и, как идеолог, не мог не выступать с защитой интересов своего класса. Именно это обуславливало консерватизм убеждений Карамзина, резкой гранью отделявших его от передовой России. Декабрист Николай Тургенев с удивительной точностью передал свое расхождение с Карамзиным: «В этой записке особенно возмутило меня то, что Карамзин выступает здесь иногда, как глашатай класса, который в России зовется дворянством».⁵⁷

Первая тема «Записки» не была новой. Карамзин изложил лично царю то, о чем он уже писал неоднократно. Новым было критическое отношение к правлению Александра. Карамзин всегда чуждался критики и потому не жаловал сатиры. А в «Записке» впервые гнев патриота и гражданина сделал перо Карамзина злым и беспощадным.

Опираясь на факты, он рисует безрадостную картину внешнеполитического положения России, доведенной глупой дипломатией до унижения; подробно анализирует беспомощные попытки правительства решить важные экономические проблемы. Карамзин открыто заявляет: «...не будем скрывать зла, не будем обманывать себя и государя». Не желая обманывать, Карамзин резко осуждает последние реформы Александра. Карамзинская критика реформ Александра — Сперанского породила традицию толковать «Записку» как реакционный документ. Между прочим, не кто иной, как барон Корф, одним из первых в своем труде «Жизнь графа Сперанского» высказал это так прочно вошедшее в литературу мнение, что «Записка» явилась «итогом толков тогдашней консерватив-

⁵⁵ Н. М. Карамзин. Записка о древней и новой России. СПб., 1914, стр. 126, 49.

⁵⁶ Там же, стр. 83.

⁵⁷ Николай Тургенев. Россия и русские, т. I, стр. 341.

ной оппозиции». Это суждение вытекало из реакционных убеждений Корфа, полагавшего, что Александр и Сперанский в данной деятельности «опережали возраст своего народа».⁵⁸ Думается, в этом выводе много несправедливого. Начиная с 1801 года Карамзин публично требовал реформ, подсказывал пути составления новых законов в духе «Наказа», приветствовал Александра за создание комиссии по учреждению новых законов. На манифест об организации министерств Карамзин откликнулся статьей в «Вестнике Европы», в которой, одобряя реформу государственного аппарата, объяснял своим читателям, чего следует ждать от министерств.

В действительности в своей «Записке» Карамзин выступает против тех преобразований, «коих благотворность остается доселе сомнительною». Правительство, например, не развивает школьное образование, не хочет способствовать образованию всех состояний, ориентируясь только на дворянство. Что же предлагает Карамзин? Пусть приглашаются ученые из-за границы, но главное — надо создать «собственное ученое состояние» из представителей демократических кругов. Карамзин призывает Александра не пожалеть «денег для умощения числа казенных питомцев в гимназиях; скудные родители, отдавая туда сыновей... и призрачная бедность через десять-пятнадцать лет произвела бы в России ученое состояние. Смеем сказать, что нет иного действительного средства для успеха в сем намерении».⁵⁹ Что тут реакционного?

Выступает Карамзин и против реформы министерств, осуществленной Сперанским в 1809 году. Что вызывает его возражения? Бессодержательность и ничтожность реформы. Она, как показывает Карамзин, не преследует никаких государственных задач. «Главную ошибку законодателей сего царствования» он видит «в излишнем уважении форм государственной деятельности».⁶⁰ Все подобные действия, заявляет Карамзин, «есть пускать в глаза пыль». Но разве это не справедливо? Касаясь реформ Сперанского, Н. Тургенев отзывался о них почти карамзинскими словами: «...Сперанский слишком придерживался формы... Он предписывал формы деловых бумаг, словом, он, по-видимому, верил во всемогущество приказов, бумажных циркуляров, и во всякие формы».⁶¹ Критика реформы министерства, бездействия комиссии по составлению законов, политики правительства в области просвещения России была крптической Александра. «Записка» — документ, рассчитанный на одного читателя. Именно ему Карамзин и сказал, что его правление не только не принесло обещанного блага России, но еще более укоренило страшное зло, породило безнаказанность действий чиновников-казнокрадов. Эти страницы нельзя читать без волнения.

Заведенные по западному образцу министерства, говорит Карамзин, стали официальными покровителями взяточников, грабителей, воров и просто дураков, какими являются чиновники империи от капитан-псравников до губернаторов. Нежелание правительства заниматься интересами народа порождало «равнодушие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабеж в судах, наглое взяточничество капитан-псравников, председателей палатских, вице-губернаторов, а всего более самих губернаторов».⁶² Карамзин задает вопрос: «...каковы ныне большею частию губернаторы?» И бесстрашно отвечает: «Люди без способностей и дают всякою неправдою наживаться секретарям своим или без совести и сами наживаются. Не выезжая из Москвы, мы знаем, что такой-то губернии начальник глупец и весьма давно! такой-то грабитель — и

⁵⁸ М. Корф. Жизнь графа Сперанского, т. I. СПб., 1861, стр. 143.

⁵⁹ И. М. Карамзин. Записка о древней и новой России, стр. 73.

⁶⁰ Там же, стр. 116.

⁶¹ Николай Тургенев. Россия и русские, т. I, стр. 384.

⁶² И. М. Карамзин. Записка о древней и новой России, стр. 114.

весьма давно! Слухом земля полнится, а министры не знают того или знают не хотят!»⁶³

Подобная критика не была критикой действий правительства Александра «справа, выступлением реакционера». В «Записке» была запечатлена верная картина бедственного положения России, отданной на откуп губернаторам — глупцам и грабителям, «взятокбрателям» капитанам-исправникам и судьям. В «Записке» зло охарактеризованы министры, сказана правда о самом царе, который оказывается, по Карамзину, неопытным, мало смыслящим в политике человеком, любителем внешних форм учреждений и занятым не благом России, а желанием «пускать пыль в глаза». Бедой Карамзина было то, что он не мог извлечь из реального политического опыта нужного урока для себя. Верный своей политической концепции просвещенного абсолютизма, он вновь обращался к Александру, желая внушить ему мысль, что тот должен стать самодержцем по образу и подобию монарха из «Духа законов» Монтескье. Дворянская ограниченность удерживала его на этих позициях и жестоко мстила ему, отбрасывая его все дальше в сторону от все громче о себе заявлявшей революционной России.

«Записка», попав к Александру, вызвала его раздражение. Пять лет своей холодностью Александр подчеркивал, что он недоволен образом мыслей историка. Только после выхода «Истории государства Российского», в 1818 году, Александр сделал вид, что забыл свое неудовольствие «Запиской». Карамзин же, верный прежним политическим убеждениям, вновь стал использовать свое положение для того, чтобы учить царствовать Александра. В 1819 году он услышал о намерении Александра создать из Польши независимое государство, которому государь собирался передать давно уже ставшие русскими земли Белоруссии, Волыни и Подолии, а также возвратить насильственно отторгнутые Австрией польские территории. Карамзин решительно выступил против этого фантастического, нереального плана. Он написал новую записку — «Мнение русского гражданина». «Мнение» интересно не предметом своим (судьба Польши), а отношением Карамзина к Александру. Новый урок царю был еще более суровым. Историк обвиняет Александра в нарушении долга перед отечеством и народом, указывая, что его действия начинают носить характер «самовластного произвола». Впервые Карамзин обращается к мнению народа: «Я слышу русских и знаю их; мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю; остыли бы душою и к отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола». «Мнение» было прочитано Александру самим Карамзиным. Завязался долгий и трудный разговор. Александр, видимо, был крайне возмущен историком, а тот, уже более не сдерживая себя, с гордостью заявил ему: «Государь! У вас много самолюбия. Я не боюсь ничего. Мы все равны перед богом. Что говорю я вам, то сказал бы я вашему отцу, государь! Я презираю либералов нынешних, я люблю только ту свободу, которой никакой тиран не может у меня отнять. . . Я не прошу более вашего благоволения, я говорю с вами, может быть, в последний раз».⁶⁴ Придя домой из дворца, Карамзин сделал приписку к «Мнению» — «Для потомства», где рассказал об этой встрече, готовясь, видимо, к любым неожиданностям. Взятый на себя писателем добровольный труд быть советником монарха оказывался бесконечно тяжелым. Что можно было делать дальше, когда — признавался Карамзин — «душа моя остыла? . . .»⁶⁵

18 декабря 1825 года, через четыре дня после восстания на Сенатской площади, Карамзин написал «Новое прибавление» к «Мнению», где

⁶³ Там же, стр. 118.

⁶⁴ Николай Михайлович Карамзин. Неизданные сочинения и переписка, ч. I. СПб., 1862, стр. 9 (франц.).

⁶⁵ Там же.

сообщил, что после беседы с Александром в 1819 году он «не лишился его благоволения», чем снова считал нужным воспользоваться. Александр, как понимал Карамзин, «не требовал его советов», но писатель считал своим долгом поучать царя, обращать его внимание на бедствия России, настаивать на исполнении обещания дать твердые законы. Перед лицом потомства Карамзин свидетельствовал: «Я не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой Г<урьевской> системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важных сановников, о министерстве просвещения или затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, — о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».⁶⁶

Таково последнее горькое признание Карамзина о своих взаимоотношениях с Александром. До конца дней своих он мужественно учил царя, давал советы, выступал ходатаем за дела отечества, пытался быть голосом «общего мнения» — и все безрезультатно! Александр, заявляет Карамзин, слушал его советы, «хотя им, большею частью, и не следовал». Писатель — историк и гражданин, Карамзин добивался доверия и милости царя, одушевляемый «любовью к человечеству», но «эта милость и доверенность остались бесплодны для любезного отечества».⁶⁷

К последнему году жизни относится запись «Мысли об истинной свободе», из которой ясно, что Карамзину открылся умозрительный характер политической концепции просветителей и он понял, что рекомендуемые ими формы и типы правления — республика и монархия — в реальной истории в равной мере оказываются направленными против народа и защищают интересы богатых. Не правом, а силой — вот чем руководятся власть имущие. Чем ближе присматривался Карамзин к государственной власти, тем сильнее его охватывал пессимизм.

Руссо тоже не всегда смотрел на будущее оптимистически; еще в 1762 году в книге «Эмиль, или о воспитании», обращаясь к своему воспитаннику, он писал: «Я знал, что, наблюдая вблизи наши учреждения, ты не почувствуешь к ним доверенности, да они его и не заслуживают. Тщетно стремятся к свободе под ферулой законов. Законы! Где же они? И где их соблюдают? Ты же сам видел, что повсюду под именем закона царят корысть и людские страсти... Не ищи свободы в том или ином образе правления, — она в сердце человека свободного, он носит ее повсюду с собою».⁶⁸ Слова любимого писателя и мыслителя запали в душу Карамзина. Свою заметку об истинной свободе он заключил следующим признанием: «Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не государь, не парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью божиею. Свободу мы должны завоевать в своем сердце...»⁶⁹

7

Двадцать один год работал Карамзин над «Историей государства Российского» — с 1804 по январь 1826 года, когда началась болезнь, оказавшаяся роковой. 21 мая он умер. «История» не была завершена. Неоконченный двенадцатый том обрывался фразой: «Орешек не сдавался...»

До 1816 года Карамзин жил уединенно в Москве или в Подмоскowie, занятый своим трудом. Десять лет он практически не участвовал в литературно-общественной жизни. К декабрю 1815 года были закончены

⁶⁶ Там же, стр. 11—12.

⁶⁷ Там же, стр. 11.

⁶⁸ Жан-Жак Руссо, Избранные сочинения, т. I, Гослитиздат, М., 1961, стр. 701.

⁶⁹ Николай Михайлович Карамзин. Неизданные сочинения и переписка, ч. I, стр. 195.

первые восемь томов, которые историк считал возможным издать. Официальное положение историографа обязывало представить труд Александру. 2 февраля 1816 года Карамзин прибыл в Петербург. Но император был злопамятен: он не забыл «Записки о древней и новой России» и не принял Карамзина. Полтора месяца жил Карамзин в столице унижаемый и оскорбляемый царем. «Я только что не дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом... — писал он Дмитриеву. — Меня душат здесь, — под розами, но душат».⁷⁰ Наконец ему подсказали, что необходимо слодить на поклон к Аракчееву. Возмущенно отказавшись было поначалу, Карамзин вынужден был нанести визит всевысшему временщику. На другой же день Карамзина принял Александр — и разрешение на издание «Истории» было получено.

Печатание затянулось на два года; только в феврале 1818 года восемь томов «Истории» вышли в свет. Успех превзошел всякие ожидания: многотомное сочинение с научным и скучным заглавием, изданное тиражом в три тысячи экземпляров, восемь томов прозы в пору торжества поэтических жанров разошлись за один месяц. В конце того же года начало выходить второе издание. Образованная Россия жадно принялась читать «Историю». Вхождение Карамзина в литературу десятых годов XIX века оказалось триумфальным.

Но «Историю» не только читали и хвалили — она вызвала оживленные, страстные споры. Год издания «Истории» — год собирания сил передовой России; дворянские революционеры готовились к борьбе с самодержавием; в это время был поставлен вопрос об освобождении бедствующего в неволе крепостного крестьянина. В «Истории» же Карамзин, верный своим убеждениям, писал, что только самодержавие благотворительно для России. Столкновение передовой России с Карамзиным было неизбежно. Будущие декабристы не желали считаться со всем богатством содержания огромного сочинения и восстали против его политической идеи, которая с особой четкостью была выражена в предисловии и в письме-посвящении «Истории» Александру. П. А. Вяземский, отлично зная настроение передовой части дворянского общества того времени, записал, как она восприняла труд Карамзина: «С чутьем верным и проницательным, она тотчас оценила важность книги, которая была событие, и событие, совершенно противоположащее замыслам се... Медлить было нечего. Колкие отзывы, эпиграммы, критические замечания... посыпались на книгу и на автора из среды потаенного судилища... Им не хотелось самодержавия; как же им было не подкапываться под творение писателя, который... доказывал, что мудрое самодержавие спасло, укрепило и возвысило Россию».⁷¹ Никита Муравьев в специальной записке подверг анализу предисловие, посвящение и первые главы первого тома, сурово осудив политическую концепцию их автора. Свою записку Муравьев показал Карамзину, который, познакомившись с нею, дал согласие на ее распространение. Юный Пушкин написал злую эпиграмму на Карамзина.

А Карамзин продолжал работать и с воодушевлением принялся за девятый и десятый томы, посвященные царствованиям Ивана Грозного и Бориса Годунова. Не меняя своих идейных позиций, Карамзин не остался глух к бурным политическим событиям 1819—1820 годов и изменил акценты в «Истории» — в центре внимания писателя теперь оказались самодержцы, отступившие от своих высоких обязанностей, ставшие на

⁷⁰ Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии. С примечаниями и объяснениями М. Погодина, ч. II. М., 1866, стр. 147.

⁷¹ П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. II, СПб., 1879, стр. 216—217.

путь самовластия, тирании и деспотизма. Стараясь в первых томах следовать примеру летописцев — описывать, но не судить, Карамзин в девятом и десятом томах пошел вслед за римским историком Тацитом, беспощадно осудившим тиранов.

Девятый том вышел в 1821 году. Он произвел еще большее впечатление, чем первые восемь. Теперь главными почитателями Карамзина стали декабристы, они сразу поняли огромное политическое значение сочинения, красноречиво показывавшего все ужасы неограниченного самодержавия. Никогда еще русская книга не читалась с таким энтузиазмом, как девятый том «Истории». По свидетельству декабриста Н. Лорера, «в Петербурге оттого такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного».⁷² Дворянско-аристократические круги, связанные с двором, забили тревогу. Карамзина обвиняли в том, что он помог народу догадаться, что между русскими царями были тираны. Декабристы спешили использовать это сочинение в своих агитационных целях. Рылеев, прочтя девятый том, с восхищением писал: «Ну, Грозный, ну Карамзин! — не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна, или дарованию нашего Тацита».⁷³ Используя материалы девятого тома, Рылеев начал писать ряд новых произведений — исторические думы, посвятив первую Курбскому. «История» Карамзина дала много сюжетов Рылееву, подсказала пути художественного изображения некоторых исторических характеров (например, психологизм образа Годунова). Пристальное и глубокое внимание к «Истории» теперь проявил Пушкин.

Споры вокруг «Истории», противоречивые оценки нового сочинения Карамзина, шумный успех у публики, пристальное внимание к нему читателей — все это объективно свидетельствовало о том, что последний труд Карамзина был нужным произведением, что в период с 1818 по 1826 год, еще при жизни автора, он сыграл важную, совершенно особую, еще мало изученную роль в литературной жизни. То, что было очевидным для современников, что многократно подтверждал Белинский («История» «навсегда останется великим памятником русской литературы»), оказалось утраченным в последующее время. Как-то получилось, что «История государства Российского» выпала из истории литературы. Советское литературоведение молча продолжило традицию игнорирования главного труда жизни писателя. Литературоведы изучают лишь творчество Карамзина 90-х годов. Многотомное сочинение как бы перешло в ведение историков. Его же изучение они подменили повторением декабристских, резко критических оценок политической концепции «Истории».

Пушкин первым пересмотрел свой юношески задорный взгляд на «Историю». В 1826 году он высказал новое и глубокое суждение об этом сочинении и попытался объяснить, как отрицание политической концепции Карамзина передовой Россией привело к недооценке всего действительно огромного содержания многотомного труда честного писателя. Сочинение Карамзина, по Пушкину, было новым открытием для всех читателей. «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили». Но, с горечью свидетельствует Пушкин, несмотря на такую популярность «Истории», «у нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам... Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались

⁷² Н. Лорер. Записки декабриста. М., 1931, стр. 67.

⁷³ К. Рылеев. Полное собрание стихотворений. Издательство писателей в Ленинграде, М.—Л., 1934, стр. 418.

им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал *Историю* свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что „История государства Российского“ есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека». ⁷⁴ Упрек Пушкина, что огромное создание Карамзина «не исследовано», звучит современно и обращен прежде всего к историкам литературы.

Еще в период издания «Московского журнала» Карамзина воодушевляла мысль написать большой «труд, который мог бы остаться памятником души и сердца его». ⁷⁵ «История» стала таким памятником. Естественно, политические идеалы Карамзина получили свое новое воплощение в этом сочинении. Обращение к истории как бы укрепляло его умозрительную концепцию: на различных этапах истории России самодержавие действительно сыграло свою бесспорно положительную роль.

«Русское самодержавие, — признают современные историки, — некогда сыгравшее прогрессивную роль в историческом процессе, способствовавшее объединению основной государственной территории России и сплочению в единое государственное целое разрозненных русских феодальных земель, а позже выступившее в лице Петра I инициатором важных государственных реформ, к изучаемому нами времени (царствование Александра I, — Г. М.) уже давно потеряло свою прогрессивную историческую силу». ⁷⁶ Принципиальной и непоправимой ошибкой Карамзина и было абсолютизирование этой относительно прогрессивной роли самодержавия. Ему казалось, что история России подтверждает концепцию просветителей, и если когда-то самодержавие было прогрессивным, то его следует сохранить и впредь. Но Карамзин не просто хотел еще раз повторить то, о чем он уже писал неоднократно. Его «История» должна была учить сограждан и царя.

«Простого гражданина», по мнению Карамзина, понимание опыта истории «мирит... с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках». ⁷⁷ Отрицаая революционный путь, не доверяя творческой энергии народа, Карамзин, естественно, подчеркивал, что гражданин из истории поймет, что все нужное для развития России и для его частного блага исходит из рук монарха. Но история должна учить и царей. «Правители и законодатели, — пишет он, — действуют по указаниям истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей». На примерах правления русских монархов Карамзин хотел учить царствовать. Признавая право монарха «обуздывать» «мятежные страсти», он подчеркивает, что это обуздание должно осуществляться во имя учреждения такого порядка, где можно было бы «согласить выгоды людей и даровать им всевозможное на земле счастье». ⁷⁸ Урок царю приобретал остро политический, злободневный характер, когда на многочисленных примерах Карамзин показывал, как легко, просто и, главное, часто русские самодержцы отступали от своих высоких обязательств, как они становились самовластными правителями, предавая интересы отечества и сограждан, как на долгие годы в России ут-

⁷⁴ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VIII, Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 67—68.

⁷⁵ «Московский журнал», 1792, декабрь, стр. 335.

⁷⁶ История СССР, т. II. Под редакцией М. В. Нечкиной. Госполитиздат, М., 1949, стр. 42.

⁷⁷ Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. I, стр. IX.

⁷⁸ Там же.

верждался кровавый режим деспотизма страшного азиатского образца. Девятый и десятый томы — пример такого остро злободневного политического урока, который воспринимался читателями в силу объективного содержания собранных писателем фактов, вне зависимости от общей монархической концепции всего сочинения.

Но содержание многотомной «Истории» этим далеко не исчерпывалось. Пушкин первым сказал, что «несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия красноречиво» опровергаются «верным рассказом событий». ⁷⁹ Эти слова Пушкина следует понимать в том смысле, что суждения Карамзина о самодержавии не покрывают всего огромного содержания «Истории», что многотомный труд не сводился к доказательству тощего политического тезиса, что было в нем что-то такое, за что можно было Карамзина назвать «великим писателем», за что следовало ему сказать «спасибо». О том же писал Белинский: «...Карамзин не одного Пушкина — несколько поколений увлек окончательно своею „Историею государства Российского“, которая имела на них сильное влияние не одним своим слогом, как думают, но гораздо больше своим духом, направлением, принципами. Пушкин до того вошел в ее дух, до того проникнулся им, что сделался решительным рыцарем истории Карамзина...» ⁸⁰ Ясно, что когда Белинский писал о «духе», «направлении» и «принципах» «Истории», он подразумевал не политическую концепцию Карамзина, а что-то другое, более важное и значительное. Что же именно? Чем была дорога «История» Карамзина не только читателям, но и писателям — Пушкину, Белинскому?

«История» — произведение художественное, оттого его содержание шире, богаче научного сочинения, оно запечатлело не только политический идеал Карамзина, но и его художественную концепцию национального русского характера, русского народа, его патриотическое чувство к отечеству, ко всему русскому. В критических статьях начала 800-х годов Карамзин, как мы знаем, выдвинул перед литературой программу развития по пути национальной самобытности, подробно обосновал свою мысль о том, что именно патриотическое воспитание должно составлять ее пафос. «История» и явилась грандиозной реализацией этой программы силами одного человека.

Исследованию и изучению «Истории» как художественного произведения мешает непривычность и, главное, переходность ее жанра. В пору, когда на очередь встала задача познания своего отечества, задача преодоления механистического просветительского взгляда на историю, неясен был литературный жанр, который должен был осваивать новый материал. Жанры классицизма отвергались как сентиментализмом, так и нарождавшимся уже романтизмом. Созданные ими новые жанры (в прозе) — повесть, семейный роман, роман-исповедь, путевой дневник, письмо и т. д. — связаны были с новой темой (человек, жизнь его сердца, его семейные и интимные связи). Обращение к истории выдвигало требование точности, абсолютной верности материалу, фактам. Как же было примирить это с обычными жанрами, где господствует вымысел, воображение? Карамзин понимал это противоречие и подчеркивал: «история не роман». Первым и естественным оказалось стремление приспособить старые жанры для нового содержания. Так появились историческая повесть, историческая трагедия, историческая баллада, строившиеся на материале русской истории. Значительное место в литературе заняли исторические записки.

⁷⁹ А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VIII, стр. 67—68.

⁸⁰ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 167.

Карамзин искал своего пути. Для него теперь было главным стремление «изображать действительный мир». Обращение к истории убедило его, что *реальная жизнь нации исполнена истинной поэзии*. Значит, следовало быть точным прежде всего. Отсюда стремление Карамзина-художника ссылаться на источник — летопись, документ, мемуары. Поскольку Карамзин собрал и систематизировал тысячи фактов, причем из них много новых, им лично обнаруженных в летописных источниках, поскольку, опираясь на все предшествовавшие материалы, он дал связное изложение хода истории России за несколько веков, наконец, поскольку он снабдил свое сочинение ценнейшими примечаниями, в которых использовал документы, впоследствии погибшие, — все это придавало произведению Карамзина научную ценность и научный интерес. Рассмотрение «Истории государства Российского» русской историографией закономерно.

Но при всем своеобразии, переходности и, главное, незавершенности жанра «История» прежде всего крупное произведение русской литературы. Оно на историческом материале учило литературу видеть, понимать и глубоко ценить поэзию действительной жизни. Героем сочинения Карамзина стала родина, нация, ее гордая, исполненная славы и великих испытаний судьба, нравственный мир русского человека. Карамзин с воодушевлением прославлял русское, «приучал россиян к уважению собственного». «Согласимся, — писал он, — что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благоденствия судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостью» (VII, 131).

В «Истории» рассказано о многочисленных событиях, имевших порою решающее значение для существования государства и нации. И всюду в первую очередь выявлялся характер русского человека, живущего высокою и прекрасною жизнью, интересами отечества, готового погибнуть, но не смириться перед врагом. Карамзин ставил перед собой задачу «оживить великие русские характеры», «поднять мертвых, вложить им жизнь в сердце и слово в уста». Политические убеждения мешали художнику видеть истинные черты национального характера в рядовых представителях народа, в частности в земледельце, который не только пахал, но и творил культуру и воевал славу отечеству. Оттого в центре внимания Карамзина — князья, монархи, дворяне. Но при описании некоторых эпох под пером Карамзина главным героем «Истории» становился народ; педаром он обращает особое внимание на такие события, как «восстание россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междоусобия»⁸¹ и т. д. Именно потому, что Карамзин чувствовал себя художником, когда писал «Историю», он сумел выполнить свое намерение и создал собирательный, обобщенный образ народа.

Сочинение Карамзина обогащало литературу новым опытом. У Карамзина писатели находили не только множество сюжетов. Он включился в общую борьбу за народность литературы, по-своему решая эту проблему, теперь уже как художник, действуя примером. В его «Истории» «есть звуки сердца русского, есть игра ума русского». Мы знаем, что Карамзину было чуждо демократическое понимание народности. Социальная активность земледельца им осуждалась. Способность его к исторически активной жизни понималась ограничено. И все же как художник Карамзин сумел запечатлеть черты русского характера, раскрыть «тайну национальности», которая выражается не в костюме, не в кухне, а в сгибе ума, в нравственном кодексе, в языке, в манере понимать вещи.

⁸¹ <Н. М. Карамзин> История государства Российского, т. I, стр. XIV.

Карамзин был чужд историзма. Он еще не умел показать историческую обусловленность убеждений человека. Его герои, когда бы они ни жили — в IX или XVI веке, говорят и чувствуют как истинные патриоты — современники Карамзина. Но упрекать Карамзина в антиисторизме бессмысленно: когда он писал свое сочинение, в России пора историзма еще не наступила. В то же время «История» расчищала во многом путь к историзму. И не только собранием фактов истории, не только скрупулезным восстановлением целых эпох народной жизни, но и показом исторически меняющихся нравов, обычаев, вкусов народа, развивающейся культуры Руси. Утверждение же неизменности нравственного кодекса русского человека как характера героического, всегда способного пойти на подвиг во имя общего блага имело свой положительный смысл именно в годы бурного развития романтизма с его разочарованным, нравственно больным героем, бегущим из общественной жизни в мир собственной души.

Важной художественной особенностью «Истории» была занимательность повествования. Карамзин показал себя замечательным рассказчиком. Как тонкий художник, он умел отбирать нужные факты, драматизировать рассказ, увлекать читателя изображением не выдуманных, а действительно бывших событий. «Главное достоинство его (сочинения «Истории», — Г. М.), — отмечал Белинский, — состоит в занимательности рассказа и искусном изложении событий, нередко в художественной обработке характеров...»⁸² Главные герои девятого и десятого томов — Иван Грозный и Борис Годунов — нарисованы как характеры сложные, противоречивые. Используя опыт своей литературной работы в 90-е годы, Карамзин смело и удачно вносил в литературу психологизм как важный принцип раскрытия внутреннего мира человека.

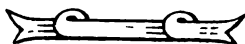
«История» представляла чрезвычайный интерес и со стороны языка. Стремясь приучить читателя к уважению национального, русского, Карамзин прежде всего приучал его любить русский язык. Ему чужда теперь боязнь «грубостей» русского языка, заставлявшая его раньше более прислушиваться к языку дворянских салонов. Теперь он прислушивается и к тому, как говорят на улице, и к тому, как говорят простые люди. Он высоко ценит народную песню и как раз в годы работы над «Историей» собирался издать «свод русских песен». Он с радостью черпал новый запас слов из летописей, уверенный, что многие старорусизмы достойно обогатят современный русский язык. Кроме того, работая над «Историей», он удачно отбирал наилучшие для выражения содержания слова, старым давал новый смысл, обогащал слова новыми оттенками и значениями. Много сил было отдано стилистической отделке. Стил «Истории» многообразен. Карамзин умеет передать живость действия и драматизм события, психологическую глубину переживания и патриотический порыв души, высокие чувства и лаконизм, афористичность речи русского человека. Белинский неоднократно подчеркивал, что только в «Истории» язык Карамзина обнаружил стремление быть языком русским. Оценивая слог «Истории», он писал: это «дивная резьба на меди и мраморе, которой не сгложет ни время, ни зависть и подобную которой можно видеть только в историческом опыте Пушкина: „История пушгачевского бунта“».⁸³

Карамзин не был великим художником. Его произведения 90-х годов сыграли большую роль в русской литературе, но они имели преходящее значение. По той же причине Карамзину не удалось создать новый жанр для исторического повествования — он написал «Историю государства Российского». Но и в той форме, в какую вылилось это сочи-

⁸² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 350

⁸³ Там же, т. V, стр. 112.

нение, оно сыграло не меньшую, чем творчество Карамзина 90-х годов, а бесконечно большую роль в литературной жизни первой четверти XIX века. «В *Истории государства Российского*, — писал Белинский, — весь Карамзин, со всею огромностию оказанных им России услуг и со всею несостоятельностью на безусловное достоинство в будущем своих творений. Причина этого — повторяем — заключается в роде и характере его литературной деятельности. Если он был велик, то не как художник-поэт, не как мыслитель-писатель, а как практический деятель, призванный проложить дорогу среди непроходимых дебрей, расчистить арену для будущих деятелей, приготовить материалы, чтобы гениальные писатели в разных родах не были остановлены на ходу своим необходимою предварительных работ».⁸⁴ Мы обязаны знать и уметь ценить те творения, которыми Карамзин самоотверженно прокладывал дорогу многим писателям и в первую очередь Пушкину.



⁸⁴ Там же, т. X, стр. 316—317.

ОБ ЭЗОПОВСКОМ ЯЗЫКЕ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Литературная деятельность В. Г. Белинского была выражением самых передовых идей и самых благородных устремлений его эпохи, наиболее глубоким философским и политическим осмыслением всего освободительного движения в крепостнической России 40-х годов прошлого века. На общественных и эстетических воззрениях великого критика, формировавшихся в обстановке напряженной идеологической борьбы, лежит отпечаток его неутомимых теоретических и нравственных исканий, его неукротимой и страстной, непосредственной и искренней натуры. «... Я рожден, чтобы называть вещи их настоящими именами; я в мире боец...» — писал критик Н. А. Бакунину 9 декабря 1841 года.¹ «Я всегда и весь наруже — такова моя натура», — заявлял он в ноябре 1847 года В. П. Боткину (XII, 411).

Белинский вел непримиримую борьбу не только против реакционной и рептильной, но также и против балансирующей между двух огней, обывательски боязливой, беспринципной журналистики и критики. «... Мы не можем, — писал он в 1842 году, — победить нашего отвращения к уклончивой критике, как и ко всему уклончивому, ко всему, в чем мелкое самолюбие... ограничивается скромною и благонамеренною службою и нашим...» (VI, 210). Критике беспринципной и «уклончивой» Белинский противопоставлял всегда критику «прямую и смелую».

Стремление глядеть истине прямо в глаза не раз заставляло Белинского наносить удары по престижу и самолюбию людей не только враждебного, но и своего лагеря. И более того, искренним попыткам найти истину даже в том случае, когда они принадлежали противнику, Белинский не мог не отдавать известной дани уважения. «Мы можем сочувствовать, — писал он в 1847 году, — всякому искреннему, независимому и благородному, в его начале, убеждению, не только не разделяя его, но и видя в нем диаметрально противоположность нашему убеждению. На чьей стороне истина, — рассудит время — великий и непогрешительный судья всех умственных и теоретических тяжб» (X, 22).

Но Белинский был не только непримиримым и на редкость принципиальным борцом и мыслителем, но еще и дальновидным, трезвым политиком, владевшим превосходно разработанной и гибкой тактикой общественно-политической борьбы, предусматривавшей нанесение удара по основному врагу, выигрыш крупных сражений и достижение конечных целей, а не бесплодную трату энергии на мелкую и не имевшую общественной значимости полемику. Непримиримость Белинского заслуживает поэтому специального разъяснения. В силу исторических условий он был вынужден прибегать иногда и к таким методам и приемам идейной борьбы, которые отдельными его сторонниками оценивались как идейный компромисс с противником, но которые в действительности были лишь вынужденными, частичными и временными уступками.

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 76. Далее ссылки приводятся в тексте.

Тактика общественно-литературной борьбы Белинского определялась прежде всего внутренней и, в частности, цензурной политикой самодержавия, с основами которой критик познакомился еще в 1831 году, когда его юношеская драма «Дмитрий Калинин» была не только не допущена к изданию, но и признана Московским цензурным комитетом «безнравственной» и «бесчестящей университет». Запрещение в октябре 1836 года «Телескопа» и связанные с этим событием обстоятельства (обыск на квартире Белинского, слухи о привлечении его к дознанию, вызов к московскому обер-полицмейстеру и т. д.) раз и навсегда убедили молодого критика в том, что открытая пропаганда антиправительственных взглядов в легальной печати совершенно бесперспективна.

Утвердившись в 40-е годы на позициях революционно-демократического мировоззрения, Белинский вступил в непримиримый конфликт с охранявшей самодержавно-крепостнический строй официальной идеологией. В 40-е годы тяжесть цензурного гнета ощущалась Белинским с особенной силой, о чем можно составить представление по следующим выдержкам из его писем к друзьям: «в нашей цензуре (московской) царствует совершенный произвол» (XI, 260); «цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах» (XI, 577); «не знаем, что и делать с цензурой — самая кнutoбойная и калмыцкая!» (XI, 584); «семинарист Никитенко (иначе Осленко) вымарал два лучшие места» (XII, 24); «цензурный гнет делает для меня критики (т. е. писание статей, — Ф. П.) яром невыносимым» (XII, 45); цензурные вмешательства «огладили мне русскую литературу и вранье о ней сделали пыткой» (XII, 128); «Мою статью страшно ошельмовали... это меня довело до отчаяния» (XII, 422).

Приведенными примерами далеко не исчерпывается перечень жалоб критика на произвол цензурного ведомства. И не только непосредственные вмешательства цензуры, но уже самый факт ее существования, угнетающее сознание Белинского, служил силой, сдерживавшей и уродовавшей его намерения и замыслы.

Находившийся под особым наблюдением не только цензуры, но и других правительственных инстанций, критик реагировал на это с чувством неизбывной боли. «Что мне в том, — писал он В. П. Боткину в сентябре 1841 года, — что я понимаю идею... когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству...» (XII, 69). Сознание этой горькой истины никогда не покидало Белинского. В письме его к А. И. Герцену от 26 января 1845 года читаем: «Все это так, но ведь я по-прежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт <ли> в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать?» (XII, 250). Выражение той же мысли находим мы и в письме критика к В. П. Боткину от 28 февраля 1847 года: «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лиси» (XII, 339).

Заслуживает особого внимания тот факт, что Белинский был лишен возможности пользоваться в своих подцензурных писаниях целым рядом понятий, терминов и собственных имен, которыми с большей или меньшей свободой пользовалась вся современная ему русская журналистика. Так, например, критик никогда не употреблял в своих статьях не только таких «одиозных» слов, как «социализм», «коммунизм», но даже и таких весьма нейтральных терминов, как например «крепостное право».² Когда в своей статье «Русская литература в 1840 году» Белинский случайно употребил выражение «res publica» («Для публики занятие литературою не есть отдохновение от забот жизни... занятие литературою для нее

² Несколько ценных замечаний о политической терминологии Белинского содержится в статье Ю. А. Бельчикова «Наблюдения над общественно-политической лексикой В. Г. Белинского» (см. Очерки по стилистике русского языка. Под ред. проф. К. И. Былинского. Изд. МГУ, 1959, стр. 91—104).

res publica, дело общественное, великое, важное, источник высокого нравственного наслаждения, живых восторгов» — IV, 427), приятель Булгарина С. Н. Навроцкий напечатал в «Северной пчеле» доносительное «Письмо деревенского читателя», в котором, сказав текст статьи, выставил критика в роли пропагандиста республиканского образа правления (ср.: V, 89 и 791). А между тем и П. А. Вяземский, и М. П. Погодин, и С. П. Шевырев, и Ф. Булгарин, и Сенковский довольно свободно оперировали выработанной западноевропейской журналистикой и публицистикой социально-политической терминологией.

В борьбе с притеснениями цензуры, равно как и в ожесточенных схватках с реакционной журналистикой Белинский применял все средства, которыми он располагал. Будучи сотрудником «Отечественных записок», а затем и «Современника», критик искусно пользовался, например, личными связями А. А. Краевского, И. И. Панаева и Н. А. Некрасова с чиновной знатью и руководителями цензурного ведомства. 16 апреля 1840 года Белинский писал В. П. Боткину: «...все выходы в „Литературной газете“ против Греча производят сильный эффект — он рвет волосы и неистовствует. Но если бы ты знал, чего, какой борьбы, каких усилий стоят нам эти выходы! Князь Волконский (сын министра) — помощник Дундука, приятель Одоевского, — и только благодаря этому обстоятельству цензура еще наполовину пропускает наши выходы, но при этом всегда бывает целая история» (XI, 505).

Подобного рода внелитературные средства борьбы у Белинского были все же крайне ограничены. И в схватках с цензурой, и в полемике с литературными противниками, и в установлении «конспиративных» связей с читателями критику приходилось рассчитывать прежде всего на могучее воздействие и неуязвимость собственного слова. Именно поэтому в системе «изобразительных средств» Белинского приобретает исключительно важное значение эзоповский язык, к помощи которого прибегали многие русские писатели прошлого, начиная с А. Д. Кантемира. Для современников Белинского, сформировавшихся в мрачную эпоху Николая I, обращение к средствам эзоповской речи было неизбежным даже для выражения хоть сколько-нибудь отличных от правительственной идеологии понятий.

И. С. Аксаков в следующих словах охарактеризовал политические условия деятельности русского литератора 40—50-х годов прошлого века: «Автор, садясь за работу, думал уже не о том, чтобы как можно яснее выразить свое искреннее убеждение... а только о том, чтобы как-нибудь протащить свою мысль контрабандой сквозь цензурную стражу, — и мысль тихонько прокрадывалась, закутанная в двусмысленные обороты речи!»³

Если «закутывание» мыслей становилось предметом неусыпных забот для И. С. Аксакова, политическая идеология которого никогда не выходила за рамки славянофильского либерализма, то вполне естественно, что в литературной деятельности В. Г. Белинского оно становилось железной необходимостью.

Это «закутывание» мыслей особенно заметно отразилось как на форме, так отчасти и на содержании политических высказываний Белинского, в чем нетрудно убедиться, сравнивая публицистические элементы в письмах критика с его же публицистикой в подцензурных статьях. Затрагивая в последних политические темы, критик, как правило, лишь заставлял своего читателя задуматься над сложными вопросами жизни, осторожно подводя его к правильному их пониманию, воздерживаясь в то же время от изложения целостной системы своих взглядов. И только

³ И. С. Аксаков, Сочинения, т. IV, М., 1886, стр. 433.

в рассуждениях на собственно эстетические темы он выступал в роли вдохновенного трибуна.

В нашу эпоху никто из изучающих Белинского уже не сомневается в том, что в 40-е годы он был сторонником революционных методов борьбы с самодержавием. И вместе с тем прямых призывов к революционному действию в подцензурных статьях критика не содержится. Более того, в них мы неоднократно встретимся с более чем лояльными оценками общественно-политического устройства крепостнической России. Но где же тогда проходит в сочинениях Белинского грань, отделяющая пропаганду революционно-демократических идей от прямых, хотя несомненно и вынужденных, реверансов в сторону правительства Николая I?

В статьях 1847—1848 годов Белинский нередко отзывался с одобрением и похвалой о готовящихся царизмом реформах. В какой, однако, мере эти отзывы выражали подлинные взгляды критика? Или в какой мере выражением подлинных убеждений Белинского можно считать его весьма неблагосклонные отзывы о вольнолюбивой лирике Пушкина? На эти, как и на множество других аналогичных вопросов, не только у читателей, но даже и у исследователей нет ясного ответа. Эзоповский язык великого критика никогда еще не подвергался специальному изучению. А между тем, по нашему твердому мнению, без изучения эзоповской манеры Белинского его идейное наследие не может быть глубоко и всесторонне осмыслено. Названное изучение важно также и для характеристики русской демократической публицистики и критики второй половины XIX века, поскольку Белинский уже в 40-е годы разработал целую систему средств и приемов эзоповского письма, завещанную им последующим поколениям борцов с самодержавием.

«Белинский, — сообщал И. И. Панаев, — убедившись в своем настоящем призвании и проникнувшись горячей верой в свои новые убеждения, приобрел удивительную способность газировать свою мысль и проводить ее незаметно от цензора, несмотря на его строгий ценсурный надзор...»⁴

Характеризуя статьи Белинского 40-х годов, А. И. Герцен в «Былом и думах» восклицал: «Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между ценсурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию...»⁵

Скрытый смысл статей Белинского привлекал внимание вдумчивых читателей, подозревала этот смысл и царская цензура, признавал его в своих письмах к друзьям и сам критик. О статье своей «Стихотворения М. Лермонтова», напечатанной во второй книжке «Отечественных записок» за 1841 год, Белинский писал В. П. Боткину: «... вышла у меня статейка живая, одушевленная, если не хитрая» (XII, 19). В чем же состояла эта «хитрость»? Своей полемической стороной названная статья была направлена против реакционной критики, пытавшейся осудить обличительный гражданский пафос поэзии Лермонтова как выражение «разочарования» и «отрицания жизни». Стремясь скомпрометировать этот демагогический аргумент своих политических противников, Белинский писал: «Но поэзия есть сама действительность, и поэтому она должна быть неумолима и беспощадна... В музыке гармония условливается диссонансом, в духе — блаженство обуславливается страданием, избыток чувства сухостью чувства, любовь ненавистью, сильная жизнь — отсутствием жизни: это такие крайности, которые всегда живут вместе, в одном сердце. Кто не печалился и не плакал, тот и не возрадуется, кто не болел, тот и не восстанет... Жалейте поэта... но не отчаивайтесь ни за поэта, ни за человека: в том и другом бурю сменяет

⁴ И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1950, стр. 245

⁵ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. IX, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 29.

ведро, безотрадность — надежда... Бросая общий взгляд на стихотворения Лермонтова, мы видим в них все силы, все элементы, из которых складается жизнь и поэзия... По глубине мысли, роскоши поэтических образов, увлекательной, неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненным фонтаном, его создания напоминают собою создания великих поэтов» (IV, 533, 545—546).

Таким образом, в противовес реакционной критике Белинский высоко оценил гражданский пафос поэзии Лермонтова, но по тактическим мотивам он выдвинул в качестве характерной особенности последней идею *утверждения*, а не *отрицания* жизни.

Для понимания особенностей эзоповского языка Белинского исключительно ценный материал содержит, на наш взгляд, две его статьи, поводом к написанию которых послужило второе издание знаменитого многотомного труда И. И. Голикова «Деяния Петра Великого». Первая из этих статей была напечатана в четвертой, а вторая — в пятой книжке «Отечественных записок» за 1841 год. О труде Голикова Белинский задумал вначале написать целую серию статей, однако осуществлению этого замысла помешала цензура. Текст второй статьи, изуродованный цензурой, заканчивался следующим редакционным примечанием: «Предположенного продолжения статей о „Деяниях Петра Великого“, по независящим от редакции причинам, не будет».

В связи с этим критик писал В. П. Боткину: «... в „Отечественных записках“ напечатана моя вторая статья о Петре Великом; в рукописи это, точно, о Петре Великом, и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая; но в печати — это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии. Ее исказил весь цензурный синодальный *собор*. Ее напечатана только треть, и смысл весь выключен, как опасная и вредная для России вещь. Вот до чего мы дожили: нам нельзя хвалить Петра Великого» (XII, 54).

В статьях, посвященных труду Голикова, Белинский действительно воздавал высокую хвалу государственной деятельности Петра Первого, называя его «божеством, воззавшим нас к жизни» (V, 93). Однако критик отдавал себе отчет также и в том, что «вся реформа его (Петра, — *Ф. П.*) была тяжким испытанием для народа, годиною трудною и грозною» (V, 146). Исходя из убеждения, что в историческом развитии человечества «добро» нередко неразрывно связано со «злом», Белинский подчеркивал, что «жертвы» царствования Петра Первого «искупаются необходимостью и результатом» (V, 146), т. е. той новой ступенью исторического прогресса, на которую поднималась Россия.

Подобного рода оправдание и более того — возвеличение деятельности Петра Первого и его личности не имело, однако, ничего общего с оправданием принципов монархического строя. В письме к В. П. Боткину, написанному 10—11 декабря 1840 года, т. е. приблизительно в момент возникновения замысла статьи о «Деяниях Петра Великого», критик заявлял: «... конечно наш китайско-византийский монархизм до Петра Великого имел свое значение, свою поэзию, словом свою *историческую законность*; но из этого бедного и частного исторического момента сделать абсолютное право и применять его к нашему времени... неужели я говорил *это*?.. Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото...» (XI, 576).

Попытаемся в связи с этим определить, как же реализует Белинский в рассматриваемых нами статьях декларированную им идею отрицания самодержавной власти.

Решение поставленной нами задачи заметно осложняется тем, что многочисленные восторженные слова в адрес Петра Первого перемежаются в статьях также с похвальными отзывами о «благословенном доме Романовых» (V, 135) и о «нашей великой императрице, нашей матушке Екатерине II» (V, 141), с похвалами «просвещенному правительству», будто бы содействовавшему не только борьбе с «кривосудием» и изданию полезных книг, но и созданию такого порядка в стране, когда «преследуется не свобода, а своеволие мысли» (V, 97, 130, 132). Эта довольно плотная дымовая завеса верноподданнических заверений и благонамеренных слов и фраз была призвана завуалировать, как выясняется, антиправительственную сущность главного замысла Белинского.

Нам хорошо известно, что в конце 1840—начале 1841 года, окончательно преодолев настроения «примирительного периода», критик твердо встал на позиции революционного отрицания окружающей действительности. В письмах к друзьям Белинский прославлял в это время Марата, Робеспьера и Сен-Жюста, восхищался энциклопедистами и «террористами» (другими словами — сторонниками революционного террора 1793 года во Франции), был увлечен до самозабвения идеей социализма и «насильственных переворотов».

Белинский с чувством внутренней боли вставлял в свои подцензурные статьи благонамеренные фразы, превосходно понимая, что эта маскировка неизбежно затемняет их основной смысл. Отдавали себе в этом отчет и друзья критика. Ознакомившись в 1844 году со статьей Белинского о «Парижских тайнах» Э. Сю, А. И. Герцен записал в «Дневнике» «...опять брссит он (Белинский, — Ф. П.) на себя подозрение в сервильности».⁶ Зались эта была вызвана тем местом статьи, в котором Белинский, говоря о потрясающей нищете народных масс в странах Западной Европы, с чувством скрытой иронии писал о том, что «в России не только трудолюбивому бедняку, но и отъявленному лентяю-нищему нет решительно никакой возможности умереть с голода» (VIII, 172).

В связи с этим правомерно будет поставить вопрос, насколько необходимы были указанные выше «похвалы» в адрес русского самодержавия и не рисковал ли тем самым критик оказаться в положении превратно понятого автора. Следует все же признать, что если бы статьи Белинского были менее защищены благонамеренными фразами, они не могли бы пройти сквозь рогатки цензуры, что, впрочем, и было блестяще подтверждено на примерах цензурной истории второй статьи о «Деяниях Петра Великого», статьи о «Парижских тайнах» и многих других произведений критика.

Прослаивание журнальных статей лояльными заверениями было естественным и неизбежным результатом цензурных условий 40—50-х годов. В 1856 году Н. А. Некрасов, работавший над созданием поэмы «Несчастные», не случайно писал: «Кончивши, начну ее порицать; может, и пройдет, если вставить несколько верноподданнических стихов».⁷

При этом каждый ущемляемый цензурой автор, отдавая себе отчет в том, что его мысль доходит до читателя в искаженном виде, шел, так сказать, на риск, рассчитывая на мыслящего и политически активного читателя, способного отделить авторский замысел от обусловленного цензурными требованиями принудительного антуража. Следует сказать, что передовой читатель эпохи Белинского уже обладал определенным искусством расшифровки эзоповского письма и что искусство это с течением времени становилось достоянием все более и более широкого круга читателей.

⁶ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, стр. 380

⁷ Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. X, Гослитиздат, М., 1952, стр. 304.

Удивляться следует не тому, что Белинский шел на заведомое затемнение своей мысли, а мастерству и смелости, с которыми он, пахотясь под бдительным наблюдением правительства и цензуры, излагал читателям свои исполненные антиправительственного и антицензурного пафоса и смысла настроения и взгляды.

Характеризуя время Грановского и Беллинского, М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «То было время, когда слово служило не естественною формой для выражения человеческой мысли, а как бы покровом, сквозь который неполно и словно намеками светились очертания этой мысли; и чем хитрее, чем запутаннее сплетен был этот покров, тем скорбнее, тем нетерпеливее трепетала под ним полная мощи мысль и тем горячее огдавалось ее эхо в молодых душах читателей и слушателей».⁸

Данная М. Е. Салтыковым-Щедриным характеристика русской подцензурной прогрессивной печати 40-х годов относится прежде всего к подцензурным статьям Белинского. Заметим здесь же, что в статьях о «Деяниях Петра Великого» критик прямо призывал своих читателей к активному чтению. «Просим наших читателей, — писал он здесь, — не быть слишком взыскательными, не выпускать из вида великости предмета и незначительности средств к его уразумению, не забывать также, что в журнальной статье нельзя высказать всего так, как бы хотелось. Мы почтем себя вполне достигшими цели, если статья наша займет не одни глаза читателя, но и душу, и разум его, и наведет его на мысли и думы, которых еще не возбуждали в нем исторические возгласы о Петре Великом» (V, 97).

Несколькими страницами ниже Белинский снова взывал: «Еще менее можем сказать мы нового о Европе касательно ее противоположности с Азиею; но и это не цель наша: нам опять нужно только привести для соображения читателю две-три самые резкие черты; собственная его пронципальность дополнит остальное» (V, 103).

В свете вышесказанного попытаемся выяснить основное содержание двух статей Белинского о «Деяниях Петра Великого» Голикова, попытаемся определить те мысли и думы, на которые наводили эти статьи современного им читателя.

Так как цикл статей о труде Голикова не был закончен Белинским, то материал написанных двух статей ограничивается по преимуществу хронологическими рамками допетровской, *кошихинской* России.⁹

В указанных статьях Белинский, с одной стороны, резко противопоставлял Россию XVII века России петровской, а с другой — устанавливал между ними тесную преемственную связь. *Кошихинская* Россия в сознании Белинского была типическим примером крепостнического строя, она продолжала свое существование не только в XVIII, но и в XIX столетии. Именно поэтому характеристика России времен царствования Алексея Михайловича, по существу, являлась критикой крепостничества, была наполнена глубоко современным, актуальным содержанием. С точки зрения чисто формальной статьи Белинского были посвящены теме исторической, и это облегчало стоявшую перед ним задачу. Критик дискредитировал *кошихинскую* Россию, защищаясь авторитетом и именем Петра Первого. В названных статьях Белинского хронологическое смещение объекта критики превосходно сочеталось также с географическим его смещением. Установив черты сходства между Россией XVII века и наиболее отсталыми странами Азии и объяснив самые уродливые стороны русского крепостнического быта воздействием татарского ига, Белинский

⁸ М. Е. Салтыков (Щедрин), Полное собрание сочинений, т. III, ГИХЛ, Л., 1934, стр. 210.

⁹ По имени Г. К. Котошихина (Кошихина) (ок. 1630—1667), сочинение которого «О России в царствование Алексея Михайловича» (М., 1841) Белинский в названных статьях также анализировал.

8 Русская литература, № 1, 1962 г.

подверг уничтожающей критике азиатские формы жизни, подразумевая под ними языы современной ему российской действительности. Только на таком значительном и хронологическом и географическом удалении от последней мог в данном случае решать критик (да и то не без тревог и опасений) выдвинутые жизнью насущные задачи.

Большое место отводил критик в названных статьях характеристике боярского сословия. Пространные выписки из книги Котошихина рисовали «спесивство и бесстыдство», невежество и дикие нравы, местничество и взаимную ненависть русского боярства, его бесправие по отношению к царю и деспотизм по отношению к «холопам», отсутствие у него всяких государственных и умственных интересов.

«И какая разница, — писал Белинский, — между азиатским сатрапом или пашею, который, грабя вверенный его грабительству пашалык, лениво и роскошно упивается всеми обаяниями чувственности в своем гареме — этом земном раю, обещанном ему на небе Мухаммедом, . . . какая разница между ним и древним русским боярином, который тоже был посылан на *кормление*, т. е. на грабление какой-нибудь провинции, который много и безвкусно ел за обедом, еще больше пил, а после обеда спал богатырским сном. . . для которого, после еды, питья и бани, величайшее наслаждение было — охота с соколами, ломка с медведями или разделка с холопами! . . .» (V, 132—133).

Данная здесь характеристика русского боярства была двуплановой, и своим вторым планом она была направлена против современной критике высшего класса, дворянства и помещиков, о чем свидетельствовал сам критик, следующим образом комментируя одно из суждений в книге «О России в царствование Алексея Михайловича»: «Это суждение Котошихина очень замечательно: оно доказывает, что еще до Петра Великого умные люди сетовали на невежество высшего класса» (V, 113).

Характеристике русского крепостного крестьянства Белинский уделил в названных статьях сравнительно мало места, но он не забыл, однако, указать на то, что положение крепостного сословия на протяжении столетий остается неизменным («Русский мужичок и теперь еще полуазна-тец»), на невыносимые условия его жизни («Изба его похожа на хлев») и на его бесправное положение (ср.: V, 114, 133, 134).

Об интересе Белинского к положению народной массы в Московском государстве свидетельствует целый ряд приведенных критиком в первой статье выписок из книги Котошихина, в особенности котошихинское описание «медного бунта», которое критик назвал «замечательным» (V, 113). Симптоматично, что из названного описания Белинский цитирует только ту часть, в которой изображается бесчеловечная, кровавая расправа царя не только над «мятежниками», но также и над случайно сопровождавшей их толпою «черни» («пытали и жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги, и у рук и у ног пальцы, а иных бив кнутием, и клали на теле на правой стороне признаки, разжегши железо на красном» и т. д.; V, 113).

Цитируя Котошихина, Белинский специально подчеркнул его слова о том, как представители восставшего народа («черни») «держали его (царя, — Ф. П.) за платье за пуговицы. . . и один человек из тех людей с царем бил по рукам» (V, 113).

В своей первой статье цитату из Котошихина о «медном бунте» Белинский оставил почти непрокомментированной, не желая концентрировать в одном месте слишком много подозрительного материала. Но во второй статье он осмелился немного разъяснить смысл приведенной цитаты. Здесь Белинский писал: «Защитники патриархальных нравов против цивилизованных с особенным торжеством ссылаются на непоколебимую верность и беспрекословное повиновение народа высшей власти во времена старой России. Но исторические факты слишком резко про-

тиворечат этому убеждению и слишком ясно доказывают старинную истину, что „крайности сходятся“. Мятежи и крамолы стрелецкие еще в малолетстве Петра Великого, беспрестанные покушения на жизнь его даже во время его единодержавия доказывают, как мало прочны естественные отношения народа к высшей власти, что гораздо прочнее их отношения, проникнутые разумною сознательностью своих обязанностей и прав. Во время народного мятежа по случаю упадка курса денег, вследствие медной монеты, многие держали царя Алексея Михайловича за пуговицы, и „один человек из тех людей с царем бил по рукам“: это больше, чем санкюлотская дерзость, это грязная и отвратительная животность в понятиях и чувствах» (V, 138—139).

Приведенное высказывание поражает нас своею политической смелостью. Правда, Краевский еще в рукописи несколько смягчил антимонархическую направленность этого места,¹⁰ и тем не менее приходится лишь удивляться тому, что оно было все же пропущено цензурой. В подцензурных статьях Белинского это единственное высказывание, которое непосредственно перекликалось со следующими широко известными словами из знаменитого письма критика к Гоголю: «Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия...» (X, 215—216).

Направленное против идеологов официальной народности высказывание об отсутствии в русском народе непоколебимой верности принципам самодержавия звучало настолько вызывающе, что Белинский вынужден был тут же завуалировать его выражением своего мнимого возмущения бесцеремонно непочтительным отношением к особе Алексея Михайловича со стороны его подданных. Но зная, как искренно восхищался в это время критик якобинцами-террористами, мы не поверим, конечно, в искренность его возмущения «санкюлотской дерзостью»; ведь только ценою различного рода напускных возмущений и восхвалений мог приобрести Белинский право на пропаганду своих выношенных и выстраданных политических убеждений.

В статьях о труде Голыкова, полемизируя с идеологами официальной народности и славянофильства, Белинский также вынужден был облек в осторожную форму свою мысль об отсутствии в русском народе религиозной созерцательности и религиозного фанатизма и мистицизма (ср.: V, 129, 133). Высказанная здесь впервые, мысль эта неотступно тревожила сознание Белинского на протяжении всех 40-х годов. Когда в 1843 году С. П. Шевырев попытался вывести склонность Кольцова к философско-религиозной думе из особенностей русской народной (национальной) психики, Белинский писал: «Неправда: где доказательства этого элемента в нашем простонародии? Уж не в народной ли русской поэзии, где его нет ни следа, ни признака?» (VII, 628). В зальцбрунском письме к Гоголю мысль о том, что в русском народе «нет и следа религиозности» (X, 215), была высказана критиком со всей обстоятельностью и решительностью.

Вопрос о том, насколько глубоко укоренились в психологии русской народной массы царистские настроения, равно как и вопрос о степени верности этой массы догмам православия и религиозным убеждениям вообще, вызывал повышенное внимание Белинского не только потому, что на реакционном истолковании этих вопросов зиждилась враждебная критику идеология официальной народности, но также и потому, что без решения этих вопросов были неясны перспективы и судьбы дальнейшей

¹⁰ Слова «ссылаются на непоколебимую верность и беспрекословное повиновение народа высшей власти во времена старой России» Краевский заменил словами: «ссылаются на беспрекословное повиновение древних русских» (V, 685).

освободительной борьбы в России. Будут ли миллионы русских крестьян и далее терпеть ужасы крепостного рабства или же, освободившись от царпстских иллюзий и религиозного смирения, станут хозяевами собственной судьбы, ведущей силой освободительного движения? Белинский решал этот вопрос в духе исторического оптимизма. В русском национальном характере и в условиях русской жизни критик искал и находил «плодотворные зерна», которые могли стать залогом счастливого будущего России.

Приведенные выше примеры далеко не исчерпывают всех случаев обращения Белинского к эзоповской речи в двух его статьях о «Деяниях Петра Великого» Голикова. И вообще в подцензурных статьях политическая мысль Белинского, его революционная страстность прорывались неоднократно. И поэтому далеким от истины было мнение И. С. Тургенева, считавшего, что в журнальных статьях Белинского всё «неуклонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно на ней. Только в известном одном письме, — писал Тургенев, подразумевая знаменитое письмо критика к Гоголю, — эта страсть, которую он —

...во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской, —

прорвалась наружу...»¹¹

Исключительное по своей политической смелости суждение встречаем мы в четвертой статье критика о народной поэзии. Рассматривая казачьи «удалые песни», Белинский и здесь вскрывает породившую их социальную почву и дает, в частности, своеобразную характеристику восстания Степана Разина. «Существование „удальцов“. — пишет Белинский, — не было улегитимировано правительственной властью, но было улегитимировано общественным мнением, — и потому в одной песне они сами про себя говорят:

Мы не воры, — мы разбойнички.
Атамановы мы работнички».

(V, 438)

В книге, которую Белинский здесь рецензировал («Сказания русского народа» И. Сахарова), цитата из песни имела несколько иной вид, а именно:

Мы не воры и не разбойнички,
Степки Разина мы работнички.¹²

Заменив одиозное имя Степана Разина более приемлемым для цензуры общим понятием «атамана», критик продолжал: «В подобных явлениях нет ничего унижительного для национальной чести, ибо в них виновато неустройство и шаткость общественного здания, а совсем не национальный дух... Стесненность и ограниченность условий общественной жизни, безусловная зависимость слабого и бедного от произвола сильного и богатого, словом, *кошилинский* характер администрации и общественной нравственности: все это заставляло людей, чаще всего с сильными натурами, искать какого бы то ни было выхода из тесноты и духоты на простор и приволье души. Низовые страны, особенно степи, прилегающие к Волге и Дону, давали полную возможность для подвигов удалства и молодечества. И наши удалцы того времени никогда не были ни козаками, ни разбойниками, а всегда тем и другим вместе: они били басурманов, крепко держались православия, оберегали границы и иногда,

¹¹ И. С. Тургенев, Собрание сочинений в двенадцати томах, т. X, Гослитиздат, М., 1956, стр. 287—288.

¹² И. Сахаров. Сказания русского народа, т. I, изд. 3-е, СПб., 1841, стр. 227.

при стесненных обстоятельствах, грабили и посланников царских, и бояр, и кто попадется. Подвиги этих витязей такого рода никогда не были запечатлены ни зверством, ни жестокостью: они были удальцы и молодцы, а не злодеи. Конечно, они не отличались и идеальным рыцарством; но можно ли было требовать рыцарства в те варварские времена, когда и войны походили на грабеж и разбой, когда само правосудие было сврепо и кровавадно? Повторяем: наши удальцы не были, по крайней мере, хуже всех других сословий своего времени, если не были лучше их. При дурной общественности шадшие души часто бывают самые благороднейшие по своей натуре — и уж конечно скорее можно предполагать человечность, благородство и возвышенность в покорителе Сибири, чем во многих из знатных тунейдцев, богатых только спесью, невежеством и низостью» (V, 439).

Скрытая апология «неулегитимированных» Степана Разина и разинщины завершается здесь открытой апологией «улегитимированного» покорителя Сибири Ермака; как и во множестве других случаев, *антиправительственный смысл своих статей Белинский преподносит в более или менее благонамеренной оболочке.*

Итак, причину нищенского и бесправного положения народных масс Белинский видел в «неустроенности и шаткости общественного здания», в «дурной общественности», другими словами — в самодержавно-крепостническом строе жизни. Правда, с точки зрения чисто формальной критик характеризовал здесь Россию лишь допетровского периода, но мыслящий читатель — не без помощи автора — распространял эту характеристику и на Россию Николая I. В той же четвертой статье о народной поэзии Белинский писал: «Присовокупите ко всему этому медленное, тяжкое, испытательное историческое развитие Руси: междоусобия и темное владычество татар, которые приучили русского крестьянина считать свою жизнь, свое поле, свою жену и дочь, и все свое скудное достояние, считать их чужою собственностью, которая ежеминутно готова отойти во владение первого, кто, с железом в руке, вздумает объявить на нее свое право...» «Вспомните быт русского крестьянина того времени, его дымную, неопрятную хижину, так похожую на хлев, его поле, то орошаемое кровавым потом своего владельца, то пустое, незасеянное, или затоптанное татарскими отрядами, а иногда и псовою охотою помещика...» (V, 441).

Желая отодвинуть эту картину в прошлое, Краевский сделал в рукописи ряд исправлений, в частности заменил слово «помещика» словом «боярина» (см.: V, 751), но все равно место это не было напечатано в «Отечественных записках», оно было вычеркнуто цензурой, так как его вполне современное содержание бросалось в глаза. Примечательно, что отдельные компоненты изображенной здесь картины («свинцовое небо» России, изба русского мужика, похожая на хлев, и т. д.) критик использовал в дальнейшем для изображения русской жизни уже не XVII, а XIX века.

Политические взгляды Белинского нашли отражение во многих его высказываниях о событиях всемирной истории, в частности — о французской буржуазной революции 1789 года. Великий русский критик высоко оценивал французское просвещение XVIII века и в равнодушном отношении к нему видел признак умственной отсталости. «Сын XVIII века, умный и образованный, Фонвизин умел смеяться вместе и весело и ядовито... — писал Белинский. — Его письма к вельможе из-за границы, по своему содержанию, несравненно дельнее и важнее „Писем русского путешественника“ (Карамзина, — Ф. П.): читая их, вы чувствуете уже начало французской революции...» (VII, 119).

Деятельностью французских энциклопедистов, подготовивших умы к восприятию идей буржуазной революции 1789 года, Белинский восхи-

щался не только в своих письмах, но и в подцензурных статьях. В 1844 году критик выступил открыто в защиту энциклопедистов от тенденциозных обвинений историка Капфига (ср.: VIII, 599). Чаще всего, однако, Белинскому приходилось защищать французских энциклопедистов в завуалированной форме. Так, в примечании к статье о романе Эжена Сю «Тереза Дюнойе» (1847) боровшуюся с идеями энциклопедистов г-жу Жанлис критик презрительно назвал «замечательнейшим и забавнейшим *синим чулком* прошлого века» (X, 104). Не выставя себя (по цензурным соображениям) открытым сторонником французских энциклопедистов, как здесь, так и во многих других случаях Белинский отстаивал прогрессивную сущность их деятельности. Именно поэтому критик неоднократно ставил в упрек Державину его отчужденность от умственных устремлений «чуждого» XVIII века (VI, 632) и прежде всего — от идей французского Просвещения. Восхищаясь созданным Пушкиным образом русского вельможи, попавшего по свойственному ему умственному гурманству в общество парижских просветителей («И скромно ты внимал За чашей медленной афею пль деиству, Как любопытный скиф афинскому софисту»), критик заключал: «Но Державин не мог стать наравне и с этим скифом: он относится к этому скифу, как тот скиф к афинскому софисту. Лишенный всякого образования, не зная французского языка, Державин не был слишком причастен ни нравственной порче, ни истинному прогрессу того времени и в сущности нисколько не понимал его. Хваля добро того времени, он не прозревал связи его со злом и, нападая на зло, не провидел связи его с добром» (VI, 622).

Примерами западноевропейской жизни и литературы Белинский нередко пользовался для освещения коренных вопросов российской действительности. В статье о «Тарантасе» В. А. Соллогуба (1845) критик не случайно отождествил «безумных бонапартистов», «легитимистов», «ультрамонтанистов» во Франции и «ториев» в Англии с русскими славянофилами (ср.: IX, 81). Объединяющим признаком для всех них, с точки зрения критика, являлась верность аристократическим предрассудкам и осужденным историей принципам монархизма.

Согласно определению В. И. Ленина, в эпоху 40—60-х годов прошлого века «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками».¹³ Уничтожение крепостного права Белинский в письме к Гоголю провозгласил самой неотложной для русского общества задачей, осуществлению которой он отдавал лучшие свои помыслы и силы. Но, будучи страстным и решительным борцом против крепостного права, в условиях 40-х годов великий критик был лишен возможности изложить программу этой борьбы последовательно и открыто. Отсутствие в подцензурных статьях Белинского самого термина «крепостное право» красноречиво свидетельствует о том, какое важное значение приобретало в этой борьбе пользование средствами эзоповской речи.

В одной из последних своих статей («Взгляд на русскую литературу 1847 года») критик писал: «Иной управляющий, из немцев, со слезам восторга на глазах читает своей Минхен какое-нибудь восторженное послание Шиллера к Лауре и, копчивши последний стих, с не меньшим удовольствием идет пороть мужиков за то, что они осмелились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсем довольны отеческими попечениями управляющего о их благосостоянии, от которых только один он и жиреет, а они всё худеют» (X, 334—335). Этот смелый антикрепостнический выпад был почти неуязвим в цензурном отношении. Автор оградил себя от возможных обвинений. Он возложил всю тяжесть вины на управляющего, который к тому же немец, возможно ненавидя-

¹³ В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 473.

щий Россию. Что же касается барина, то он назван «милостивым», правда в том же самом смысле, в каком жестокий произвол управляющего назван «отеческими попечениями», но *формально* никто не смог бы доказать, что автор прибегает здесь к насмешке над «милостивым барином».

Известная осторожность составляла характерную особенность почти всех подцензурных высказываний Белинского о крепостном праве.

Со времени перехода критика на позиции революционно-демократической идеологии его внимание было поглощено положением народных и особенно крепостных масс. «Я не хочу счастья и даром, — писал он в марте 1841 года Боткину, — если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моей» (XII, 23). Но в том же 1841 году Белинский еще утверждал, что «герой искусства и литературы есть *человек*, а не барин и тем более не *мужик*» (V, 303). В сознании критика мужик продолжал еще некоторое время оставаться в качестве категории пассивной, страдательной. Однако впоследствии Белинский приходит к убеждению, что «мужик» является «корнем» и «самым стержнем» (X, 80) всей русской жизни. В письме к Гоголю критик писал, что «русские мужики» только «поверив своим барам, сами себя не считают за людей» (X, 214). Известно, какое важное значение придавал Белинский пробуждению в крепостной массе «чувства человеческого достоинства». Крепостной раб, осознавший свое рабство, уже становился в какой-то мере участником освободительной борьбы — и эта истина была превосходно осознана Белинским. Приблизительно с 1845 года он стал придерживаться взгляда, что основным героем литературы является «толпа», в которой «мужик» занимал самое почетное место (ср.: IX, 388; X, 299—300 и т. д.).

Случайно брошенное в 1847 году Э. И. Губером замечание о нестоянстве современной ему литературы, берущей в герои сегодня Козьму или Прохора, а завтра Нерона или Калигулу (см.: X, 94), вдохновила Белинского на следующее смелое антикрепостническое выступление: «...посредственная поэма с Нероном, Калигулою или Титанами — вещь нестерпимо скучная и пошлая», их «наше общество решительно не хочет знать» (X, 96); «если бы наша литература до сих пор возмалась все с Неропами... а не с Кузьмами и Прохорами четырнадцатого класса, — можно ли было бы призвать ее на такое великое дело, как сочинение книг для народа» (X, 95). В этих словах Белинский выразил свое негодование против всей верноподданнической, оторванной от народных нужд беллетристики. Но, разумеется, не всякую литературу, где действовали «Прохоры», приветствовал критик. Так, например, говоря об одной славянофильской повести, изображавшей благоденствие русских крепостных крестьян под властью самодура-помещика («Сельская быль» Ф. Веселаго), Белинский еще в 1845 году с негодованием заявлял, что это «ложь лжей и нелепость нелепостей», что автор повести пожелал «позобразить неизреченное счастье быть мужиком — и, сам того не подозревая, написал презлую карикатуру на это счастье» (VIII, 14).

Глубоко осознавая, что конфликт между помещичьим классом и крепостным крестьянством непримиримый и что в ходе истории конфликт этот будет все более и более обостряться, Белинский призывал передовую общественность содействовать пробуждению классовых инстинктов мужика. Но направленные к этой цели действия великого критика отличались большой сложностью, что было продиктовано прежде всего тактикой его борьбы.

Когда критик в одной из статей 1848 года («Сельское чтение», кн. 4) заявлял, что развитие России будет совершаться «без всякого сотрясения в общественном организме» (X, 366), что в русской истории «не было борьбы двух враждебных элементов» (X, 365) и что интерес во всей Европе к положению народа объясняется «торжеством божественного

учения Евангелия» (X, 365), то мы вправе видеть в этом эзоповский прием, окутывание антикрепостнической идеологии «благонамеренной» оболочкой, стремление усыпить подозрительность в правительственных кругах, вызванную революционной ситуацией в Европе и нарастающим крестьянским движением в России.

Точно такими же соображениями были подсказаны неоднократные заверения Белинского о том, что пренебрежение к мужику якобы свойственно только «полубарам», «полугосподам», «безгербовной аристократии» и что представители высшего класса полны сочувствия к народу («Презрение к низшим сословиям в наше время отнюдь не есть порок высших сословий; напротив, это болезнь выскочек» — X, 299; ср. 81). Главная задача подобного рода утверждений состояла в том, чтобы возбудить сочувствие к закрепощенной народной массе и одновременно — негодование против хищнических инстинктов и морали помещичьего класса. Бесспорно, что право на подобные утверждения могло быть куплено только ценою некоторых услуг цензурной таможне, основные посты в которой, заметим кстати, принадлежали представителям русской дворянской знати. Выпад против помещичьего класса Белинский покупал ценою известной похвалы в адрес аристократии. Совершенно очевидно однако, что подлинные суждения критика о русской аристократии нам следует искать не в подобных высказываниях, а в тех его статьях, где он вопрос об аристократии ставит, так сказать, специально.

Разночинец по своему происхождению и образу жизни, Белинский гордился своим «плебейством». Духом «плебейской» ненависти к дворянским (и аристократическим в том числе) привилегиям и предрассудкам проникнута юношеская драма Белинского «Дмитрий Калинин». Глубоко отрицательное отношение к кодексу аристократической морали и эстетики характерно также и для ранней деятельности Белинского-критика. Наглядным подтверждением этому может служить его статья 1837 года «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (II, 123—177). Преодолев настроения примирительного периода, Белинский, как известно, раз и навсегда понял и одобрил маратовскую «кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хотя коляской с гербом» (XII, 52). Разоблачению исторической несостоятельности русской аристократии и дворянства уделял немало внимания Белинский также и в последние годы своей жизни: в этом нас убеждает его переписка и его критические труды (одинадцатая статья о Пушкине и многие другие). Таким образом, рассмотренные выше похвалы критика в адрес «высших классов» мы должны оценить как эзоповский прием, как необходимое прикрытие для пропаганды антикрепостнических взглядов. Только под покровом таких, не подсказанных самой логикой основного замысла, а случайно вторгающихся в повествование благонамеренных фраз революционная мысль Белинского получала санкцию цензуры и находила доступ в читательскую массу.

Вышедшие в самом начале 1847 года «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, как известно, глубоко возмутили Белинского своей апологетикой самодержавия и проповедью крепостнического беззакония. Но в рецензии своей на эту книгу (X, 60—78) критик был вынужден, сдерживая свое возмущение, доказывать несостоятельность и реакционность политической идеологии Гоголя в «смягченных» и завуалированных выражениях, средствами эзоповской речи. С большей свободой критик мог выразить свое негодование лишь в известном зальцбруннском письме к автору «Выбранных мест».

И рецензия, и письмо были продиктованы одними и теми же мыслями и чувствами, тем не менее они резко отличаются друг от друга и по стилю, и по тону, и по *буквальному* смыслу выдвинутых в них утверждений. Сопоставив эти две различные оценки (в рецензии и в письме)

одной и той же книги, мы получим ясное представление о том поистине страшном цензурном гнете, которому подвергался Белинский-критик.

Но даже и в названном письме к Гоголю Белинский не мог «дать полную волю своему чувству» (ср.: XII, 219) и вынужден был ограничиться изложением лишь «самых живых, современных национальных вопросов в России» (XII, 213). Великий критик превосходно понимал, что «всякое сознание развивается постепенно, а не родится вдруг» (VII, 124) и что истина, высказанная «вполне», может порою остаться непонятой, и поэтому в письме к Гоголю, оставив несколько в стороне вопрос о неизбежности и правомерности народной революции в России, он ограничился по преимуществу разъяснением лишь тех истин, которые, по его мнению, были доступны пониманию адресата. Таким образом, даже в своей переписке, особенно в письмах к «инакомыслящим» лицам, Белинский был вынужден, по соображениям тактического или педагогического характера, несколько смягчать радикализм своей политической программы.

Не может быть сомнений, что если бы целостная система взглядов критика-демократа была высказана им открыто, то это повлекло бы за собой незамедлительное насильственное прекращение его деятельности. Отсюда — отрывочность, фрагментарность как одна из особенностей публицистических высказываний Белинского в его подцензурных статьях. Только эта отрывочность и делала критика (до поры до времени) неуязвимым для III отделения и помогала ему устанавливать, если можно так выразиться, «конспиративные» связи с читателем. Мыслящий читатель, современник Белинского, проделывал в своем сознании огромную работу по воссоединению этих разбросанных там и сям отрывочных мыслей критика в целостную систему его воззрений. И этому процессу способствовал сам Белинский, иногда намеками, а иногда и прямо, с соблюдением библиографической точности, отсылая читателя к прежним своим статьям.

Лавирование между цензурными отмеями требовало от прогрессивных литераторов того времени в каждом случае особого искусства и соблюдения чувства меры. И надо сказать, что последнее почти никогда не изменяло Белинскому.

Сделанное в начале настоящей статьи замечание, что в рассуждениях на собственно эстетические темы Белинский был менее скован, носит, разумеется, условный характер. В сочинениях великого критика зачастую трудно отделить эстетику от публицистики и политики. И в рассуждениях на эстетические темы Белинский нередко прибегал к гипотезам. Так, например, в 1842 году критик заявлял: «Нельзя ошибочнее смотреть на „Мертвые души“ и грубее понимать их, как видя в них сатиру» (VI, 220). Это заявление было вызвано прежде всего стремлением Белинского предохранить творчество Гоголя и зарождающуюся гоголевскую школу от доносительских акций рептильной журналистики. Н. И. Мордовченко в своей книге о Белинском высказал предположение о том, что неоднократно обещанный целостный разбор произведений Гоголя не был написан критиком вследствие цензурных соображений.¹⁴ И с основательностью этого предположения нельзя не согласиться. Когда в 1847 году Ю. Ф. Самарин выступил против натуральной школы, Белинский в своем ответе вынужден был пойти на ряд тактических уступок и, так сказать, ослабить отрицательный пафос своей литературной программы. А в письме к Кавелину он писал: «Дело в том, что писана она (ответная статья Самарину, — Ф. П.) не для Вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы, в защиту от их фискальных обвинений. Поэтому я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренне и не думал соглашаться...» (XII,

¹⁴ См.: Н. Мордовченко Белинский и русская литература его времени Гослитиздат, М.—Л., 1950, стр. 175.

432). И в другом письме к тому же адресату Белинский заявлял: «... мне надо будет писать о Гоголе, может быть, не одну статью, чтобы сказать о нем мое последнее слово: надо будет говорить многое не так, как думаешь» (XII, 461).

Предпринятая выше характеристика общих условий, определивших появление эзоповской речи в арсенале изобразительных средств Белинского, облегчает задачу классификации ее приемов. Главные иносказательные приемы критика условно можно разделить на шесть основных групп.

1. Наиболее многочисленную группу иносказаний Белинского составляют те из них, характерным признаком которых является ирония.¹⁵ Белинский высоко ценил иронию как литературный прием. Во второй статье о сочинениях Пушкина читаем: «Всем известно, какие страшные удары нанесены были средним векам демоном иронии. Какое страшное, в этом отношении, произведение „Дон Кихот“ Сервантеса!» (VII, 158). И хотя критик заявлял (в частном письме), что ирония и юмор не его оружие (XII, 339), он пользовался этим оружием с величайшим мастерством. Белинский от природы был наделен тонким чувством иронии, и в своих замыслах он отводил последней важную роль. Неслучайно в письме к Кавелину от 7 декабря 1847 года, коснувшись исторических взглядов Самарина, критик писал: «...Вам следовало бы подавить его (Самарина, — Ф. П.) вежливую иронию, презрительную насмешкою» (XII, 457). Уже в «Литературных мечтаниях» (в характеристике XVIII века, в портретах Булгарина и Сепковского и т. д.) основной повествовательной интонацией является именно эта «вежливая ирония». Яркие образцы иронической интонации находим мы в «Просодической реформе» (I, 328), в рецензиях на повести и рассказы Платона Смирновского (II, 455—458), «Труды императорской Российской Академии» (IV, 548—560) и «Двенадцать собственноручных писем адмирала Шишкова» (V, 465—467), а также во многих других статьях, рецензиях и заметках критика.

Добродушная ирония неизменно сопутствовала оценочным суждениям Белинского всегда, когда критикуемое им явление по самой природе своей не заслуживало более сильной, чем ирония, степени отрицания. Вместе с тем Белинский часто использовал иронию и в собственном эзоповских целях, для маскировки своих нападок на официальные учреждения, сановников или влиятельных в правительственных кругах лиц и т. д.

Своеобразно используется ирония в тех статьях и рецензиях Белинского, в которых он прибегает к кажущейся солидарности с критикуемым автором в целях дискредитации его идей. С первым примером этого рода мы встречаемся в рецензии Белинского 1840 года на роман П. П. Каменского «Искатель сильных ощущений» (III, 357—362). Автор вывел в романе в качестве положительного героя пошляка и фанфарона Энского. Лишенный возможности развенчать Каменского, поскольку тот находился в близких отношениях с редактором журнала Краевским, Белинский избрал иной путь: он развенчал в рецензии героя романа и притворно одобрил автора за его якобы сатирический замысел. Вторым примером этого приема является знаменитая статья Белинского 1845 года о «Тарантасе» Соллогуба (IX, 75—117). Изображенного Соллогубом в качестве положительного персонажа славянофильствующего Ивана Васильевича критик подверг осмеянию за ограниченность и отсталость его воз-

¹⁵ Вопрос об иронии как особенности публицистического стиля критика частично освещен в статье Е. А. Быстровой «Речевые средства юмора и сатиры статей В. Г. Белинского периода „Современника“» («Ученые записки Туркменского государственного университета им. А. М. Горького», вып. VIII, 1956, стр. 103—111).

зрений и в то же время притворно солидаризировался с автором, сделав, как и в случае с Каменским, вид, что не понял авторского замысла. Названный прием встречается также и в некоторых других работах великого критика. Примечательно, что этот оригинальный прием получил свое развитие в практике эзоповского письма Н. Г. Чернышевского.¹⁶

2. Весьма распространенным в публицистическом стиле Белинского и родственным иронии приемом является прием намека или умолчания. Замечательным образцом этого приема может служить состоящая из одной только фразы рецензия критика на два стихотворных сочинения некоего Александра Коленковского («К богу за царя» и «В память кончины ее императорского высочества великой княгини Александры Николаевны»). Вот полный текст этой рецензии: «Прекрасная цель и достойные похвалы чувства г. Коленковского вполне заслуживают того, чтоб критика пощадила его стихи от всякой оценки» (IX, 237).

Мы привели пример оценки сочинения бездарного писателя, но приемом умолчания критик широко пользовался и во многих других, более ответственных случаях, в частности когда ему приходилось критиковать недостатки социального устройства в России. Ограничившись наведением читателя на правильное понимание темы, критик обычно предоставлял на его собственное усмотрение окончательные выводы.

Белинский прибегал порою и к таким приемам полемики, которые он сам называл «выходками» (XI, 505) и в основе которых, как правило, лежал также прием полемического намека. Так, например, когда в 1835 году Ф. Булгарин назвал Белинского «ренегатом», тот отвечал ему следующими словами: «Нет, милостивый государь, на святой Руси не было, нет и не будет ренегатов, т. е. эдаких выходцев, бродяг, пройдох, этих расстриг и патриотических предателей, которые бы, играя двойною присягою, попадали в двойную цель и, избавляя от негодя свое отечество, пятнали бы своим братством какое-нибудь государство» (I, 383—384). Вторая половина этого ответа являлась почти дословной цитатой из эпиграммы П. А. Вяземского на Булгарина, ходившей в то время в списках по рукам, и поэтому смелый намек Белинского приобретал неотразимую силу. В 1840 году Белинский отождествил obscurantista Бурачка с вымышленным китайским философом Дзун-Кип-Дзыном, имя которого представляло собой искажение русских слов «сукин сын» (IV, 313). Как и следовало ожидать, этот искусно завуалированный намек также достиг своей цели (ср.: XI, 565).

3. Особый прием эзоповского письма Белинского составляют рассмотренные нами ранее случаи перемещения объекта критики в иную хронологическую, географическую или политическую обстановку. Этот прием, восходящий к публицистике и сатире конца XVIII—начала XIX века (Шовиков, Радищев, декабристы), именно благодаря мастерскому его применению в статьях Белинского получает самое широкое распространение в русской прогрессивной литературе и публицистике второй половины XIX века.¹⁷ К нему неоднократно прибегал Н. А. Некрасов.¹⁸ Им часто пользовался М. Е. Салтыков-Щедрин.¹⁹

4. Четвертую группу составят также рассмотренные уже нами примеры окутывания радикальных идей в благонамеренную оболочку, так сказать — прием «заматания следов». Может быть, именно к этому при-

¹⁶ См.: Б. И. Лазерсон. Ирония в публицистике Чернышевского. В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1958, стр. 310—317.

¹⁷ См.: Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.—Пг., 1923, стр. 168.

¹⁸ Корней Чуковский. Мастерство Некрасова. Изд. второе, дополненное, Гослитиздат, М., 1955, стр. 674—676.

¹⁹ А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина. Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 612—618.

ему относятся уже цитированные нами слова критика: «...обстоятельства велят мне... вертеть хвостом по-лиси».

5. В борьбе с идейными врагами Белинскому приходилось иногда обращаться к средствам художественного слова. Самым ярким образцом подобного обращения является портрет С. П. Шевырева, нарисованный критиком в 1842 году в очерке «Педант» (VI, 68—75). Имя Шевырева здесь не было названо, и это обстоятельство облегчило прохождение очерка через цензуру. И тем не менее замысел критика достиг своей цели. В портрете педанта все узнавали Шевырева, и московские славянофилы чуть ли не впервые ощутили на себе страшную силу удара Белинского. В 1843 году по типу «Педанта» критик создал портрет «сочинителя по страсти к сочинительству» — Л. Бранта (VI, 677—681). Когда в ответ на это Брант попытался в романе «Жизнь как она есть» дать памфлетное изображение Белинского, критик в своей рецензии на этот роман создал новый, поразительной художественной силы портрет Бранта (VIII, 136—137). В статьях и рецензиях Белинского можно найти художественные портреты Булгарина, Погодина, Бурачка, Н. А. Полевого и других его литературных противников. Некоторые из портретов и поныне не расшифрованы исследователями, по их превосходно угадывали современники критика.

6. Белинский-критик придавал немаловажное значение культивированию особых слов-понятий с расширительным, переносным или даже символическим смыслом. Речь идет о таких понятиях, как «социальность», «субъективность», «предание», «отрицание», «земля обетованная», «демон» (в смысле отрицательного начала), «кошихинская Россия», «неразумные основы общества», «плодотворное зерно русской жизни» и т. д. Подобного рода понятия в языке Белинского были широко распространены и приобретали специфическое значение. Переходя из статьи в статью, они постепенно наполнялись тем особым содержанием, которое критик хотел им придать. Для выражения революционно-демократических идей Белинский по необходимости пользовался собственной условной терминологией. И когда он в 1843 году писал: «И далеко уже время, когда исчезнут мелкие, эгоистические расчеты так называемой политики, и народы обнимутся братски, при торжественном блеске солнца разума, и раздадутся гимны примирения ликующей земли с умиловитвенным небом!» (VII, 46), — то читатель, подготовленный предшествующими статьями критика, понимал, что речь здесь идет о новом общественном устройстве. Упомянутые слова-символы, сами по себе в политическом отношении нейтральные, помогали Белинскому доносить до читателя свою придавленную цензурным гнетом, но живую и выстраданную мысль.

В перечисленные разделы далеко не укладывается, разумеется, все богатство эзоповского языка великого русского критика. Следует отметить, что перечисленные здесь разновидности иносказательной речи нередко присутствуют в статьях Белинского не в чистом виде, а в различных сочетаниях. Творческая натура критика подсказывала ему подчас необычайно своеобразные, с трудом поддающиеся научному определению приемы и формы эзоповской речи, при помощи которых он распространял в русском обществе передовые идеи века. И не случайно и Булгарин, и Погодин, и Вяземский, и другие политические враги Белинского видели в нем провозвестника и проповедника коммунистических идей. Защитники крепостнических форм жизни приходили в ярость, чувствуя свое бессилие в борьбе с общественными и эстетическими взглядами критика, революционный смысл которых с течением времени становился достоянием все возрастающего круга лиц.

Но, с другой стороны, не следует и переоценивать возможностей подцензурного слова Белинского как средства политической пропаганды.

Чрезмерная зашифрованность коренных идей не могла не осложнять процесс правильного восприятия их читателем. Могущественное воздействие, оказанное на современников знаменитым письмом Белинского к Гоголю, объясняется не только содержанием, но и формой этого документа. Программа борьбы с самодержавием и крепостничеством излагалась в нем открыто, в то время как истинный смысл подцензурных статей критика воспринимался лишь с помощью различного рода «отмычек». Цепляясь за вынужденную противоречивость и неясность отдельных суждений Белинского, либеральная публицистика (П. В. Анненков, К. Д. Кавелин, М. Н. Лонгинов и др.) извращала их смысл и пыталась изобразить великого критика сторонником исключительно просветительских методов борьбы.

Для утверждения подлинных традиций Белинского неопределимо много сделали Чернышевский и Добролюбов. Сравнительно с 40-ми годами во второй половине 50-х и в начале 60-х годов прошлого века «цензурный намордник» был несколько ослаблен, однако положение русской демократической журналистики оставалось по-прежнему бесправным, и поэтому разработанная Белинским система «закутывания мыслей» была широко использована и усовершенствована в статьях Чернышевского, Добролюбова и их соратников. Основной фонд приемов эзоповской речи, введенный в литературный обиход революционными демократами, продолжал сохранять свое живое значение вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции в качестве одного из важнейших признаков стиля русской подцензурной прогрессивной публицистики и критики.

Все сказанное — лишь подступы к изучению такой большой и сложной темы, как место эзоповской речи в тактике литературно-общественной борьбы Белинского. Дальнейшая разработка этой темы крайне необходима для того, чтобы постигнуть истинное значение многих неправильно усвоенных и до сих пор еще не расшифрованных суждений великого критика, оценить некоторые немаловажные стороны его литературного мастерства, понять во всей сложности способы его общественно-политической и литературной борьбы, а тем самым и глубже оценить как объективное содержание, так и историческую функцию его идейного наследия.



ЛЕКЦИЯ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО О ДОСТОЕВСКОМ

Лекция А. В. Луначарского о творчестве Ф. М. Достоевского входила в курс лекций по истории русской литературы, прочитанный им в 1924—1926 годах в Коммунистическом университете им. Свердлова.

Эта лекция имела в то время особое значение, так как была направлена против многочисленных вульгарно-социологических ошибок в трактовке произведений Достоевского, в первую очередь в книге В. Ф. Переверзева.¹

Луначарский особенно внимательно изучал идейное и художественное своеобразие произведений великого русского писателя. Критик считал, что лишь уяснив характер социально-исторической действительности, нашедшей отражение в творчестве художника, возможно выявить его эстетический идеал и представления о путях его воплощения. Вследствие сложности, а порой и противоречивости эстетического идеала у Достоевского этот писатель, по мнению Луначарского, «нуждается в особом объяснении и особом анализе».² С этой целью критик обращается к статьям В. И. Ленина о Л. Н. Толстом, считая не только возможной, но и вполне закономерной известную аналогию между Толстым и Достоевским.

Встреча русского крестьянина с капитализмом, «разложение» его внутреннего мира на «полюс протеста и полюс пассивности» — вот что запечатлел для нас Толстой, указывает Луначарский, ссылаясь на статьи В. И. Ленина. По его мнению, Достоевский сближается с Толстым в том, что прослеживает подобный процесс в жизни широких городских слоев.

Характеризуя глубину видения писателем действительности, ее социальной неустойчивости, Луначарский подчеркивает, что в неустойчивости и нервности жизни городских масс художник сумел увидеть главное — неустойчивость их материальной жизни. На этом и основывалось у критика изучение резко выраженного у Достоевского социального содержания образов.

А. В. Луначарский выступает в своей лекции против оценок мировоззрения Достоевского как сугубо реакционного, уделяя большое внимание анализу противоречивых начал во взглядах писателя.

«В Достоевском живет два человека... — говорит Луначарский. — Достоевский-реакционер, складывавшийся в каюте, сложившийся под влиянием ненавистнической полемики против революции, под влиянием страха перед мешанином и под влиянием желания доказать себе самому правоту позиции угодливости по отношению к самодержавию, и другой Достоевский, жаждущий счастья человечеству, высшей организации человек, гордый бунтарь...»

Этим противоречивым тенденциям в сознании писателя соответствовали две образные системы в его творчестве: бунтовщическая, во главе с Иваном Карамазовым, и христианско-смирненная, во главе с князем

¹ В. Ф. Переверзев. Ф. М. Достоевский ГИЗ, М.—Л., 1925.

² Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 358.

Мышкиным и Алешей Карамазовым. И хотя «противоречия живших в Достоевском тенденций» никогда «не были им примирены»,³ писатель «никак не может прикрыть веры... в бунтующую стихию»; «святые действующие лица у Достоевского остаются побежденными». «Разве не ясно, — пишет Луначарский, — что он (Алеша, — В. Ш.) совершенно ничтожным рисуется не только рядом с Иваном Карамазовым, гигантом мысли..., но даже рядом с братом Дмитрием, который представляет хаотическую, кипучую страсть, бессознательную жизненность. А уж князь Мышкин не может ни на кого действовать...»

Критик показал, что мастерство великого художника и большого психолога позволило Достоевскому раскрыть самые сокровенные душевные движения человека. Наиболее яркое свойство психологизма писателя Луначарский видел в его гиперболизме. Он писал: «...благодаря этим преувеличениям для вас становятся понятны некоторые такие дружины, такие сочетания, которые вы простым глазом рассмотреть не можете».

Другую черту своеобразия художественного мастерства Достоевского критик видел в захватывающей лиричности его произведений. По определению Луначарского, Достоевский — «это лирик, раскрывающий свое израненное сердце». Эмоциональный накал, целеустремленность его произведений в сочетании с психологизмом и определяли, как показывает Луначарский, своеобразие реализма Достоевского.

К сожалению, в этой лекции критик не дал решительного отпора Горбачеву, всячески умалявшему значение творчества Достоевского. Это было блестяще сделано в последующей статье Луначарского — «Достоевский как мыслитель и художник». Луначарский писал, что заслуга Достоевского — в создании «грандиозных литературных памятников, с предельной силой отражающих смятение среднего и мелкого горожанина в бурях капиталистического перерождения. Значение этих памятников как исторического документа — не преходящее».⁴

Критик предостерегал тех, кто в советскую эпоху пытался видеть в творчестве писателя лишь отражение уже минувшего времени. Знание Достоевского, показанной им психологической раздвоенности «мещанской души» особенно важно, по мнению Луначарского, в нашу эпоху, проникнутую борьбой за нового человека. В связи с этим Луначарский подчеркивал, что «борьба за социализм происходит не только вне человека, но и внутри его, а, как говорил Ленин, старых мещанских предрассудков много и в пролетарии, подчас и в коммунисте».⁵

Высокая оценка Достоевского не переросла у Луначарского в преклонение перед этим писателем, что было бы, как считал критик, «общественно негигиеничным». Знание Достоевского как выразителя страданий простого человека при капиталистических отношениях, на которые он обрушил всю силу своей критики, как мастера в изображении внутреннего мира человека — вот что выдвигалось Луначарским на первый план при изучении этого великого писателя.

В а н. Щ Е Р Б И Н А

Сегодняшнюю лекцию я посвящаю Достоевскому. Она будет, может быть, несколько больше по объему, чем другие (и, быть может, нам нужно будет устроить маленький перерыв в середине), потому что Достоевский представляет собою фигуру весьма сложную, о которой создавалась большая литература, как русская, так и иностранная, и понимание

³ Ф. М. Достоевский в русской критике Гослитиздат, М., 1956, стр. 452.

⁴ Там же.

⁵ Там же, стр. 453.

которой имеет большое значение как для нашего общего суждения о русской литературе в ее историческом развитии, так и для нашего времени, ибо мы в наше время обязаны эту огромную фигуру в истории общечеловеческой культуры не можем.

По обыкновению я постараюсь прежде всего определить социальное место Достоевского в культурном развитии нашего общества, взятого в разрезе его классового состава и классовой смены. Мы уже видели, товарищи, как дворянская интеллигенция сменилась по определенным причинам, которые я в свое время вам рассказывал, интеллигенцией разночинной. Мы наблюдали разночинскую литературу в ее народнических формах. В общем я бы сказал, что разночинской литературе народничество свойственно в самой ее глубине. Мы отмечали в свое время, в соответствии моей лекции, с одной стороны, близость разночинца к народным массам, его склонность рассматривать себя в некоторой степени как представителя народных масс, с другой стороны, необходимость для него опереться на народные массы для того, чтобы почувствовать себя социальной силой. Вне связи с этими народными массами он чувствовал себя изолированным в своей борьбе с господствующими классами и самодержавием. Но если все почти без исключения разночинцы были в той или иной мере народниками, то это вовсе не значит, что они все были революционными народниками. Было два исхода в этом отношении, и уже на заре, можно сказать, деятельности Белинского, первого великого представителя разночинской волны, у нас оба эти пути обрисовались. Если вы помните, сам Белинский в одном инциденте своей жизни, которому такое большое значение придал Плеханов и который он так блистательно объяснил,⁶ внезапно сделался почти черносотенным. Белинский в определенный период своей жизни написал знаменитую статью «Бородино», мы с вами о ней упоминали, статью, которая представляла собою попытку примириться с самодержавной действительностью. Натуры, склонные реалистически ставить вопрос, а не ограничиваться фразами, могли в конце концов перед лицом русской действительности занять только две позиции: позицию решительной и радикальной борьбы, а в таком случае поисков той опоры, той силы, с помощью которой можно было бы эту борьбу сделать реальной, и позицию примирения с признанием действительности, как какой-нибудь внутренний фокус или внутренний сдвиг суждений, и, кроме того, признание этой действительности правильной, этически оправдываемой. И в то время как молодые друзья Белинского удовлетворялись словесной критикой и словесным протестом, реалистическая натура Белинского требовала осуществлений. И так как он увидел в это время, что никакие революционные, радикальные осуществления немыслимы из-за отсутствия фактической социальной силы, то он сделал мучительную попытку примириться с самодержавием. Много позднее Гоголь по причинам, которые мы тоже выяснили, Гоголь — этот любимейший писатель Белинского, сделал такую же попытку; Белинский уже стоял на другой точке зрения и его чрезвычайно осудил. Но присматриваясь к черносотенной, православной, отвратительнейшей в высшей степени, внутренне слабой, прикрытой такой напряженной, явно лицемерной, засахаренной фразеологией позиции Гоголя, мы можем рассмотреть тем не менее у этого типа, являющегося в некотором отношении переходным между дворянской и разночинской литературой, черты этого же народничества. Он очень склонен к той формуле, которая позднее окажется гербом на щите многих реакционных представителей, формулы «самодержавие, православие, народность», причем основным

⁶ Луначарский имеет в виду работу Г. В. Плеханова «Литературные взгляды В. Г. Белинского» (см.: Г. В. Плеханов. Искусство и литература. Гослитиздат, М., 1948).

аргументом в защите всех трех элементов этой формулы является народ. Настоящий, подлинный крестьянский народ признает православие и признает самодержавие. Поэтому интеллигент, который разбивается о равнодушие народа, когда он пойдет к народу с проповедью антиправославной и антисамодержавной, наоборот, найдет глубокое сочувствие в народе, если он пойдет к нему как православный человек, как защитник самодержавия, но, конечно, как человек, старающийся из православия и самодержавия сделать наиболее народолюбивые и народопользные выводы. Вот такое демократически-реакционное настроение явилось, так сказать, фатальным, одним из выходов, к которому должны были устремиться некоторые типы народников. Припомним один из пунктов, к которому мы пришли при анализе народников, вспомним Успенского, которого нам придется вспоминать сегодня не один раз. Успенский полностью разочаровался в надеждах народничества. Он с горечью цитировал письмо Маркса. «...да, были, конечно, революционные возможности в России, были да сплыли, мы их упустили, не смогли ими воспользоваться»⁷ И что же впереди? Впереди для него индивидуально отчаяние. Может быть, не отчаяние относительно будущего России в целом, но в ближайших перспективах он не видел никаких дорог. Если поставить на место Успенского человека, менее преданного революции, менее в этом отношении закаленного, и спросить себя, если даже такой закаленный и преданный, как Успенский, кончил пьянством, сумасшествием, то менее преданный и закаленный не поищет ли других путей, не поищет ли путей, на которых ему можно будет жить, и не будет ли разочарование в революции вызывать у него невольных стремлений переставить все с ног на голову.

Совсем неверно, что Лев Тихомиров, который из народовольца превратился в черносотенца, в ультрамонархиста, сделал это потому, что был подлец. Я не расценщик его моральных свойств, не знаю, какой он был человек, но такие случаи настолько типичны для целого ряда крупных русских людей и писателей, что тут какой-то социальный закон. Сама невозможность бороться с подавляющей силой самодержавия и старого порядка должна была толкать их в объятия крестьянских симпатий к царю-батюшке и к господу богу, перестраивать весь свой инструмент и переводить его на лад революционного славянофильского демократизма.

Так вот Достоевский был несомненно представителем разночинских писателей. И прав, конечно, тов. Переверзев, когда он его истолковывает с этой точки зрения как великого глашатая русского мещанина в момент, когда этот мещанин, с одной стороны, стал достаточно культурно сильным, чтобы подать свой голос и подать его весьма вслух и, с другой стороны, когда этот мещанин пережил большую трагедию в эпоху, ознаменовавшую собою уже 60-е и 70-е годы. Но вместе с тем это как раз такой мещанин, в котором необыкновенно смутно и необыкновенно остро улеглись рядом революционные инстинкты и тенденции тогдашнего мещанства, и реакционные симпатии, вызванные испугом и отчаянием. При дальнейшем разборе произведений Достоевского и его идеи мы увидим, что из этой специальной позиции Достоевского получились некоторые непревзойденные и навсегда вошедшие в сокровищницу нашей культуры, не только русской, но и всемирной, ценности.

⁷ Г. И. Успенский в письме к В. М. Соболевскому (от 3 ноября 1888 года) цитирует, а затем комментирует следующие слова Маркса «Я пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо представляла народу история, — чтобы избежать всех перипетий капиталистического строя».

Ведь это смертный приговор! Вот тут-то и было наше дело — да сплыло» (Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений, т. XIV, Изд. АН СССР, 1954, стр. 197).

9 Русская литература, № 1, 1962 г

Тов. Переверзев в своем замечательном этюде о Достоевском⁸ превосходно подмечает, как это новое веяние разночинческое стало выступать на авансцену русской общественности, как появляются Полевой, Белинский, Надеждин и другие современные им писатели, появляются соответственные ноты в некоторых произведениях Гоголя, поскольку он стал впитывать в себя жизнь городской бедноты того же Петербурга. И, наконец, гениальное осознание этих переживаний нового класса — мещанского и интеллигенции — мы видим у Достоевского. Но тут же Переверзев отмечает, что Достоевский был гениальным писателем. Он подчеркивает несколько раз, что гениальность Достоевского дала ему возможность приблизительно в тех же формах, исходя из того же материала, сыграть мировую роль. И мы должны в самом начале наших занятий Достоевским сразу одно и другое различать. Это еще значит сказать только половину истины, если зачислить Достоевского в рубрику мещан. Конечно, у Достоевского есть сходство с мещанскими писателями типа Павлова, Полевого и т. д. Но те писатели не сыграли и тысячной доли той роли, которую сыграл Достоевский и у нас и за границей. И нам надо смотреть на вещи так. Вот перед нами ряд типов, ряд образцов, скажем, разночинческих мещанских писателей. Среди них есть мелкие, есть средние, есть крупные. Их можно различать по калибру и на вес. Дело здесь только в том, что в одном писательской талантливости меньше, в другом писательской талантливости больше. Может быть, решающим моментом и является то, что даровитость, т. е. сила восприятия и сила выражения, у одного человека больше, чем у другого, и именно эта даровитость позволяет ему те же элементы дать читателю в таком несравнимо большем богатстве и в таком несравнимо большем количестве шарпаптов, что получается вовсе не качественное сходство, а, может быть, глубокое качественное различие, ибо просто мещанин и мещанин-художник — это разные вещи. Мещанин — художник посредственный и мещанин-гений — это совсем разные вещи. То, что объединяет их, — важно; то, что их разъединяет, — не менее важно. Гениальный мещанин, конечно, выходит за рамки мещанства. Именно то, в чем заключается это выхождение за рамки мещанства, при наличии, однако, корней, пущенных в мещанскую почву, и делает Достоевского необыкновенно трагической и интересной фигурой.

Правильно, конечно, когда тов. Переверзев, давая общую характеристику творчеству Достоевского, говорит: «Достоевский — поэт города и не города вообще, а городских углов, где ютится обедневшее городское мещанство, беспомощно бьющееся с грозящей нищетой, чувствующее, как у него из-под ног уходит почва и разверзается то городское „дно“, из которого нет возврата. От этого дна их отделяет один шаг, оно здесь рядом. слышится его голос и доносится его дыхание. Мир служащей мелкоты, мир неудачников всякого рода, которые одной ногой уже вступили на дно и в отчаянии цепляются, чтобы выбраться оттуда, — вот лицо Достоевского».⁹

Это в значительной мере правильно. Действительно, таково задание Достоевского, таков принцип, который он сам себе избрал.

Достоевский был полудворянского происхождения, я считаю, что здесь некоторые биографические данные его чрезвычайно важны, и вы увидите дальше — почему.

Его отец был крепостник, а дед Достоевского — Федор Достоевский — был убит своим крепостным кучером, задушен, по-видимому потому, что

⁸ В. Ф. Переверзев. Ф. М. Достоевский. ГИЗ, М.—Л., 1925.

⁹ Там же, стр. 39. Здесь и далее в ряде случаев цитаты приводятся неточно.

был необыкновенно жестоким и даже гнусно садическим барином.¹⁰ Достоевский сохранил жуткую память о своем отце, так же как Некрасов о своем. Но Некрасов имел личную ненависть к своему отцу, который оставил для него такую биографию, исполненную всяких ужасов крепостничества. То же самое случилось и с Достоевским. Достоевский в Федоре Карамазове, самой чудовищной, отвратительной по своей пошлости и гнусности фигуре, несомненно нарисовал своего отца и даже назвал его Федором и даже называл те деревни, в которых его отец когда-то фигурировал, теми же именами, какими они на самом деле назывались, как бы для того, чтобы подчеркнуть это.

Если Некрасов был вытолкнут из теплой усадьбы помещичьей на улицу, в положение полуголодного ремесленника-литератора, то то же самое случилось и с Достоевским, но уже самое детство Достоевского было омрачено разорением и нуждой. Это не просто отпрыск дворянства, а отпрыск дворянства, застигнутого разорением и нищенством.

Леонид Гроссман такими печальными чертами обрисовывает самое рождение Достоевского: «В осенний день, в больнице для бедных, увидел свет Достоевский. Он был крещен в ноябрьское утро в тесной больничной часовне, где необычна была купель с младенцем в повседневной обстановке убогих погребений. Так случайный факт месторождения писателя словно возвещает тот мученический знак, которым до конца отмечена жизненная судьба этого эпилептика, смертника и каторжника».¹¹

Я не буду останавливаться на фактах всякого рода обид, которые терпел Достоевский и от жестокого отца, и от своего положения нищего школяра, и от своих товарищей, которые пренебрегали им как бедняком, и от своих учителей тиранически-паразитического типа. Достаточно сказать, что когда он кончил свою учебу, он буквально, так же как Некрасов, оказался на улице и принужден был сейчас же начать зарабатывать хлеб насущный, выгоняя литературные строчки. Если Достоевский, как мы только что видели у Переверзева, стал описывать жизнь городской мелкоты, то это, конечно, объяснялось тем, что он сам среди нее реально многие и многие годы жил. Тов. Горбачев в своей книге «Капитализм и русская литература» справедливо отмечает: среда Достоевского «это был мир мелких полуничиц чиновников, мелких пенсионеров, мелкан-ремесленников, т. е. с классовой точки зрения — мир мелкой буржуазии, близкой к превращению в нищих и людей „темных“ занятий, подлинных „люмпенов“».¹² С ними Достоевский, ушедший со службы офицер, живший случайным, малообеспечивающим литературным трудом, сталкивался, квартируя в наемных комнатах и обедая в мелких кухмистерских. Достоевский позднейшего периода необычайно картинно и трогательно (я и так сегодня приведу довольно много цитат, поэтому опускаю эту) описывает, как однажды, идя в Петербурге в белую ночь, вдруг почувствовал какой-то внутренний толчок и перед ним вырисовался целый ряд романтических фигур бедных, заброшенных, обиженных девушек, загнанных мелких чиновников и он сказал себе: почему до сих пор описаны главным образом помещики; почему не рассказать настоящую правду о страданиях, о жизни, о достижениях, о внутренних волнениях вот этих, никак не замеченных городских героев. И он говорит, что он шел по улицам в каком-то лихорадочном настроении и тогда, говорит он, я почувствовал себя писателем, т. е. масса впечатлений об этой жизни приниженных, издерганных голодом, в высшей степени нервных, изло-

¹⁰ Луначарский допускает фактические неточности. Дед писателя — Андрей Михайлович Достоевский. Отец — Михаил Андреевич Достоевский. Дед писателя (по матери) — Федор Тимофеевич Нечаев. Своими крепостными был убит М. А. Достоевский.

¹¹ Леонид Гроссман. Путь Достоевского. Л., 1924, стр. 18.

¹² Г. Е. Горбачев. Капитализм и русская литература. ГИЗ, Л., 1925, стр. 87.

манной линией характеризуемых типов, которых он встречал вокруг себя и одним из которых он сам был, эта масса впечатлений переполнила его, она била через край и одновременно стала собираться в многочисленные кристаллы. Потом эта полнота впечатлений, полученных в невероятной чуткости, болезненной чуткости художника, нашла свое естественное выражение. Достоевский начал писать, и первый его роман «Униженные и оскорбленные»¹³ нашел громадный отклик в тогдашней читающей публике и высокую оценку мастера критики, который делал в это время славу, т. е. Белинского. Кто же был Достоевский, какие взгляды он имел в это время, до катастрофы, которая в значительной степени послужила исходным пунктом к значительному, но все же не абсолютному видоизменению строя его мысли и чувствований. Во-первых, это не долго пробывший офицером, выгнанный отовсюду стрекулист, писатель без дохода, продавец строчек, он прежде всего проникнут глубочайшей ненавистью к власти. Ни в малейшей степени он баринством себя не чувствует. Крепостное право ненавидит всеми силами своей души. Мрачная фигура Федора Достоевского, его отца, всегда стоит перед ним как какой-то угнетающий и мучительный призрак. Но если Достоевский всю свою жизнь был страстным ненавистником реакционной власти, то не менее страстно возненавидел он и либералов. Правда, ненависть его к либералам шла крещендо, но уже и в молодом Достоевском она заметна, а позднее он делается одним из самых могучих озлобленных разоблачителей русского розового прекрасноречивого либерализма. Если мы находим бичующие строфы против праздноболтающих либералов у Некрасова, если ядом очень острым обливал их Щедрин, то ненависть Достоевского к ним, по-видимому, превосходит даже ненависть этих его родных братьев, таких же выходцев из дворянства, превратившихся в глашатаев разночинского мира. Но вы знаете, что одну из прекраснейших, в глазах либералов, фигуру профессора истории Грановского, учителя лучших наших дворянских либеральных поколений, он изобразил в виде смешной фигуры Верховенского-отца, что Тургенева он прямо целиком зарисовал с его фигурой, с его голосом в лице писателя Кармазинова и постарался сделать его настолько позорно смешным, чтобы, так сказать, не дать ему больше подняться в общественном мнении. Конечно, Достоевскому не удалось совершенно уничтожить Тургенева, но он сделал все от него зависящее, чтобы это сделать. Очень вероятно, более чем вероятно, что в одной из повестей, написанных, впрочем, после возвращения из каторги, в повести «Село Степанчиково», знаменитая и мучительная по своей пошлости фигура Фомы Фомича Опискина написана с тайным желанием изобразить таким образом Гоголя, ибо, конечно, черт Гоголя, как совершенно правильно отметил Переверзев, в Опискине очень много. Его щеголящие непомерное, становящиеся на цыпочки, о том, что Россия знает Фому Опискина и Фома Опискин знает Россию, и все эти велемечивые речи, помазанные ладаном, пахнущие церковщиной и все сводящиеся в конце концов к ходульному возвеличению самого себя, это стремление, пустыми фразами вооружившись, сделаться учителем жизни, мучить и калечить людей вокруг себя ради мнимой, в высшей степени книжной, отвратительной и реакционно звучащей добродетели — все это, конечно, в запятельной степени проповедовал Гоголь в «Переписке с друзьями».

Эта ненависть к дворянству и дворянским писателям, о которых Достоевский всегда говорил как о «баринах», которым-де в высшей степени в руки писать великолепные романы, когда они живут за хребтом своих крепостных в своих прекрасных усадьбах, она провожала Достоевского до самой могилы.¹⁴ Рядом с этим Достоевский проникся с ранних

¹³ Луначарский оговорился, имеются в виду «Бедные люди»

¹⁴ Среди многочисленных свидетельств можно указать письмо Ф. М. Достоевского от 8 мая 1859 года, где он пишет: «За что же я-то, с моими нуждами, беру

лет, как я уже сказал, народничеством или огромной любовью к народу. Эта любовь к народу, немножко такая отдаленная, немножко теоретичная, она опять-таки была присуща молодому Достоевскому и сопровождала его до конца его дней. Во-первых, конечно, любовь к народу, к народным массам, к народным низам возникала, товарищи, из чувства симпатии, которое присуще было Достоевскому к униженным и оскорбленным вообще. Но мало того, здесь было нечто родственное герценовским настроениям в отношении к народу. Вы помните, как у этого великого барина, перешедшего в лагерь революционеров, шло дело. Он изверился в партии, в либерализм западноевропейский, даже в западноевропейский социализм, который казался ему или безнадежным, или новой разновидностью буржуазно-фабричного прозаизма, и вцепился в крестьянина русского как в многообещающую действующую величину, на которую еще можно возлагать какие-нибудь надежды. Достоевский, конечно, Герцена читал и в настроениях этих жил, поэтому Достоевский очень рано проникся такой глубокой симпатией к народу. На каторге эта симпатия как будто бы еще усилилась от соприкосновения с некоторыми народными типами, а потом превратилась в какое-то постоянное поклонение этой выдуманной самим Достоевским школе — русскому народу, каким он должен был бы быть. Достоевский пишет о народе: «Судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем он желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили его навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении».¹⁵

Это говорит Достоевский в своем «Дневнике», уже тогда, когда он был реакционером, но и у молодого Достоевского, раннего Достоевского уже шевелятся эти мысли об огромных достоинствах народа. Он не делает отсюда бакунинского вывода о коренном бунтарстве народа, и, как видите потом, он, напротив, сделает противоположный вывод, но в святость народа он верит так же, как верит Герцен, так же, как верит и Толстой. Так же, как барин Толстой опирался на крестьянина, возвеличил крестьянина, чтобы было чем отыграться от страшного капитализма, так же делает и Достоевский.

Но почему же Достоевскому нужно это делать? Ну, Толстой — тот от старой России, тот должен был новую капиталистическую Россию, естественно, как барин, отвергнуть, и так как Толстому от капитализма защититься было нечем, он крестьянином защищается. А Достоевский почему? Потому, что Достоевский тоже ненавидит капитализм. Не только барин ненавидит капитализм, но и мещанин ненавидит капитализм. И вот тут у некоторых наших товарищей из левых бывает некоторый перебой. Когда они стараются наших разночинцев понять как каких-то представителей буржуазной революции и берут эту буржуазную революцию как будто бы в некотором разрезе приготовления почвы для расцвета капитализма, то они, конечно, глубоко бывают неправы. Народничество не есть ни в какой мере буржуазно в смысле симпатий к естественному развитию буржуазного класса. Наоборот, народничество в этом отношении реакционно. Оно не желает развития буржуазии, оно противопоставляет себя развитию капитализма, оно хотело бы сорвать дальнейшее развитие капитализма именно потому, что крупный капитал идет путем закабаления мелкой буржуазии. А так как капитализм первоначального накопле-

только 100 руб., а Тургенев, у которого 2000 душ по 400? От бедности я принужден торопиться и писать для денег, следовательно непременно портить» (Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 246).

¹⁵ Ф. М. Достоевский, [Полное собрание художественных произведений], т. XI, ГИЗ, М.—Л., 1929, стр. 184. Далее ссылки на это издание приводятся сокращенно: Достоевский.

ния в России выступал в виде в высшей степени хищнического начала, вносившего больше разорения, чем организации, то естественно, что не только баре, но и мещане против него возражали, и не только баре упирались в крестьянство, но и мещане тоже упирались в крестьянство, не только Толстой, но и Успенский, не только толстовцы, но и революционные народники, даже народовольцы, бакунисты и т. д. И Достоевский шел сюда же вследствие, между прочим, и своей ненависти к капитализму. Эта ненависть к капитализму как к хищническому началу у Достоевского оставалась опять-таки до конца его дней. Только Толстой в себе не ощущал ничего родственного этому хищническому началу. Помните, я приводил вам его слова, когда он писал «Анну Каренину», он писал: надо жить так, чтобы мне и семье моей было хорошо. И он почитает себя за это. Здесь мы видим склонность к семейственной идеологии дворянства, чтобы дом был — полная чаша, чтобы хорошо жилось и на этой почве развивались бы культурные ценности. Достоевский же был таким многогранным, полновзвучным мещанином, в котором в самом жила страсть к наживе, страсть к деньгам, в котором самом жила страсть, порыв сделаться богатым и сделаться властным; индивидуалистическое начало конкуренции — быть волком для других волков — в самом Достоевском жило. Именно все это в нем, как в великом человеке, жило с замечательной остротой. Он это не только в других видел, но и в себе самом наблюдал, и в других ненавидел и в себе презирал, и в себе старался это побороть, противопоставляя всему этому какие-то идеалы. Если мы сообразим, таким образом: ненависть к старому режиму и ненависть к вновь пришедшему на смену этому режиму капитализму, который развивался, упор в мужика и его правду, то куда же должен был развиваться в конце концов Достоевский? Очевидно, куда-то в сторону какого-то народнического социализма, какого-то народнического правдоискания. Так это вначале у него и было. Ему в высокой степени присуща была жажда справедливости. Первый же его роман об этом свидетельствовал.

Белинский задавал публичный вопрос: понимает ли сам Достоевский, сколько запала социального, скажем теперь — социально-революционного, имеется в той жажде справедливости, которой дышат его первые романы? ¹⁶ Белинский увидел в Достоевском союзника и писал: «Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы». ¹⁷

Но бедный Белинский не знал, что Достоевский достигнет своей славы не как его друг, а как заклятый враг. По мере того как Достоевский развивался по тем своим путям, о которых я буду вам рассказывать, он отходил все больше и больше от Белинского.

«Я страстно принял тогда все учение его», ¹⁸ — говорит сам Достоевский.

Все учение его. А учение его в пору, приближающую его к смерти, было материалистический социализм. Но вместе с тем Достоевский говорит: «Я никогда не мог ему многого простить, что-то претило мне в Белинском». И мы не знаем, что тогда или потом только претило. И с волосами, которые шевелились у него на голове, Достоевский говорит: «Он при мне Христа ругал». ¹⁹ Это ему казалось таким отвратительным и ужасным, чего он простить Белинскому ни в коем случае не мог. Но, подружившись с Белинским, Достоевский на этом не останавливается. Вероятно, Белинский дал ему толчок, потому что он стал дружить и

¹⁶ Там же, т. XII, стр. 31—32.

¹⁷ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IX, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 566.

¹⁸ Достоевский, т. XI, стр. 10.

¹⁹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, стр. 364—365.

с тогдашними революционерами. Тогдашние революционеры, революционеры 40-х годов, в то время, когда Достоевский работал, это были еще разговорщики. Это были люди, которые познакомились с утопическим французским социализмом, о котором Щедрин рассказывал в одном из своих произведений с такой тонкой усмешкой, что общество предвкушало блаженство будущего, и описывает, как за то, что оно предвкушает блаженство будущего, полиция арестовывала. Взять хотя бы петрашевцев, из-за которых сгорел Достоевский. Когда мы узнаем, какие доклады, какие беседы Достоевский у петрашевцев вел, это были действительно доклады по литературе, по этике, кое о чем. Ничего революционного в них не видим. Однако не нужно по примеру либеральных изобразителей говорить, что Достоевский был на крайне правом фланге петрашевцев. Это неправда.

Достоевский позднее в своей записке,²⁰ которую он представил властям, когда он был арестован, с некоторой искренностью как будто бы говорит о том, почему он не понимал у петрашевцев то и другое, как он был невиновен и как он чуть-чуть за это повешен не был. Во-первых, в этой записке есть весьма примечательные места, которые свидетельствуют, что Достоевский гораздо глубже вошел в социализм, чем хочет показать. Из письма Бакунина²¹ мы знаем, как трудно на такие документы полагаться. Целая буря была вызвана тем, что настолько искренним тоном написано письмо Бакунина к Николаю I,²² что нельзя было подумать, что действительно он все это не пережил, а раз пережил, значит, пережил момент величайшего, позорного падения. Но сейчас исследователи почти единодушно приходят к тому выводу, на основании документов, что Бакунин морочил Николая I, что он писал это письмо для того, чтобы вырваться из тисков полиции. Совершенно естественно, многим из нас, которым приходилось иметь дело с господами жандармами, приходилось врать. Конечно, не все из нас готовы были от всего отречься перед ними, но вообще врать перед ними это не считалось зазорным. Между тем мы знаем, что Достоевский не ограничился своей связью с Петрашевским и его друзьями, прекрасно дружил с фурьеристами, но самое важное то, что с Дуровым, который был левым петрашевцем, а, с другой стороны, Достоевский особенно сблизился со Спешневым,²³ который называл себя коммунистом. Первый человек, который на русской почве назвал себя коммунистом, был Спешнев. Сакулин пишет: «В чем выразилось идейное влияние Спешнева на Достоевского, мы в точности не знаем. Осязательным результатом „влияния“ остается факт, что Достоевский пробовал содействовать осуществлению идеи Филиппова и Спешнева устроить нелегальную типографию или литографию. Факт этот был известен и раньше, но теперь ему хотят придать особое значение: оказывается, что Достоевский выступал и в роли пропагандиста этой идеи, склоняя к участию А. Н. Майкова».²⁴

И вот любопытное воспоминание Майкова. «И помню я, — пишет Майков, — Достоевский сидя как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество, и пр.». В ответ на это поэт доказывал «легкомыслие» и «беспокойность» дела, шутил,

²⁰ Объяснения к показаниям Достоевского следственной комиссии опубликованы в книге Н. Ф. Бельчикова «Достоевский в процессе петрашевцев» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1936).

²¹ М. А. Бакунин. Исповедь и письмо Александру II. ГИЗ, 1921.

²² Исповедь Бакунина была написана им в 1851 году по требованию Николая I, письмо — в 1857 году Александру II.

²³ Н. А. Спешнев (1821—1882) — один из видных петрашевцев, социалист-утопист, будущее России видел в крестьянской революции, которая должна была привести к ряду прогрессивных буржуазно-демократических преобразований.

²⁴ П. Сакулин. Русская литература и социализм, ч. I. ГИЗ, М., 1924, стр. 374.

смеялся.²⁵ Таким образом, как видите, Достоевский в достаточной мере далеко зашел в этом смысле. Очень характерно, может быть, отчасти и для профессора Сакулина; он говорит, что когда Майков уходил от Достоевского, Достоевский сказал: «об этом больше ни слова» — и прибавляет: я думаю, что это не необходимость конспирации, а что Достоевский после этой ночи к утру разочаровался в этой идее и свидетельствовал о быстрой готовности отрицать за этой идеей ее свойство.²⁶ Нет, совершенно ясно, что парень хохочет, смеется, дурачится, он, конечно, испугался того, чтобы он не стал болтать. Позднее за это самое Достоевский был приговорен к смертной казни. Само собой разумеется, он сказал — ни слова об этом, больше чем естественно, когда он увидел, что он распространять не сможет. В свой период получерносотенный Достоевский пишет: «Нечаевым я бы быть не мог. Это всякий революционер, нигилист, дошедший в своем революционном аморализме до самого предела, но нечаевцем я способен был стать».²⁷ А ведь нечаевцы это самые отчаянные, на все идущие террористы. И жандармы, когда они посягали на шпворот Достоевского и даже на его жизнь, они не так были неправы, потому что кто знает, что вышло бы из Достоевского, если бы они вовремя его не сломали на части, может быть, из него вышел бы великий русский революционер. Никто не может этого сказать. В своей записке, о которой я вам говорил уже, Достоевский говорит много пошловатых вещей, стараясь доказать, что он тут был, собственно говоря, не при чем, что он интересовался теоретически и т. д., но вместе с тем в записке, поданной правительству, пишет: «Я допускал историческую необходимость настоящего переворота на Западе, но только в ожидании лучшего. Социализм предлагает тысячи мер по устройству общественному, и так как все эти книги писаны умно, горячо и нередко с неподдельной любовью к человечеству, то я с любопытством читал их. Но именно оттого, что я не принадлежу ни к какой социальной системе, а изучал социализм вообще, во всех системах его, именно потому я (хотя мои познания далеко не окончательные) вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение хотя которой-нибудь из них поведет за собой неминуемую гибель, — я уже не говорю о нас, но даже во Франции. Это намерение было не раз выражаемо мною. Наконец, вот вывод, на котором я остановился. Социализм — это наука брожений, это — хаос, это — алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, как мне кажется, из теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благотворное для общественной пользы. точно так же, как из алхимии выработалась химия, а из астрологии — астрономия».²⁸ Совершенно ясным образом говорит, что утопический социализм не удовлетворит его, но я надеюсь, что из него выработается научный социализм. Об утопическом социализме Достоевский пишет так в записке, поданной жандарму: «Фурьеризм система мирная; она очаровывает душу своей изящностью, обольщает сердце той любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он создавал свою систему, и удивляет ум своей огромностью».²⁹

Я вас еще более удивлю, когда скажу, что в этой записке сказано так: потому считаю, что системы подобные фурьеризму у нас в России выполнены быть не могут, потому что у нас отсутствие пролетариата.³⁰

²⁵ Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы, сб. I. Под ред. А. С. Долинина Пб., 1922, стр. 268.

²⁶ П. Сакулин. Русская литература и социализм, стр. 375—376.

²⁷ Достоевский, т. XI, стр. 134

²⁸ См.: Н. Ф. Бельчиков Достоевский в процессе петрашевцев, стр. 141—142

²⁹ Там же, стр. 91.

³⁰ Там же, стр. 92. Достоевский пишет: «...фурьеризм... в настоящее время, у нас, между которыми нет пролетариев, был бы уморительно-смешон».

Так и сказано черным по белому. И тогда пролетариат действительно отсутствовал. Как видите, Достоевский в отношении к утопическому социализму не только не проявляет отсталости, но во многом оказывается переросшим тогдашних социалистов. Я вовсе не хочу этим сказать, что Достоевский готов стать социалистом. Нет. У него было много православных предрассудков, которые он вынес из своего детства и отчасти из того, что он видел много противоречий в жизни и не знал, как из них вырваться. И поэтому, как мы увидим из дальнейшего, увлекся надлюдской, падчеловеческой мистикой, этикой. Все это было. Все его мистические наклонности, которые у индивидуалистов-мещан бывают, они мешали проникнуться научным социализмом, который, можно сказать, не существовал еще, и Манифест Коммунистической партии написан не был, по крайней мере в России ничего известно не было. Потому что в 1849 году все окончилось катастрофой, Достоевский не был готовым социалистом, но огромный порыв о необходимости борьбы за социализм, опора на мужика, жажда справедливости, любви к угнетенным, мечта о выпуклом, настоящем, высоком человеке, о гармоничном общественном строе у него были. Частный интерес и частные задачи не связаны потому, что они еще слишком утопичны, слишком ненаучны и что в этой области есть опора для них — пролетариат. Разве это не элементы мирозерцания, из которых можно продвинуться очень далеко к истине? Разве много больше элементов было у Чернышевского, которого Маркс признавал великим человеком, одним из величайших экономистов своего времени. И вот, товарищи, Достоевский оказался арестованным. Несмотря на эту записку, его приговорили ни к чему другому, а к смертной казни. Его показания жандармы читали лучше, чем нынешние либералы читают и говорят: слава богу, Достоевский социалистом не был, а жандармы поставили к стенке. Они оценили опасность, которую представляла эта мощно рвавшаяся из народничества справедливость. Вот замечательное описание этого события, из которого вы сразу умозаключите, какое впечатление оно должно было оставить в нежнейшей душе Достоевского, которая похожа на многострунный инструмент, всякое прикосновение к нему заставляет дрожать и звенеть. Вот как Герцен описывает событие 22 декабря 1849 года: «Хрипло прозвучал рожок — был сильный мороз; прокатилась барабанная дробь; из рядов каждого батальона вышли солдаты с ружьями, приблизились к осужденным, стали целиться. Воцарилось гробовое молчание. Но отчего солдаты так долго не стреляют? Может быть, для того, чтобы продлить у осужденных предсмертную тоску? Петрашевский, всегда верный себе, приподнял колпак, чтобы посмотреть, что происходило вокруг. Наконец, становится известно, что все это было простым фарсом, декорацией, лишним парадом, устроенным его величеством. Генерал Ростовцев объявляет приговоренным, что царь дарует им жизнь. Напрашивалась мысль, что из всех генералов выбран именно был этот для объявления милости потому, что он был запкой».³¹

Достоевский тоже рассказывает нам о своих переживаниях, во-первых, в гениальных страницах, где «идиот» князь Мышкин описывает переживания человека, который присутствовал при смертной казни.³² А сам Достоевский говорит так: «Мы, петрашевцы, — стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то по крайней мере чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений... То дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели

³¹ А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке, т. VI, Пб., 1919, стр. 516—517.

³² Достоевский, т. VI, стр. 55—56.

нашим духом, — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится».³³

Вот что пишет Достоевский позднее о том, что он чувствовал, когда стоял под пулями николаевских взводов. Как видите, все это характеризует нам его с несколько иной стороны, чем обычно стараются представить Достоевского. После этого его послали на каторгу, которую сам Достоевский характеризует так: «Это был ад и тьма крошечная». В письме к брату он пишет: «...те четыре года считаю за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное было это время, не в силах я рассказать тебе, друг мой. Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела как камень у меня на душе. Во все четыре года не было мгновения, в которое я бы не чувствовал, что я на каторге».³⁴

Либеральный критик Батюшков пишет, что Достоевский «решил выжить, сумел выжить, закалив себя».³⁵ Решил выжить — это верно, сумел выжить — это тоже верно, а вот «закалив себя» — это неверно. Достоевский дал себя согнуть, безобразно, отвратительно исковеркать себя. Он дал себя исковеркать, он принял под карающей дланью самодержавия вид какой-то курьезной линии, полной противоречий, расщепленной, изогнутой, нелепой, разбираться в которой, однако, до чрезвычайности интересно, потому что Достоевский был человек великого ума и поэтому все обозначалось в нем необыкновенно крупно. При этом сжатии последовала деформация, великолепно показывающая внутреннюю природу того революционного, что в передовом мещанине — Достоевском сопротивлялось, и того реакционного, что на него навалилось. Сам Достоевский пишет Тотлебену: «Долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом переменял мои мысли».³⁶

Конечно, Достоевский никогда не признавался себе самому даже в том, что долгий опыт, т. е. ад и тьма крошечная, заставили его переменить мысли, чтобы приспособиться к режиму самодержавия. Он так это не испытывал, он испытывал так: «Страдание очистило меня, страдание показало мне все значение смирения, страдание... в моем мирозерцании понимание народа с его устремлением к самодержавию... и православие, оно заставило меня ближе прикнуться к христианству, и от этого я пришел более мудрым к концу».

Вот мысли, которые Достоевский старался себе навязать, но мы знаем, что это не так, что человеческая природа, в особенности природа сложной психики, которая является особенно крупной и интересной, такова, что он не просто говорит и чувствует, что говорит, применяясь к подлости, но он себя оправдывает, и именно сия тема оправдания и является самой интересной в этом отношении, система оправданий, которую гибкая, богатая ресурсами натура выдвигает, чтобы перед самим собою и перед другими оказаться чистым, оказаться правым. Достоевский был при этом так страшно силен внутренне, что усилием своей воли сказал: буду Достоевским, верующим, что православие, самодержавие и народность это правда, и докажу всему миру, что это правда. Но тут он наталкивался на не менее сильную подсознательную волю Достоевского, которая говорила: все это ложь, все это навязано, все это насилие, — правда лежит совсем в другом месте. А рядом с этим третий голос в нем говорил: а может быть, никакой правды и нет, а может быть, то наиболее

³³ Там же, т. XI, стр. 138.

³⁴ Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 147—148.

³⁵ См.: История русской литературы XIX века, под редакцией Д. Н. Овсянникова-Куликовского, т. IV, М., 1915, стр. 295.

³⁶ Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, стр. 178.

пошлое, что живет в тебе, — стремление к деньгам, к наживе, к подлости, садическое удовольствие причинять другим боль и радоваться их страданиям, — все это сатанинское и хищническое в человеке и есть самая настоящая человеческая натура. И все эти три ноты мещанина-революционера, мещанина-православного, реакционера и мещанина-индивидуалиста, карьериста звучали одновременно в нем, создавая изумительный аккорд. В одном месте Достоевский даже описывает, как Лужников, один из персонажей его романа, начинает играть великолепный...³⁷ который потом перерождается в вальс «Ах, мейн либер Августин».³⁸ Вот та и другая музыка в нем звучит, и еще с прибавлением «Боже, царя храни» или «Коль славен». Все это и создает такую симфонию, к которой мы прислушиваемся, когда читаем сочинения Достоевского.

В 1854 году Достоевский назначается в сибирский дисциплинарный батальон, и только в 1859 году, после 10-летнего пребывания на каторге и в ссылке, был возвращен в Россию.

Нельзя говорить, товарищи, так, что Достоевский сразу вернулся обыкновенным человеком, т. е. на самом деле таким скрюченным реакционером. Нет. Он приехал с распатым, с подорванным здоровьем, мрачным, неуверенным, колеблющимся между двумя мирами. С внутренним ужасом и вместе с тем с внутренним таким надрывом, с тяготением к мещанскому карьеризму он пытался, даже вернувшись с каторги, занять позицию более или менее благородную. Вместе со своим братом он начинает издавать журнал «Время». В этом журнале имеются отголоски французского утопического социализма, в нем есть многие черты либерализма, может быть, более весомого, чем фразерский либерализм других журналов. Но правительство журнал «Время» закрывает. Тогда Достоевский издает новый журнал — «Эпоха», немножко поправее: жить ведь надо чем-нибудь. Но в это время умирает у него жена. Он разоряется. Тогда же умирает брат, который был более практичным, который был его кормильцем. И тогда Достоевский остается буквально как перст, один на свете. Страшно огорченный и омраченный, он видит, что путей никаких нет. Но в это время растет его великий роман «Преступление и наказание». Он делается после этого романа сразу знаменитым, что, однако, не сделало его богатым. Будучи знаменитым писателем, Достоевский все время был в долгах и в нужде.

Комарович, который написал интересные этюды о мировой гармонии у Достоевского, пишет: «Согласно традиционному взгляду, основанному к тому же на собственных признаниях Достоевского, десять лет жизни в Спбрии (1849—1859) бесследно стерли с его души мечтательный бред социальных утопий; „соприкосновение с народом“ сделало Достоевского православным и национально мыслящим человеком, — так прямолинейно и просто склонен был объяснять свое перерождение сам Достоевский: „Изменило взгляды наши, наши убеждения и сердца наши... непосредственное соприкосновение с народом, — говорил он позже, — братское соединение с ним в общем несчастии, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его“».³⁹

Действительно, товарищи, политиканство Достоевского в это время в высшей степени растет и тем не менее несомненно, что остаток старого Достоевского, того, которого я описал, Достоевского докаторжного, остается весьма сильным. Может быть, звучит как бы призрак самого Достоевского, почти наверно это так, когда герой его романа «Подросток»

³⁷ Пропуск в стенограмме

³⁸ Луначарский имеет в виду эпизод с Лямшиным — одним из персонажей романа «Бесы», который исполняет «Марсельезу», переходящую у него в «Mein lieber Augustin» (см.: Достоевский, т. VII, стр. 265—266).

³⁹ Атепей Историко-литературный временник, кн. I—II. 1924, стр. 113.

пишет: «...какое мне дело до будущего человечества, когда мне за это ни благодарности, ни любви, ни бессмертия».⁴⁰

Вы, может быть, помните, что, говоря о Герцене, я указывал вам на такие же рассуждения Герцена. Герцен тоже говорил: «...я не хочу верить в прогресс и не хочу жертвовать ему, ибо нельзя, чтобы одно поколение было навозом для произрастания другого. Личность сама по себе ценна». Но какой вывод из этого делал Герцен? Раз личность сама по себе ценна, то он счастлив жизнью, которая хотя слагалась не на почве бурного революционного протеста,⁴¹ а он делал выводы такие — личность должна найти настоящее, подлинное счастье для каждого момента, которое нисколько не противоречит широким умственным и сердечным симпатиям ко всему лучшему, что есть в человечестве. Достоевский же, который живет смутной и смятой жизнью России со всеми чудовищными противоречиями тогдашнего времени, Достоевский делает другой вывод, что будущее поколение для меня ничто, а в нынешней моей жизни не может быть счастья. Так что же тогда? Тогда единственный выход остается — в бессмертии. И отсюда один из громадных импульсов Достоевского к религии, который присоединился ко всем этим влияниям евангелия с детства и на каторге и ко всему строю мысли, влекущему его к пародности, православию и самодержавию, доказывает отображение своеобразия религиозного у Достоевского. Мы к этому еще вернемся. Таким образом, ясно, что вернувшийся Достоевский, что бы ни говорил Комарович, конечно, измененный Достоевский. Другие ноты выступили на первый план, но прав Комарович, когда говорит, не сразу это сделалось. Это выходит из факта издания журнала «Время», а также из некоторых справок, которые можно здесь привести. У Достоевского внутри живет социалист, и я это потому подчеркиваю, что только с этой точки зрения понятна вся противоречивость построений идейных, которые являются стержнем и душою романов Достоевского. Например, в 61-м году, т. е. через два года после возвращения с каторги, по поводу Виктора Гюго Достоевский пишет: «Его мысль есть основная мысль всего искусства XIX столетия, и этой мысли Виктор Гюго, как художник, был чуть ли не первым провозвестником. Эта мысль христианская и высоко нравственная; формула ее — восстановление погибшего человека. задавленного несправедливым гнетом обстоятельств, застоя веков и обществственных предрассудков. Эта мысль — оправдание униженных и всеми отринутых парий общества... Конечно, она не есть приобретение одного Виктора Гюго; напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость XIX столетия...»⁴²

Разве это есть в какой-нибудь мере отречение? То, что он говорит что эта мысль нравственнее христианской, это не противоречит прежним его понятиям. Горбачев в своей книге говорит: «...в утопизм и революционность Достоевский во всяком случае верил, но легко и быстро от них излечился».⁴³ В этом ошибка Горбачева, и Комарович гораздо более прав, когда говорит, что через всего Достоевского, где-то внутри под сурдинку идет мысль, а социализм есть благо, а социализм должен быть осуществлен, а, в сущности, все, что будет идти из него, это есть единственное разрешение мировых противоречий. Достоевского заражают эти речи, и они от времени до времени возникают у него. В знаменитом романе,

⁴⁰ Герой романа Достоевского «Подросток» говорит. «Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига» (Достоевский, т. VIII, стр. 49).

⁴¹ Неясное место, по-видимому ошибка в стенограмме.

⁴² Достоевский, т. XIII, стр. 526.

⁴³ Г. Е. Горбачев Капитализм и русская литература, стр. 90.

который сделал сразу таким славным имя Достоевского после возвращения с каторги, разговор Раскольников припомните: «Одним словом, у меня все равносильные права имеются и да здравствует вечная война... до нового Иерусалима, разумеется».⁴⁴ Кириллов, трагический персонаж «Бесов», который для доказательства своей власти над природой убивает себя, как революционер, против воли символизирующий всю боль и отчаянное положение революционного интеллигента, не находящего себе никакого выхода, говорит: «Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый».⁴⁵ Это будет человек-бог. Собеседник его поправляет: бог-человек. Нет, не бог-человек, а человек-бог. Это разница. Не бог, который сделался человеком, а человек, который сделался богом, который соединил величайшее могущество и развитие. Уже стариком Достоевский пишет такую вещь в «Дневнике писателя»: «Когда настанет на земле лучшее общество, мы на это теперешнее общество и посмотреть не захотим...» «Золотой век весь еще впереди, а теперь промышленность...» «Да и фабрик-то, может, нечего бояться, — продолжает он, — может фабрика-то среди сада устроится. Одним словом, я не знаю, как это все будет, но это сбудется. Сад будет».⁴⁶

Другое место из дневника — в клубе, в Петербурге на балу Достоевский смотрит, как вертятся пары в танце, и говорит: «Ну что если б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что если бы каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств... Неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках?»⁴⁷ Это тот самый Достоевский, который обливает ядом все человечество и говорит: все, в сущности, мерзавцы, все Федоры Карамазовы, ничего с ними сделать нельзя, и Христос, если любил их, то презирал в то же время. Этот же Достоевский и говорит: если всякий узнал секрет, что, в сущности, он очень хороший, — почему плохой? Да, в сущности, потому, что он живет в неправильном воздухе. Чтобы каждый, даже прыгающий франт или пустая дурочка барышня, если бы жили не в этой обстановке, а в обстановке, которую пока на фарфоровых чашках рисуют, в обстановке действительного согласия и братства, сколько бы они открыли в себе и добродушия, и желания помочь другому, и всех высоких качеств, которые Достоевский в человеке чувствует и прозревает. С какой страстной настойчивостью повторяет, например, Достоевский, что он не хочет, не может и никогда не мог мыслить и жить иначе, как с верой, что все будут когда-нибудь очеловечены и счастливы.

Это все в «Дневнике писателя». В знаменитом «Сне смешного человека» говорится: «Люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле». Я не верю, чтобы «зло было нормальным состоянием людей».⁴⁸

Из этой цитаты вы видите, что то, что говорит Горбачев, что социалист в Достоевском умер, неверно. Живет, и страстно живет. Раскольников сказал: твердо верю в новый Иерусалим. Но, конечно, в самом Достоевском рядом с этим были и антисоциалистические элементы. Они, разумеется, после каторги и после всех испытаний выставили свои рога, они высунулись со всех сторон, чтобы пожирать социальное в Достоевском. Что же это такое было?

Прежде всего, конечно, когда Горбачев говорит, что Достоевский боялся бунта, глубоко переживал и испугался бунта, это в известной

⁴⁴ Достоевский, т. V, стр. 213.

⁴⁵ Там же, т. VII, стр. 96.

⁴⁶ Там же, т. XI, стр. 365, 367, 376.

⁴⁷ Там же, стр. 152—153.

⁴⁸ Там же, т. XII, стр. 122.

степени верно. Но если будем разбирать, в чем заключается, что Достоевский испугался бунта, то увидим, что здесь есть две черты, и оценить каждую из них будет трудно. С одной стороны, Достоевский инстинктивно, не сознавая этого, испугался бунта для себя, т. е. испугался бунтовать. Простоял вот там под николаевскими пулями, побывал на каторге и понял, что если будет делать дальше неосторожные шаги, то будет уничтожен. Одной из черт Достоевского, которая определяла всю мощность его таланта, было страстное стремление жить, огромная жизненная сила, без которой вообще не бывает великих писателей, как я уже говорил по поводу Толстого. Поэтому жажда жить должна была толкать его к тому, чтобы искать исхода. И вот почему испугался бунта Достоевский-мещанин, человек из третьего сословия. Наблюдая то, что вокруг него происходит, он видит, какие разрушительные силы в мещанстве таятся. Бунт этот что означает? Бунт против властей, бунт против порядка, бунт против долга. А тогда что же остается? Остается зверь, остается Смердяков. Если сказать: все позволено, — это очень благородно звучит в устах благородного человека, рыцаря свободы, но это может разнуздать звериность в людях, и они тогда пожрут друг друга. Совершенно так же, как другой, не менее великий мещанин — Кант приходит к выводу, что люди в корне своем злы, хотя он знал, что Руссо говорил, что люди в корне своем прекрасны и добры. И Достоевский каким-то концом своего сердца чувствовал, что люди прекрасны, но это где-то, когда-то, когда все было бы иначе, если бы да кабы, а так, как они есть, они злы. Раскрепостите их, и они перегрызут друг другу горло. Кант говорит, что религия покончилась, построим автономный долг, который независим от бота. Достоевский говорит другое: власть, самодержавие и церковь. И не только власть сверху, но и власть изнутри. У Канта чувство долга, у Достоевского чувство долга не играет никакой роли. В нашей славянской, натурально-хозяйственной натуре, которая еще не высколена была городом и капитализмом, это чувство долга играет весьма малую роль. Богобоязненность и смирение — так у нас назывался долг. И вот к этим чувствам держит путь Достоевский. Он еще и в этом смысле боится бунта, боится, что взбунтовавшийся и победивший человек сделается зверем. Отсюда: «Смирись, гордый человек!»⁴⁹ — как восклицал Достоевский в своей знаменитой речи при открытии памятника Пушкину.

В конце первой части моей лекции я осветил перед вами те внутренние психологические, житейские побуждения, которые заставили Достоевского отказаться от бунта. Как я уже сказал, может быть, он от него и не отказался бы, если бы не испытания каторги. Но испытания каторги плюс разочарование от того умеренного пути, который после каторги Достоевский воспринял, плюс вот этот страх перед бунтом и страх, что бунт приведет к вырождению тех реальных людей-мещан, которых он изучал и видел перед собою, и все это было достаточной силой, способной отбросить Достоевского далеко от лагеря шестидесятников, от лагеря первых народников, но к тому же несло его и само время. Вот как характеризует это время историк литературы Войтоволский: «Столкновение между феодальным и капиталистическим миром вступило в такую фазу, когда уже больше не оставалось почвы для ленивого примиренчества, и даже меланхолический Тургенев вынужден был перейти от кисло-сладких улыбок по адресу Базарова к язвительной клевете на разночинца («Дым» и «Новь»). А капиталистический сатана упорно сеял свои соблазны. По свидетельству Шелгунова, уже к концу шестидесятых годов всероссийское грондерство распустилось пышным цветком. Предприятия лопались, возникали и снова лопались. Промышленность лихорадило кризисами. Газеты пестрели известиями об акционерных компаниях и крахах, о раз-

⁴⁹ Там же, стр. 380.

богатеющих конторах, о бежавших кассирах, о стачках, убийствах и грабежах». Т. е. капитализм проложил в России настолько дорогу, что создал уже нового типа большие города с колоссальным количеством жаждущих наживы и борющихся между собою существ, вышибленных из своей скобки. Станным образом и буржуазия, какой она пришла в Россию, и мелкая буржуазия, взбаламученные этим крупным капитализмом, хаотической вспышкой в жажде наживы и в первоначальной стадии социализма,⁵⁰ сделали в сущности ту ошибку, которую нынешние исследователи делают, которым действительно кажется, что социализм имел что-то общее с этой мещанской закваской. Между тем общая тут была некоторая общность происхождения, общность эпохи, но была и колоссальнейшая разница, ибо тут проходила демаркационная линия. Что бы ни говорил Чернышевский о нигилизме, они на самом деле были героями. И Владимир Соловьев позднее говорит: «Станные то люди. У них такой силлогизм был — человек происходит от обезьяны, а потому да здравствует самоотверженность». Чернышевский, который говорил, что человек хвостатое животное, вместе с тем говорил, что достойный человек тот, который готов жизнь положить за развитие русской общины. Это не противоречило одно другому. Они хотели сорвать все эти религиозные предрассудки, и на место этих религиозных предрассудков этот происшедший от обезьяны человек рисовался как человек необычайной, подлинной правды. Победа капитализма в деревне противоречила барской, крепостнической неправде. Но этого Достоевский понять не мог и не хотел. Так же точно в Европе, куда приехал Достоевский, он необыкновенно чутко, по-герценовски почувствовал все недостатки капиталистического строя. Но так же точно, как Герцен, не видит (Герцен в России по крайней мере это видел) исхода. Достоевский не хотел принять, говорит Горбачев, капиталистической цивилизации, за которую «стоит один собственник», цивилизации с «миллионами людей, прогнанных с пира людского», «со свободой для людей, имеющих миллион, делать что угодно с людьми, у которых оно нет», с юридическим равенством, «долженствующим быть принятым за личную обиду»⁵¹ на фоне экономического неравенства. В скорую победу европейского социализма, растущего из недр капитализма, Достоевский не верил. Достоевский рассматривал этот социализм в мелкобуржуазной Франции и нашел в нем элементы мещанской жажды самообогащения.

Достоевский, естественно, воскликнул о капитализме: «Да минует нас чаша сия». А потому «да минует и чаша революции», несущей России расцвет буржуазного господства, утверждение европейских отношений, сложившихся после 1793 года. Достоевский полагал, с полным для своего времени основанием, что в случае разрушения революцией патриархального уклада тогдашней России, в ней установится та же буржуазная демократия, что и на Западе. А об этой демократии Достоевский через 10 лет после «зимних заметок» говорил, что это есть строй, при котором «одна десятая доля людей должна получить высшее развитие, а остальные $\frac{9}{10}$ должны лишь послужить к тому материалом и средством».⁵²

Я должен сказать, товарищи, что в социализм Достоевский не верит. Я думаю, что тов. Горбачев хватается через край. Достоевский пишет в своем дневнике, я не помню от какого числа, но как раз в шестидесятые годы: «Пролетарии победят несомненно», «социализм пройдет Европу» «кровью и железом», «никакой князь Бисмарк его не смирит». Так что для Европы он предчувствовал такой конец социализма, но он ему не радовался. Он считал, что это будет мещанский, фабричный социализм, что это будет социализм образцовых рабочих при образцово устроенных

⁵⁰ Неясное место, по-видимому ошибка в стенограмме

⁵¹ Достоевский, т IV, стр 66—67, 77, 85

⁵² Цит. по: Г. Е. Горбачев. Капитализм и русская литература, стр 95—96.

фабриках. Все будут сыты и точка. И старается этим пошлым представлением о казарменности прядущего социализма от него отгородиться. Про социалистов Достоевский говорит так. Они стараются от ума уверить человека, что так ему будет лучше. Но разве это путь? А человек совсем не хочет этого размеренного счастья. И может так перековеркать и переродить из-за своего внутреннего, присущего, звериного инстинкта, что от него щепки одни полетят. Поэтому, говорил он, это, может быть, годится для французишек или немцев, может быть, их удовлетворит такого рода выхолощенный социализм, но нам это не по нутру. Поэтому, он говорил, да минует нас чаша социализма, а вместе с тем и революции. Особенно ожесточился Достоевский после каракозовского выстрела, когда Каракозов в 60-е годы стрелял в царя. Тогда вообще напал на всех страх, потому что рыскали и штатные, и сверхштатные шпионы. Самодержавие ужаснулось, искало своих врагов и, так сказать, терзало их на части. Очень многие из страха стали говорить самые черносотенные речи и, может быть, такое настроение действовало достаточно сильно и на Достоевского, но, может быть, также и то, что он почувствовал: вот идет эта революция, та самая революция, за которой последует полное торжество зверя в человеке. И чтобы позавительнее русскую революцию осмеять, опозорить, он заявил, что вы, знаете, он говорит, кто на самом деле делает русскую революцию — баре-крепостники и иностранные шпионы на иностранные деньги. Так что, как видите, Достоевский не гнушался такой клеветой и, может быть, сам отчасти докатился до достаточно черносотенных позиций, внутренне в то же самое время остался подспудно тем Достоевским, каким он был, а в верхнем этаже разводя всю эту церковщину, всю эту гнилятину реакционнейших писателей. Чтобы сгладить это противоречие, тем судорожнее хватается за область мистики. Ему кажется, что весь этот ужас мещанства как оно есть, мещанства, каким оно будет, если оно победит в революции, все противоречия, среди которых человек должен жить, — все это может быть примплено только вмешательством потустороннего и только, может быть, в каком-то мире ином, и он с возмущением и проклятием говорит: «...и пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные: „Накорми, тогда и спрашивай добродетели“».⁵³

Умная идея. Эту идею Чернышевский проводил. Но Достоевский даже не верит своим ушам, что эти вещи уже говорят теперь. А говорит, что пройдут века, и тогда только человечество скажет, что греха нет, а есть только голод. И вы видите, что когда Достоевский такие проклятия сыплет на голову Чернышевского, внутренне в нем происходит такой разговор: а может быть, это действительно так. Ведь на балу-то он писал же, что перемените обстоятельства и все люди окажутся хорошими. Только нельзя этого сказать, потому что тогда опрокинется вся архитектура, все мирозерцание, которое Достоевский в значительной степени в угоду самодержавию, раздавившему его, в себе развил.

Революционный индивидуализм в Достоевском до чрезвычайности силен, в нем внутри, во всей этой его раздвоенности. И Достоевский прав, когда он говорит, что, может быть, никто в мире в уста бунта не вкладывал таких сильных слов, как я. Конечно, невозможно представить себе, я, например, не знаю, более сильной антирелигиозной пропаганды, чем знаменитый разговор Ивана Карамазова с Алешей. Здесь с невероятной логичностью и огромным художественным пафосом раскрывается внутренняя идея Достоевского, от которой он отказаться не может, что бога принять нельзя, потому что тогда это был бы великий преступник. Если бы великий бог существовал, то он был бы величайший преступник,

⁵³ Достоевский, т. IX, стр. 250.

ибо он создал такой ужасный мир, в котором страдают и не заслуживающие страдания существа, например дети. С огромной силой высказана эта мысль. Достоевский-революционер шевелится тут в могиле. Он поставил над ним огромный надгробный памятник, целую систему православно-народнически-самодержавных мыслей, но все это клонится набок, когда расправляет свои могучие плечи Достоевский-революционер. И что этот бедный, бледный Алеша, которого он старается, как судака, полить всякими соусами, чтобы он казался вкусным, что он мог ответить — этот рыба-человек? Он отвечает совсем рыбьими словами. А Христос, говорит, страдал, поэтому он может простить. Почему? С какой стороны, хотя бы в малейшей степени, это убедительно? Ни с какой стороны. Еще можно было бы сказать Алеше: тем более бог этот представляет собою какую-то совершенно нелепую фигуру, если оказывается, что он создал такой мир, что не только надо предавать в нем наших деточек всяким поруганиям и мучениям, но и собственного сына своего оказалось необходимым распять на кресте якобы для того, чтобы мир исправить, да так и не исправили. Так что эти объяснения Алеши еще более угробили эту религию, которую действительно в «Братьях Карамазовых» Достоевский больше, чем чем-нибудь другим, хлопнул по темени убийственным ударом критики. Так что против кого бы Достоевский ни направил свою «Легенду о великом инквизиторе», имеет ли он в виду католицизм, или имеет в виду какой-нибудь уклон аристократического социализма людей, которые хотят за народ мыслить, можно разное истолковывать, но факт тот, что здесь имеется гигантский революционный заряд, ибо выдвигается вперед зловещий образ человека, который опирается якобы на Христа, на христианство и т. д. и на всякие высокие идеи, но который сделал из них полную их противоположность и который говорит, что из всякой идеи нужно прежде всего сделать основу власти. Люди власти должны взять на себя всю ответственность. Они страдают мыслью, они ищут новых путей, они бьются среди всяких сомнений, но чело их должно быть ровным перед лицом стада, которому нужно давать правду и которое нужно пасти достаточно твердым железным жезлом, потому что это стадо состоит из людей немощных, жалких, неспособных к добродетели, которые без власти непременно будут растеряны и погибнут. Поэтому если придет вновь Христос, великий инквизитор во имя человеколюбия пошлет его вновь на распятие.

Какое огромное количество противоречий сразу поднимает Достоевский. Какая чудовищно огромная мысль, в которой разные представления о свободе и разные представления о власти смыкаются между собой так, что в них очень стройно могут найти свое место, допустим, идеи наши, идеи Владимира Ильича о государстве, о его судьбе, о его постепенном исчезновении. Он вставляет это в рамки «Великого Инквизитора» и при том так, что сразу получает полное разъяснение то, что смутно и скомкано у Достоевского; и внутренний пафос вопроса о власти и свободе, и самые великие аргументы, которые только могут быть приведены, — все это в движении мы видим здесь. Можно и еще много привести примеров этого. Но это не есть еще организованная революция, не то, что мы разумеем под революцией. Это есть индивидуальное бунтарство передового мещанина, каким является Иван Карамазов, главный носитель революционных идей Достоевского, которому Достоевский вкладывает в уста эти идеи для того, чтобы потом своеобразным образом оклеветать их и ослабить. Но когда Достоевский встречается с революцией как таковой, с организованной революцией, с партией, он озлобляется еще больше. Если он вкладывает необыкновенно мудрые и сильные вещи в уста бунтарей-индивидуалистов, то он остерегается вкладывать это в уста профессиональных революционеров. Тут у него озлобление доходит до крайних пределов. Я не думаю, чтобы было правильным говорить

так, что Достоевский-де, с нашей точки зрения коммунистов-марксистов, даже прав, потому что он имел в виду описывать Ставрогина, барина, который от нечего делать занимается каким-то революционным озорством, не мещанского революционера с их нигилистическим душком. Я думаю, что по этому пути оправдания Достоевского идти не следует. Мы теперь лучше знаем Нечаева и нечаевцев, лучше знаем тогдашнее положение нигилистов и знаем, что даже то, что осторожный Тургенев писал и прочие клеветники, а из них самым ядовитейшим был Достоевский, — это то же самое, что теперь о нас пишут наши заграничные клеветники, когда они говорят, что мы разбойники, что мы хотим расхитить отечество, что ввели общность жен и т. д. Так же похожи эти портреты на них лишь походившие до самых далеких и парадоксальных революционных положений.⁵⁴ Люди вроде Нечаева рисуются нам теперь как подпольные герои, люди огромной силы воли и огромной силы мысли. Нам печего от них отрекаться. Это революционеры периода мелкобуржуазного народничества, но это революционеры. Достоевский отмечал в них не то, что в них действительно было плохого, а то, что он навязывал им. Но откуда? Просто клевета? Нет. Навязывал им в силу того, что революция была зверь из бездны. Бездна это мещанство, к которому сам Достоевский принадлежит. Это стихия, которая возникает из революции. Революция — зверь из этой бездны, который, как Достоевский в одном месте говорит, мерзость свою прикрывает так, что кажется святым и героичным. А вот он, Достоевский, пришел, чтобы показать, что под этим имеется, и сказать мещанину: мещанин, ты дрянь, ты величайшая дрянь, и когда идешь революционным путем, ты губишь себя, ты погибнешь в собственных нечистотах. Ты должен написать — православие и самодержавие. Правда, жить тебе будет тесно и душно, неуютно, но ведь так хочет бог. Он, может быть, вознаградит тебя на том свете.

Вот нелепый, искалеченный ответ, в который Достоевский сам не верит, но к которому он влечет мещан, которых он старается спасти. «Начиная от 1864 года и до конца жизни, до самой „Пушкинской речи“ и „Братьев Карамазовых“ Достоевский не прекращал страстной, временами ожесточенной борьбы с социализмом. В каррикатурном Лебезятникове («Преступление и наказание») и Бурдовском («Идиот»), в „шпгальевщине“ Петра Верховенского, в отдельных и как бы случайных тирадах князя Мышкина (о социализме и католичестве), Версилова, наконец в законченном построении „Легенды“ Ивана Карамазова и прямо уже от себя в статьях „Дневника писателя“, — Достоевский неустанно, снова и снова возвращался к этой полемике, которую начал герой „Подполья“. Но какие действительные явления, какие системы и имена подразумевал Достоевский в этом враждебном ему попятии „социализм“, — нигде не пояснил он. Об этом можно только догадываться...»⁵⁵

И это интересные объяснения скорее либерального, чем нашего критика.

Вот приходит тов. Полонский, профессор Гроссман, начинают копаться, что Спешнева, или Бакунина, или еще кого-нибудь нужно разуместь под Верховенским.⁵⁶ Нечего докапываться, ничего не найдешь такого портретного. Потому что этого Достоевский просто боялся. Он не побоялся Тургенева изобразить в Кармазинове, но побоялся изобразить Чернышевского, у него остался остаток честности. Если я изложу так, как они говорят, выйдет чепуха. Их не поймашь. Он хочет разоблачить их, но что значит разоблачить, значит писать не то, что они говорят, ка-

⁵⁴ Неясное место, по-видимому ошибка в стенограмме.

⁵⁵ Атеней. Историко-литературный вестник, кн. I—II 1924, стр. 131.

⁵⁶ Луначарский имеет в виду дискуссию между Л. И. Гроссманом и В. Полонским о Бакунине как прототипе Ставрогина (см.: Спор о Бакунине и Достоевском ГИЗ, Л. 1926).

кими они являются перед публикой. А их внутреннюю подоплеку не достанешь. И Достоевский выдвигает один из внешних признаков мещанства и говорит: меня не обманешь, вот они какие, поэтому они мещанские революционеры и иными они быть не могут. Для Достоевского они не мещанские, а человеческие, а человек — вот какое он животное, я, мол, это знаю. Далее Достоевский говорит относительно социализма: «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало...»⁵⁷ «Сущность социализма... покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа». «Но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда... с христианством».⁵⁸

Начался социализм утопический рука об руку с христианством. Но вот нынешний нигилистический социализм 60-х годов — этот хочет грабежа, что он от христианства отошел, что он Христа ругал. Как Белинский ругал — это верно, но что он к грабежу звал, — это, конечно, не верно. Достоевский всегда хитрит таким образом. Иван Карамазов это импонирующая, великолепная фигура и почти гениальный человек. Он хочет убить своего отца из своих личных побуждений. Правда, он этих личных побуждений не совсем сознает, но в нем живет такой бес, который на самом деле этим бредит. И вот Смердяков, его родной брат, который похож на него как две капли воды, только цель была немножко другая. План этот представляет некоторую двойственность, которая показывается, что на самом деле будет, когда принцип Ивана Карамазова «все дозволено» будет торжествовать. Как Достоевскому нельзя верить Ивану Карамазову, потому что есть Смердяков, а Смердяков вовсе не чужой Ивану Карамазову, он не только его брат, но в самом Карамазове он живет, хотя Карамазов в ужасе от него отрекается, когда он является в образе беса. Вот какое сложное психологическое построение. Поэтому если бы спросить Достоевского про революционеров, которых все знали, похожи ли на Чернышевского, Михайлова и Спешнева, то он бы сказал, нет не похожи, но я уверен, что в этих революционерах живут именно такие бесы, только они у них прикрыты, а это их родной брат — это двойник, это настоящая их сущность. Особенно интересна речь, которую пишет Достоевский о герое своих будущих «Бесов», о Ставрогине, когда они еще не были напечатаны. Это настолько важно, что я обращаю особое ваше внимание. Это настоящая форточка во внутреннюю сущность Достоевского. Она дает возможность взглянуть, как Достоевский вооружился для борьбы с революцией, которая была ему страшна не только потому, что он видел в ней огромную силу. Вот что он говорит: «Главная мысль, которой болен князь (Ставрогин, по-видимому, должен был по первоначальному замыслу Достоевского быть титулованным) и с которой он носитя, есть та: „У нас православие; наш народ велик и прекрасен, потому что верует и потому что у него есть православие... Теперь вопрос, кто же может веровать... Возможно ли веровать. А если нельзя, то чего же кричать о силе православия русского народа. Это стало быть только вопрос времени“... Ставрогин по временам делает открытие, что он сходится с Верховенским, что „все сжечь лучше“. Если православие невозможно для просвещенного (а через 100 лет половина России просветится), то, стало быть, все это фокус-покус и вся сила России временная. Ибо чтобы была вечная, нужна полная, вечная вера во всем. Но возможна ли вера».⁵⁹

⁵⁷ Достоевский, т. XI, стр. 134.

⁵⁸ Там же, стр. 135.

⁵⁹ Записные тетради Ф. М. Достоевского. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 207—208.

Вот вам. Это, конечно, Достоевский вкладывает Ставрогину, он носит с этой мыслью, но это показывает, что его гложет эта мысль. Православие, — а вот образованному нельзя верить в православие, а если нельзя, то то-то и то-то. А, оказывается, если нельзя верить, то тогда лучше уже все сжечь. Если бы пропало православие, тогда пропала бы надежда на крепость народа и его счастье, пропала бы надежда на загробное вознаграждение. Что же остается? Куда же идти? В революцию? Сунешься в революцию — там бесы. Остаться без революции? Соединение старых порядков с капитализмом. И никакого проблеска какого-нибудь света. Если нет прочного православия, верующего народа, а оно не прочно, его вера тает. Вот в этом смысле Достоевский хотел взять за горло этого революционера, который осмеливается говорить: нет вечного православия, поэтому все сжечь, и хотел его притиснуть к стене и доказать его вредность и неправоту, а наполовину уже согласен со Ставрогиним, потому что говорил: давайте по образованному судить. Если для образованного немыслимо православие, тогда, может быть, мыслимо другое что-нибудь хорошее? Нет, говорит, — тогда все сжечь... Разве Чернышевский говорил — все сжечь? Разве революционеры, даже Бакунин, говорили — все сжечь, все разрушить? Бакунин говорил, что разрушение есть продвижение к созиданию, а Достоевский говорит: все сжечь. Полное превращение человеческой цивилизации в ничто.

Таким образом, он свою внутреннюю боль персонифицирует в Ставрогине и заставляет его стать на самую слабую позицию: на сильную, поскольку он отрицает православие, и на слабую, поскольку ничем заменить его не может. Чего Ставрогин хочет? К чему он стремится? Он ничего не хочет. Это прежде всего сумбурная натура, такая, в которой почти ничего нельзя понять. Достоевский боялся дать Ставрогину какую-нибудь ясность мысли. Зато Верховенскому он дает ясность мысли. Наш товарищ Назаренко говорит, что Верховенский в предвкушении азефовщины считает, и это прежде всего в высшей степени остроумный взлет, что революционер или провокатор, или ловкий мерзавец.⁶⁰ А Батюшков, либеральный критик, говорит следующее: «В Петре Верховенском не только мастерски, но действительно пророчески очерчен тип организатора политического заговора, человека умного, властного и необыкновенно выдержанного, вплоть до умения прикидываться простаком, изворотливого и бесконечно изобретательного для достижения своих целей».⁶¹

Вот какой мудрый либерал. Оказывается, что Верховенский настоящий человек. В чем же заключается эта революционность? А видите ли, у них смешная идея делать революцию. Если бы эти люди сидели и не рыпались, а то они делают то, чего сделать нельзя, а раз они занимаются тем, чего сделать нельзя, — делают революцию, то, естественно, становятся мошенниками, становятся людьми беспринципными, которым в разгаре агитации ни о чем задумываться уже не приходится, летит всякая порядочность, всякая честь к черту. В этом сказывается, в какой степени в изображении Достоевским Верховенского можно рассчитывать на известную часть правды. На самом деле младший Верховенский есть карикатура, которую злобной рукой писал Достоевский для того, чтобы нанести возможно более смертельный удар революции. И вот для характеристики этого я приведу знаменитый разговор, знаменитую тираду Верховенского о якобы существующем революционере Шигалеве.

«Шигалев, — говорит он об одном из последователей революционеров, — гениальный человек! Знаете ли, что это гений вроде Фурье; но смелее Фурье, я им займусь. Он выдумал „равенство“! У него хорошо

⁶⁰ Я. А. Назаренко. История русской литературы XIX века ГИЗ, Л.—М, 1925, стр. 275.

⁶¹ История русской литературы, под редакцией Д. Н. Овсяннико-Куликовского т. IV, стр. 318.

в тетради — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем и все каждому. Все рабы и в рабстве равны. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов, доступных только высшим способностям; не надо высших способностей. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы, их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается камнями — вот Шигалевщина. Я за Шигалева... Не надо образования, довольно науки. И без наук хватит материала на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство и любовь — вот уже и желание собственности. Мы уморим желание. Мы пустим пьянство. сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».⁶²

Это злопыхательская клевета, какую только можно себе представить, карикатура, от которой отворачиваются за ее нелепостью. Никто и верить ей как будто бы не может. И когда читаешь это, то думаешь: неужели же были такие мастодонты, такие тупые меднолобые обыватели? А вот представьте себе, профессор Батюшков, который умер в 18—19 году, пишет, что Достоевский тут пророчески прозрел революционера. Это говорит он, который знает уже всю нашу революционную историю.

Затем я хочу немножко под другим углом зрения показать то, что мы говорим сейчас.

В Достоевском живет два человека — может быть, и больше, но мы двух возьмем на первое место. Достоевский-реакционер, складывавшийся в каторге, сложившийся под влиянием ненавистнической полемики против революции, под влиянием страха перед мещанином и под влиянием желания доказать себе самому правоту позиции угодливости по отношению к самодержавию, и другой Достоевский, жаждущий счастья человечеству, высшей организации человек, гордый бунтарь, требующий правоты и т. д. Естественно поэтому, что Достоевский постоянно занимается игрой в двойников, ему до такой степени трудно эти свои идеи изложить в целостную систему. Они у него распадаются каждую минуту, поэтому постоянно мы видим у него двойников: Иван Карамазов и Смердяков, Ставрогин, Верховельский и т. д. до бесконечности.

Когда мы говорили об Успенском, вы помните, что захворавший тяжелой болезнью Успенский говорил, что есть два Успенских — один Глеб. другой — Иваныч. Глеб — святой, идеалист и революционер, Иваныч — мещанин, корыстный человек, обыватель. И в трещине, которая жила здесь и прошла через его сердце, страдал и погибал Успенский.⁶³ Это есть и у Достоевского. Но как это было у Достоевского? Глеб у него другой. Глеб у него не идеалист вообще, потому что идеализм революционный, т. е. то самое, чему преклонялся всю жизнь Успенский, для Достоевского неприемлем. Поэтому он Глеба как активного борца за человеческую правду отбрасывает и бросает к Иванычу — обывателю, карьеристу, ненавистнику революции. А Глеб остается только в стороне алешкинской и мышкинской святости. Но эти святые действующие лица у Достоевского остаются побежденными. Правда, Алеша внешне не побежден, к нему молодежь приходит и окружает его, но на самом деле разве не ясно, что он совершенно ничтожным рисуется не только рядом с Иваном Карамазовым, гигантом мысли, каким создал его Достоевский, но даже рядом с братом Дмитрием, который представляет хаотическую, кипучую

⁶² Достоевский, т. VII, стр. 341—342.

⁶³ Подробнее об этом см. у Н. К. Михайловского (Литературно-критические статьи. Гослитиздат, М., 1957, стр. 386—388).

страсть, бессознательную жизненность. А уже князь Мышкин не может ни на кого действовать, и самое название «Идиот» в высокой степени показательно. Князь Мышкин святой и в силу святости своей не цепляется за жизнь, а гибнет самым мрачным образом, гибнет вследствие окончательного психического распада, потому что никто ему по-настоящему не может протянуть руки, он слишком не от мира сего. Так что Глеб в Достоевском в высшей степени немощен. И чем более это Достоевский сознает, тем более он ярится, тем более он старается вооружить Глеба: — Да держись же ты. Дает ему в расслабленные руки копьё и щит. Но он валится и на ногах этот святой Глеб никак не стоит. А потом приходится расправиться ему и с Иванычем. И здесь общий призыв: смирись, — как для Иваныча-обывателя, так и для Иваныча — бунтующего обывателя-революционера. Призыв к смирению по отношению к бунтарю — это доминирующая нота в произведениях Достоевского, который никак не может прикрыть веры в эту бунтующую стихию.

Говорят очень часто, что Достоевский был великим психологом. Он был действительно очень интересен с этой стороны, потому что те облики душевные или, как мы теперь сказали бы, те системы своеобразные рефлексов, которые он рисует, когда рисует разные индивидуальности, они так богаты, многогранны, неожиданны и под этой неожиданностью иногда вдруг просвечивает такая затаенная логика, что в такой сложности и такой тонкости внутренних сцеплений никто этого рефлексологического или, как говорили раньше, психологического аппарата человеческого до Достоевского не показывал.

Но вместе с тем, конечно, думать, что Достоевский является реализмом, никак нельзя. Эта порывистость много сложнее. Она реалистична потому, что она отражает фантазмагорически неустойчивую жизнь горожан, а тогда, когда город был разрушен и капитализм только начался, тогда в особенности жили какой-то жизнью растрепанной, не было никакой устойчивости. И эта раздерганность душевная была подмечена Достоевским реалистически. Но он изображает гиперболически, т. е. преувеличивая, показывает как в сильнейший микроскоп. Черты, которые в нормальной жизни проходят более или менее незамеченными, он перед вами раздувает, заставляет их распухнуть до чудовищности. И в этом отношении его герои, конечно, не похожи на живых людей. Они похожи скорее на тех, которые населяют тюрьмы, где он и наблюдал отчасти этих людей, на каторгах, поэтому являющихся непормальными, ужасающими преступниками или сумасбродами, безумцами, у которых отдельные черты психологически раздуваются до невероятной величины. Значит ли, что у Достоевского нечему учиться? Конечно, не значит. Потому что благодаря этим преувеличениям для вас становятся понятны некоторые такие пружины, такие сочетания, которые вы простым глазом рассмотреть не можете. Но внутренняя борьба идейная, которую он описывал, обычно накладывает на эту сложность чувствования, создает такую узорность, такую тонкость работы у Достоевского, которую мы ни у какого другого писателя не находим. Толстой, который был великим психологом, который в себе самом и вокруг себя необычайно тонко наблюдал и страшно правдиво и выпукло наблюдаемое изображал, он Достоевского не любил и психологом не считал. Когда он прочтет романы Достоевского, он пишет: «... как это не художественно, — прямо не художественно. Действующие лица делают как раз не то, что должны делать. Так что становится даже пошлым: читаешь и наперед знаешь, что они будут делать как раз не то, что должны, чего ждешь. Удивительно не художественно. И все говорят одним и тем же языком».⁶⁴

⁶⁴ Луначарский суммирует некоторые отзывы Л. Н. Толстого о художественном творчестве Ф. М. Достоевского (о романе «Братья Карамазовы»): «Начал читать и не могу побороть отвращения к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию

Это не совсем верно, что одним и тем же языком. Но, пожалуй, до некоторой степени язык один и тот же. Все они слишком философствуют, слишком удаляются во внутреннюю сущность, все говорят терминами городской жизни. Но дело не в этом, а в том, что Толстому не нравится непоследовательность героев Достоевского. Совершенно был прав Переверзев, который говорит, что Толстой описывает барина и мужика как части устойчивой системы и за устойчивость-то их и любит. А Достоевский весь порыв, он весь отображает самого неустойчивого, что только может быть в горожанине и в его жизни. Достоевский прекрасно это понимал. Он говорит сам о Толстом, как бы в ответ Толстому: «Толстой почти историограф нашего дворянства или лучше сказать — нашего культурного слоя, завершающего собою воспитательный период нашей истории».⁶⁵ Достоевский хочет сказать «дворянства не зубра, а передового дворянства». «В этом „историографе нашего дворянства“ мне нравится всего больше вот это самое благообразие, которое мы с тобой ищем, героев, изображенных им. Он психолог дворянской души. В основах этого высшего слоя русских людей уже лежит что-то пезыблемое и неоспоримое. Тут всякий индивидуум может иметь свои слабости и быть очень смешным, но он крепок целым, нажитым в два столетия, а корнями и раньше того, и смотря на реализм, на действительность, на смешное и комическое, тут возможно и трогательное и патетическое. Как бы там ни было хорошо все это или дурно само по себе, но тут уже выжитая и определявшаяся форма, тут накопились правила, тут своего рода честь и долг».⁶⁶ И вот я бы сказал, что Достоевский показывает себя в этом выше Толстого. У Толстого никакого чувства классового подхода. Он художественен и прост. Достоевский понимает, что люди двух разных классов, а тогда вовсе не легко было встать на классовую точку зрения. Толстой говорит: не художественно и отрицает все в чужом классе. Достоевский говорит: нравится мне очень, импонирует, я бы искал таких героев да не нахожу. Нет их на самом деле вокруг. Само собой разумеется, что, оценивая себя самого, Достоевский очень хорошо понимал всю эту борьбу в себе самом, то, что выводы окончательные никто не сможет сделать, что те выводы, которые он просит сделать из своих сочинений, не убедительны, а те выводы, которые напрашиваются сами собою, ему противны и для него неприемлемы. Поэтому он пишет в одном своем письме: «Вы думаете, я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Многие мне это пишут, — но я знаю наверно, что способен скорее вселить разочарование и отвраще-

и неподобающему отношению к важным предметам» (Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 89, Гослитиздат, М., 1957, стр. 229); «Хороши описания, хотя какие-то шуточки, многословные и мало смешные, мешают. Разговоры же невозможны, совершенно неестественны» (т. 58, стр. 117); «Читал Достоевского и удивлялся на его неряшливость, искусственность, выдуманность...» (т. 58, стр. 119).

⁶⁵ Данная цитата приведена Луначарским из сборника «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы» под редакцией А. С. Долинина (сб. II, Л.—М., 1924, стр. 84). В ссылке к ней говорится: «Из монолога Версипова в беседе с сыном. В окончательный текст вошло. Опубликовано по рукописи Л. Гроссмана, ор. cit., стр. 83, 84». Однако в романе «Подросток», который имеется в виду, указанная цитата не найдена. Сходные рассуждения Достоевского о творчестве Л. Н. Толстого имеются в «Дневнике писателя» за 1877 год, где он пишет: «Где вы найдете теперь такие „Детства и отрочества“, которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам свою эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в „Воине и Мире“ его же? Все эти поэмы теперь не более лишь, как исторические картины давно-прошедшего... Я говорю лишь об их характере, о законченности, точности и определенности их характера, — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого» (Достоевский, т. XII, стр. 180).

⁶⁶ Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы, под редакцией А. С. Долинина, сб. II, стр. 84—85.

ние. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтобы их убаюкивали». ⁶⁷ Но ведь дело не в том, чтобы убаюкать, а чтобы учить, дать знание. Почему так ставится вопрос — «не хочу убаюкивать». А указать путь, успокоить для того, чтобы человек пошел вперед. Нет, говорит, я на это не мастер. Вот именно не только не мастер убаюкать, не мастер успокоить, не мастер настроить, а мастер расстроить и внутренне сознает, что от него одно только расстройство. Нужна колоссальной мощности натура, я бы сказал, теперешняя наша пролетарская натура, чтобы выпить такое ядовитое зелье, как Достоевский, и от этого сделаться еще здоровее, а для людей не этого типа Достоевский действительно отравя. И вот эту свою разорванность он прекрасно чувствует. И я думаю, о себе в значительной степени говорит, когда такую фразу бросает в своем романе, описывающем каторгу, — «Мертвый дом»: «Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?» ⁶⁸ И на это Достоевский не отвечает. Конечно, он и сам был на каторге, и сам причисляет себя к исключительно сильнейшим элементам нашего народа, и сам чувствовал, что он погиб, если не физически погиб, то под бременем этих страшных противоречий, раздавивших его душу. «Кто виноват? То-то, кто виноват?» Сам Достоевский не может точно ответить, да и мы затрудняемся. Мы можем сказать, самодержавие, но самодержавие не есть причина причин, а есть в конце концов следствие. Стало быть, весь строй, весь уклон мещанства в тот момент, раздираемый противоречием и индивидуализмом; старые предрассудки, и религия, и черносотенство — они все в нем гнездились. И Достоевский был так широк, что он все охватил. Вся судьба его: его эпилепсия, его казнь, его каторга, его мрачная жизнь, полная пужды, его взлеты громадные внутренние, чтобы себя утешить, чтобы как-то напиться допьяна своими образами и своей клокочущей жизнью, которую он создал вокруг себя, — все это несло его к тому, чтобы он сумел обнять свои противоречия, но уже никак не сумел их разрешить. Это настоящая, самая настоящая и точная характеристика Достоевского. Если бы мы думали, что мещанство, т. е. мелкая буржуазия тогдашнего времени, 40-х, 50-х, 60-х годов, есть просто неинтересный класс, незачем тогда заниматься Достоевским, но это уже был класс, в котором были и капиталисты, и реакционеры, и Чернышевские, в котором были величайшие противоречия, из которых вышли все — капитализм в одну сторону, а грядущий коммунизм в другую. Все из него вышло. Вот почему мы не можем проходить мимо быта писателя, решающего момента внутренних раздирающих разногласий мещанства.

Вследствие этого я делаю вывод, что Достоевского читать и изучать нужно. А если бы спросить: можем ли мы в какой-нибудь мере подражать?

Я уже говорил, что Достоевский внешне неряшлив. Он с некоторой долей озлобления оценивает произведения дворян-писателей как гармоничные. Он как бы завидует им и прямо говорит: у меня времени нет, я должен часто губить свои страницы. Но было бы неправильно, если бы вследствие этого пришли к выводу, что Достоевский был вследствие этого как бы недоделанным художником. Да, он о стиле своем заботился мало, и если бы он несколько раз переписывал свои романы, может быть, было бы другое дело. Но он не мог этого делать. У него один роман гнался за другим. Так что если бы даже ему дали денег, он все-таки торопливо бы писал, и в этой торопливости есть лава кипячая. Толстой

⁶⁷ Ф. М. Достоевский. Письма, т. IV, стр. 4.

⁶⁸ Достоевский, т. III, стр. 559.

очень долго готовил свои произведения, и когда вы их читаете, вы видите, что это удивительно свободно, просто и легко, а у Достоевского вы чувствуете в произведениях писательские муки, и он вследствие этого вас заражает.

С точки зрения конструкции романа Достоевский несомненно очень интересный художник. Он сам очень много учился, он сам слишком много перечитал, в особенности западноевропейских образцов. И я думаю, что с точки зрения формы, общего построения у Достоевского очень хорошо охарактеризовано у Горбачева.

Он говорит, что Достоевский был первый в русском романе настоящий фабулист, тем, что он строит свой роман так, чтобы заинтересовать вас течением событий, он возбуждает ваш интерес тем, что будет на следующей странице, он сталкивает людей в таких пикантных противоречиях, на таких скользких путях, когда вы не знаете, что же будет, и вместе с тем захвачены и заинтересованы, а что же будет на самом деле. И при этом правильно говорит Л. Гроссман: Достоевский строит, не сознательно напластовывая одни приключения на другие, а, как он говорит, взвихривает огромное количество лиц и событий, перебегает от одного к другому. Так что, если бы на одну минуту, — правильное замечание Л. Гроссмана, — в романе остыла та страстность, та торопливость, нервность, страстность изложения, он распался бы на бесформенные эпизоды. Только потому, что все это вращается, живет, все это держится вместе.⁶⁹

Так что Достоевский замечательный конструктор романа, но он замечательный конструктор романа экспрессионистского, не строящий архитектурно, а взвихрывающий всяческие события так, что все эти атомы, друг к другу не прилаженные, получают свой центробежный центр.

А если мы перейдем к характеристике каждого отдельного элемента, то, мне кажется, что этот экспрессионизм Достоевского достаточно хорошо охарактеризован в моей характеристике, которую я сделал в моей статье о Достоевском. Я эти несколько строчек вам приведу:

«Достоевский был художником-лириком, который в особенности пишет о себе, для себя и от себя. Все его повести, романы — одна огненная река его собственных переживаний. Это сплошное признание сокровенного своей души. Это страстное стремление признаться в своей внутренней правде. Это первый и основной момент в его творчестве.

Второй — постоянное стремление заразить, убедить, потрясти читателя и исповедать перед ним свою веру. Вот эти оба свойства творчества Достоевского присущи ему так, как ни одному другому лирику, если под лирикой разуметь призыв потрясенной души».⁷⁰

Из этого мы видим, что это замечательный конструктор, но которого можно принять только вместе с горячей страстностью, которая все объемлет. Как стилиста мы можем принять его только понимая, что это лирик, раскрывающий свое измученное сердце.

Можем ли мы у такого писателя сейчас учиться? Я думаю, что нет. Я думаю, что наш писатель, хотя он, может быть, в высокой степени заражен разными противоречиями, но эти противоречия он разрешает гораздо спокойнее. Эти противоречия у него не так болезненны, они не раздражают его. Они представляют собою проблемы, которые приходится решать путем вдумчивости и внутреннего чувственного переживания, волевого преодоления этих противоречий. Поэтому наш роман должен быть динамичен, в нем должна быть диалектика, в нем должны быть противопоставления, но которые в конце концов ведут либо к решению проблемы, либо представляют собою кусок дороги в направлении к ее окончатель-

⁶⁹ См.: Леонид Гроссман. Поэтика Достоевского. М., 1925, стр. 177—178.

⁷⁰ Достоевский в русской критике, стр. 448.

ному решению. Поэтому наш роман будет спокойнее. Что касается конструкции нашего романа, то наш роман может быть конструирован фабулярно, т. е. исходить из интересов задуманного сюжета, но ни в коем случае не нужно при этом, чтобы он держался единственно этой центростремительности, горячечного, взволнованного изложения. У нас этой горячки, этого взволнованного изложения не будет. Наша страстность спокойная, потому что она победоносна. Поэтому у нас нельзя конструировать так, как конструирует Достоевский. Наш роман должен быть действительно продуман и построен так, как пролетарий или инженер вместе с пролетарием строят какой-нибудь броненосец, чтобы это действительно стояло, плыло, летело и т. д., чтобы это было не только кажущимся целым, а действительно пласты ложились на пласты, создавая целостное здание. Но манера Достоевского в своем роде так закончена, что, конечно, нельзя быть образованным писателем, если не знаешь манеры Достоевского. Очень часто можно оттолкнуться от манеры Достоевского и отвести себя, а можно иногда то или иное у него заимствовать, например при изображении таких фактов и таких типов, которых у Достоевского много и которые и теперь еще рядом с нами живут, потому что мешчанства и теперь еще много. Что касается его внутреннего содержания, нужно ли оно для нас, вот тот громадный клубок противоречий, который я в своей речи перед вами охарактеризовал, то Горбачев, который относится к Достоевскому и ко всему прошлому в русской литературе довольно холодно, говорит так: «Идеи Достоевского в русской общественно-идеологической истории использовались главным образом реакционерами для борьбы с революционным мировоззрением; творчество Достоевского поддерживало упадочные настроения; сам Достоевский боролся с идеями, прогрессивными для его эпохи. Но Достоевский и своей жизнью, и своим творчеством представляет собою яркий образец и самое наглядное доказательство безысходности индивидуализма. С этой стороны творчество Достоевского может быть использовано и сейчас».⁷¹

Я дополнил бы немножко это суждение Горбачева. Я бы сказал так. Во-первых, у Достоевского иногда встречаешь элементы для нас положительные, которые он сам осуждает как отрицательные, но которые он изображает с гигантской силой. Например, бунт Ивана Карамазова; такой революционер, как я выразился, погребенный на кладбище Достоевского, иногда такие стоны и крики испускает под своим надгробным камнем, которые не только до сих пор еще нас живо потрясают, но и являются современными. Очень часто в антирелигиозной пропаганде приходится пользоваться красками Достоевского, хотя он-то воображает, что он победил в данном случае беса Ивана Карамазова.

Затем то, что является отрицательным у Достоевского, — тут Горбачев совершенно прав, — оно с такой рельефностью выражено, что дает нам возможность великолепнейшим образом себя пережить, перечувствовать и познать. А таких мешчанских противоречий в нашем переходном строе еще очень много.

И, наконец, нам чрезвычайно важен Достоевский еще с одной стороны. Товарищи, что бы мы ни говорили, но Достоевский есть один из любимейших писателей мирового читателя. Никогда так, как во время экспрессионизма в Германии после войны, Достоевского высоко не поднимали, вообще это один из любимейших писателей Европы. Почему это один из любимейших писателей Европы? Потому что Европа переживает это самое бездорожье, потому что Европа сейчас находится в самых настоящих объятиях достоевщины. И потому там можно встретить людей, которые не знают, чем они будут завтра, — коммунистами или католиками, идут к богу или мистике или идут к удовлетворению рта и его

⁷¹ Г. Е. Горбачев. Капитализм и русская литература, стр. 110

требований. Они мечутся между разными полюсами мещанской жизни и мещанского эгоизма и звериности. Мечутся и не находят применения этому. Поэтому, конечно, все отношение к природе, отношению к женщине, к жизни и смерти — все это находится в хаосе, и когда читаешь Достоевского теперь, все эти судороги и все это живое мясо, с которым соединена кожа и которая трепещет страшным трепетом своих противоречий, до крайности импонирует. Но ведь если не говорить о нашем собственном мещанине, которого мы ввели в оглобли довольно здорово, а если говорить о мировом мещанине, то мы должны внешность его познать из западно-европейской мещанской литературы. Спросите любого европейского интеллигентного человека, имеет ли он писателя, который бы был более любим и которого бы он считал более дорогим сердцу тамошней интеллигенции и тамошнего, примыкающего к интеллигенции массового читателя, даже иногда пролетарского, если он омещанится. Нет, они скажут, что Достоевский — выразитель времени. Вы помните, что сказал Владимир Ильич Ленин о Толстом. Толстой велик тем, что предвидел встречу русского барина и русской деревни с капитализмом. Разложение внутренней души крестьянина на полюс протеста и полюс пассивности перед лицом капитализма он благодаря своему гению, говорит Владимир Ильич, превратил в вечную ценность, важную для всякого. Но о Достоевском можно сказать совершенно таким же образом. Трагедию русского мещанина-разночинца неразрешимую, которую народники тоже не разрешили, хотя стремились разрешить во всех ее противоречиях, Достоевский признал ее неразрешимой, признал хаотичной и всю глубину этого хаоса перед нами изобразил, так что когда общемировое буржуазное общество после войны встало на перекуты, потеряло веру в себя, так сказать, идя к своей могиле, опять переживает как бы дни своей молодости и неуверенности, то оно схватилось за Достоевского как за лучшее свое зеркало. Исходя из всего этого мы должны сказать, что Достоевский для нас никоим образом не умер. Мы его считаем великим свидетелем бури мещанской души. Конечно, каждый в отдельности мещанин он, может быть, просто мещаниншка и, может быть, у него никаких бурь нет, потому что в стакане воды какие могут быть бури, а у Достоевского эти бури океанические. Но ведь соединение этих миллионов вместе составляет общество и поколение. Вместе-то они составляют нечто больше, чем даже сам индивидуальный Достоевский, который жил, писал и помер, а они живы еще и продолжают писать, и доказывать, и действовать. Мы должны их изучать через Достоевского. Он дает нам великолепнейшие возможности это сделать. Тот читатель, который читал Достоевского, не только испытывает захватывающие черты его фабулы, не только испытывает сладость таких ярких, глубоких жизненных восторгов и мук, которые у него изображаются всегда в каком-то соединении со сладострастием и с таким волшебным переживанием жизни как такого законченного огромного бытия, — кто испытывал все это, еще к тому же готов подонти к достоевщине и так скажет, что неразрешенность мира, ненайденность дорог, хаотичность и внутренняя нестройность есть что-то такое вроде идеала, ибо показывает особо совершенную натуру, тот, стало быть, Достоевского не перерос и как муха в лишком яду там прилипнет и может от этого погибнуть. Писатель в достаточной степени ядовитый. Но мы с вами должны уже давно социально перерасти это, и мы можем испытывать наслаждение, читая Достоевского, и вместе с тем наш пролетарский разум будет с величайшим любопытством исследовать те болезни, о которых свидетельствуют противоречия и муки Достоевского, и мы будем им противопоставлять постоянно ту стройную систему, при свете которой мы сами создали нашу новую стройность, и помимо отдельных положительных элементов, которые извлечем из Достоевского, помимо прекрасного знания старого мещанства и отчасти нашего нынешнего

мещанства и мирового мещанства, мы помимо этого испытываем большую благодарность от того, понятно, как такого большого ума человек, попавши на это проклятое место, метался в бездорожии сравнительно с нашими разрешениями. Возьмите одну проблему Достоевского за другой и сравните с марксизмом и ленинизмом. Все проблемы, которыми мучился Достоевский, мы можем с гордостью сказать, наши мирозерцания ленинское и марксистское разрешают, вполне удовлетворяют их, не откладывая их куда-то, не измельчая их, разрешая все противоречия, в которых барахтался Достоевский. Это еще одна дополнительная премия. Из разрешившихся терзаний Достоевского мы умозакключаем, как мы далеко шагнули, насколько класс наш имеет перед собою хотя и более трудный путь, но насколько больше пороха в наших пороховницах, чем у мелкобуржуазных передовиков того периода, выше которых не прыгнули и нынешние лучшие крупнейшие люди мещанского мира.



ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО В ЛИТЕРАТУРЕ*

А. И ЕЗУИТОВ

В новой Программе Коммунистической партии Советского Союза, в докладах Н. С. Хрущева и выступлениях многих делегатов на XXII съезде партии подчеркивается, что формирование нового человека с коммунистическими чертами характера, привычками и моралью является в настоящее время одной из главных практических задач. В формировании такого человека выдающаяся роль принадлежит литературе и искусству.

Возникает вопрос: в достаточной ли мере эстетическая мысль оказывает им помощь и поддержку в успешном решении поставленной партией задачи?

Посмотрим, как решает современная эстетическая наука проблему характера, важнейшую для теории и практики литературы?

Надо сказать, что при всех успехах и достижениях нашей эстетики в исследовании указанной проблемы еще имеется ряд спорных и недостаточно разработанных вопросов.

Как известно, марксистская эстетика впервые в истории мировой эстетической мысли показала, что характер, в том числе литературный характер, в своей основе является «совокупностью общественных отношений». Однако ограничиваться этим безусловно верным, но все-таки слишком общим утверждением, как поступают некоторые современные теоретики литературы, явно недостаточно. Необходимо прежде всего раскрыть внутреннюю сложность и историческую изменчивость самой социальной сущности характера и в жизни, и в литературе.

Мы часто цитируем знаменитые слова Маркса: «...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений». При этом упор делается на словах «совокупность общественных отношений». Хотелось бы обратить внимание на другую сторону этого вопроса: «В своей действительности...» Это значит, что нет и не существует в обнаженном, «чистом» виде общественной сущности характера. Она проявляется и способна проявляться лишь в непосредственной, живой, многообразной действительности. Этот момент всегда необходимо строго учитывать, чтобы не допустить вульгарно-социологического упрощения в исследовании характера в жизни и особенно в литературе.

Советская литература ввела в мировую литературу качественно нового героя, представляющего в своей действительности совокупность принципиально новых общественных отношений. При этом на каждом историческом этапе развития страны и в определенной социально-исторической обстановке внутренне единая социалистическая сущность нового характера приобретала различные черты, оттенки и признаки. Особый вид имеет она и в наши дни. Современная литература достаточно отчетливо показывает нам, в чем состоит существенное своеобразие характера советского человека, вступившего в период развернутого строительства

* В основу публикуемых материалов положены выступления на конференции «Образ современника в литературе последних лет», состоявшейся 5 октября 1961 года в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР

коммунизма, с точки зрения его социального содержания. Так, например, мы видим, что у нашего современника получает все более глубокое и органичное, истинно социальное наполнение даже такое сложное и тонкое чувство, как любовь. Вспомним «Иркутскую историю» А. Арбузова, «Неравный бой» В. Розова, «Цветы живые» Н. Погодина, «Девчат» Б. Бедного.

У нас на глазах происходит непрерывное социально-этическое обогащение и развитие внутреннего мира современного героя. Вместе с тем все более видную и определяющую роль в его характере начинает играть выступающий в качестве непосредственного и самостоятельного гражданского, политический мотив. В современном советском человеке одновременно и в тесном взаимодействии друг с другом расцветают личное, глубоко индивидуальное и эпохальное, масштабное, подлинно историческое. Как показал с большой поэтической убедительностью А. Твардовский в своей поэме «За далью—даль», все теснее и органичнее становится этот «чудесный сплав».

Идейно-эстетическое проявление социальности в характере нашего современника становится все сложнее и многообразнее. И это понятно: происходит углубление и расширение социалистических общественных отношений, образующих основу характера, все более заметную роль в жизни начинают играть коммунистические отношения между людьми.

Важнейшие принципиальные особенности характера нашего современника получили глубокое отражение в рассказе М. Шолохова «Судьба человека». На первый взгляд может показаться, что главный герой рассказа Андрей Соколов живет какой-то «роевой», «стихийной», даже бездумной жизнью. Но в действительности такого рода представление обманчиво.

Как известно, в произведениях первых лет революции (В. Зазубрина, В. Иванова, А. Неверова) герои часто действовали, руководствуясь главным образом социальным инстинктом, который являлся у них смутной, первоначальной формой революционной сознательности. Новые социалистические нормы входили тогда в жизнь, в быт людей с большим трудом, даже с внутренним сопротивлением.

Но когда появились люди и даже целые поколения, всю свою сознательную жизнь посвятившие делу революции, делу социализма, люди, уже целиком сформированные новыми общественно-историческими условиями, социалистические нормы жизни вошли в их плоть и кровь, стали своего рода «инстинктом». К этому поколению принадлежит и Андрей Соколов, как видно из его скупой автобиографии.

Социалистическая сознательность Андрея Соколова является настолько высокой и органичной, что для него она приняла как бы вид «инстинкта». Первая, самая естественная, обычная реакция на жизнь у большинства наших людей — реакция советская, социалистическая. Поэтому-то Соколов, «не задумываясь», уходит на фронт, добровольно едет с боеприпасами выручать «ребят», спасает от верной гибели «взводного», убивает предателя, бежит из немецкого плена и т. д. Именно это обстоятельство объясняет массовый героизм советских людей, его, условно говоря, «обычность», «естественность».

В принципе у нас к подвигу готов любой, хотя совершает его, разумеется, не всякий. В связи с этим можно сказать, что «потенциальная героичность» составляет важнейшую черту характера советского человека, особенно нашего современника. Если у Л. Толстого героическое начало в русском человеке как бы иррационально, стихийно, то у Шолохова это начало выражает высокую степень сознательности советского человека.

Соколов — национальный характер. Но в нем «исконно русское» неотделимо от социалистического. Две эти стороны в характере героя

взаимно пронизывают и обогащают друг друга, причем социалистическое в последнем счете играет определяющую роль.

Могут сказать, что Андрей Соколов поступает так, как поступил бы на его месте всякий порядочный человек в любом обществе. Но ведь все дело в том, что социалистическое и есть самое человеческое, самое высокое, самое гуманное, самое порядочное. В этом и состоит общечеловеческая притягательная сила социализма. Чем естественнее, обычнее становятся социалистические, а в наши дни и коммунистические нормы жизни, тем прочнее, глубже, убедительнее победа нового общественного строя.

Хотя социалистические нормы жизни уже стали для подавляющего большинства современных советских людей самыми «естественными», почти «природными», это вовсе не означает, что любому гражданину нашей страны вместе с паспортом автоматически вручается право называться человеком подлинно социалистическим. Социалистические нормы жизни — это прежде всего основная тенденция развития нашего общества, а не «бесплатное» приложение, которым механически обладает любой человек, родившийся при социализме.

Сейчас, как указывает партия, задача состоит в том, чтобы каждый человек совершенно сознательно, всей душой и сердцем пришел к органическому усвоению новых общественных норм жизни, к их практическому осуществлению. Общая объективная тенденция развития нашей действительности в значительной мере облегчает, но вовсе не исключает поиски этого пути для еще недостаточно сформировавшихся советских людей, особенно молодежи. Подавляющая часть советских людей уже давно пришла к мысли о необходимости трудиться на благо общества, но сейчас необходимо, чтобы каждый человек не умозрительно, не абстрактно логически, а всем своим существом принял это положение и в повседневной жизни неукоснительно соблюдал его, активно претворяя в действительность. Именно *каждый*, и это особенно важно подчеркнуть. Ведь не случайно в знаменитых формулах социализма и коммунизма прямо говорится: от каждого по способности — каждому по труду, от каждого по способности — каждому по потребности.

Поэтому-то знаменательна и глубоко волнующая история Вальки-дешевки из «Иркутской истории» А. Арбузова. Некоторые критики про- низировали или недоумевали: в чем же, дескать, доблесть и заслуга героини, ее современность, если она только на сороковом году советской власти понимает необходимость честно относиться к своему делу и радуется тому, что получила первую трудовую зарплату. Ведь уже давным-давно в нашей стране миллионы советских женщин заняты созидательным трудом. Но все дело в том, что Арбузов убедительно показывает (именно это и делает его пьесу высоко актуальной, современной), что в наших условиях даже такой человек, как Валька, не может не трудиться честно. Органично и неуклонно она приходит к осознанию своего великого права на труд, своей великой обязанности трудиться.

В наши дни все чаще можно услышать рассуждения о том, что коммунистическое в характере — это прежде всего общечеловеческое, что в связи с развернутым строительством коммунизма социальное в современном характере все больше будет уступать место общечеловеческому.

Прежде всего следует заметить, что коммунистическое и общечеловеческое в характере вовсе не противоречат друг другу, но в то же время они и не тождественны. Коммунистическое выражает собой общечеловеческое в том смысле, что коммунизм действительно воплощает в себе самые светлые идеалы всего человечества, его многовековые мечты и чаяния. Но коммунизм является результатом длительного и сложного социально-исторического процесса, а не простым возвращением к неким исконно человеческим мечтам и чаяниям. Стремление человека любого общества к свободе, равенству, братству и счастью является своего рода

традицией, и в то же время в каждом обществе эти стремления проявлялись специфически, обладали особым социальным смыслом.

Коммунизм практически осуществляет лучшие идеалы человечества, но при этом он отнюдь не теряет своей ясно выраженной социальной направленности.

Коммунизм — это новое общество. И, следовательно, люди, живущие при коммунизме, по-прежнему в своей основе будут представлять совокупность общественных отношений, весьма своеобразных, качественно новых, но тем не менее общественных отношений.

Дело вовсе не сводится к тому, что, превращаясь в коммунистический, современный характер тем самым приближается к общечеловеческим чертам и признакам, возвращается к некой первоначальной человеческой «простоте». Чем больше будет современный характер становиться коммунистическим, тем сложнее и многограннее он будет в социальном отношении, ибо все сложнее и в то же время внутренне более цельной будет структура нашего общества.

Простота коммунистического характера — простота сложная, простота кажущаяся, простота высокая. В ней воедино сплавлены самые тонкие и самые разнообразные человеческие черты, качества и свойства, которые в то же время являются социально значимыми.

Это ставит перед современными писателями и критиками чрезвычайно трудную задачу, обязывает их к тонкому и глубокому пониманию сложнейших общественно-социальных процессов в нашей жизни, вне осмысления и органичного выражения которых нет и не может быть подлинного искусства.

Таким образом, характер и в жизни, и в литературе — явление в основе своей социальное, внутренне чрезвычайно сложное. Истинная социальность всегда предполагает глубину и многообразие, а вовсе не примитивность, схематизм или безжизненную абстракцию, как представляется некоторым критикам.

Социальность может выступать в характере непосредственно — в виде прямых, открытых политических действий героя, его социально откровенных высказываний, мыслей, чувств и т. д. Наряду с этим социальность в характере способна выражаться скрыто, опосредованно, так как весь внутренний психологический строй характера, даже самые его тонкие душевные движения в конечном счете социально окрашены. И писателю, и критику следует всегда учитывать диалектическую сложность этого вопроса.

Современной науке о литературе необходим прежде всего конкретно-социологический, гибкий и тонкий анализ явлений искусства, которым в совершенстве владели Маркс, Энгельс, Ленин и выдающиеся образцы которого мы находим в работах Плеханова, Луначарского, Воровского и других критиков-марксистов.

Социологический аспект при изучении искусства — это и особый, определяющий, самостоятельный угол зрения в исследовании того или иного произведения, это одновременно и внутренний, конечный смысл и направление любого, даже, казалось бы, самого «формального», сугубо эстетического анализа того или иного компонента художественного произведения.

Ю. АНДРЕЕВ:

Время летит со скоростью необычайной, годы мелькают один за другим — только успевай их считать. Кажется, совсем недавно — ведь все так свежо в памяти — наша страна в смертельном напряжении всех сил вела бои на Волге, но вот мы уже отмечаем двадцатилетие этой битвы! Прошло уже двадцать лет!

Вокруг нас иная действительность, иные страны и во многом иные люди: ведь тем, кто не участвовал в войне, кто вырос и сформировался после нее, уже 25—30 лет, это — новое поколение, а за ним движутся десятки и десятки миллионов еще более молодых людей, которые целиком принадлежат послевоенной эпохе.

Всегда ли писатели и литературоведы оказываются в состоянии до конца осознать, что окружающая их действительность очень и очень отличается от той, в которой они начинали работать, в которой складывались их первоначальные представления о мире, о людях, о взаимоотношениях людей? Думается, далеко не всегда. Это в равной степени относится и к тем, кто не может расстаться с догматической пеленой, своего рода панцирем, сковывающим мышление, образовавшимся под воздействием культа личности, и к тем, кто под влиянием критики культа личности и его последствий панически испугался в отрицание всего и вся, полагая, что правда заключается исключительно в выискивании и подчеркивании недостатков.

Пример живого, чуткого мышления, соответствующего реальной действительности — прекрасной и в то же время нелегкой — преподавал всему миру XXII съезд КПСС, который решительно отмежевался от старого, омертвевшего и принял величественную программу строительства нового мира, осуществление которой оказывается возможным лишь на основе исторических успехов нашего народа, достигнутых за годы существования советского социалистического общества.

Историзм — это живая правда литературы. Кожух из «Железного потока» великолепен, но беда, если он не изменился с годами, тогда он уже Горлов из пьесы «Фронт», и он уже вреден так же, как вреден был бы писатель, вздумавший прославлять Горлова за те качества военачальника, которые были уместны у Кожуха. Огнев как положительный герой потому и сменил Горлова в литературе, что сменил его в жизни.

Для литературы время — это прежде всего люди, порожденные временем и типичные для него. На наших глазах история резко ускорила свое движение; важные, действительно определяющие судьбы народов события следуют одно за другим, и с громадной, небывалой в прежние века скоростью стал вырастывать новый человек нового времени, в котором сочетаются лучшие черты прошлого и качества будущего.

Русской советской литературой в 50-е годы создано немало правдивых, проникнутых подлинным историзмом книг, пафос которых созвучен пафосу времени, со страниц которых доносится радостный и ожесточенный гром великого всемирного ледолома. Но верно и то, что не все писатели обладают высокой общественной чуткостью, по-прежнему равняясь на человека, сложившегося в XIX веке и превосходно изученного классикой. Но ведь классика потому и стала классикой, что она ярко, в бесмертных образах запечатлела свое время, свои конфликты, свои радости и свою горе. Именно в этом суть тех уроков, которые дают большие писатели. Переписывать же у них характеры и заимствовать коллизии — значит оказаться в положении некстати запричитавшего фольклорного персонажа. Лучшие художники прошлого творили, исходя из высокого этического идеала, с болью рисовали они людей, столь далеких от их мечты; в то же время с радостью и любовью изображали они человеческое, светлое в людях, создавая подчас героические образы тех, чей путь гармонировал с общим направлением развития человечества — борцов за общее счастье. Естественно для советских писателей наследовать этот пафос величайшей требовательности к человеку, но не изображение самого человека, изменившегося в иной социальной действительности.

Новое время — новые люди, новые характеры в литературе. Характер человека (и литературного персонажа) — это сгусток окружающей

его жизни, это концентрация многочисленных ее сторон и связей, проявление ее тенденций и особенностей.

Из большого круга литературных героев выделим и рассмотрим тех, кого принято определять как положительных героев, т. е. те персонажи, которым симпатизируют их авторы, видя в них воплощение прогрессивных тенденций жизни. Как известно, вокруг этой проблемы велись, да и сегодня ведутся очень интенсивные споры, достигающие подчас подлинного ожесточения, что и понятно, ибо это не какая-то боковая, второстепенная проблема, а самая кардинальная для литературы, так как она связана с проблемой идейного и эстетического идеала, т. е. по существу, с самой концепцией жизни.

Вероятно, всем памятна дискуссия 1954—1956 годов и новый всплеск их в 1959—1960 годах. Не разбирая ход этих дискуссий, восстановим в памяти, так сказать, полярные, наиболее характерные точки зрения, за которыми, разумеется, стояла и соответствующая литературная практика.

Согласно первой, о героях следовало бы говорить, как о людях больших идеалов, решительных поступков, крутых страстей, острого ума, и так говорить, чтобы облик их передавал силу, убежденность, любовь к людям, чтобы дух захватывало, когда знакомишься с такими (А. Малышко, С. Сартаков, Н. Грибачев, А. Чаковский, В. Кочетов и многие другие).

Согласно другой точке зрения, наиболее интересным, заслуживающим первоочередного внимания является человек, который «красиво» переживает, находится в непрестанных колебаниях, в котором непрерывно идет борьба самых противоположных качеств (К. Паустовский, И. Эренбург и некоторые другие).

Определенную черту под этими дискуссиями подвела редакционная статья в «Правде» (31 октября 1960 года), призывающая изображать в качестве положительного героя нашего времени человека, в чьей повседневной жизни проступают черты коммунистического будущего.

В отчетном докладе ЦК КПСС на XXII съезде Н. С. Хрущев еще раз подчеркнул воспитательную роль искусства: «Партия исходит из того, что искусство призвано воспитывать людей прежде всего на положительных примерах жизни, воспитывать людей в духе коммунизма».

Дискуссия 50-х годов о положительном герое — лишь звено в тех спорах о характере героя, которые ведутся уже многие десятилетия «Легко критиковать нас, — могут сказать сторонники многоликого пестрого, противоречивого героя, — тем более, опираясь на статьи, опубликованные в очень авторитетных органах. А вот попробуйте-ка вы, упрощая дела, опровергнуть классиков, которые достаточно много говорили об удивительной многоликости человека и, что гораздо важнее, не только говорили, но и создавали бессмертные образы, доказывающие это». И потянется вереница образов от Гамлета до Жака Баруа, от Печорина до Нехлюдова, образов людей незаурядных и в то же время действительно противоречивых, и засверкают примеры один ярче другого из французских просветителей, английских экономистов, немецких философов и т. д., и завершится эта череда непременно словами Льва Толстого: «...будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как река: вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою».

Замечательно сказано! Но, между прочим, почему же останавливаться на Льве Толстом? Вот и Максим Горький немало говорил об этом же. Об

этом же, да не так! Он не только констатировал факт, но и объяснял его историческую обусловленность и, следовательно, историческую предопределенность его изменения, исчезновения. «... Современный литератор, драматург (М. Горький писал эти слова в 1932 году, — Ю. А.) имеет дело с бытовым человеком, который веками воспитывался в условиях классовой борьбы, глубоко заражен зоологическим индивидуализмом и вообще является фигурой крайне пестрой, очень сложной, противоречивой». Далее, указав, что с этой пестротой и запутанностью надо бороться, М. Горький пишет: «Сложность — печальный и уродливый результат крайней раздробленности „души“ бытовыми условиями мещанского общества, непрерывной мелочной борьбы за выгодное и спокойное место в жизни. Именно „сложностью“ объясняется тот факт, что среди сотен миллионов мы видим так мало людей крупных, характеров резко определенных, людей, одержимых одной страстью, — великих людей».

Да, противоречивость, раздробленность человеческого характера — явление исторически, социально обусловленное и, следовательно, исторически преходящее. Так смотрел на эту проблему основоположник литературы социалистического реализма, и надо сказать, что его мысли не только полностью вытекают из существа марксистской материалистической теории («Сознание... никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием... а бытие людей есть реальный процесс их жизни»), но и почти буквально совпадают с тем, что писали классики марксизма непосредственно об историческом развитии человеческой личности. Они предвидели появление такого времени и такого общественного устройства — коммунистического, когда интересы отдельного человека будут гармонизировать с интересами всех, что явится условием для возрождения человека в качестве цельной личности и возникновения принципиально нового положительного героя и в жизни, и в литературе.

И Монтень, и Дидро, и Кант, и Гегель, и Толстой и многие-многие другие, превосходно писавшие о неоднородности и раздробленности натуры человека, были абсолютно правы в констатации этого социально обусловленного явления. Гений Маркса, пришедшего в мир не только объяснить, но переделывать, позволил ему увидеть факт не в его закосневшей неподвижности, а в исторической перспективе. Великий писатель нового времени М. Горький по-марксистски подошел к проблеме характера и по-марксистски объяснил появление в новых исторических условиях гармонического человека (Человека, как он говорил, с большой буквы).

Отличие крупных интересных людей от тех, за кого ратуют сторонники душевной противоречивости, заключается прежде всего в наличии у них ясного идейного ориентира, который помогает определять верное направление в нелегких жизненных ситуациях. Не способностью к душевной сумятице определяется ценность человека, а его практической деятельностью, верной социальной направленностью, его мыслями и поступками — и это определяющее. Если это новый человек, он может быть чрезвычайно многогранным в своих интересах и проявлениях, может быть и относительно менее развитым, но во всех случаях он будет далек от противоречивости в главном — в отношении к коллективу, обществу, общественно-значимому труду.

Ни в коей степени здесь не идет речь о том, что следует изображать только таких людей, нет. Мы говорим об объективном критерии, о том, что существует подлинная, действительно научная мера того, что представляет собой передовой человек, положительный герой нашего времени.

Дробность души была естественной и неизбежной при капитализме, и велика заслуга тех художников, которые ее увидели и отразили. Человек колеблющегося, неустойчивого, клочковатого мировоззрения может и должен быть и сейчас объектом изображения, но именно в качестве

представителя отживающего мирозерцания. У такого человека есть прошлое, есть настоящее, но историческое будущее у него отсутствует. Поэтому безусловно правы те, кто в качестве положительных героев нашего времени стремится воспроизвести таких людей, для которых коллективистская коммунистическая мораль, нормы советской жизни — это естественное состояние, а не труднодостижимый предел.

Андрей Соколов — простой шофер, прошедший через многие страдания и бедствия. Испытания, выпавшие на его долю, принесли ему нечеловеческое горе, но это жгучее горе не смогло выжечь человеческие чувства в его душе, никакие опасности не смогли заставить его изменить убеждениям. Его судьба — это действительно судьба Человека, это торжество советской морали. Андрей Соколов выстоял потому, что он ощущал себя частицей великой силы, частью народа. Михаил Шолохов, изображая Андрея Соколова типичным русским человеком, показывает его в то же время советским русским человеком, акцентируя внимание на том, что делает Соколова человеком нового мира, а именно: борьба за утверждение советской власти, сознательное участие в коллективной работе, активная ненависть к предательству, неукротимое стремление продолжать борьбу с фашистами. Не каратаевская, но корчагинская сила духа и цельность натуры присущи главному герою «Судьбы человека» Андрею Соколову.

Люди, цельные в своем отношении к долгу, к труду, к обществу, к товарищам, к врагам, — таковы братья Платон, Яков и Дмитрий Ершovy, о которых с нескрываемой любовью рассказал В. Кочетов. Прямыми и ясными, отчетливо представляющими свой путь в жизни встают перед нами Балувев и его трудовые товарищи из повести В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балувев». Всем им присуща готовность без колебаний совершить все, что требуется для общего дела, даже если это связано с риском для жизни. Здесь им чужды сомнения и противоречия. Это же характеризует большую трудовую семью в эпическом повествовании Г. Коновалова «Истоки» и др. Называть произведения, в центре которых люди коллективистской морали, настоящие советские люди, можно долго — ведь литература не может не отражать действительности, а процесс становления нового человека — важнейший в наше время.

Многие герои произведений последних лет — люди разных специальностей, возраста, пола, положения, темперамента, образования и т. д. Это — настоящие живые герои своего времени, у которых не только нет никаких противоречий с задачами и целями общества, но, напротив того, именно общество, именно советское государство и выражает наиболее полно их цели и стремления.

Положительные герои такого типа, герои высоких идеалов, всегда были гордостью советской литературы, ибо именно они с наибольшей полнотой отразили тип человека, революционно преобразующего мир, человека, подобного которому не знают страны капиталистического мира.

Советскими писателями создано немало положительных героев, подчиняющих все свои дела и помыслы высокой идее и являющихся в то же время по отношению к окружающим как бы мощными генераторами нравственной и общественной энергии. В большой галерее подобных образов можно встретить портреты, внешне мало похожие, но в целом, в совокупности признаков воссоздающие своего рода генеалогию этого замечательного человеческого характера. Тут и Семен Давыдов из второй части шолоховской «Поднятой целины», и Василий Денисов из романа Кочетова «Секретарь обкома», и генерал Панфилов из повести А. Бека «Резерв генерала Панфилова» — люди, всю жизнь отдавшие великому делу, умудренные большим жизненным опытом, вдохновленные светом ленинского учения. Но здесь же и совсем молодой парепек из повести Л. Парфенова «Человеку семнадцать лет», с юных лет готовящийся к героиче-

ской жизни во имя освобождения всего человечества: годы его возмужания падают на нелегкий, но в то же время радостный период в жизни страны — 1944—1945 годы. А вот у восемнадцатилетнего Богдана Колосовского (роман О. Гончара «Человек и оружие») период расцвета незаурядных человеческих качеств падает на трагические месяцы поздней осени 1941 года, именно тогда раскрывается его нравственный облик.

Несомненно, перед теми из писателей, кто обращается к образу современника, идущего впереди, стоят задачи более трудные, чем перед теми, кто избирает объектом изображения тип человека, в общем превосходно освоенный классической литературой XIX века. Удачи таких художников слова имеют принципиальное значение, и открытия, сделанные ими, имеют большой общественный резонанс, так как позволяют ухватить самую суть процессов, совершающихся в человеке и во времени.

Героический характер современника представляет собой явление исторически более высокое, а потому и более прекрасное, чем тот, в основе которого лежит неустойчивость и пестрота желаний, мыслей, поступков.

Необходимо и в эстетической теории, и в художественной практике преодолеть инерцию того ошибочного представления, что цельный характер — это простой, примитивный по строению характер, и, следовательно, современной литературе, обогащенной умением изображать внутренний мир человека с исключительной тонкостью, в данном случае делать нечего. Здесь цельность понимается как ограниченность, педантизм, узко направленная сила. Это глубоко неверно. Внутренний мир Балуева, Багрянова, Дешисова и подобных им людей сложен и многообразен. Но в отличие от носителей дробного мирозерцания люди цельного характера обладают доминантой, т. е. главным, основным интересом в жизни, и по отношению к этому высокому идеалу расценивают они сами все свои мысли, чувства, желания, поступки, намерения. Это только карикатурным «кожаным курткам» чужды сомнения, душевная боль, внутренняя борьба. Людям особого склада, подобно Марксу, «ничто человеческое не чуждо», в том числе и колебания. Однако радикальнейшее отличие людей цельной натуры от тех, кто душевно пестр, состоит в том, что в результате борьбы противоречий побеждают те мысли, те желания, которые созвучны общенародным интересам, не идут вразрез с передовыми идеалами.

Я хочу обратить внимание на несхожесть тех, кто является положительным героем нашего времени. Возьмите «небесных братьев» Гагарина и Титова, насколько это разные люди: один более поэтичный, лиричный, смешливый, другой более резкий, рациональный, склонный к парадоксам. А в главном — в своих стремлениях — они едины. Так и в литературе: Веняка Малышев не похож на Илью Лемехова, Владимир Устименко — на Сапу Мордвинова. Но при всей несхожести это именно те люди, в которых зримо воплощены качества людей коммунистического общества, из среды которых выходят Гагановы и Гагарины, ибо они воплощают в себе черты нового типа, достигнутого человечеством в его развитии.

Изображая в качестве положительных героев нашего времени людей цельной, героической, богатой натуры, советские писатели идут в ногу со временем, ибо они в настоящем воспитывают тех, кому жить при коммунизме.

В. БУЗНИК:

В последнее время часто приходится слышать, как, желая похвалить то или иное произведение, критика с удовлетворением отмечает, что художник показывает нам «обыкновенный день самого обыкновенного человека», что сюжет повести, или рассказа, или пьесы «прост и неприязнителен», что автор утверждает «героизм незаметного» и т. д. Иными словами, на пьедестал искусства усиленно возводятся частности, единич-

ность, конкретность как основа художественной типизации. Больше того, интерес к единичному иногда даже противопоставляется стремлению к широкому социальным обобщениям, причем явное предпочтение отдается тем, кто предлагает вниманию читателя поток непосредственных впечатлений и наблюдений или, как говорят, рисует жизнь «как она есть». В таком духе велась в свое время дискуссия по поводу права художника рисовать жизнь в масштабах «карты-двухверстки». Подобные мнения высказывались в связи с романами Бондарева и Бакланова.

Не так давно поэт Евгений Винокуров выступил со стихотворением, знаменательно озаглавленным «Единичность». Шутливый тон сочетался здесь с убежденностью творческой декларации. Поэт с негодованием рассказал о человеке, который, имея страсть «чрезмерно обобщать», строил превратные обобщения, не опирающиеся на достаточное количество фактов. Он мог, к примеру, изречь: «Лентяй все друзья твои», хотя знал всего одного из этих «друзей». Возмущенный, поэт приходит к такому выводу

Мне стал постыл его пустынный взор
И схемы, что не требуют поправки
Я единичность полюбил с тех пор
Вот дом Вот сад Вот человек на лавке

Смысл этого стихотворения, как и других выступлений в защиту «единичности», в защиту «карты-двухверстки», в протесте против ложной обобщенности, против ходульности и пустословной риторики. Такой пафос можно понять. В послевоенное десятилетие у нас действительно появилось много бездушно-схематических произведений. Однако разве бездумное описательство, констатация отдельных фактиков, выписывание дегаблей может спасти от схематизма, от безликости, от предвзятой тенденциозности? Сейчас печатается немало стихотворений, рассказов, авторы которых, похоже, следуют винокуровскому девизу «Вот дом. Вот сад Вот человек на лавке» И что же? Стараясь уйти от безликости «лучезарных обобщений», писатели приходят к другой безликости — к безликости мелочей. А в мелкотемье теряются, тонут характерные черты времени.

Не спасают от абстрактности, от искусственного правдоподобия и попытки подменить социальное осмысление фактов философствованием в пределах общечеловеческой, надвременной морально-этической проблематики. Показательны в этом отношении рассказы Юрия Казакова из его первой книги «На полустанке». Показательны потому, что по манере письма, по таланту этот молодой писатель чрезвычайно склонен к конкретной живописности изображения. Он обладает завидной способностью так рассказывать, что как бы воочию видишь все то, о чем говорит писатель. Эта особенность проявляется не только в описаниях природы, но и в мастерстве человеческого портрета. Казаков не столько рассказывает о человеке, не столько позволяет герою высказываться, сколько показывает его: жесты, манеру поведения, приметы наружности. И через внешнее бывает безошибочно видна сущность характера. Казалось бы, при такой манере нет места бездушной схеме, абстрактности. Однако при всем том рассказы Казакова оставляют впечатление именно абстрактности, сделанности, искусственности.

Беда здесь не столько в традиционности приемов, в подражании стилю классиков, в повторении сюжетных ситуаций Чехова, Тургенева. Дело в том, что, когда возникает вопрос, почему герои поступают именно так, почему душевно тонкая девушка любит жестокого, тупого и самодовольного парня («На полустанке»), или когда задумываешься, что скрывается за аллегорической историей гонимого пса Арктур, который, несмотря на слепоту, следовал зову крови, мчался в лес и погиб, — ответы получаешь какие-то общие, в духе вечных конфликтов между добром и злом, между талантом и средой, между чистотой и низостью.

А ведь всякое время по-своему решает даже самые «вечные» вопросы. Но этой социальной обусловленности изображаемых конфликтов во многих рассказах Казакова совсем не чувствуется. И потому они кажутся блестящей стилизацией, а не настоящим искусством, для которого основой является жизнь, а не литературные образцы, пусть самые великолепные.

Значит ли это, что связь общего с единичным, исторически существенного с конкретными индивидуальными характерами должна обплетаться обязательно в прямой, непосредственной форме?

Есть писатели, которые насыщают свои книги многочисленными внешними приметами эпохи. Их герои, если они люди 60-х годов XX века, обязательно говорят и о кибернетике, и о космических полетах, и о проблемах долголетия, и о снежном человеке. Но от этого произведения не становятся жизненно правдивыми, если правда не обобщена в характерах героев: в строе их чувств и переживаний, в их жизненных запросах и желаниях, в их стремлениях, привычках, обычаях, во взглядах на большое и малое, с чем им приходится сталкиваться по воле автора. Ибо никакая частность, деталь, черточка в характере литературного героя, так же как и в человеческом характере, не случайна и не должна расцениваться сама по себе, в отрыве от целого. Таково одно из важных правил искусства.

В этой связи интересно рассмотреть, как осуществляется это правило в произведениях больших мастеров. Остановимся на некоторых особенностях типизации в шолоховской «Поднятой целине».

Дело в том, что в этом романе устами одного из героев Шолохов как будто оправдывает как раз необъяснимые свойства человеческой личности. Имеется в виду известное рассуждение давидовского возницы, чудаковатого Аржанова о «чудинке». В ответ на замечание Давыдова: «...а все-таки, дядя Иван, ты человек с чудинкой», — последний рассказывает такую притчу:

— Да ведь чудинка — как тебе сказать... Вот растет вишневое деревцо, на нем много разных веток. Я пришел и срезал одну ветку, чтобы сделать кнутовище, — из вишенника кнутовище надежнее, — росла она, милая, тоже с чудинкой — в сучках, в листьях, в своей красе, а обстругал я ее, эту ветку, и вот она... — Аржанов достал из-под сиденья кнут, показал Давыдову коричневое, с засохшей, покоробленной корой вишневое кнутовище. — И вот она! Поглядеть не на что! Так и человек: он без чудинки голый и жалкий, вроде этого кнутовища».

Перейдя от «общих» рассуждений к «личностям», Аржанов заметил, что у самого Давыдова тоже есть своя «чудинка»: «...ты с Лушкой Нагульновой путаешься — чудинка».

Попробуем разобраться, какова роль этой «чудинки» в художественной концепции романа, посвященного процессам социалистического переустройства жизни.

Итак, Давыдов и Лушка. Зачем она в судьбе Давыдова и в общем содержании книги? Как этот женский образ помогает раскрыть внутреннюю тему «Поднятой целины» и какие стороны характера героя проявляет, объясняет он?

Но сначала о самой Лушке. Что она за личность?

В нашей критике Лукерье Нагульновой определенно не повезло. Этому образу, занимающему в произведении столь большое место, либо вовсе не уделяют внимания, либо толкуют Лушку как этакую вздорную, пустую и шикчемную «бабенку».

Основания для неприязненного отношения к Лушке в романе есть немалые. Писатель не раз характеризует свою героиню как «своенравную и взбалмошную», говорит о ее «дешевеньком самолюбии». С иронией в адрес Давыдова Шолохов замечает, что тот, «пораженный любов-

ной слепотой», не видел, «что возлюбленная его была особой, может быть, даже более, чем надо самоуверенной и, несомненно, самовлюбленной». Нехорошо судят о Лужке и герои романа.

Все это так. И самонадеянность, и самовлюбленность, и Лужкино бездумно-потребительское отношение к жизни не могут не вызвать нашей неприязни.

Однако отчего мы не говорим: «поделом», а всем сердцем соглашаемся с Разметновым, когда тот, рассказав о последней встрече с Лужкой, добавляет: «И что-то во мне воспечалось сердце, жалко стало прежнюю Лужку, молодую, хлесткую, красивую!» Отчего случилось у Шолохова и то, что умные, душевно тонкие, «дорогие сердцу» его Нагульнов и Давыдов — один глубоко любит, а другой крайне увлечен именно Лужкой? Только ли одной вызывающе яркой, «приманчивой» красотой, от которой даже «стойкий» казак Разметнов вынужден был «обороняться» грубостью, объясняется неотразимое очарование «предбывшей» жены Макара Нагульнова?

Шолохов не прячет за «объективностью» своей оценки поведения Лужки. Но вместе с тем героиня живет на страницах романа по законам, не навязанным извне, а естественно вытекающим из собственной сущности данного типа. Лужкины недостатки и слабости — не что-то случайное, необъяснимое. Они — своеобразное, уродливо преломленное порождение сильных, привлекательных сторон ее же характера. Все они «сходятся» в фокусе, так как строго подчинены одной, главной, доминирующей черте образа героини.

Что же это за «фокус»? В чем пафос центрального женского характера «Поднятой целины»?

Песня песней жизни Лужки — любовь, любовь сильная, безудержная и одновременно легкая, вольная. Такая, ради которой ничего не жалко. Для нее любовь не забава, как может показаться поверхностному читателю, любителю «клубнички». Лужка лишь в определенных ситуациях и переделках озорует, изо всех сил старается казаться вульгарно-беззащитной. Так, например, грубо, цинично разговаривала она с Давыдовым, зная, что за стеной ее подслушивает «мокрогубая ханжа».

Но вот какой совсем другой бывала она в светлый час любви. Здесь для нее святая святых, и чудо, и радость: «И когда они сели рядом на разостланном пиджаке, приблизила к усмешливому лицу Давыдова свое, ставшее строгим, странно похорошевшее лицо, сказала:

— Хватит про хлеб и про колхоз! Зараз не об этом надо гутарить... Ты чуешь, как пахнет молодой лист на тополе?»

Лужкины представления о счастье были связаны с мечтой о жизни просторной, радостной. Вспомним, как она ответила на предложение Давыдова стать «квалифицированной женщиной»: «Дюже колготы много. Я работать люблю легко, чтобы просторней жилося, а так, что же?» Главное же — чтобы в жизни этой было много любви, чтоб «кровя не ржавели от делов».

Нашла ли она это свое счастье?

В романе показаны три любовные истории, и все они не приносят Лужке желанного. Счастье с Макаром «не получилось», потому что тот, говоря его же словами, был «весь заостренный на мировую революцию». Что касается любви, то на этот счет рассуждения Макара были самые что ни на есть уничтожающие. Вспомним филиппику Нагульнова против «женского полу» («А баба мне — тьфу и больше ничего»). Только позже, в самом конце романа мы узнаем, как на самом деле глубоко и преданно любил свою Лужку Макар. Но будет поздно. Слишком много ошибок и обид пролегло между ними.

С Давыдовым у Лужки все было как будто иначе. Он сразу привлек ее своей непохожестью на Макара, «зачерстившего в делах и ожидании

мировой революции». Но и с ним она не нашла того, чего искала. Вместо независимой, ни с чем и ни с кем не считающей любви (а только так понимала независимость Лушка, говорившая о себе: «Я — вольная птица, куда хочу, туда и лечу») ей пришлось довольствоваться тайными встречами, сопровождающимися постоянным опасением, как бы не уронить во мнении всевидящих хуторян председательского авторитета Давыдова.

По сравнению с такой любовью Тимофей Рваный, конечно же, был в глазах Лушки, что называется, «на высоте». Он один умел, «с любовью засматривая в глаза», ластиво говорить дорогие для Лушки «ласковые слова». «Будто листья на тополе, — пишет Шолохов, — отропотали ласковые Тимофеевы слова...» И за это она его единственного глубоко любила. Верила, что ради нее убежал с каторги, прятала, холила, кормила. Но Тимофей погиб. Лушке так и не довелось узнать, что не ради ее прекрасных глаз вернулся кулацкий сын на хутор. Однако так или иначе, а и здесь счастье от нее ушло.

Так трижды обманутая жизнью Лушка разуверилась в любви. А, разуверившись, перестала быть сама собой. Недаром Разметнов едва узнал ее, встретив в городе. Кто знает, как обернулась бы судьба Лушки в другое время, когда люди иначе бы смотрели на любовь, не прятали ее за притворной грубостью, не отгораживались от нее делами? Отсюда-то и тянется эта крепкая нить, которая связывает судьбу Лукерьи Нагульновой с образом Давыдова, а также с общей проблематикой «Поднятой целины».

Иногда критики, стараясь представить Давыдова человеком сильным и мужественным, поступки, помыслы и чувства которого были всегда ясны и чисты, идут зачем-то при этом путем своеобразного «очищения» шолоховского героя от каких бы то ни было ошибок, заблуждений. Как будто последние могут свидетельствовать лишь о сдаче идейных позиций, о падении, а ни в коем случае не о духовно-нравственных и иных поисках, не о внутреннем росте личности.

У Шолохова в романе все и проще, естественнее и гораздо сложнее: как в жизни. Его Давыдов — живой человек, натура по-своему увлекающаяся, хотя и прямолинейно-бесхитростная. В любви Давыдова к Лушке не все так «идеально», как представляется, например, Ю. Лукину. «Как молнией, ослепленный внезапно подкрившимся большим чувством» герой, конечно же, буквально схватился за идею перевоспитания не столько ради самой Лушки, сколько потому, что тем вроде бы оправдывалось и перед людьми и перед самим собой более чем странное увлечение председателя гремяченского колхоза бывшей женой друга и любовницей кулацкого сына Тимошки Рваного. Писатель позволяет нам заглянуть в мысли героя, когда тот обдумывает свое решение жениться, «чтобы в конце концов выйти из того ложного положения, в какое он себя поставил, и тем самым прекратить всякие могущие возникнуть на его счет пересуды». И мы видим, что в резких и обидных словах Лушки, упрекавшей Давыдова: «Тебе наплевать на меня!», — была своя горькая правда.

Многое в отношении Давыдова к Лушке объяснялось, разумеется, индивидуальными особенностями человеческого характера этого рабочего парня, бывшего матроса. Но при всем том Давыдов поступал и думал так, а не иначе (и здесь у него много общего с Макаром Нагульновым) потому, что в силу своих гражданских убеждений иначе он поступить не мог. Для него дело, колхоз — первое в жизни, точно так же, как для Макара — мировая революция превыше всего. И если Макара каким-то внутренним, подсознательным образом все-таки догадывался, в чем его ошибка с Лушкой, отчего она ушла и от него, и от его друга Семена («...а вот насчет разных любовей Тимошка нас с тобой, брат, обштопал»), то Давыдов только жестоко переживал, «мысленно прокли-

нал себя за опрометчивость, за неосмотрительную связь с Лушкой», но не в силах был что-либо изменить. Он готов был скорее задним числом поверить, что «даже маленькой капли любви не было в их отношениях», но выхода из противоречий между чувством и долгом не видел.

Такие это были люди — правофланговые народной массы, считавшие себя наиболее ответственными за жизнь и перед людьми и перед собой. И такая это была эпоха, когда в сознании немалой части вчерашних участников революции и гражданской войны еще жил, хотя и выглядел уже анахронически смешным, известный предрассудок, порожденный суровым временем боевых лет. Наиболее преданными сынами революции личная жизнь все еще расценивалась как нечто второстепенное, сопряженное чуть ли не с изменой делу мировой революции. А между тем, вопреки головным, сконструированным представлениям о том, каким должен быть новый советский человек, жизнь людей революции кипела страстями, сердца их бились горячо и страстно.

Так Шолохов сумел в самом характере любовных взаимоотношений героев передать типические черты духовно-правственного облика целой эпохи в истории нашего общества.

Наконец, еще об одной особенности давыдовской «чудинки» — о связи истории любовных взаимоотношений Давыдова и Лушки с большой внутренней темой «Поднятой целины». Тема эта — рождение новых, социалистических взаимоотношений между людьми, рождение новой, социалистической личности.

Давыдов — характер, формировавшийся в процессе борьбы за новое. Его внутренний путь — от прямолинейно-партизанского решения вопросов («рубану напрямик, по-рабочему»), порожденного эпохой гражданской войны, к вдумчивому умению входить в мир интересов массы, чтобы вместе делать общее дело. Когда петроградский слесарь приехал в казачий хутор, перед ним «стеною встал ряд вопросов». Хотя он ехал на работу «вовсе не таким уж наивным горожанином», все же разворот классово-борьбы, ее путаные узлы и зачастую потаенно-скрытые формы «представлялись ему не столь сложными, какие увидел он в первые же дни приезда в Гремячий». Многое в людях было закрыто для Давыдова «какой-то неощутимой, невидимой завесой», он не мог «подобрать ключа» к познанию многих людей и их взаимоотношений. И среди этих людей Лушка, такая сложная, противоречивая, явилась, пожалуй, наиболее крепким «орешком», который Давыдову предстояло раскусить, чтобы войти в жизнь гремяченцев прочно, необходимо, с верой в хуторян и в то же время пользуясь их доверием, расположением.

На первый взгляд может показаться, будто незадачливая любовь гремяченского председателя кончается в романе ничем. Будто она всего «досадный эпизод» (Ю. Лукин) в жизненной и литературной судьбе героя. Лушке эта любовь принесла еще одно разочарование. А для Давыдова «вся эта не очень плотная история с Лушкой — как плохое, незаконченное письмо, оборванное на полуслове. Только и всего!» Но так ли на самом деле? Не кажется ли это все Давыдову, причем в момент для него горчайший, когда он не был еще в состоянии трезво оценить случившееся, а тем более предвидеть, что будет дальше?

Стоит внимательно приглядеться к ходу действия в «Поднятой целине», чтобы заметить, что давыдовская «чудинка» служит в романе своего рода глубокой и тонкой психологической параллелью ко многим важным событиям, в которых рождался не только новый, колхозный хутор Гремячий Лог, но и новый Давыдов. Эта женщина оказалась как бы первым камнем, о который споткнулся краснопутиловский посланец, попав в новую для него среду. Давыдов, резко осудивший Макара за терпимость к лушкиному поведению, в скором времени сам попадает в нелучшее положение.

И в этом заключалась преподанная действительностью наука о том, что нельзя просто, с кондачка решать сложные вопросы, связанные с судьбами живых людей. И оттого, что эта наука касалась Давыдова лично, как, может быть, никакая другая, она была и наиболее действенной и наиболее запоминающейся. Думается, неслучайно известный эпизод с Устином, когда Давыдов впервые так ясно почувствовал и понял неправильность усвоенной им манеры обращения с людьми, излагается в главе, которая следует непосредственно после того, как окончательно был развязан Шолоховым узел, связывавший Давыдова и Лушку. Только после всего пережитого смог Давыдов по-новому, новыми глазами посмотреть на человека, который в другое время был бы оценен им просто как враг. Сила и мужественность Давыдова как личности заключалась, таким образом, не в том, что он никогда не поддавался никаким заблуждениям, а в том, что из огня страстей и испытаний выходил не сгоревшим, но умудренным и потому еще более сильным. И в этом типическая сущность этого ярко индивидуального характера. А его «чудинка», — казалось бы, необъяснимая давыдовская страсть к взбалмошной и непутевой Лушке, как мы попытались проследить, в общем и целом не только не противоречит этой сущности, но выявляет ее ярко, рельефно, хотя и в своеобразном жизненном ракурсе.

Неповторимо индивидуальное в характерах героев больших мастеров, как видим, связано с социальностью, с историческим потоком, который «несет» героев, и притом связью не прямой и непростой. Настолько непростой, что иному может показаться даже «нетипичным» такой, скажем, индивидуально заостренный характер, как шолоховский дед Щукарь с его парадоксальными «чудинками». Такого, дескать, в жизни не бывает! Но художественное творчество, как известно, отличается от фотографирования как раз искусством воплощения большого в малом, общего в индивидуальном, типического в особенном. А для этого у каждого большого художника есть свои средства, среди которых и условность, и заострение, и преувеличение, и многое другое.

Творческое новаторство сопряжено с развитием и совершенствованием всех этих средств. Недаром писатели, напоминая о необходимости повышения своего писательского мастерства, ратуют за его, так сказать, «оснащение» самыми тонкими и одновременно самыми мощными «инструментами» художественного проникновения в человеческую душу. Так, например, Леонид Леонов, говоря, что «искусство должно быть тонко», в то же время осуждает авторов, которые «действуют... по старинке, ... пользуются словесным искусством, ... как домброй об одной струне». Он сопоставляет литературу с современной наукой и призывает литераторов осознать всю сложность своей работы: «Посмотрите на какой-нибудь прибор в аппарате для сшивания кровеносных сосудов, на электронный микроскоп — какая это сложная механика! Неужели проникновение в душу творца этих вещей настолько проще, что в нее можно тешь в рукавицах, с грубым инструментом — отверткой и стамеской».

Однако подлинное новаторство никогда не сопровождалось сужением идейных горизонтов. Тем меньше оснований для отхода от социальной обобщенности в мелкотемье или же, напротив, в литературные абстракции дает искусству наша современность, деяния и переживания великого народа, который осуществляет буквально всемирный, исторический подвиг.

1. БРИТНКОВ:

Исключительное внимание к внутреннему миру героя в последнее время стало словно девизом лучших романов и повестей, пьес и кинофильмов: в минувшее десятилетие во многом по-новому мы взглянули на

положительного героя нашего времени. В эти годы с очевидностью стало ясно, что коммунистическая нравственность каждого члена общества — не только наша идеальная цель, которая когда-то будет достигнута, но что уже сейчас, при переходе к коммунизму, она становится практической необходимостью.

«...От нравственности каждого человека зависит мое материальное, жизненное благополучие. Так, значит, дерись за каждого человека, как за свое личное счастье! Вот про это бы писать надо. За такие книжки мы, хозяйственники, литераторам в ноги бы кланялись. А то — плохой человек! Если он сам по себе плохой, это не так уж важно. Важно, что от него другим плохо. Вот про это надо яростно писать, беспощадно!»

Так, несколько может быть огрубляя, говорит герой повести В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балугев» о своеобразии нравственно-психологической проблемы в 50-е годы, после XX съезда партии

Култ личности породил известный разрыв между проповедью коммунистической морали и нравственности и практикой, когда грубо нарушались ленинские нормы. Бытовал — и в жизни и в литературе — несколько отвлеченный подход к духовному совершенствованию человека, строящего коммунизм. Сама проблема перехода к высшей стадии коммунистического общества не вышла еще из области отвлеченных теоретических споров, хотя к началу Великой Отечественной войны социализм уже был построен, а к XIX съезду партии имелись все основания для того, чтобы наметить следующий этап. Однако в качестве основного звена перехода обсуждалось, напомнил на XXII съезде А. И. Микоян, не то, как создать материально-техническую базу изобилия — решающий фактор коммунизма, а всего лишь то, как приблизить социалистические формы собственности к коммунистическим.

Во второй же половине пятидесятых годов страна перешла к действительному обеспечению изобилия, к решению основной экономической задачи, и проблема духовного совершенствования человека встала очень практически. После XX съезда, когда ускоренный экономический подъем страны стал фактом, высокие нравственные качества, обеспечивающие кроме всего, наилучшую производительную отдачу, стали в нашей жизни и материальным фактором.

Сегодня мы с такой страстностью боремся за душу человека не только потому, что коммунизм должен стать обществом духовно прекрасных людей, но и потому, что без подобных людей сейчас просто невозможно ускорить возведение здания коммунизма. Именно по этой причине старый спор о том, насколько сознание должно поспевать за жизнью, чтобы не слишком отстать, перешел из кабинета философа на строительную площадку, и это — самый главный залог успешного его решения.

Вот откуда в литературе пятидесятых годов такой исключительный интерес к нравственному облику положительного героя. Писатели стремятся проследить, как перемены в нашей жизни — от самых широких общественных ее основ до условий труда в той или иной профессии — приводят к постепенному накоплению в человеке элементов коммунистической нравственности и как эта новая, более высокая нравственность, в свою очередь, влияет на жизнь.

Вот, например, Балугев. В давние времена, когда на строительстве преобладал ручной труд и работали десятки тысяч людей, он разговаривал с рабочими так: влезал на ящик и произносил речь. В своем воображении он создавал «эдакий коллективный портрет, в котором смешивались одновременно черты сотен людей, объединяемых по признаку неких общих достоинств или недостатков, изучаемых в канцелярии».

Это был не только способ разговора с людьми, но и отношение к человеку: Балугеву не доставало индивидуального подхода, и это зависело

не только от его личной доброй воли... Но по мере того, как малоквалифицированный человеческий труд заменяла сложная техника, возникала не просто отвлеченно моральная, но и очень конкретная производственная, более могущественная необходимость знать каждого и знать не только в лицо. Ибо от того, дурной или хороший человек повелевает могучей техникой, даже от того, дурное или хорошее у него расположение духа, стало зависеть слишком многое.

И вот Балуюев — по натуре грубоватый, властный, раньше не очень-то склонный разбираться в психологии — начинает теперь понимать, что руководитель — не повелитель, что роль его среди подчиненных гораздо сложнее и значительнее и что он обязан быть именно психологом, обязан быть хорошим человеком, если желает успешно вести дело.

Это очень важно: здесь действует не только та часть сознания, которая говорит: будь хорош с людьми, потому что ты коммунист, но и та, которая говорит, что ты не оправдаешь себя как руководитель, как строитель коммунизма, если не будешь ближе к подчиненным, не станешь теплее и справедливее как человек. Так техника «грубо» вносит новое в «производственные отношения» и через них очень тонко — в нравственный облик человека. Надо отметить, что эта сторона связи нравственности с действительностью отчетливо проявляется в современной жизни. Сегодня стало особенно наглядно видно, что гуманизм не только идейно присущ коммунистам, но и заложен в самой экономической основе создаваемого ими общества, и с его развитием это сказывается все сильнее и сильнее.

Быть чистым, честным, человеческим не только потому, что это «принято», что это «хорошо», но и потому, что это сторицей отдается людям, потому, что это приблизит их счастье; сознавать, помнить каждый день свой, учитывать в будничной работе пользу душевной красоты — вот чем озабочен Балуюев, и в этом, думается, психологическая новизна этого характера.

Еще до появления повести В. Кожевникова в романе Г. Николаевой «Битва в пути» убедительно было показано, как сильно меняет нравственный мир человека дело, которому он служит.

«По особенностям своего характера, — рассказывает писательница о своем герое, инженере Бахиреве, — он сближался с людьми медленно. Он был сосредоточен и самолюбив, он не мог и не хотел нарочито и сознательно ускорять сближение с нужными ему людьми. Он наделал на заводе немало ошибок, оттолкнувших от него заводчан. Повиниться перед ними? Он с трудом сознавался в своих ошибках даже самому себе. Но потребность в долгожданном действии пересиливала все. Перед ней отступали и особенности характера, и собственное самолюбие, и неумение признавать ошибки... Дело потребовало поступков, несвойственных его характеру, — значит надо ломать свой характер! Надо идти к людям, вчинить перед ними, искать их помощи...».

Бахирев одолел директора завода Вальгана и в то же время одолел индивидуалиста в самом себе, потому что его совесть коммуниста и его долг инженера были многократно умножены оздоравлиющим духом XX съезда. Не случайно действие в романе разворачивается в переломный предсъездовский год. Скажем, в конце 40-х годов такое преображение героя вряд ли было бы возможно, по крайней мере, оно не было бы таким полным и благотворным.

«Некоторые обстоятельства прошлого, — пишет В. Кожевников, — вынуждали хозяйственников вырабатывать для себя... иммунитет от возмездия за рискованную инициативу». Балуюев когда-то прибежал к разным «способам самостраховки! Это помогало ему, но не делу». «Помнишь, раньше? — вспоминает Балуюев. — Каждый хозяйственник на себя кольчужку надевал из приказов, инструкций, докладных. В случае

чего — пожалуйста — прикрыт. Сколько наших под суд попадало! Каждый знал законы в объеме высшего юридического образования. Кто был главный человек на стройке? Прокурор. Сколько я с ними папирос выкурил! С некоторыми дружил даже... Попадались башковитые, сами стройкой зажигались, помогали).

Был с Бахиревым такой случай. Когда перестройка завода стала угрожать программе, ему позвонили из МВД:

«— Что у тебя там творится на заводе? Гробится программа?

— Идет реорганизация...

— Так вот что... ты скажи... ты там сидишь или стоишь?

— А что?

— Смотри, как бы тебе не сесть!...

Бахирев... слышал, как сердце тяжело ворочается в груди».

Такая обстановка не способствовала, конечно, воспитанию инициативы и смелости. Руководителю было не до психологических проблем. У слабодушных оживлялись эгоцентрические наклонности.

«Мы с тобой Двадцатый съезд еще во всю глубину даже не осмыслили, — говорит Балуюев. — С каждым днем все светлее, люди окрылились дерзостью дела, осмелели...

Теперь, конечно, наш брат, хозяйственник, тоже труса празднует. Но это уже боязнь другого сорта, высшего качества, я бы сказал, боязнь. От своего времени отстать боишься — скоростное оно. Будто всю страну, как спутник, на полную мощность запустили».

Вот этот «запуск на полную мощность» и оказался решающим. Ускорило отмирание «родимых пятен», оживавших в атмосфере культа личности. Ликвидация духовного наследия этого времени проложила путь формированию более цельных характеров.

Не трудно заметить: характер современного положительного героя и сложный, и цельный в одно и то же время. Труднее показать, как исторически формируется эта цельность не только на дистанции от древности до новейшего времени, но и от одного этапа коммунистического строительства к другому.

В памяти многих читателей минувшего десятилетия осталась фигура секретаря райкома Мартынова из очерков В. Овечкина «Районные будни». В биографии этого человека есть два-три эпизода, за текущей будничной деятельностью не очень, может быть, бросающихся в глаза, но они необычайно ярко освещают весь его нравственный облик как раз в смысле характерного сочетания цельности и сложности.

Сам, по собственной инициативе, не вынужденный обстоятельствами, Мартынов отказывается перейти из райкома в обком, т. е. на работу более почетную, в большой город... Проходит немного времени, и он уступает свое место первого секретаря Долгушину, себя же просит перевести в другой, более запущенный район.

Мартынов добивается этих перемещений с большой настойчивостью и для иных непонятной, даже подозрительной непоследовательностью. Совсем ведь недавно, будучи вторым секретарем, он «выживал» первого, Борзова, добился своего и «сел» на его место...

Поступки противоречивые. В одних человеком руководит будто бы расчет, а по расчетливости распознают душу мелкую и неблагородную. Однако же мы не перестаем чувствовать, что расчетливость Мартынова какого-то иного сорта. А в других случаях не только нет ни грана расчета — наоборот, они, очевидно, и абсолютно бескорыстны. В них ясно ощутима самоотверженность без подсказки, не вынужденная, идущая из самой глубины натуры.

То, что для многих являлось «психологической загадкой», по сути очень просто, как все большое и настоящее. «В интересах района, — поясняет Мартынов. — Там есть сейчас человек, который лучше меня смо-

жет руководить партийной организацией. А значит — и быстрее добьется крутого подъема хозяйства...»

Быстрее добиться хозяйственного успеха — вот непосредственная причина «странного» и даже «подозрительного» решения, однако не единственная и, может быть, не самая главная. Намерения Мартынова простираются куда дальше хозяйственных районных горизонтов. Место партийного руководителя, говорит он, «не мое, не откупленное мной навеки. Оно переходящее — кого выберут на него коммунисты. И вот я вижу сейчас, что в районе есть более подходящий человек на это место».

Все очень просто. И очень сложно.

Чистотой своего бескорыстия и активностью натуры Мартынов родствен героям шолоховской «Поднятой целины». Неслучайно, думается, этот герой В. Овечкина встретился на страницах газеты «Правда» с Нагульновым и Давыдовым второй книги романа: в Мартынове превосходно выражен пафос личности, очень необходимой сегодня в жизни, как в свое время необходимы были Давыдов и Нагульнов. Пафос этот — старый революционный пафос героев Шолохова и в то же время новый, «послестъездовский», обновленный в пятидесятые годы, когда был расчищен простор творческой смелости и благородному бескорыстию.

Самая яркая черта Мартынова — это его способность подчинить все в себе высшим интересам народа. Вокруг нее кристаллизуется все остальное в его натуре. По этой черте его лучше всего запоминаешь. В этом своем качестве Мартынов очень близок Нагульнову. Но у него это качество уже не определишь одним словом «самоотречение», которое так много объясняет в Нагульнове.

В поступках, о которых мы говорили, Мартынову не приходится буквально отрекаться от чего-то, что обогащало бы его личное существование. Беззаветное служение народу не сочетается в Мартынове, как в Нагульнове, скажем, с известной односторонностью эмоциональной жизни. В Мартынове нет нагульновского аскетизма. По-нагульновски пламенная, его беззаветность по-давыдовски разумно целеустремлена. Но нет в нем, однако, и рассудочной суховатости Давыдова. Мартынов более глубок: у него больше опыта, знаний, шире его кругозор. (Я не сравниваю здесь художественную силу Шолохова и Овечкина, но думается, что допустимо сопоставлять и одни только психологические типы, если они метко схвачены в жизни).

Начало рациональное не охлаждает в Мартынове горячей действительности чувства — разум лишь придает страстной его активности непобедимость расчетливого упорства. В благородном своем «донкихотстве» Мартынов вовсе не непрактичен. Его не упрекнешь в близорукой, недорого стоящей щепетильности. Он умеет в отличие от Крылова, секретаря обкома, соединять романтическое бескорыстие с прозаической трезвостью простодушие романтика с «хитрым» расчетом.

Бескорыстие его расчетливо, но зато расчет абсолютно бескорыстен. И то, и другое, и чувство, и разум, и романтичность и реализм, и практичность и благородная широта души, и «властность» вожака и характерное для рядового скромное подчинение — начала, «по природе» в человеке противоположные и во многих людях все еще спорящие, — в Мартынове уже только заостряют и облагораживают друг друга. Мартынов наделен ими в какой-то очень взвешенной мере. «Давыдовское» и «нагульновское» — черты разных психологических типов (за которыми явно видны социальные особенности времени, в которое они жили) — словно слились в нем, дав синтез нового психологического типа.

Новое в индивидуальности Мартынова — равномерное развитие и гармоническое единство «противоположных» чувств и способностей — обусловлено, конечно, не его личной «выдающейся» человеческой природой, но более совершенными общественными условиями, в которых он

развивался (чего лишено было поколение Давыдовых и Нагульновых), и более высокими требованиями, предъявляемыми к человеку современной действительностью.

Один из героев романа Г. Николаевой «Битва в пути» говорит об отличительной особенности советского человека: «Он не только „продукт“, он своей эпохи законный и правомощный мастер». Эта «двуединность» мироотношения постепенно перешла в характер. Она очень отчетливо выражена в Мартынове: Мартынов не отдает себя на волю течения — он сам творит жизнь.

Правда образа Мартынова — правда характера, неизменно и в высокой мере отвечающего внутренней потребности жизни. Быть готовым пойти, куда пошлут, — это только первая ступень «мастерства»; сегодня истинно «правомощный» мастер сам должен найти свое, именно то свое место, где он принесет наибольшую пользу, где его способности дадут полную отдачу. Этот существенный оттенок появился, думается, как раз в недавние годы, духовно оздоровившие и материально подкрепившие сознательность. В наше время, время сложнейшей техники, разносторонней культуры так называемого «простого человека» и вообще возросшего уровня жизни, общественное благо как никогда стало зависеть от полноты использования индивидуальных способностей каждого члена общества. Поэтому герой нынешнего, переходного — от социализма к коммунизму — времени очень часто сам должен определять себе дело по плечу: не преувеличить, но и никак не преуменьшить своих возможностей.

Такое трезвое и в то же время непременно горячо активное сознание меры своего «я» в огромном «мы», думается, типично для поколения или поколений, которые завершат строительство коммунизма. Это тонкое, но существенное отличие от первых пореволюционных поколений — сильное и активное ощущение себя как незаменимой части людской общности — представляется «пробным камнем» положительного героя наших дней, героя, на котором лежит отсвет именно сегодняшнего дня. Всем может взять герой, а отсутствие этого качества его обязательно выдаст, если он пришел в сегодняшнюю литературу из вчерашнего дня.

Вот, например, Леонид Багрянов из «Орлиной степи» М. Бубеннова. Читатель оценит его патристический отклик на призыв партии поднять и заселить целинные земли. В этом Леонид, казалось бы, наследник Давыдова и Нагульнова. Понятна будет и тяга Леонида, крестьянского сына, к земле (этим писатель тоже хочет обосновать неожиданные перемены в биографии героя). Но здесь начинаются и недоумения. Если сизмальства, как хочет убедить Бубеннов, жила в Леониде мечта вырастить колосья из завещанных отцом семян, если на пашню звал еще и крестьянский долг перед погибшими в войну односельчанами, то зачем же такой герой — по всем статьям хлебороб — становится у Бубеннова инженером, а, скажем, не агрономом? Только для того, чтоб иметь возможность в нужный момент поехать из города в деревню? В результате Леонид поступает так только потому, что автору понадобилось описать, как заводской парень едет на целину, потому, что сам автор взял такую тему. Пафос целины не вытекает из психологизма образа, из недр характера. Это, на наш взгляд, решающий просчет. Что будет делать Леонид на целине, принесет ли он именно там пользу большую, чем здесь, на заводе? Этот вопрос, который для Мартынова был бы самым важным, для Леонида просто не возникает.

«— Инженер, и сядешь на трактор?» — спрашивает мать.

«— Сяду и буду пахать!» — гордо отвечает Леонид.

По Бубеннову, это должно означать, что сын лучше матери уразумел свое назначение. На поверку же здесь не более чем подслеповатое ре-

бляче упрямство. А ведь Леонид не мальчик, ему лет 26—27, и жизненную школу он у Бубеннова прошел вроде бы неплохую. На целине он успешно пашет, сражается с волчицей, борется с уголовным элементом, пугает негодая директора совхоза, демонстрирует бригаде свой героизм, ныряя в реку за трактором. А вот о главном как-то и не успевает подумать: о том, что общество может ожидать от него героизма более разумного и более результативного. Почему бы ему, волевому, сильному парню, пняженеру, да еще и по характеру вожаку, — не свалить директора? Или: почему бы не попроситься, например, инженером в МТС? Ведь там он принесет пользу несомненно большую! Ведь автор аттестует Леонида как человека, способного не только отлично бороться, но и хорошо руководить.

Бубеннов убирает с пути Леонида — внутреннего пути — все эти задачи. А между тем, если посмотреть на целинную эпопею вширь и вглубь, для нее была характерна не столько проблема энтузиазма, сколько проблема дальновидного расчета.

Эта характерность обстоятельств, в которых действует герой Бубеннова, не задела его психологию. Леонид, выражаясь словами шолоховского Макара Нагульнова, «не так к времени прислушается». «Переживания» героя не дают представления о том, что поворот «лицом к деревне» был лишь частью гораздо более широкого и сложного психологического «поворота» всех советских людей после XX съезда, торопились ли они из города или «медлили» в городе. В Леониде не хватает какого-то «чуть-чуть», но, думается, того «чуть-чуть», что является главным цементом характера. Может быть, потому и нет в нем живого обаяния человека своего времени и он со всей его правильностью не выдерживает придиричливой пробы на положительность.

А ведь задача Бубеннова была проще задачи Овечкина, он «художественно оформлял» уже готовую идею. Мартынов же появился еще до поворота и все-таки в какой-то мере предвосхитил его!

Дело, конечно, не в опережении во времени, а в том, что Овечкину удалось зарисовать (в превосходных очерках Овечкина все же нет углубленной психологической разработки) черты тех людей, которые по своей нравственной силе и равносторонности своей человеческой индивидуальности оказались способны провести очень сложную борьбу с последствиями культа личности на селе.

Ценность образа Мартынова не в том, конечно, что Мартынов больше успел, чем Багрянов. Мартынов ценен тем, что он как характер способен дать максимум того, чего от него ждет жизнь, опережая и торопя ее самое. Багрянов же лишь сохраняет равнение на передовых. В трудное время, не способствовавшее расцвету цельных, глубоких и самостоятельных натур, да еще на таком запущенном участке, как руководство сельским хозяйством, Мартынов сохранил и горячее чувство, и трезвый расчет ленинца. В его борьбе с Борзовым мужество и решительность, говорящие о горячем сердце (это есть и у Леонида), сочетаются с гибкостью и трезвым расчетом (чего Леониду не хватает). Его коллективизм не только горяч, но и очень практичен.

Не будем делать Леониду скидку на возраст. Вспомним хорошо знакомого нам юношу лет на десять моложе Леонида.

Перед Валько, пишет Фадеев, «стоял человек нового, самого юного поколения. Самые, казалось бы, несоединимые черты — мечтательность и действительность, полет фантазии и практицизм, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет, страстная любовь к радостям земным и самоограничение, — эти, казалось бы, несоединимые черты вместе создали неповторимый облик этого поколения».

Перед нами как раз та подлинная цельность противоречивых душевных начал, которая так характерна и для Мартынова. Между прочим,

они почти ровесники: Олегу Кошевому было б сегодня немногим меньше, чем герою В. Овечкина...

За всю свою предысторию человек не умел совмещать в своей натуре цельность и сложность одновременно. В этом не повинна его природа. На заре человечества личность была цельной, но не развитой — она еще не выделилась из человеческой общности как индивидуальность. Отношения собственности, говорит Маркс, впервые создают вместе всеобщностью отношений человека к миру и всесторонность его чувств и способностей. Но в дальнейшем, по мере развития, собственность, отчуждая людей друг от друга, разрушая коллективизм, породивший в человеке человеческое, отчуждает от него, таким образом, его человеческую сущность. Отношения собственности порождают не только антагонизм внутри общества, но и антагонизм внутри личности. Создается не столько разнообразие характеров, сколько пестрота характера.

Коммунизм возвращает человека к самому себе как человеку общественному, стало быть, цельному. Но индивидуальность уже развилась в противоречиях. Как же разрешаются они? Достигается ли возвращение к цельной индивидуальности за счет победы одних начал над другими, чувства общности над чувством своего «я», рассудочного начала над эмоциональным и т. д? На первых порах — да, но как всеобщая закономерность это было б возвращением к первоначальной, простой цельности, к личности неиндивидуализированной, к уничтожению уже достигнутой человеком разносторонности.

Противоречие снимается таким развитием индивидуальности, когда противоположные начала, так сказать, сходятся, т. е., качественно преобразуясь, взаимопроникают. Рассудок уже не просто поправляет чувство, но чувство само умнеет, а рассудок — прежний «сухой расчет» — проникается романтической страстью.

Связанные с «я» начала нравственности, этики, морали коммунизм не изгоняет, с тем чтобы заменить коллективистской этикой, моралью, нравственностью; личность развивается так, что индивидуальное самоощущение и самоутверждение перестает быть индивидуалистическим. Потребность в общности — самая могучая, по словам Маркса, потребность человека — действительно становится наивысшей личной потребностью уже в том высшем смысле, что входит в индивидуальное мироощущение.

Индивидуальное не заменяется общим, не отбрасывается ради общего (как например, у Нагульнова), но вбирает в себя дух общности, обогащаясь и ширясь (как у Мартынова). И на этой основе мечтательность и действительность, любовь к добру и беспощадность, широта души и трезвый расчет и т. д. и т. п. естественно сосуществуют как формы выражения друг друга, как разные стороны единого. И на месте душевного строя пестрого, противоречивого складывается сложный, но гармоничный.

Это совершается на нашей памяти, на наших глазах.

Важно не только установить это, важно понять также, что в жизни последних лет дало такой толчок коммунистическому совершенствованию личности?

Множество самых разных писателей проявили необычайный интерес к теме индивидуальных путей личности в нашем общем деле. В их замыслах господствует молодежь. Возникает даже вопрос: разве людям постарше уже не стоит стараться быть лучше? Дело в том, думается, что в юношеском характере выпукло, как в капле воды, отражаются процессы характерные для нашего современника любого возраста.

Возрастной перелом как бы обнажает скрытые явления формирования индивидуальности нового типа. Подобно тому как организм в индивидуальном своем физическом развитии проходит ступени исторической эволюции живого мира, так поколение в своем становлении может по-

вторять исторические фазы душевной эволюции человека, как бы демонстрируя ее в сжатом виде. И когда само поколение — «переходное», как нынешняя молодежь, тем отчетливее это видно.

Последующие поколения будут развиваться уже при коммунистическом строе или в такой близости к нему, когда «родимые пятна» будут отходить в историю. У нынешней же молодежи преодоление пережитков морали и нравственности, и часто даже не столько преодоление, сколько острое сознание невозможности больше терпеть эти «родимые пятна» совпадает с так называемым переломным возрастом. Вот откуда, по-моему, такой поток романов и повестей, пьес и кинофильмов о «перековывающихся» молодых людях. Это надо понять, в это надо вдуматься, а не хныкать по поводу якобы сплошь нездорового интереса писателей к якобы безусловно нездоровым явлениям, как хнычут в растерянности некоторые наши критики.

Между молодыми героями пьесы В. Розова. «В добрый час» происходит такой разговор:

«Андрей ... Я вот что думаю: у каждого человека должна быть своя точка.

Алексей. Какая точка?

Андрей. Ну, место свое. Оно — одно единственное. Попал на это место — и все твои способности наружу выходят. Все, что есть! Тут, понимаешь, человек обязательно счастливый бывает. И другие его любят, ценят. Самое важное — найти эту точку...»

Этим озабочен юноша на пороге самостоятельной жизни. Но странное дело. и некоторые зрелые герои болеют той же «детской» проблемой. Вот к чему приводит Мартынова его опыт:

«... Это очень важно в нашей жизни — чтобы каждый человек занимал место по своим способностям. Пожалуй, самое важное!..»

Не правда ли, любопытная перекличка?

Каждый из них понимает «важность» по-своему. Андрей имеет в виду себя, свою личность. И в своем молодом эгоизме он вовсе не так уж индивидуалистичен, как может показаться. В свои семнадцать лет он нужен обществу именно с этим стремлением, лишь бы оно не стало уродливым. Гораздо страшнее в наше время, если человек не задумывается над тем, чтобы найти себя.

Ведь уже в недалеком будущем каждый будет обеспечен самым необходимым. Материальная заинтересованность начнет утрачивать значение. Духовное удовлетворение любимым делом станет главным побуждением к труду. А для этого важно не только общее сознание полезности всякого труда для всех, но и глубокая личная заинтересованность в своем конкретном деле. И чем дальше по пути к коммунизму, тем сильнее будет ощущаться необходимость всемерного развития индивидуальных склонностей и способностей как насущная общественная необходимость.

«От каждого по способности» — сегодня, при необычайно высокой специализации производства, науки, культуры, осуществление этой заповеди каждым приобретает уже не только смысл морального закона и морального долга, но и силу объективного экономического закона, так как только точное и всеобщее осуществление принципа «от каждого по способности» может обеспечить каждого по потребности!

Мартынов, когда говорит о месте в жизни, когда борется за «свое место», имеет в виду прежде всего это, последнее. Для Андрея пока на первом месте то, что «наружу выйдут» его способности. Молодой человек еще озабочен собой, но уже тем в себе, в чем зародыш его активной пользы людям. Именно там, в «своей точке», наиболее полно «наружу выйдет» самая главная его способность — уметь каждый миг жить во имя великой общей цели.

В условиях нашей современности, предоставляющей каждому широкие возможности развивать индивидуальные задатки и склонности, молодежь наиболее полно усваивает дух коллективизма, как раз обретая «свое место» в жизни, борясь за то, чтобы занять именно свое место. Это не значит, что уже совсем исчезло ограничение и что нужно только уметь найти себя (в каком-то отношении самоограничение останется и при коммунизме). Но это значит, что уже очень существенно расширилась свобода поиска и что личная потребность искать себя начинается даже становиться небывало важной общественной необходимостью!

Поиски места в жизни в условиях нашего общества напими советскими людьми, нашей молодежью особенно сегодня, когда страна запущена, как спутник, на полную мощность к коммунизму, поиски своего места закономерно становятся началом поиска *своего* места в *общем* строю, поиска себя как частицы общности. Это очень яркое свидетельство наступающей гармонии индивидуального и коллективного!

Проблема места человека в жизни в 50-е годы как-то незаметно выросла в важнейшую психологическую и философскую тему нашей литературы. Сегодня в ней смыкаются проблемы материального обеспечения подъема общества к коммунизму и духовного совершенствования личности. В единый узел в ней связываются личность с обществом, внутреннее самосовершенствование с воздействием обстоятельств, материальное с духовным. Она оказывается одинаково важной и в отношении тех, кто набрал высоту, и для тех, кто только готовится внутренне приблизиться к человеку будущего, и для зрелых бойцов, и для вступающих в жизнь юношей. Проблема места в жизни сегодня стала словно материальным мостиком духовного перехода от «я» к «мы», это сегодня своего рода «формула перехода» (или формула разрешения противоречия) между, употребляя выражение Маркса, индивидом и родом на великом перевале к высшему строю.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Г. МОИСЕЕВА

ЛОМОНОСОВ В РАБОТЕ НАД ДРЕВНИМИ РУКОПИСЯМИ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕНИНГРАДСКИХ РУКОПИСНЫХ СОБРАНИЙ)*

Вопрос об отношении М. В. Ломоносова к древнерусской литературе — один из важнейших в изучении его творчества. Определение круга древнерусских литературных памятников, использованных Ломоносовым, не только позволяет судить о его литературной осведомленности, но также имеет значение для рассмотрения органической связи его поэтического творчества с предшествующей литературной традицией.

Несмотря на очевидную важность постановки этой проблемы, в настоящее время не имеется работ, в которых была бы сделана попытка наметить круг литературных произведений древней Руси, известных Ломоносову, хотя в общетеоретическом плане поднимались вопросы о преемственности в его творчестве традиций литературы старшей поры.

В статье Е. А. Касаткиной «Торжественная ода XVIII века и древнерусская устно-поэтическая и литературная традиции» сделан вывод, что «русская торжественная ода XVIII века представляет собою новое литературное явление». Истоки ее Е. А. Касаткина видит в основном в народно-поэтическом творчестве, хотя и указывает примеры несомненного влияния на поэтику оды традиций воинской поэтики древней Руси.¹

Попытки установить связь творчества Ломоносова с древнерусской литературой предпринимались и раньше. Так, например, в работе О. Покотилова отмечались черты сходства поэтической системы С. Полоцкого и Ломоносова,² а В. И. Резанов в статье «Трагедии Ломоносова», вышедшей во время юбилея 1911 года, поставил вопрос о том, что темой трагедии «Тамара и Селим» явился рассказ, почерпнутый из «Синописа».³ Однако частные замечания отдельных исследователей, естественно, не могли содержать решения проблемы, которая, по существу, не получила даже прав гражданства в науке. Ю. Н. Тынянов в статье «Ода как ораторский жанр»⁴ (где были поставлены общие вопросы о связи оды с жанром ораторской прозы, сформировавшейся в ее классических образцах в античном обществе), анализируя художественные особенности од Ломоносова, раскрывал их своеобразие по сравнению с западноевропейским материалом (Квинтиллиан, Коссэн), не упоминая памятников ораторского искусства древней Руси и первой половины XVIII века. «Слова» Феофана Прокоповича, являющиеся великолепными образцами ораторской прозы начала XVIII века, не привлекли внимания автора этого интересного исследования.

Даже в работах (как дореволюционного, так и советского периодов), рассматривающих исторические труды Ломоносова, к сожалению, не сделана попытка выявить памятники древней русской литературы и общественной мысли, использованные им в качестве исторических источников. В 30—50-х годах XX века ученые (академик Б. Д. Греков, академик М. Н. Тихомиров, Н. Н. Пономарева, Д. М. Гурвич, М. Т. Белявский), пытавшиеся пересмотреть историографическую традицию, сложившуюся в конце XVIII—XIX веке (в трудах М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, Г. В. Плеханова и др.), отрицавшую Ломоносова как оригинального и самостоятельного историка, ограничивались изучением его исторических работ и не привлекали нового материала. Такое состояние вопроса об отношении Ломоносова к древнерусским литературным памятникам обусловило ход нашего исследования.

Нашей задачей было: 1) установить в литературных и исторических сочинениях Ломоносова по отраженным сюжетам круг известных ему памятников древ-

* Настоящая статья является частью моей большой работы «М. В. Ломоносов и древняя русская литература» (ред. чл.-корр. АН СССР П. Н. Берков).

¹ «Ученые записки Томского государственного педагогического института», 1946, т. III, серия гуманитарных наук, стр. 97, 109—123.

² О. Покотилова. Предшественники Ломоносова в русской поэзии XVII и начала XVIII столетий. В кн.: Ломоносовский сборник. Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911, стр. 66—92.

³ В. И. Резанов. Трагедии Ломоносова. В кн.: Ломоносовский сборник. 1911, стр. 238—281.

⁴ Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы. Изд. «Прибой», 1929, стр. 48—86

ней Руси; 2) пересмотреть на этой основе весь рукописный материал (на настоящем этапе — по рукописным собраниям Ленинграда), который мог быть доступен Ломоносову и использован в его работах.

Академик С. И. Вавилов писал, что деятельность Ломоносова характеризуется «многообразием видов культурной работы», «глубоким слиянием в одной личности художественно-исторических и научных интересов и задатков».⁵ И действительно, Ломоносова-естествоиспытателя трудно отделить от Ломоносова-историка, Ломоносова — поэта и публициста.

Исторические разыскания, оды, трагедии, похвальные «слова» и другие виды произведений Ломоносова глубоко историчны. Исторические взгляды Ломоносова определяют выбор им жанра, в каждом отдельном случае наиболее ярко раскрывающего его общественно-политические идеи. Поэтому для всестороннего осмысления его отношения к древнерусской литературе нельзя ограничиваться только его литературными сочинениями, необходимо также привлечение работ, непосредственно посвященных истории.

Первое упоминание исторических сюжетов, позволяющее предполагать, что уже к 1739 году Ломоносов был знаком с памятниками древней русской литературы, можно видеть в оде на взятие Хотина, написанной им в Германии:

Кто с ним (с Петром I, — Г. М.) толь
грозно зрит на юг.

Одеян страшным громом вкруг?
Никак Смиритель стран Казанских?
Каспийски воды, Сей при вас
Селима гордаго потряс,
Наполнил степь голов поганских.
Герою молвил тут Герой:
«Нетщетно я с тобой трудился,
Нетщетен подвиг мой и твой,
Чтоб Россов целой свет страшился».⁶

Здесь речь идет об Иване Грозном, покорившем Казанское ханство, возникшее в XIV веке на развалинах Золотой Орды и с начала XV века перешедшее в вассальную зависимость (через посредство Крымского ханства) от Турции (отсюда в оде Ломоносова Селим — Сулейман II — султан Османской Порты).

По этому отрывку еще нельзя с достаточной уверенностью судить, какой именно памятник XVI века знал Ломоносов: «Казанскую историю» («Казанский летописец»), Никоновскую летопись или «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси», в которых освещаются события осады и взятия Казани в 1552 году. Но все же можно полагать, что скорее всего Ломоносов в данном случае использовал материал «Казанской истории». Намек на «потрясение» турецкого султана мог быть подсказан Ломоносову небольшой, но выразительной главой «Казанской истории» — «О бывши вести турскаго царя о Казани и о царице, и о послании з дары его к мурзам пагайским». Здесь рассказано, что когда «во Царьград» дошла весть о том, что Иван IV осадил Казань, «воспечалился о том велими турецкий царь салтан».⁷ Султан послал «послы своя» в Ногайскую Орду, призывая ногаев: «...соединитесь с казанцы во единое сердце, в поможение за Казань на московскаго царя... аз о сем в величней печали есмь и боюся, егда вам помале то же будет от него, яко же и Казани».⁸

Несомненное знакомство Ломоносова с «Казанской историей» сказывается и в подборе сюжетов для картин из отечественной истории. В одной из них он предлагал изобразить, как казанская царица Сумбек после смерти Сафакпрея «взята из Казани с сыном» и в «полон» «приведена». Ломоносов предлагал отметить «чрезвычайную красоту» Сумбек (VI, 370).

О том, что источником этих сведений был не «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси» (где подробно рассказывается о походе Ивана IV под Казань), а литературно-публицистический памятник — «Казанская история», свидетельствует форма имени казанской царицы — Сумбек. Так она названа только в «Казанской истории»; в «Летописце начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси» и в официальных документах (посольских грамотах, переписке с ногайскими мурзами) она названа —

⁵ С. Вавилов. Предисловие. В кн.: Ломоносов. Сборник статей и материалов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940, стр. 3.

⁶ М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VIII. Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 23. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

⁷ Казанская история. Подготовка текста, вступительная статья и примечания Г. Н. Моисеевой. Под редакцией чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. Изд. АН СССР, М.—Л., 1954, стр. 102.

⁸ Там же, стр. 103.

«Сююнбек». ⁹ Сведения о необычайной красоте Сумбек Ломоносов также почерпнул из «Казанской истории», где автор посвящает описанию внешности казанской царицы многие страницы своей повести. ¹⁰

Для характеристики творческого метода Ломоносова, тщательно изучавшего и сопоставлявшего различные версии рассказа об одном событии, приведем пример с циклом повестей о Куликовской битве.

Как было указано выше, еще В. И. Резанов установил, что источником сюжета трагедии Ломоносова «Тамира и Селим» является рассказ «Синописиса» (второй редакции 1674 года, куда была включена Повесть о Куликовской битве). Однако сам исследователь указывал, что не все детали описания Мамаева побоища в трагедии Ломоносова (последовательность эпизодов боя, изображение момента выхода засадного полка и окончания сражения) совпадают с рассказом «Синописиса» и здесь нужно искать какой-то иной источник. В настоящее время удалось установить, что Ломоносов в работе над трагедией «Тамира и Селим» использовал данные так называемой «летописной» редакции Повести о Куликовской битве, вошедшей в Никоновскую летопись. ¹¹ Исследователи повестей о Куликовской битве (С. К. Шамбинаго, ¹² Л. А. Дмитриев ¹³) указывают, что из всего цикла повестей рассказ «летописной» редакции является исторически наиболее достоверным.

Отражением знакомства Ломоносова с различными вариантами рассказа о Мамаевом побоище служат оды Елизавете Петровне 1741 и 1761 годов. В оде 1761 года характерно описание внешности Дмитрия Донского (Ломоносов отмечает, например, его «сильные плечи»). Ниже мы покажем источник этого описания.

Приведа эти примеры отражения сюжетов древнерусских сочинений в исторических и литературных произведениях Ломоносова, скажем, что аналогичным образом был установлен круг известных ему литературных памятников древней Руси.

Ломоносов знал и использовал: «Повесть временных лет» (две редакции), исторические повести — о битве на Калке, о приходе Батия на Рязань, о Куликовской битве (три редакции), о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, о походе Тахтamyша на Москву, о взятии Иваном III Новгорода, «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси», Никоновскую летопись; историко-публицистические сочинения — «Казанскую историю», «Историю о великом князе московском» А. Курбского, «Сказание Авраамия Палицына», «Сказание о князьях владимирских» и «Послание Спиридона-Саввы», «Новый летописец», «Новую повесть о преславном российском царстве», «Челобитную» Артемона Матвеева, повести о стрельцком восстании Сильвестра Медведева и Андрея Артемоновича Матвеева; переводные повести о Бове-королевиче и Еруслане Лазаревиче; вирши Симеона Полоцкого и Кариона Истомина; произведения ораторской прозы («слова» Феофана Прокоповича). Знал и использовал Ломоносов древнерусские жития: Александра Невского, княгини Ольги, Бориса и Глеба, Сергия Радонежского (первой епифаньевской редакции).

Несомненно, Ломоносов хорошо знал церковно-учительную литературу: она входила в основной курс учебной программы Славяно-греко-латинской академии. ¹⁴ Но в его сочинениях Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Назианзин, Иоанн Дамаскин, Амвросий Миланский упоминаются не как «отцы церкви», а как писатели, произведения которых он считал образцами ораторской прозы.

Мы попытались определить рукописные списки тех древнерусских литературных памятников, знакомство с которыми Ломоносова подтверждалось анализом его произведений.

В решении этой сложной задачи большая помощь нам была оказана многими исследователями. ¹⁵

Работа была начата с изучения тех рукописей Библиотеки Академии наук, обращение Ломоносова к которым документально засвидетельствовано. Так, в Журнале Библиотеки Академии за 1753 год сохранилась собственноручная запись

⁹ См.: Полное собрание русских летописей, т. XIII, вторая половина. СПб., 1906, стр. 469.

¹⁰ См.: Казанская история, стр. 97—102.

¹¹ Г. Н. Моисеева. К вопросу об источнике трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим». В кн.: Ломоносовский сборник (печатается).

¹² С. Шамбинаго. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, стр. 48—49.

¹³ Л. А. Дмитриев. К литературной истории Сказания о Мамаевом побоище. В кн.: Повести о Куликовской битве. Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 406—407.

¹⁴ Г. Воскресенский. Ломоносов и Московская славяно-греко-латинская академия. «Прибавления к изданию творений святых отцов», ч. VII, 1891, стр. 6—8.

¹⁵ Приняшу сердечную благодарность чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркову, проф. С. Н. Валуку, Г. А. Андреевой, Д. Д. Шамраю, И. З. Серману, Е. Б. Рысс, А. И. Коланеву и всем сотрудникам Отдела рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР, сотрудникам архива Ленинградского отделения Института истории, сотрудникам Архива Академии наук СССР.

Ломоносова: «Den 3 Dec[em]b[er]. Die russische Historie von Nestor, fol. 9. Михайло Ломоносов».¹⁶ После смерти Ломоносова (4 апреля 1765 года) была составлена опись «книг и вещей», «взятых им из императорской библиотеки и кунсткамеры». В числе их рукописи: «Две книги летописцев российских с лицами, №№ 34, 35» и «Летописец большой, № 5».¹⁷

Выясняя, какие именно рукописи поступали в Библиотеку Академии наук со времени ее основания (1714) до 1765 года, мы обратились к исследованию М. Н. Мурзановой, Е. И. Бобровой и В. А. Петрова. В их книге «Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук» очень полно, с учетом всех новых данных, раскрыта история рукописных фондов Библиотеки в течение XVIII века. Координируя эти данные со сведениями первого печатного каталога Библиотеки Академии наук (так называемого «Камерного каталога»), вышедшего в 1742 году, мы просмотрели параллельно с печатными работами Ломоносова все рукописи первых фондов Библиотеки: собрания Петра I, Алексея Петровича, Натальи Алексеевны,¹⁸ поступления 30—40-х годов, собрания рукописей Я. В. Брюса, И. В. Паузе, Феофана Прокоповича, А. И. Остермана М. Г. Головкина, В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера.¹⁹

Одновременно с этим на материале рукописей Ломоносова, хранящихся в Архиве Академии наук СССР, велось изучение его почерка, установление приемов его работы над рукописями своих и чужих сочинений, выяснялась характерная для него манера обращения с источниками, система разметки текста, примечаний к нему и т. д.

Результатом такого «комплексного рассмотрения» явилось выявление 15 рукописей, сохранивших разнообразные следы непосредственной работы Ломоносова. Следы эти выражаются в приписках разнообразного характера на полях, подчеркиваниях в тексте, различного типа пометях на рукописях (в на полях, отчеркивания отдельных абзацев на полях, ○ кружок с точкой, # двойной крест, + простой крест).

В результате исследования в общих чертах удалось раскрыть значение помет разного типа. Об этом мы скажем далее, когда перейдем к их анализу. Сейчас же перечислим рукописи, сохранившие пометы Ломоносова, классифицируя их по собраниям.

В 1741 году в Библиотеку Академии наук поступило собрание рукописей, находившихся в библиотеке Феофана Прокоповича. В числе этих рукописей был Никоновская летопись с прибавлениями, так называемый «Патриарший список» (список третьей четверти XVI века),²⁰ Никоновская летопись с прибавлениями «Повести о житии Феодора Ивановича» и «Нового летописца» (список второй половины XVII века — БАН, 17.2.5). Эта рукопись также принадлежала ранее патриарху Никону. Об этом есть вкладная запись на листах 13—31. В составе собрания Феофана Прокоповича поступила Воскресенская летопись начала XIV века (БАН, 34.5.24) также с вкладной записью патриарха Никона в Воскресенский Новонерусалимский монастырь (листы 1—82) и Степенная книга конца XVII века (БАН, 32.8.5) с добавлениями выписок из Хронографа, «Иного сказания», «Сказания Авраамия Палицына», «Сказания об Азовском осадном сидении», «Нового летописца» и родословных книг.

Никоновская летопись («Патриарший список») имеет более 500 пометок — следов непосредственной работы Ломоносова. Здесь два типа помет: карандашом и чернилами. Они начинаются с первых листов рукописи, где излагается древнейшая история Русского государства. Особо отчеркнуты те места, где излагается легенда о призвании варягов. Ломоносов подчеркивает в тексте и отмечает на полях следующее место: «Приидоша из немец три брата со всем родом своим Рюрик, Синеус, Трувор... сие бо варязи захвуха Русью» (БАН, 32.14.8. л. 58). Как мы увидим далее, он проверяет эти данные по всем летописным источникам. Вниманию Ломоносова к этой теме ясно обозначилось в его научной полемике с Г. Ф. Миллером 1749—1750 годов. Непосредственное же отражение его собственная точка зре-

¹⁶ Е. Б. Рысс и Г. М. Коровин. Ломоносов — читатель Библиотеки Петербургской Академии наук. «Труды Библиотеки Академии наук СССР и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР», т. III, 1958, стр. 291.

¹⁷ Там же, стр. 298.

¹⁸ См. статью М. Н. Мурзановой. Первые фонды рукописных книг академической библиотеки. В кн.: Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук. Вып. I. XVIII век. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 5—118.

¹⁹ См. статью В. А. Петрова. История рукописных фондов Библиотеки Академии Наук с 1730 г. до конца XVIII в. В кн.: Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук. Вып. I. XVIII век, стр. 171—264.

²⁰ Отдел рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР (БАН), 32.14.8 (далее ссылки приводятся в тексте). См.: Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР, т. 3, вып. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 344—350.

ния нашла в первой и начале второй части «Древней Российской истории» (см.: VI, 203—219). Некоторые материалы из этой летописи прямо цитируются в «Родословной росписи», которой оканчивается «Краткий Российский летописец» Ломоносова. Так, например, на листе 536 отчеркнуто в тексте и поставлено чернилами на полях **NB** против известия: «... князь велики Василий Дмитриевич отдал дочь свою, княжну Анну, в Царьград за царевича Ивана Мануилевича». В «Кратком Российском летописце»: «Василий Дмитриевич... дочери 1) Анна Васильевна за греческим царем Иваном Мануилевичем Палеологом...» (VI, 354).

Никоновская летопись (БАН. 17.2.5.) имеет более 300 помет Ломоносова. Большая часть — это даты, проставленные на полях (перевод «от сотворения мира» на счет «от рождения Христова, т. е. на современное летоисчисление»). Даты эти проставлены Ломоносовым, об этом свидетельствует тот факт, что хронологические ошибки, имевшиеся в летописи, оказались перенесенными в его работы. Об этом говорит также следующий пример. Под 1128 годом в «Древней Российской истории» помещен известный рассказ о полоцкой княжне Рогнеде, не захотевшей добровольно выйти замуж за киевского князя Владимира I. В действительности же эти события происходили в 980 году. Недоумение разъясняется Никоновской летописью: повествование о Рогнеде здесь помещено под 1128 годом. Составитель, сообщая о событиях, происшедших в Полоцком княжестве (которое принадлежало потомкам сына Рогнеды — Изяслава), освятил его предысторией, начиная с убийства Владимиром князя Рогволода и насильственной женитьбы на Рогнеде (см.: л. 137—137 об.).

Помимо дат, проставленных чернилами, в Никоновской летописи имеется много карандашных помет; Ломоносов обращает внимание на время возникновения русских городов, их названия, особенности оборотов древнерусского языка. Он подчеркивает рассказ об ослеплении Василья, включенные в летопись литературные повести: о рукописании Магнуса, о взятии Царьграда крестоносцами, о преставлении «блаженного» Арсения, о создании Царьграда. Интересна и важна для понимания отношения Ломоносова к духовенству помета на листе 307. Против текста, где рассказано, что татары, покоровшие русские города, наложили дань на все население, освободив от нее только служителей культа («архимаритов и игуменов и иноков, и попов, и дьяконов, и крылоша, и всего причета церковного, кто зрит на господа бога и на пречистую богородицу, и водворяется в дому господни, и служит божим церквам»), на полях рукою Ломоносова написано: «**NB**. Волею чин духовный да еретики». Можно полагать, что эта помета находится в связи с размышлениями Ломоносова об обязанностях духовенства, содержащимися в письме к И. И. Шувалову. Как будет показано далее, Никоновская летопись дала Ломоносову основной материал в период его работы над Радзивилловской летописью.

На рукописи Воскресенской летописи также много карандашных помет Ломоносова. Обращает на себя внимание **NB**, поставленное его рукою против заглавия летописи, написанного вязью: «Книга, глаголемая Временник, сиречь, летописец русский». В «Древней Российской истории» Ломоносов неоднократно ссылается на «Сборный временник».²¹ Среди других помет упомянем следующие. На листе 203 (об.), где помещен рассказ об ослеплении Василья Ростиславича, стоит **NB**. Привлек внимание Ломоносова и рассказ о судьбе сестры Ярослава Мудрого — Предславы, которая тайно сообщила Ярославу, находившемуся в Новгороде, о коварном замысле Святополка, убившего Бориса и Глеба и покушавшегося на его жизнь. Святополк в борьбе с Ярославом обратился за помощью к «ляхам». Болеслав — польский король взял Киев, ограбил его и, оставляя город, «поволочив Предславу» (БАН, 34.5.24, л. 153). В «Древней Российской истории» Ломоносов использовал этот материал в главе 10 «О княжении Святополкове» (VI, 275—279) и в «Кратком Российском летописце» (VI, 347).

Степенная книга имеет 73 пометы, сделанные рукою Ломоносова. В «Ином сказании» подчеркнул то место, где говорится о прощении на царство Михаила Романова «сродственнаго ему ради союза царских искр и по благословению же отцу его благоверному боярину Феодору Никитичу блаженные памяти царем и великим князем Феодором Ивановичем всеа Русии» (БАН, 32.8.5, л. 189 об.). Очевидно, сюжет одной из картин на тему русской истории был подсказан этой повестью. Сравним: «14. *Право высокой фамилии Романовых на престол всероссийский*. Царь Федор Иванович, приближаясь к кончине, при патриархе Иове и при боярех подает скипетр брату своему двоюродному, боярину Федору Никитичу Романову...» (VI, 371).

Очень много помет в «Родословной книге», находящейся в конце этой рукописи. Ломоносов отмечает здесь не только генеалогические данные, но и материалы языковедческого и литературного характера (например, короткий рассказ о жене Симеона Гордого) (БАН, 32.8.5, л. 574).

В 1735 году после смерти Я. В. Брюса в Библиотеку Академии наук поступила Степенная книга с добавлениями выписок из хронографов третьей четверти

²¹ См.: VI, 236. Комментаторы шестого тома не смогли уточнить этот термин (см.: VI, 586).

XVII века (БАН, 32.8.4). Среди ометок Ломоносова здесь обращает на себя внимание отчеркивание текста, где рассказывается, как Владимир I после крещения «повеле кумиры сокрушить Перуна и Харса, Дажба, и Мокоша, и власти богоскотский» (л. 107). По-видимому, это имеет отношение к полемике Ломоносова с Г. Ф. Миллером, когда он доказывал этническую близость пруссов и славян общностью их верований.

Использование данных «Брюсова летописца» в «Древней Российской истории» можно видеть, сопоставляя ее отрывки с отдельными частями Степенной книги.

«Древняя Российская история» (о завещании Владимира)

Старший сын Вышеслав получил в участие Великий Новгород, прежнее Владимирово владение, которое еще при жизни его, по смерти Вышеславе досталось Ярославу. Изяслав отпущен, как выше показано, с матерью на дедовское княжение, в Полотск. Святополку дан Туров, Ярославу — Ростов, потом Новгород, а Ростов Борису, Глебу — Муром, Святославу — Древлянская земля, Всеволоду — Владимир, Мстиславу — Тмутаракань, Станиславу — Смоленск, Судиславу — Псков, Погвизду — Волинь и Луцко (VI, 273—274).

О Погвизде и Луцко Ломоносов использовал сообщение Стрыйковского.

В этой же Степенной книге внимание Ломоносова привлекают церковные узаконения Владимира. Против текста, где перечисляются лица, относящиеся к «церковным людям» («Людие ж церковнии сии суть переи, и дияконы и жены их, и чада их, и весь клирос, и игумени, и иноцы, и инокини, и лечцы, и вдовицы, и задушныя люди, и просвирицы и псаломники...» — л. 123), он поставил на полях крест и подчеркнул «и лечцы», «и задушныя люди».²³ Далее в «Уставе» Владимира указано, кто подлежит церковному суду: «Церковнии же судове сии суть распуты, прелюбодеяния, пошибания, умычки, межу мужей и женою о сожительстве их иже в родстве и в сватовстве брак, вдовство, потворы, чародеяния, волхование, зелейничество, зубожа, триурекания блудничеством» (л. 123—123 об.). Ломоносовым подчеркнуты в тексте слова: «распуты», «пошибания», «умычки», «зубожа»,²⁴ — и на полях стоит крест, что означает использование этого материала. Сейчас трудно сказать, какую цель преследовал Ломоносов. Интересовали ли его эти термины с церковно-юридической и правовой точки зрения (мы знаем о его большом внимании к вопросу о роли духовенства в государстве), или со стороны их происхождения и значения как материал для словаря, который он составлял вместе с К. Кондратовичем. Быть может, отчеркнутые слова свидетельствуют о сопоставлении Ломоносовым текста «Устава» с другими его редакциями. Как раз подчеркнутых им слов не имеется в ряде списков «Устава» Владимира I.

Степенная книга дала Ломоносову материал для изложения событий времени Ивана Калиты в «Кратком Российском летописце» (ср. БАН, 32.8.4, л. 322об. и VI, 353).

Выше уже говорилось о том, что после смерти Ломоносова книги и рукописи, находившиеся у него дома, были возвращены в Библиотеку Академии наук. В числе «вещей покойного» «профессора Михаила Васильевича Ломоносова» были «Две книги летописцев российских с лицам, №№ 34, 35».²⁵ Ломоносов брал оба тома Лицевого свода в 1757 году.²⁶

Двухтомный Лицевой свод середины XVI века поступил в Библиотеку Академии наук в составе собрания А. И. Остермана в 1743 году и был включен в дополнения к «Камерному каталогу» под №№ 34 и 35. Эта рукопись (БАН, 31.7.30) сохранила более 200 помет — следы работы Ломоносова, в числе их не только раз-

²² В рукописи все имена и названия городов подчеркнуты карандашом, и на полях против каждой строки стоит крест (+).

²³ Лечцы — лекари; задушныя люди — люди, освобожденные по духовному завещанию. См. комментарии к «Памятникам права Киевского государства» (составил А. А. Зимин под ред. С. В. Юшкова. М., 1953, стр. 396).

²⁴ Распуты — дела о разводе; пошибания — А. С. Павлов полагал, что речь идет о изнасиловании женщин; Е. Голубинский считал, что здесь говорится о драке между мужем и женою об имуществе; умычки — похищение женщин и девушек; зубожа — кусание в драке. См. комментарии к «Памятникам права Киевского государства» (стр. 248—250).

²⁵ Е. Б. Рысс и Г. М. Коровин. Ломоносов — читатель Библиотеки Петербургской Академии наук. «Труды Библиотеки Академии наук СССР и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР», т. III, стр. 298.

²⁶ См.: там же, стр. 297.

метку материалов, но и автографы. Так, на листе 133 (т. II) в тексте: «Князь великий Ягаило литовский по прежечерченному уроком своим совокупил литвы много и варяг и жемойти и прочая» (л. 69) — последние слова («варяг и жемойти») Ломоносов подчеркнул, поставив на полях **НБ**, сделал сноску пунктиром вниз и написал: «варяги и жмудь вместе». Эта помета стоит в прямой связи с размышлениями Ломоносова над этническим происхождением варягов. Впервые он изложил свою точку зрения по этому вопросу в научной полемике с Г. Ф. Миллером в 1748—1749 годах. В «Древней Российской истории», над которой он начал работать с начала 1750-х годов, в главе VIII «О варягах-россах» Ломоносов писал: «... древних варягов-россов область простиралась до восточных пределов нынешних Белья России, и может быть, и того далее, до Старой Русы, от которых она создана или проименовалась» (VI, 208). По мнению Ломоносова, доказательством славянского происхождения варягов служит общность языков, «которыми ныне говорят в Жмуди, в северной Литве и в некоторых деревнях оставшиеся старые пруссы» (VI, 208). «Литва, Жмудь и Подляхия истари звались Русью» (VI, 207).

На листе 104 (об.) остермановского Лицевого свода на полях отчеркнуто описание внешности князя Дмитрия Донского: «...телом велик и широк, и плечист, и чреват велми, и тяжек собою зело, брадою же и власы черн, взором же дивен зело».

В оде Елизавете Петровне 1761 года Ломоносов вспоминает князя Дмитрия Донского, «сильны плечи» которого «густят татарской кровью Дон» (VIII, 748).

Можно думать, что интерес к внешности князя Дмитрия мог возникнуть у Ломоносова еще в 1749—1750 годах в связи с работой над трагедией «Тамира и Селим». Если это так, то тогда Ломоносов брал остермановский том до 1750 года (трагедия «Тамира и Селим» была напечатана в 1750 году), а в 1757 году он обратился к этим материалам еще раз. Описание внешности Дмитрия Донского могло заинтересовать Ломоносова и в связи с подготовкой работы «Идеи для живописных картин из российской истории». Один из предложенных им сюжетов таков: «10. *Начало сражения с Мамаем*. С обеих сторон стоят полки: с правой российские, с левой татарские. В фортгрунде великий князь Дмитрий Иванович...» (VI, 370). Известно, что подготавливая эту работу, Ломоносов повсюду искал материал для описания внешности исторических деятелей и обращался к Голицыну, чтобы получить доступ к архивам Коллегии иностранных дел (см.: X, 581).

Много отметок против тех мест летописи, где характеризуются характеры исторических лиц (Олег рязанский «любил дураков»).

Сколь внимательно изучал Ломоносов летописи, свидетельствует, в частности, его приписка на последнем листе второго тома Лицевого свода: «**НБ**. Сия книга писана Игнатием чернцом Михайла архiereя смоленского. Смотри стрн. 556» (БАН, 31.7.30, л. 886 об.). На листе 556 (по старой пагинации) написано: «...отпусти Пимен митрополит черныца Михаила ко Царюграду, а Михаил епископ смоленский меле, Игнатия, а Сергей архимандрит Азаков своего черныца...» (БАН, 31.7.30, л. 280 об.).

Много помет имеет и первый том Лицевого свода.

В составе собрания Остермана в Библиотеку Академии наук в 1743 году попала и Разрядная книга (БАН, 34.3.2). На ней также имеются пометы, начиная с листа 5 (об.), где перечислены разряды полков Ивана III. Внимание Ломоносова привлекало участие в походе на Вязьму Василия Ивановича Косого и князя Семена Ивановича Рязоловского (л. 5 об. — 6). Можно думать, что интерес к этим двум именам неслучаен: позднее Василий Патрикеев (Косой) и Семен Рязоловский оказались в опале, первый был пострижен по приказу Ивана III под именем Васспана, второй казнен. Ломоносов подготавливал, видимо, материалы для осмысления исторических событий XVI века. Внимание Ломоносова привлекает также участие в походах и дипломатических миссиях Захарьных (предков Романовых), Андрея Курбского (видимо, в связи с изучением его сочинения об Иване IV, которое отразилось в «Кратком Российском летописце» при анализе характера царя), Воронцовых. Ломоносов особо отмечает все исторические сведения, касающиеся происхождения этого боярского рода, останавливается на участии его в политических делах Русского государства (см. БАН, 32.8.5, л. 555; БАН, 34.3.2, л. 9). Изучал Ломоносов также разряды войск времени Ивана Грозного (БАН, 34.3.2, л. 100—102 об.).

В 1743 году также в собрании Остермана в Библиотеку Академии наук попала Степенная книга середины XVII века (БАН, 32.8.2). Эта рукопись упомянута в описи вещей «покойного» «профессора Мпхалла Васильевича Ломоносова». Степенная книга здесь фигурирует под названием «Летописец большой, № 5».²⁷ Рукопись эта была взята Ломоносовым в 1764 году. На ней не имеется никаких помет. Возможно, что из-за болезни, которая началась у Ломоносова в этом году, он не смог ее так детально изучить, как другие рукописи.

Между 1742 и 1750 годами в Библиотеку Академии наук в дар от В. Н. Татищева поступила Псковская первая летопись (Ломоносов называет ее Новгород-

²⁷ Там же, стр. 298.

ской) конца XVII века (БАН, 31.4.22).²⁸ Эта рукопись почти вся исписана чернильными пометами Татищева и рядом с ними чернильные и карандашные пометы Ломоносова. Их здесь более 500. Остановимся только на некоторых.

Рассказ о событиях в этом списке ведется с 1045 года, поэтому показать непосредственное отражение его в работах Ломоносова, как мы делали это, говоря о степенных книгах, невозможно. Но эта рукопись очень важна, как это будет показано далее, для реконструкции пропавших работ Ломоносова по истории России до конца XVI века.

Как показывают исследователи, псковские и новгородские летописи отличаются значительное привлечение фольклорного материала, интерес, наряду с общерусской, к местной истории, яркость и образность языка.²⁹ Эта особенность псковско-новгородского летописания, как можно видеть по пометам на рукописи, не прошла мимо внимания Ломоносова. Им отмечены здесь: особенности форм языка («осминка великая» — л. 7; Нифонт «пошел есть ко Царюграду, обоимав святу ю Софию» — л. 8; пленных половцев новгородцы повелели «вешати, а иных растинати» — л. 11; у Мстислава «топор на руке с поворозою» — л. 12), названия улиц (архиепископ Спирidon во время «мора» 1230 года «постави скуделницу» «в яме на Прусской улице» — л. 19 об.; в другом месте он обращает внимание на фразу: «Того же месяца в 22 день загоресе на Прусской улице у Введения пречистия богородицы»). Слово «Прусской» подчеркнуто, на поле стоит **NB**, вниз пунктир и текст Ломоносова: «**NB**. Смотреть разницу Варяжской и Прусской улиц» — л. 100 об.

Не проходит Ломоносов мимо описаний явлений природы. Так, под 1231 годом отмечено, что «трясется земля, а солнце померче в 14 день» (л. 20 об.). В 1237 году — «бысть знамение в солнце августа в 3 день, в полдни бысть таково знамение: тма в солнце со запада аки месяц бысть 5 ночей, а с востока светло, и паки с востока тма бысть такоже аки месяц 6 ночей, а созоди светло» (л. 22) «В лето 1472... явися звезда на небеси с хвостом» (л. 143 об. — л. 144).

Так же как и в других рукописях, Ломоносов подчеркивает названия древнерусских городов, особо отмечая все, что относится к Москве.

О критическом подходе Ломоносова к сообщениям летописцев свидетельствует следующая его помета. Против текста (где сообщается, что в 1346 году новгородцы «взяша мир с литвою»): «Тогда бой бысть немцом с литвою на Сряце реке, и побилша литвы 40 000» (л. 56 об.) — он подчеркивает последние слова и пишет на полях: «враки».

О том, насколько внимательно подходил Ломоносов к известиям, сообщаемым в летописи, говорит такой пример.

При изложении событий, происходивших при Дмитрии Донском, в Псковской летописи имеется реминисценция. Описав позорное бегство литовского князя Ягайло из Русси после получения известия о победе русских войск над Мамаем, составитель добавляет: «И литва со Ягайлом побегоша назад вси со многою скоростью никим же гоними, не видеша бо тогда великаго князя, ни ратн его, ни оружия его, токмо литва имени его бояхуся и трепетаху, а не яко при нынешних временех литва над нами издеваютца, и поругаются» (л. 86 об.). На полях рукою Ломоносова приписано: «**NB**. Видно, что сия книга не позже Расстригиных смущени писана». На листе 109 Ломоносов подсчитал, сколько лет было Симеону Дмитриевичу Суздальскому, который «служив во Орде не опочивая 4-м царем... Тактамышу... Темиряхаку... Темиркутлюю... Шадибику». На полях отчерк «**NB**. 100».

Встречаются здесь также пометы, характеризующие его отношение к религии. В летописи рассказано о том, что псковичи обратились к Ивану III с просьбой, чтобы он «пожаловал Псков, велел бы отцу митрополиту Феодосию поставити владыку во Псков нашего же псковитина». Иван III «подумав со отцем митрополитом Феодосием, что не мощно быти во Пскове владыке, занеже искони не бывало, а не стояло во Пскове, и подариша посла верблюдом» (л. 143 об.). В тексте подчеркнуто «искони не бывало» и «посла верблюдом». На полях написано рукою Ломоносова: «Вместа епископа **NB**.»

В 1737 году В. Н. Татищев подарил Библиотеке Академии наук рукопись: так называемый «Летописец попа Ивана» — Новгородскую первую летопись (БАН, 17.8.36). В некоторых местах этой рукописи имеются пометы, которые по характеру совпадают с ломоносовскими, тем более, что отмечаются астрономические явления. Так, на листе 75 (об.) отчеркнут и отмечен крестом на поле текст: «В лето 7632 (1124)... пред вечерней поча убывати солнца и погыбе все. О велик страх и тма

²⁸ Составители «Описания Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР» (т. 3, вып. 1, стр. 325) пишут, что рукопись поступила в библиотеку в первой половине XVIII века. Время поступления рукописи уточняется следующими соображениями: если бы эта рукопись была в Библиотеке до 1742 года, она была бы описана в «Камерном каталоге» (она там не упомянута). В. Н. Татищев умер в 1750 году, а рукопись он передал при жизни.

²⁹ См.: Псковские летописи, вып. 1. Подготовил к печати А. Насонов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941; С. Н. Азбелев. Новгородские летописи XVII века. Новгород, 1960.

бысть и звезды быша». Под 1402 годом особо отмечено: «...явился знамение на небеси звезда хвостата на западе и пребысть месяц март весь» (л. 221 об.).

В первые годы существования Библиотеки Академии туда поступила Степенная книга середины XVII века (БАН, 32.8.6) из собрания царевича Алексея Петровича. Эта рукопись, где изложение событий доведено до 1560 года, также несомненно была изучена Ломоносовым. На многих листах имеются его пометы. Так, на листе 11 Ломоносов подчеркивает часть текста, где рассказывается о законодательной деятельности княгини Ольги. В главе «О устроении земском» Ломоносов подчеркивает термины «устав, и уроки, и ловища». На полях NB и приписка «Derebska», видимо для проверки этих данных по иностранным источникам (Кромеру, Стрыйковскому). Текст, подчеркнутый Ломоносовым в этой Степенной книге, использован им в «Древней Российской истории»; Ольга, «обшед землю Древлянскую, учредила переводы, пристани и ловли, положила новые о всем законы и уставы» (VI, 235).

Имеются отметки на листе 13, где рассказывается о походах князя Святослава на болгар, а также на листах 23, 30, 40. С большим вниманием прочел Ломоносов краткое изложение «Сказания о князьях владимирских», включенное в эту Степенную книгу (л. 221 об. — 223). Так же, как и в других рукописях, он подчеркивает здесь заинтересовавшие его обороты языка, особенность в употреблении местных географических названий (Мстислав, покорив чюдь, «град их Медвежию главу взял» — л. 222 об.).

В 1728 году в составе собрания Петра I в Библиотеку Академии наук поступила рукопись первой половины XVII века — Хронограф редакции 1512 года и Псковская летопись (БАН, 34.4.32).

Здесь также, наряду с пометами В. Н. Татищева, имеется много карандашных помет Ломоносова. Так, на листе 401 он отмечает крестом на полях и подчеркиванием иную, чем в «Повести временных лет», версию рассказа о призвании варягов. Согласно этой рукописи, варяги были «загнаны за море», а потом новгородцы снова послали «к варягам к руси». Рюрик был поставлен в Новгороде «старейшиною» (см. л. 401). Раздумывая над древней историей Русского государства, Ломоносов, видимо, сравнивал между собою различные версии легенды о призвании варягов.

В этой рукописи Ломоносов также отмечает известия о закладке городов, явлениях природы и т. д. Следует отметить подчеркнутый на поле и отмеченный крестом рассказ о походе «Ольговых внуков» на половцев. Своим настроением он напоминает «Слово о полку Игореве»: «В лета 6904 (1396) Ольгови внуци Святослави ча внука Ярославля поидоша на половцы... и стаха на вежах рекуше: „Братия паша билися с ними, смотря на Переслав, а они к ним сами перешли, а мы в земли их есмы, и еще идем за Дон и до конца пленим их. Идем в луки моря, идеже и отцы наши не ходиша, и добудем себе славы во веки.“ И поиде Игорь Ольгович со всеми сыны и с братоничи за Дон... и тамо побиха их без вести» (л. 344).

В составе собрания Петра I в Библиотеку Академии наук поступила рукопись — копия, снятая в 1713 году по его приказу с Кенигсбергской или Радзивилловской летописи (БАН, 31.7.22).³⁰

В 1748—1749 годах в период полемики с Миллером о происхождении русского народа Ломоносов использовал эту рукопись. В писарской копии замечаний Ломоносова на диссертацию Миллера «Происхождение имени и народа российского», находящейся в Архиве Академии наук (ф. 3, оп. 1, № 817, лл. 289—306) его рукою добавлены ссылки на листы: «Нестор, лист 10», «Нестор, стр. 9», «лист 9», «Лист 16 на обороте» (см.: VI, 28—34). Если мы откроем Радзивилловский список на соответствующих листах (старой пагинации), то увидим, что на всех этих листах имеются типичные для Ломоносова пометы: кресты, подчеркивания в тексте, подчеркивания на полях, NB, кружок с точкой (л. 2 об. старой пагинации) и др.

3 декабря 1753 года Ломоносов вновь обратился к этой рукописи. Он взял ее из Библиотеки Академии к себе домой, о чем имеется его расписка в Журнале Библиотеки Академии наук.³¹

Радзивилловская летопись, которую Ломоносов называет «Нестор», явилась, наряду с Никоновской летописью, основным материалом для его работы над «Древней Российской историей». По этой летописи Ломоносов излагает по пунктам содержание договора Олега с греками. На полях листов 25—26 имеются карандашные пометы: «о любви», «о клятве», «о убийстве», «о побоях», «кража», «насилие», «о мирских случаях», «о пленных» (VI, 223—224).

³⁰ По этому списку в 1732—1735 годах Г. Ф. Миллер напечатал на немецком языке отрывки летописи в «Sammlung Russischer Geschichte». В предисловии к изданию составителем летописи был назван монах Феодосий. На многих листах этой рукописи имеются пометы черными чернилами, даты на полях, передача русских слов в немецкой транскрипции (например, на листе 213: Tsewolod), что отражено в изданном Г. Ф. Миллером пересказе текста этой летописи.

³¹ Е. Б. Рысс и Г. М. Коровин. Ломоносов — читатель Библиотеки Петербургской Академии наук. «Труды Библиотеки Академии наук СССР и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР», т. III, стр. 291.

Весь текст Радзивиловской летописи проверен Ломоносовым по другим летописям, о чем прямо свидетельствуют варианты со ссылкой на источник, написанные внизу на полях его рукою. В текст внесены исправления по Никоновской летописи (Ломоносов ее называет «Сильвестрова летопись», так, как она обозначена в «Камерном каталоге»), по Новгородской летописи и по примечаниям «покойного господина Татищева». Это указание позволяет датировать работу Ломоносова над Радзивиловской летописью. В. Н. Татищев умер в 1750 году. В отчете за 1751 год Ломоносов напечатал, что он «читал книги для собрания материй к сочинению „Российской истории“: Нестора, законы Ярославля, большой Летописец, Татищева первый том» (X, 389). В 1753 году он «читал российские академические летописцы», «чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях российских» (X, 391). В том же 1753 году Ломоносов обратился с письмом к И. И. Шувалову с просьбой прислать ему второй том «Татищева „Истории“, затем, что он в первом много на второй ссылается» (X, 490).

Были у Ломоносова и «Татищевы Примечания к его Собранию российской летописи». После его смерти эти «Примечания» в числе других «книг и вещей» были возвращены в Библиотеку Академии.³² В отчете за 1756 год Ломоносов писал: «...собранные мною в нынешнем году российские исторические манускрипты для моей библиотеки, пятнадцать книг, сличал между собою для паблюдения сходств в деяниях российских» (X, 393).

Результатом этого «сличения» явился выбор списка в качестве основного: это Радзивиловская летопись, называемая Ломоносовым «Нестор». В последующие годы он, видимо, подводит варианты, используя материалы Никоновской летописи, Новгородской летописи и «Примечаний» Татищева.

Подготовка к печати «Нестора» была для Ломоносова чрезвычайно важна. Об этом свидетельствует его борьба со Шлецером. Шлецер приехал в Россию из Германии в 1761 году, не зная русского языка (начал изучать его, как пишет он сам в автобиографии, уже находясь в Петербурге), и предложил Академии издавать русские летописи. Как видно из официальных рапортов Ломоносова и из слов самого Шлецера, первый считал необходимым, чтобы издавал и комментировал русские летописи «природный россиянин», хорошо знающий «диалекты» русского языка. По словам А. Шлецера, Ломоносов требовал, чтобы он (Шлецер) «оставил Нестора; он был исключительно его делом».³³

Радзивиловская летопись вышла из печати в 1767 году, т. е. через два года после смерти Ломоносова, под названием «Библиотека российская историческая, древние летописи». Но в предисловии, написанном А. Шлецером, не указывалось, кто подготовил ее к печати. В то же время в своей автобиографии и в написанном в конце XVIII века исследовании «Нестор» Шлецер подверг это издание уничтожающей критике. Противоречия сам себе, он писал, что русские тогда (в начале 1760-х годов) не занимались собиранием и сравнением рукописей,³⁴ что издание летописи было поручено Тауберту, который, по словам Шлецера, «вовсе не был такой человек, от которого можно было бы ожидать успешного издания средневековой летописи».³⁵ Историограф Г. М. Миллер был отстранен от издания этой летописи,³⁶ а «печатание и корректуру и все дело он (Тауберт, — Г. М.) передал не ученому, «академическому канцеляристу Баркову»,³⁷ который «позволил» вырабатывать приемы подготовки текста («непонятные места изменять по догадкам, ... старые... слова заменять новыми по соображению, ... пробелы пополнять из других списков»)³⁸ Это свидетельство А. Шлецера оказалось некритически воспринятым некоторыми исследователями. Так, П. Г. Софиев в своей книге «Из истории русской дореволюционной археографии» предлагает оценить «забытого русского историографией» Ивана Баркова — издателя первой русской летописи.³⁹ Между тем достаточно посмотреть на рукопись, по которой готовилось издание Радзивиловской летописи, для того чтобы убедиться, что вся она правлена рукою Ломоносова.

Можно представить, почему А. Шлецер говорил о том, что Ивану Баркову было поручено «печатание и корректура». Переводчик Академии наук Иван Барков был близок к Ломоносову с 1748 года, когда ученый хлопотал о том, чтобы ученик Александро-Невской семинарии был принят студентом в Академию наук.⁴⁰ Рукою

³² Там же, стр. 298.

³³ Общественная и частная жизнь Августа Людвиг Шлецера, по самим описаниям («Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», т. XIII, СПб., 1875), стр. 210.

³⁴ См.: там же, стр. 58.

³⁵ Там же, стр. 59.

³⁶ Там же, стр. 57.

³⁷ Там же, стр. 59.

³⁸ Там же, стр. 60.

³⁹ П. Г. Софиев. Из истории русской дореволюционной археографии. М., 1957, стр. 30.

⁴⁰ Архив Академии наук СССР, ф. 3, оп. 1, № 114, л. 224.

Ивана Баркова переписаны многие сочинения Ломоносова.⁴¹ В 1756 году Иван Барков по заданию Ломоносова переписывал «Летопись Нестора» (Радзивилловскую летопись).⁴² Естественно, что «канцелярист» Иван Барков был посредником между типографией и Ломоносовым, который в 1763—1764 годах из-за тяжелой «ножной» болезни находился дома. После смерти Ломоносова Иван Барков теперь уже «по поручению» заведующего академической канцелярией И. Тауберта наблюдал за печатанием летописи.⁴³

Знал ли А. Шлецер о действительном издателе Радзивилловской летописи и в каких-то целях умолчал об этом, или он был неверно информирован? Более вероятным представляется первое. Ставя под сомнение авторитетность первого издания русской летописи 1767 года, А. Шлецер пытался подчеркнуть «научный» характер изданной им самим (совместно с С. Башиловым) Никоновской летописи, вышедшей в 1768 году.

Посмертно вышедшее издание Радзивилловской летописи, подготовленное Ломоносовым, постигла та же участь, что и многие другие его работы. Только трудами советских исследователей в настоящее время установлена принадлежность Ломоносову ряда исследований в области точных наук, выпущенных после его смерти без имени или вообще не увидевших свет (например, «Таблиц колебаний центроскопического маятника»).

Работа Ломоносова над памятниками древнерусской литературы не ограничивалась изучением рукописей Библиотеки Академии наук. Он пользовался также рукописным собранием братьев М. И. и Р. И. Воронцовых.

Собрание Воронцовых после Октябрьской революции перешло по частям в различные архивохранилища (в Центральный государственный архив древних актов, в архив Ленинградского отделения Института истории, в Библиотеку Академии наук). Нами просмотрены рукописи из собрания Воронцовых, хранящиеся в архиве ЛОИИ и в БАН, куда они поступили в 1920 году.

Софийская первая летопись (БАН, 34.2.31) второй половины XVI века переплетена вместе с некоторыми литературными и документальными памятниками. В числе их сочинения Максима Грека, «Псковская Судная грамота», «Правда русская пространной редакции», «Послание Спиридона-Саввы»,⁴⁴ «Повесть о князьях Александре Ярославиче, Михаиле Черниговском, Михаиле Ярославиче Тверском», «Послание новгородского архиепископа Василия о рае», «Рукописание Магнуса».⁴⁵

Внимание Ломоносова в этом сборнике привлекло «Послание Спиридона-Саввы». Выше уже приходилось говорить о том, что Ломоносов знал и использовал в своих историко-литературных сочинениях «Сказание о князьях владимирских», явившееся, как показало исследование Р. П. Дмитриевой, переработкой «Послания Спиридона-Саввы».⁴⁶ Ломоносов подчеркнул в тексте «Послания» ряд мест, обратив внимание на титул Василия III: «...ныне настоящий князь великий Василий Иванович волный самодержец и царь» (л. 79). Три последние слова подчеркнуты, и на полях против текста поставлено NB. Подчеркнуто в тексте имя Гацдуария, отчеркнут на полях и подчеркнут в тексте отрывок, где рассказывается о литовском князе Ягайло: «...и по сих Ияков сын Волгердов, глаголемый Ягайло, взят бысть в Кракове» (л. 82). Мы могли уже и ранее наблюдать большой интерес Ломоносова к литовскому князю Ягайло, союзнику татарского хана Мамай (см. его примечания в Лицевом своде, в Новгородской летописи, в степенных книгах).

В рукописном собрании Воронцовых находится также Хронограф западно-русской редакции середины XVII века (БАН, 4.7.25). Ранее эта рукопись принадлежала Д. М. Голицыну (на листах 1—4 помещена владельческая запись). В 1736 году Д. М. Голицын был арестован, его собрание конфисковано и попало в частные руки (большую часть купил граф Ф. А. Толстой). Сейчас это собрание находится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).⁴⁷

⁴¹ См.: Рукописи Ломоносова в Академии наук СССР. Научное описание. Составил Л. Б. Модзалевский. Изд. АН СССР. М.—Л., 1937, стр. 79—80, 83, 143, 146, 147, 148, 162, 266; Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова. Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 245, 251, 256, 306.

⁴² См.: Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова, стр. 256.

⁴³ Обстоятельства подготовки издания и выпуска из печати первой русской летописи в 1767 году подробно исследованы С. Н. Вальком.

⁴⁴ Этот список исследован Р. П. Дмитриевой. См.: Р. П. Дмитриева. Сказание о князьях владимирских. Изд. АН СССР, М.—Л., 1955, стр. 159—170.

⁴⁵ Об особенностях состава этого сборника см.: А. А. Шахматов. Несколько слов о Воронцовском историческом сборнике XVI в. В кн.: Сборник в честь Д. А. Корсакова. Казань, 1913.

⁴⁶ Р. П. Дмитриева. Сказание о князьях владимирских, стр. 73—109.

⁴⁷ См.: В. А. Петров. История рукописных фондов Библиотеки Академии наук с 1730 г. до конца XVIII в. В кн.: Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук, вып. 1, стр. 212—213.

Этот Хронограф составлен главным образом из выписок из «Хроник» Мартина Бельского, Кромера, Дуглоша, ряда русских летописей и из записи составителя. Ломоносов, знакомясь с текстом этого Хронографа, везде выделил источники, особенно ссылки на польского историка Кромера.

Известно, что к труду этого историка Ломоносов обращался много раз. В отчете за 1751 год он пишет, что в числе книг, которые он читал «для собрания материй к сочинению „Российской истории“» были труды «Кромера» (Кромера, — Г. М.) (см.: X, 389). В 1754 году Ломоносов снова брал из Библиотеки книгу Кромера, о чем имеется его расписка в Журнале Библиотеки.⁴⁸

В опубликованных работах Ломоносова много ссылок на книгу «О деянии поляков» Кромера (VI, 177, 188, 189, 205, 211, 254, 285).

В собрании Воронцовых в Библиотеку Академии поступила и Русская хронографическая летопись последней четверти XVII века, объединенная с Нижегородским летописцем (БАН, 4.7.27). На многих листах этой рукописи на полях поставлены знаки, которые типичны для Ломоносова. Характерен и материал, около которого мы находим пометки: рассказ о княжении в Кieve сына Владимира Мономаха, который, по словам составителя этой летописи, также назывался «Манамах» (л. 34 об.); сообщение о том, что с приходом «в Володимир ис Кива» Андрея Боголюбского «в лето 7666» (1158) «в Кieve великое княжение престало, а во Володимере бысть первый великий князь» (л. 35—35 об.). На листе 157 (об.) отмечено основание на реке Суре города «именем Курмыш», на 161 листе подчеркнут текст, где сообщается, что Василий III после «взятия» Пскова жителям «перевод учинил» «в Нижний Новгород».

Знакомясь с рукописями из собрания Воронцовых, Ломоносов не только использовал материал для своих работ, но способствовал тому, чтобы наиболее важные исторические источники оказались в Библиотеке Академии. Так, по-видимому при посредничестве Ломоносова, в 1754 году в Академии была списана рукопись под названием «Российский летописец» (БАН, 32.12.2). Оригиналом послужил список, переписанный в свою очередь в 1743 году. В настоящее время этот список находится в архиве ЛОИИ (собрание Воронцовых, № 649/1094).

О том, что этот список некоторое время находился в Библиотеке Академии, свидетельствует запись на обложке, сделанная рукою архивариуса А. И. Богданова («№ 2»).

На полях и в тексте «Российского летописца» из собрания Воронцовых имеются пометы, напоминающие ломоносовские.

Здесь обращено внимание на время основания городов, названия рек. Везде подчеркнуты известия, относящиеся к древнейшему периоду существования Москвы.

Изучение пометок и приписок Ломоносова на рукописях раскрывает все многообразие его творческих интересов. Так, во всех летописях он учитывает описание астрономических явлений: затмение солнца, луны, падение комет.⁴⁹ Внимание к описаниям астрономических явлений объясняется не только научными интересами Ломоносова, но и тем фактом, что в 1746 году академик Делль поручил ему делать выписки, относящиеся к астрономии, из разнообразных сочинений (о чем извещено из Протоколов Конференции Академии наук (т. II, стр. 158)).

Занимаясь географией,⁵⁰ он не пропускает в летописях, хронографах и степенных книгах любые упоминания, связанные с исторической географией Русского государства. Ломоносов отмечает следы древних городов, старых рек, урочищ, берег на заметку сведения о постройке новых городов, уточняет их названия (ср. составленные Ломоносовым вопросы, которые разослали по уездам в целях создания «верной и обстоятельной „Российской географии“»).⁵¹

Мимо внимания Ломоносова не проходят и этнографические материалы: он фиксирует описания различных народов, населяющих Россию в древние времена, их внешний облик и национальные черты характера (ср. с «Примерной инструкцией морским командующим офицерам», составленной Ломоносовым, где он реко-

⁴⁸ Е. Б. Рысс и Г. М. Коровин. Ломоносов — читатель Библиотеки Петербургской Академии наук. «Труды Библиотеки Академии наук СССР и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР», т. III, стр. 293.

⁴⁹ В своих научных работах он отмечает периодичность этих явлений природы, высказывает догадки о строении комет (см.: Ломоносов. Сборник статей и материалов. 1940, стр. 66—116), борется с суеверными попытками объяснить эти явления «карой божией», опираясь в числе других материалов и на данные русских летописей.

⁵⁰ М. В. Ломоносов принимал участие в составлении «Российского атласа» и некоторое время возглавлял Географический департамент. См.: В. Ф. Гнучева. Ломоносов и Географический департамент Академии наук. В кн.: Ломоносов. Сборник статей и материалов. 1940, стр. 244—266.

⁵¹ См.: М. В. Птуха. М. В. Ломоносов как экономист и статистик. В кн.: Ломоносов. Сборник статей и материалов. II. Изд. АН СССР, М.—Л., 1946, стр. 144—215.

мендует «сверх обыкновенного морского журналу» «описывать, где найдутся, жителей вид, нравы, поступки, платье, жилище и пищу» (VI, 534)).

Тесно связано с этнографическими интересами Ломоносова его пристальное внимание к народному творчеству. В русских летописях (особенно новгородских и псковских) он выделяет целые отрывки текста, характерные своей близостью к народно-поэтической речи. Не случайно и то, что во всех летописях он подчеркивает и особо выделяет на полях все сведения о новгородском посаднике Василии Буслаеве и Садко. Выросший на севере Русского государства, где бережно хранились вековые традиции русской народной культуры, Ломоносов с детства усвоил лучшие образцы устного поэтического творчества. Несомненно, что знал он и новгородский цикл былин о Садко — богатом госте (знание этих былин, как показали исследователи, сказывается в ряде его литературных произведений, например в картинах подводного царства в поэме «Петр Великий».⁵² Интерес к новгородскому посаднику Василию Буслаеву мог быть продиктован желанием уяснить историческую основу былин об удалом новгородском богатыре Васье Буслаеве.

Пометки и приписки Ломоносова на древнерусских литературных произведениях представляют собой новые материалы, характеризующие его антирелигиозные взгляды. Все эти материалы (лишь частично приведенные выше) показывают с новой стороны Ломоносова — автора разительной по силе антирелигиозной сатиры «Гимн бороде».

Очень важны пометки Ломоносова и приписки на рукописях для анализа его исторических взглядов. Само собой разумеется, что совершенно отпадают необоснованные упреки историков второй половины XVIII—XIX веков в том, что Ломоносов не знал русских источников. Уже первые выступления в дискуссии о происхождении русского народа (по работе Г. Ф. Миллера) в 1748—1749 годах показывают Ломоносова как глубокого и разностороннего историка, трезво и внимательно оценивающего свидетельства исторических источников. В начале 1750-х годов, когда Ломоносов приступил к созданию большой работы по истории России, систематическое обращение к летописям, разрядным и степенным книгам, хронографам, историко-публицистическим памятникам древней Руси стало отражаться в его отчетах, официальных рапортах, в письмах к И. И. Шувалову и М. И. Воронцову. Из этих документальных данных известно, что Ломоносов задумал написать «Российскую историю» от древнейших времен до времени царствования Елизаветы Петровны. Из рапорта в академическую канцелярию 28 февраля 1763 года видно, что он приготовил, помимо «Древней Российской истории» (которая охватывала период до 1054 года — времени княжения Ярослава I), еще 2 части: 1) «до Батыева нашествия», 2) «до вел. князя Ивана Васильевича, когда Россия освободилась от татарского ига» (IX, 408—409). «Древняя Российская история» вышла после смерти Ломоносова, в 1766 году. Две остальные части его «Истории» бесследно пропали вместе с его архивом.

С обнаружением исторических источников с пометками и приписками Ломоносова, часть которых использована им в «Древней Российской истории» и в «Кратком Российском летописце», а остальные приготовлены для будущей работы, советские исследователи имеют возможность в известной степени воссоздать отсутствующие части его исторических трудов. Эти новые материалы полностью подтверждают гипотезу Д. Д. Шамрая о том, что Ф. Эмин, издавший в 1768—1769 годах три тома «Российской истории», использовал рукописное наследие Ломоносова.⁵³

Пометки Ломоносова, разбросанные в многочисленных памятниках древней русской литературы, позволяют уяснить исследовательский метод великого русского ученого.

Ломоносова как историка отличает критическое отношение к источникам. Он стремится проверить каждый факт и за ним увидеть историческую основу той или иной интерпретации событий в летописях и других исторических сочинениях. Ломоносов внимательно сличал различные версии рассказа об одном и том же событии в разных летописях. Результатом его текстологической работы, как уже указывалось, явилась подготовленная им к печати Радзивиловская летопись с вариантами из других источников. Эти новые материалы дают возможность отвергнуть принятую за последнее время точку зрения (не принял ее один только П. Н. Берков),⁵⁴ согласно которой в составлении «Краткого Российского летописца» (единственной работы, вышедшей при жизни Ломоносова, в 1760 году) существенную роль играл А. И. Богданов.⁵⁵

⁵² М. Я. Мельц. Подводное царство в поэме «Петр Великий». В сб. «Литературное творчество М. В. Ломоносова» (печатается).

⁵³ Д. Д. Шамрай. Ф. Эмин и судьба рукописного наследия М. В. Ломоносова. В кн.: XVIII век. Сборник 3. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 471—473.

⁵⁴ См.: П. Н. Берков. Н. В. Здобнов. История русской библиографии от древнего периода до начала XX века. «Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», 1948, т. VII, вып. 4, стр. 357.

⁵⁵ Л. Б. Модзалевский. Об участии А. И. Богданова в составлении «Краткого Российского летописца» М. В. Ломоносова. В кн.: Ломоносов. Сборник

Не менее важным материалом являются пометы Ломоносова на древнерусских произведениях и для оценки его как лингвиста.

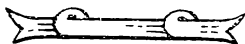
Ломоносов подчеркивал в тексте и отмечал на полях грамматические формы языка, особенности оборотов, стилистические формулы, идиоматические выражения, типы пословиц. Ломоносов строго различал церковно-славянский и древнерусский языки. И как раз материал древнерусского языка, языка светских литературных произведений, он извлекал из многочисленных повестей, вошедших в состав летописных сводов. В своей записке И. И. Шувалову Ломоносов писал, что для словаря («Лексикона») должны быть использованы «несторовские и новгородские» летописи (VII, 763). Только теперь с обнаружением приписок на летописях стало понятным это его выражение. Известно, что Ломоносов принимал участие в составлении словаря русского языка, который позднее пропал (или оказался разобранном).⁵⁶ С выявлением источников работы Ломоносова представляется возможным в некоторой степени восстановить его словарные материалы. Приписки и пометы на рукописях, свидетельствующие о наблюдениях Ломоносова над стилистическими особенностями древнерусских литературных памятников, возможно, помогут исследователям уяснить некоторые вопросы, связанные с изучением его «Риторики».

Приписки и пометы имеют большое значение и для изучения литературного творчества Ломоносова. Определение круга памятников древнерусской литературы, известных Ломоносову и использованных в его историко-литературных сочинениях, дает фактическую основу для решения вопроса о формах новаторства и о степени участия традиций национальной литературы в формировании его творчества. Не только историзм и гражданственность древнерусской литературы в ее широком значении нашли прямое продолжение в творчестве Ломоносова, но и особенности художественных приемов поэтического стиля древней Руси во многом определили сущность его реформ в области литературы.

Древняя русская литература, обладающая непреходящими ценностями, подготовила Ломоносова — основоположника новой русской литературы.

Выявление приписок и пометок Ломоносова на рукописях имеет тем большее значение, что архив великого русского ученого сохранился лишь частично. На другой день после смерти Ломоносова (5 апреля 1765 года) по приказанию Екатерины II его рукописи были увезены фаворитом царицы Г. Г. Орловым. Из этого архива возвратились лишь две папки.⁵⁷ Все рукописи сочинений Ломоносова и материалы, заготовленные для его будущих работ по различным отраслям знаний, до настоящего времени не найдены.

Изучение и публикация обнаруженных пометок, приписок и замечаний Ломоносова на полях рукописей в связи с этим приобретает первостепенный интерес.



статей и материалов. II, стр. 265—270. Эта точка зрения принята издателями и комментаторами последнего академического собрания сочинений Ломоносова (см.: VI, 589).

⁵⁶ Словарь этот состоял из двенадцати тетрадей и включал около 40 000 слов. По свидетельству А. Шлецера, который снял в 1761 году для себя копию с этого словаря, он был «чрезвычайно» полон в лексикографическом отношении. См.: Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная, стр. 37. А. Шлецер приписывает составление словаря К. Кондратовичу. Однако, как показало исследование В. Н. Макеевой, в его разработке принял большое участие Ломоносов. См.: В. Н. Макеева. М. В. Ломоносов — составитель, редактор и рецензент лексикографических работ. «Вопросы языкознания», 1961, № 5, стр. 109—113.

⁵⁷ О судьбе архива Ломоносова см.: С. Чернов. Литературное наследство М. В. Ломоносова. «Литературное наследство», т. 9—10, 1933, стр. 327—339; Е. С. Кулябко. Судьба арестованного архива. «Ленинградская правда», 1961, № 274 (14220), 21 ноября.

БЕЛИНСКИЙ В НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

В жизни Белинского имеются периоды, которые и сейчас остаются малоосвещенными, в первую очередь его журналистская деятельность 1834—1837 годов. Каждая новая публикация архивных разысканий вводит в научный обиход материал, в какой-то мере восполняющий эти пробелы. Вернее всего расширению наших знаний о Белинском, о его литературных связях и окружавших его людях служат импено письма современников, отражающие мысли и чувства тех дней и потому отличающиеся особой непосредственностью.

Публикуемый сейчас материал пестр. Наряду с письмами друзей имеются письма недоброжелателей и даже врагов, каковых было немало, да и не могло не быть у Белинского, о котором Герцен вспоминал, что он «бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким». К тому же путь идейного развития Белинского был извилист: от увлечения немецкой философией к признанию того, что она не отражает жизни и тормозит общественную борьбу, от недолговременного примирения с «разумной действительностью» к неустанной борьбе с «гнусной действительностью», от неприятия французской литературы к восхищению ею, от увлечения Москвой, с которой, как он в 1837 году писал К. Аксакову, у него было «соединено все прекрасное жизни»,¹ к осуждению ее и возвеличению Петербурга и послепетровской России (что особенно раздражало славянофильские круги). Это создавало новых врагов и подчас делало врагами вчерашних друзей.

Далеко не все сейчас публикуемое может быть принято на веру; материал требует строгого критического отношения.

Значительная часть сделанных разысканий связана с Аксаковыми, с их обширным, разбросанным по разным хранилищам семейным архивом. Тут и письма старика Аксакова, всех трех его сыновей, дочери Веры, наконец племянницы М. Г. Карташевской. Как и в ранее опубликованных письмах Аксаковых о Белинском и Гоголе, поражает теснейшая спайка всей семьи, почти полное единомыслие. К одним они все относились дружески, к другим враждебно. Нападки на одного из членов семьи объединяли всех. О Белинском лишь один Константин Аксаков, и то временно, имеет особое мнение. Недоброжелательное отношение Аксаковых к Белинскому было вызвано расхождением во взглядах, ревностью к Гоголю и особенно позднейшими нападками критика на литературную деятельность Константина, любимца и гордости семьи. Последнего простить ему Аксаковы не могли никогда. Поражает полное недоброжелательства письмо С. Т. Аксакова 1846 года (ранее хоть жалевшего Белинского в периоды его тяжелой нужды). В этом письме Аксаков возмущается тем, что А. О. Смирнова «допустила» Белинского «в свое короткое общество» и «удостоила... спора», да еще спора о Гоголе, в нападках на которого Смирнова совершенно необоснованно обвиняла Белинского, хотя именно он был первым, кто сейчас же после «Ревизора» назвал Гоголя гениальным художником, в то время как московские друзья писателя, и в том числе Аксаковы, боясь публично ошибиться, еще высказывались о нем сдержанно.

Любопытно письмо о Белинском Ивана Аксакова от 21 апреля 1841 года, в котором отразилась реакция Аксаковых на изменение идеологических взглядов Белинского.

Отдельно стоят два письма из переписки Ивана Аксакова с Де Пуле о Кольцове. Они не во всем сходятся во мнениях, но в оценке «зловещей» роли, будто бы сыгранной Белинским в жизни Кольцова, они едины. Почти 5 лет спустя, в 1880 году, Аксаков в письме тому же Де Пуле, говоря об ответственности «московских друзей и петербургских литераторов... за всю ложь, которой... стал жертвой Кольцова», добавлял: «...но, господи, сколько лжи, сколько вздору во всех этих фразах, идеализациях, восторгах, доктринерстве, которыми так искренно угощал Белинский Кольцова и сам услаждался. Правда была в искренности влечения к какой-то высшей правде, а не в том, что именно выдавалось за правду».²

¹ В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 130.

² Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 569, № 106, л. 22.

Характерны письма явных врагов Белинского: Погодина и Дмитриева. Одно из писем Погодина связано с борьбой «Москвитянина» с «Отечественными записками» и полно злобы, в другом (от 10 июня 1874 года) красочно изображен характер Белинского, которому Погодин после первого же собеседования о журнале посоветовал «окачиваться холодной водою под колодезем по утрам и вечерам». Вражда Дмитриева носила более личный характер и, как видно из публикуемого письма его к Гроту (от 27 июля 1862 года), не утихла и через пятнадцать лет после смерти Белинского.

Письма Н. И. Надеждина к С. Т. Аксакову 1837—1839 годов вносят некоторые новые штрихи в вопрос взаимоотношений его с Белинским: забота и беспокойство о нем, с одной стороны, и известное осуждение журналистской деятельности и сомнение в успехе руководимого Белинским «Московского наблюдателя», с другой. Письма Надеждина интересны и для истории журналистики тех лет.

Майков в письме к жене пытается доказать существование «двух» Белинских: «натурального, как он был» и «сбитого с толку политическими тенденциями». Временные ошибки и неизбежное, коренившееся в неизменной ненависти к самодержавию и крепостничеству скорое изменение взглядов Белинского способствовали распространению подобной точки зрения.

Письмо Гайдебурова, в котором речь шла о корректуре статьи Кавелина «Белинский и последующее движение нашей критики. (Письмо А. Н. Пыпину)», написанной много лет после смерти Белинского, подымает однородные с письмом Майкова вопросы, но только Гайдебуров говорит не о двух Белинских, а об «общей формуле человеческой деятельности», которую тот якобы пытался установить.

Письмо А. Н. Андреева Краевскому вносит некоторые новые детали в историю любопытнейшего письма Белинского к Боткину от 4—8 ноября 1847 года, которое Андреев справедливо называет «раздражительным» и совершенно неверно — «позорным бредом» Белинского.

Немногие письма из архива Бакуниных дополняют биографические данные о Белинском. Позднейшее, почти через сорок лет после его смерти, письмо Эртеля к Пыпину бросает новый свет на «будни» кружка Станкевича, а тем самым и на Белинского.

Документы, касающиеся хлопот Белинского о разрешении выехать за границу, ранее известны не были. В примечаниях к ним оговорены их особенности.

Публикация заканчивается дневниковой записью И. Л. Щеглова (Леонтьева) о панихиде на Волковом кладбище в день 50-летия со дня смерти Белинского. Запись как бы смыкается с письмом Кавелина Пыпину от 1886 года в связи с предполагавшимся обедом в честь 50-летнего юбилея появления «Литературных мечтаний» (см. прим. 96). И тут и там уклонение от участия диктовалось в первую очередь страхом. Ведь предписало же Министерство просвещения в 1898 году всем попечителям запретить чествование и даже панихиды по Белинскому.³

Небольшая часть публикуемых писем датирована более поздним временем, но написаны они теми или к тем, кто лично знал Белинского, и содержат сведения о 30—40-х годах.

В ряде писем опущены не представляющие интереса места (пропуски обозначены угловыми скобками). Тексты приводятся в хронологической последовательности. Разыскания сделаны в основных хранилищах Ленинграда: Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее: ИРЛИ), Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее: ГПБ), Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде (далее: ЦГИАЛ), Архиве Академии наук СССР (далее: ААН). Ряд неизданных писем о Белинском использован в примечаниях.

Н. И. Надеждин — С. Т. Аксакову

Вологда, 26 апреля 1837 года

«...» Недавно я начал получать «Наблюдателя» на нынешний год и получил уже две книжки. Это, верно, Андросов⁴ сам меня вспомнил. Скажите ему при случае мое спасибо. Но не говорите, что я нахожу журнал несколько не улучшившимся. Все так же пуст, как лукошко «...» Здесь в Вологде я только один получаю этот несчастный журнал; другие и имени его не знают «...»

³ В. Г. Белинский. Сборник статей и документов к биографии великого критика. Пензенское областное издательство, 1948, стр. 253.

⁴ Андросов Василий Петрович (1803—1841), издатель и редактор журнала «Московский наблюдатель» (1835—1837).

Как поразила меня участь, грозившая Виссариону!⁵ Вот человек, истинно достойный сострадания! Однако я виню и самого его. Как же он так беспечен — не подумает устроить своей будущности? Почему он не идет в службу, не возьмет уроков? Ведь делать-то нечего! Я не только одобряю Ваше распоряжение насчет выдачи ему ста рублей, но даже благодарю Вас, что Вы это сделали. Жалею только, что не могу больше помочь ему. Сам нищ, как Ир! Да что ж его приятели — Станкевич, например, который был бы в состоянии сделать ему временное пособие? Признаюсь, яма немного чем лучше Усть-Сысольска!!⁶

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, № 47, лл. 48—49).

Г. С. Аксаков⁷ — К. С. Аксакову

20 сентября 1837 года

«...» Белинского грамматику разбирало «Литературное» прибавление». Кажется, его не бранят.⁸ Что Ефремов⁹ и что Белинский, потолстел ли первый и похудел ли Кривоустый?¹⁰ Саша¹¹ им кланяется. Кланяйся им от меня, также Станкевичу, Бееру¹² и другим твоим знакомым «...»

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, № 4, л. 18).

А. А. Беер¹³ — К. А. Бееру

Шашкино, 18 января 1838 года

«...» Белинский» в этих словах высказал всю жизнь мою. Знаешь, Константин, мне грустно думать, что Белинский имеет о мне лучшее мнение, чем я заслуживаю. Он думает, я вполне счастлива, он не знает, какие разрушительные бури, какие черные тучи проходят по душе «...»

Белинский» говорит о «Современнике»; где же мне здесь достать его, это просто невозможно. Одна книжка, где «Капитанская дочка», лежит у меня, до сих пор не могу с ней расстаться, от прочих Протасов отказался после Пушкина смерти. Благодарю, Константин, Белинского за все. Письмо его, если бы я имела случай, я

⁵ Надеждин несомненно имел в виду не только то исключительно тяжелое материальное положение, в котором очутился Белинский, лишенный журнальной работы после закрытия «Телескопа», но также обыск и другие полицейские меры в отношении Белинского.

⁶ Усть-Сысольск был местом ссылки Надеждина.

⁷ Аксаков Григорий Сергеевич (1820—1891), второй сын С. Т. Аксакова.

⁸ «Основания русской грамматики для первоначального обучения, составленные Виссарионом Белинским, ч. 1. Грамматика аналитическая (этимология)» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 579) была разрешена цензурой 8 апреля и поступила в продажу в начале июня 1837 года. Рецензии Н. А. Полевого в июльской книжке «Библиотеки для чтения» за 1837 год и А. Д. Галахова в №№ 36 и 37 (4 и 11 сентября 1837 года) «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» были благоприятными.

⁹ Ефремов Александр Павлович (1814—1876), член кружка Станкевича, близкий друг Белинского, ездивший с ним в 1837 году на Кавказ. Позже преподаватель всеобщей географии в Московском университете.

¹⁰ Так, очевидно, называли Белинского в доме Аксаковых. Отмечалась ими и «неблагородная наружность» его («Литературное наследство», т. 56, 1950, стр. 134). Что это определение внешности Белинского не случайно в публикуемом письме, подтверждает другое, более раннее, от конца апреля — начала мая 1836 года, того же Г. С. Аксакова. «...Что Виссарион Кривоустый, отдал ли, — писал он Константину, — или есть ли надежда, что он отдаст тебе, свой долг?» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, № 4, л. 25).

¹¹ Карташевский Александр Григорьевич (1817—1894), племянник С. Т. Аксакова, бывший в приятельских отношениях с рядом членов кружка Станкевича.

¹² Беер Константин Андреевич (ум. в 1847 году), член кружка Станкевича. С сестрами Беера, Н. А. и А. А. Беер, Белинский был дружен и часто бывал в их доме.

¹³ Беер Александра Андреевна (ум. в 1847 году). С ней и с сестрой ее, подругами сестер Бакуниных, Белинский сблизился в 1835 году. Публикуемое письмо является откликом на письмо к ней Белинского от 13 января 1838 года (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 227—228), в свою очередь служившее ответом на письмо к нему А. А. Беер от 3 января 1838 года (А. А. Корнилов. Молодые годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма. М., 1915, стр. 363—364).

всегда слушала бы с особенным удовольствием.¹⁴ Подробности о жизни его внутренней я глубоко уважаю, он, мне кажется, должен это чувствовать, мое письмо может служить явным знаком моего уважения к нему. Я знаю, он верит мне, когда я говорю, что уважаю его; это не пустые слова, не обычное обыкновение притворной учтивости, которым выражают то, чего и не понимают и не чувствуют <...>

(ИРЛИ, ф. 16, оп. 8, № 54, лл. 7—9).

Н. И. Надеждин — С. Т. Аксакову

Одесса, 10 апреля 1839 года

<...> Недавно стали мы получать Ваши московские журналы. Д. М., одишь из всей Одессы, подписался на «Наблюдателя»¹⁵ и на «Галатею».¹⁶ Господи ты, боже мой! «Галатея» — опять на свете! Да ведь это точно привидение из времен минувших, возвратившаяся мечта нашей юности. Только и разницы, что теперь голенькая. Не холодно ли ей, бедняжке, в нынешнее совсем не весеннее время литературы? Я того и жду, что ее хватит морозом. «Наблюдатель» с нынешнего года значительно улучшился. Вчера я прочел вторую его книжку. Только, признаюсь, и ему я не предвижу долговечности, тем более успеха. Принимая искреннее участие в его нынешних сотрудниках, я хочу Вам сказать об нем свое мнение поподробнее <...>¹⁷

Статья Константинова мне очень понравилась по своим отдельным мыслям, из которых много очень дельных. Но она, во-первых, не отделана, не связана, просто набросана; беспрестанно повторения, отступления, возвращения к одному и тому же. Во-вторых, не нужно было привязывать ее к «Грамматике Белинского».¹⁸ С нынешним заглавием, я думаю, редкий станет ее читать. Кто знает «Грамматику Белинского»? Похвально взаимное уважение друг к другу молодых людей, но, являясь в публику, надо быть как можно осторожнее. Чтобы не сказали «рука руку моет» или «аржаная каша сама себя хвалит». Всего легче возбудить смех собою, а Вы знаете, как страшно сделаться смешным и у нас, особенно в начале поприща <...>

Еще одно слово. Что же значит это баярдовское *sans peur et sans reproches*, которым Виссарион, бывало, хвастался?¹⁹ Я прочел отзыв об «Искусителе» — и не верил глазам своим. Конечно — понимаю, все понимаю. Но кто ж его тянул за язык? Можно бы вовсе не говорить об этой дряни,²⁰ как я некогда сделал с «Аскольдовою могилою». Впрочем, может быть, я уже и поглупел или, как говорят ныне, отстал от века. Может быть, «Искуситель» и в самом деле что-то порядочное, сносное? А по-моему, «Аскольдова могила» во сто раз сноснее <...>

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, № 47, лл. 76—77).

¹⁴ Письмо Белинского было, вероятно, как и письмо А. А. Беер к Белинскому от 3 января (о чем свидетельствует приписка на последнем), отослано к Бакунинным.

¹⁵ Журнал «Московский наблюдатель», редактировавшийся с весны 1838 года Белинским, был с 1839 года реорганизован и превращен в ежемесячный, рассчитанный на более широкий круг читателей (см.: «Литературное наследство», т. 57, 1951, стр. 257—260; Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. Гослитиздат, М., 1958, стр. 181). Прежний «Московский наблюдатель» И. И. Лажечников в письме Белинскому от ноября 1835 года назвал «Наблюдатель из передней одного князя» (М. Поляков. Белинский в Москве. 1829—1839. Изд. «Московский рабочий», 1948, стр. 183). Д. М. — Княжевич Дмитрий Максимович (1788—1844), литератор, с 1837 года попечитель Одесского учебного округа.

¹⁶ «Галатея», еженедельный журнал, издававшийся С. И. Раичем в 1829—1830 годах. В 1839 году журнал начал выходить вновь.

¹⁷ Белинский сам в письме к Станкевичу от 2 октября 1839 года перечислил все то, что дало «дурное направление журналу и на первых порах оттолкнуло от него публику» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 384).

¹⁸ Надеждин имел в виду статью К. С. Аксакова в первом номере «Московского наблюдателя» за 1839 год «О грамматике вообще — по поводу грамматики г. Белинского».

¹⁹ Одна фраза публикуемого письма «Что же значит... бывало хвастался» приведена В. С. Нецаевой в книге «В. Г. Белинский» (т. II, Изд. АН СССР, 1954, стр. 461).

²⁰ Положительная рецензия Белинского о романе М. Н. Загоскина «Искуситель» была помещена в первом номере «Московского наблюдателя» за 1839 год (см.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 23—24). Позже Белинский изменил свое отношение к Загоскину (там же, т. V, стр. 186—217).

С. Т. Аксаков — К. С. Аксакову

12 августа 12 часов ночи <1839 года>

<...> Жалею о трудном положении Белинского, но как этому помочь? Панаев слишком неаккуратно распорядился своими финансовыми делами <...>²¹

(ЦИАЛ, ф. 884 С. Т. Аксакова, ед. хр. 21, л. 34 об., машинописная копия).

Н. И. Надеждин — Аксаковым

Одесса, 13 октября 1839 года

<...> Мы очень торопимся своим альманахом <...>²² Пожалуйста, — но я речь сию обращаю преимущественно к Константину — пожалуй, возлюбленный Костаски, похлопочи у себя самого и у прочих москвитов <...> В особенности тереби М. С. Щепкина; мы ждем с нетерпением отрывка из его «Записок» <...> Забыл еще о Панаеве: перейми его на дороге, расцелуй за меня и потом сдери насильно следующую в альманах подать. Да и Белинский, божий млат,²³ что-то проговаривал: взять и его за бока <...>

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, № 47, л. 78).

Г. С. Аксаков — К. С. Аксакову

20 января 1840 года

<...> Я видел недавно первую книжку «Отечественных записок» и стихи, помещенные в ней, не понравились мне, кроме Кольцова.²⁴ Повесть Одоевского еще не читал.²⁵ Менцель Белинского — очень хорошая статья.²⁶ Начало критики «Горе от ума» черт знает как написано;²⁷ вроде той галиматии, которую читал здесь

²¹ Пребывание И. И. и А. Я. Панаевых с апреля по июль 1839 года в Москве и последовавшая длительная поездка их в Казанскую губернию для раздела имения повлияли, очевидно, на финансовые дела Панаева, лишившие его возможности поддержать Белинского на время до переезда его в Петербург для работы в «Отечественных записках», о чем Панаев вел переговоры с Краевским. Белинский, ожидавший Панаева, выехал с ним в Петербург около 20 октября 1839 года. О материальном положении Белинского летом 1839 года см.: «Литературное наследство», т. 56, стр. 128—129.

²² «Одесский альманах» под редакцией Н. И. Надеждина выходил в 1839 и 1840 годах. Две рецензии Белинского «Одесский альманах на 1839 год» и «Одесский альманах на 1840 год» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 106, т. IV, стр. 119) были опубликованы в «Московском наблюдателе» (1839, № 3, отд. IV, стр. 13—17) и в «Отечественных записках» (1840, № 3, отд. VI, стр. 9—14). Участия в альманахе Белинский не принял.

²³ «Божий млат» — из стихотворения И. П. Ключникова (1836), обращенного к Станкевичу:

Хвала тебе, Белинский — млат
И бич литературы...
(«Русь», 1881, № 8, стр. 14 —
Письма В. Г. Белинского
к К. С. Аксакову)

²⁴ В первой книжке «Отечественных записок» за 1840 год (т. VIII, отд. III) были помещены стихи Кольцова «Хуторок» (стр. 82—84) и «Умолкший поэт» (стр. 142—143). Первое стихотворение было напечатано без подписи (автор указан лишь в оглавлении).

²⁵ Повесть В. Ф. Одоевского — «Косморама» («Отечественные записки», 1840, т. VIII, № 1, отд. III, стр. 34—81).

²⁶ «Менцель, критик Гете» («Отечественные записки», 1840, т. VIII, № 1, отд. II, стр. 25—64 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 385) принадлежит к статьям периода примирения с «разумной действительностью» (см.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 638—646). Менее, чем через год Белинский в этом временном примирении горько раскаивался (см. письма его к Боткину от 4 октября и 11 декабря 1840 года — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 556, 576).

²⁷ Статья Белинского «Горе от ума. Комедия в 4-х действиях, в стихах. Сочинение А. С. Грибоедова. Второе издание» («Отечественные записки», 1840, т. VIII, № 1, отд. V, стр. 1—56 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 420).

Отесенька перед разбором, кажется, *Очерков Бородинского сражения или Отечественной войны* Денилевского.²⁸ Такие предисловия отбивают охоту читать далее <...>

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, № 1, л. 17).

И. С. Аксаков — К. С. Аксакову

«Февраль—март 1840 года»

<...> Последний номер «Отчестственных» записок» не так хорош, как первый, и разбор Марлинского не так удовлетворителен <...>²⁹

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, № 7, л. 4 об.).

М. Г. Карташевская³⁰ — В. С. Аксаков

Павловск, 2 июня 1840 года

<...> Недавно у меня в руках был тот номер «Отчестственных» записок», где критика Белинского о детских книжках и повесть «Большой свет».³¹ В критике Белинского» есть прекрасная страница — это, кажется, страница 15, которую прочла с большим удовольствием <...>³²

(ИРЛИ, 10634 XV с 31, л. 5).

И. С. Аксаков — К. С. Аксакову

«С.-Петербург», суббота, 3 августа 1840 года

<...> Во вторник был у нас праздник и я отправился к Белинскому. Он принял меня чрезвычайно радушно, облобызал. Я был не один, с Калайдовичем.³³ Да, кого я не видал (Белинского), Каткова), они все поражены глубоко смертью Стан-

²⁸ Статья Белинского «Очерки Бородинского сражения (воспоминания о 1812 году). Сочинение Ф. Глинки» («Отчестственные записки», 1839, т. VII, № 12, отд. VI, стр. 1—40 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 325). Это статья, равно как и статья о «Горе от ума», относится к периоду примирения с «разумной действительностью» (см.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 632—634 и 646—653). «Очерки Бородинского сражения» вызывали особо резкие нарекания со стороны передовых общественных кругов (см. письма Т. Н. Грановского к Н. В. Станкевичу 1839 года: Т. Н. Грановский и его переписка. Биографический очерк А. Станкевича, т. I. Изд. 2-е, М., 1897, стр. 363—365).

²⁹ О статьях Белинского в первом номере «Отчестственных записок» см. прим. 26 и 27. Статья о полном собрании сочинений А. Марлинского была во втором номере «Отчестственных записок» за 1840 год (отд. V, стр. 57—84 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 21), и это определяет датировку публикуемого письма. Тогда же, 18 февраля 1840 года, Белинский писал Боткину: «Статья о Марлинском тебе не понравится, но именно такие-то статьи я и буду отныне писать, потому что только такие статьи и доступны и полезны для нашей публики» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 451). Статья Белинского была сильнейшим ударом по авторитету и популярности Марлинского.

³⁰ Карташевская Мария Григорьевна, племянница С. Т. Аксакова.

³¹ «Большой свет» — повесть В. А. Соллогуба («Отчестственные записки», 1840, т. IX, № 3, отд. III, стр. 5—79). О повести Белинский дважды, 14—15 марта и 46<—21> апреля 1840 года, весьма одобчительно отзывался в письмах к Боткину (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 496 и 510).

³² «О детских книгах. Подарок на новый год. Две сказки Гофмана, для больших и маленьких детей. — Детские сказки дедушки Ирины» (дедушка Ириной — псевдоним В. Ф. Одоевского. — Н. Р.) («Отчестственные записки», 1840, т. IX, № 3, отд. V, стр. 1—36 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 68). В статье Белинский подчеркивал роль, которую хорошая детская книга может сыграть в деле воспитания детей. На стр. 15, о которой пишет Карташевская, Белинский развивал мысль, что «орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью — человечность».

³³ Очевидно, Калайдович Николай Константинович (1820—1854), правовед. Пять лет спустя, посылая с ним письмо к Герцену, Белинский лестно отзывался о нем (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 250).

кевича.³⁴ Белинский теперь собирается писать Историю русской литературы (более литературную историю, а не ученую), в которой коснется только слегка прежних памятников словесности, а более обратит внимание на XVIII и XIX столетия. Потому он теперь окружен старинными журналами 1780-х, 1790-х годов.³⁵ Ужасно сердит на теперешнее положение и литературы, и всех дел, и все тоскует по Москве, говоря, что самое теперешнее бездействие Москвы, ее неучастие в этой мертвой, апатической теперешней литературе свидетельствует в ее пользу.³⁶ Мы у него просидели довольно долго <...>

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, № 7, л. 2 об.).

М. Г. Карташевская — В. С. Аксаковой

Четверг <начало 1841 года>

<...> Сегодня Гришеняка³⁷ принес мне 1 № «Отечественных записок», и так как он принес мне его ненадолго, то я успела только прочесть повесть «Саламандра» <...>³⁸ В этой же книге есть опять критика Белинского, и, пробежав листы, я видела имя Ломоносова. Теперь мне досадны его глупые слова <...>³⁹

(ИРЛИ, 10634 XVC 31, л. 15 об.).

И. С. Аксаков — К. С. Аксакову

С.-Петербург, 21 апреля 1841 года, четверг

<...> Я писал в четверг, что Панаев⁴⁰ пригласил меня идти с ним к Белинскому. Приходим. Белинский сидел и писал в отвратительном халате. Кого же увидел-то я там, тоже в халате? Князя Козловского.⁴¹ Но во все время мы с ним ни слова ни прямо, ни косвенно. 8 месяцев не видал я Белинского. Что это такое? Какая перемена! Он утверждает теперь, что Петербург — великий город (и это он излагает все в статьях своих: Россия до Петра Великого, при Петре и после),⁴²

³⁴ Н. В. Станкевич умер в Нови в ночь с 24 на 25 июня 1840 года.

³⁵ 12 августа 1840 года Белинский писал Боткину: «Я собираюсь писать историю русской литературы с пикеткою, для книгопродавца Полякова, за 4000 р. асс. (это пока еще тайна)» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 540). Замысел осуществлен не был. В 1846 году Белинский вернулся к этой мысли (там же, т. XII, стр. 256), но другая работа, болезнь и скорая смерть не дали ему возможности закончить этот труд. Об оставшихся отдельных частях работы см.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 850—852. Еще в 1838 году Белинский предполагал написать и дать перевести Константину Аксакову «Историю русской литературы для немцев» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 260—261), но план реализован не был.

³⁶ Ср. письмо С. Т. Аксакова жене от 18 ноября 1840 года (через два дня после проведенного вечера с Белинским): «...В наше несчастное, позорное в литературе время, благородным людям осталось одно — молчание... И ничего нет выше как священное молчание Москвы» («Литературное наследство», т. 56, стр. 145).

³⁷ Аксаков Григорий Сергеевич.

³⁸ «Саламандра» — повесть кн. В. Ф. Одоевского («Отечественные записки», 1841, т. XIV, № 1, отд. III, стр. 3—38).

³⁹ Статья Белинского «Русская литература в 1840 году» («Отечественные записки», 1841, т. XIV, № 1, отд. V, стр. 1—34 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 408). Под «глупыми словами» Карташевская, очевидно, подразумевала фразу Белинского о Ломоносове: «Что же до его прозы — трудно решить, больше вреда, или больше пользы оказал он русскому языку, заковав его в чуждое ему построение латинских и немецких периодов» (стр. 7).

⁴⁰ Панаев Иван Иванович.

⁴¹ Козловский Павел Дмитриевич (род. в 1802 году), инспектор Межевого института, приятель Белинского. Панаев вспоминал о нем: «Князь Козловский ухаживал за Белинским, во время пребывания своего в Петербурге, как нянька за ребенком» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания. «Academia», Л., 1928, стр. 411).

⁴² Аксаков имел в виду статьи Белинского о книгах: «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России... Сочинение И. И. Голикова. Издание второе. Москва, 1837—1840. Томы I—XIII», «История Петра Великого. Сочинение Вениамина Бергмана. Перевел с немецкого Егор Аладьян» и «О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григория Котошихина» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 91, 117), помещенные в четвертом и пятом номерах «Отечественных записок» за 1841 год.

что он *очеловечился* только в Петербурге, что Москву и Кремль надо жечь, как следы нашей глупой старины, что только с Петра начинается наша история, и она в Петербурге», что он познакомился теперь с действительностью и т. д.;⁴³ и прибавь к этому еще больной, неистовый вид, самый грубый цинизм, самый площадный язык, который, у себя, к месту, имеет свою энергию, но гнусен до невероятности, когда им выражаются беспрестанно, и жизнь, которая, думаю, скоро будет походить на прежнюю, до его изгнания из университета. Я был удивлен такой перемене, и Панаеву, который и думает совершенно иначе в отсутствие Белинского, было несколько конфузно. В следующем № «Отечественных» записок» Белинский отшлепает Ломоносова,⁴⁴ бранит Россию, бранит чиновников и офицеров, считая все выражением народа. Вдруг напустился на бедного Мих(аила) Петровича⁴⁵ и начал его ругать по-своему. Я не пробыл часу, оставил у него Панаева, уехал и не намерен более быть, разве, чтоб взять стихи Лермонтова, которые я у него оставил. Нет, наше поколение не идет так, меняя дор(огою?) свои мнения. Вышли теперь из моды и идеалы и очарования, и разочаровываться будет в чем. Мы любим смотреть на вещи, как они есть, а покуда, в стороне, пользуемся ошибками и плодом ошибок переходного поколения <...>

В будущем № «Отечественных» записок» будет повесть Панаева, от которой он сам в восхищении: «Онагр».⁴⁶ Пресмешно видеть его, когда напирает на него Белинский» своими мнениями, которые ему при мне и принять совестно. Но по крайней мере он не принял системы выказывать ознакомление с действительностью <...>

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, № 7, л. 3—3 об.).

В. С. Аксакова — М. Г. Карташевской

Понедельник, 24 августа 1842 года

<...> Что касается до статьи в «Отечественных» записках», она точно писана Белинским,⁴⁷ но это нисколько не странно; он был как-то в Москве и прием, ему сделанный, конечно, должен был его восстановить против, потом же этот человек принял другое направление, это часто у него меняется; сперва он бранил французов, теперь же он ими только и живет,⁴⁸ Москву променял на Петербург и т. д. Не знаю, что лучше: отвечать или не отвечать на эту статью. И как он понимает Гоголя, как вышедшего из Вальтер Скотта;⁴⁹ то ли это? <...>⁵⁰

(ИРЛИ, 10612 XVC, лл. 98 об. — 99).

⁴³ Вскоре после переезда в Петербург, 22 ноября 1839 года, Белинский писал Боткину: «Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина...» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 418). Знакомство Белинского с петербургской действительностью ускорило изживание его «примиренческих» взглядов. В конце марта — начале апреля (?) 1841 года он писал Кетчеру: «...Я снова вышел на большую дорогу... и с нее уже не собьет меня и сам „Москвитянин“... кто старое помянет, тому глаз вон...» (там же, т. XII стр. 35). Константину Аксакову Белинский советовал прожить полгода в Петербурге («Литературное наследство», т. 56, стр. 141).

⁴⁴ Ломоносову Белинский посвятил позже несколько страниц своей статьи «Русская литература в 1841 году» («Отечественные записки», 1842, т. XX, № 1, отд. V, стр. 1—52 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 521). В ней он отрицательно отзывался о поэзии Ломоносова, говоря, что она выросла из схоластических риторик духовных училищ XVIII века.

⁴⁵ Михаил Петрович Погодин.

⁴⁶ Повесть И. И. Панаева «Онагр» была напечатана в пятом номере «Отечественных записок» за 1841 год (т. XVI, отд. III, стр. 3—71).

⁴⁷ Речь идет о статье Белинского «Несколько слов о поэме Гоголя: „Похождения Чичикова, или Мертвые души“» («Отечественные записки», 1842, т. XXIII, № 8, отд. VI, стр. 46—51 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 253), в которой Белинский зло высмеял брошюру К. Аксакова, вышедшую в июле того же года под тем же названием.

⁴⁸ В период примирения с «разумной действительностью» Белинский неоднократно нападал на французскую литературу. Особенно резки были нападки в статье «Менцель, критик Гете». Окончание этого периода повлекло за собой и изменение взглядов Белинского на французскую литературу.

⁴⁹ Подтрунивая над Аксаковым, Белинский писал: «...мы думаем, что Гоголь вышел совсем не из Гомера и не состоит с ним ни в близком, ни в дальнем родстве, — думаем, что он вышел из Вальтера Скотта...» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 254).

⁵⁰ Краткое изложение публикуемого письма, принятое за авторскую копию, было опубликовано в «Литературном наследстве» (т. 56, стр. 168).

К. С. Аксаков — А. Н. Попову⁵¹

«Сентябрь 1842 года»

«...» Хотелось бы мне послать Вам ответ мой на подлое ругательство Белинского, написанное им на мою брошюру в «Отчестственных» записках», но не знаю, удастся ли; он помещен в Москвитянина, а переписывать не стоит «...»⁵²

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 9, № 7, л. 4 об.).

А. А. Бакунин⁵³ — сестрам

15 февраля 1843 года»

«...» А скоро ли у вас Белинский будет? ⁵⁴ Наталья ⁵⁵ поручила мне успокоить вас насчет его жизни и пр. (кажется, Боткин тоже устал в Москве и хочет просить тоже отдыха в Премухине «...»).

(ИРЛИ, ф. 16, оп. 4, № 139, л. 36 об.).

К. П. Зеленецкий⁵⁶ — С. П. Шевыреву

«Одесса, 26 сентября 1843 года»

«...» Пишите, подвизайтесь на славу литературы нашей и будьте лучшим национальным нашим критиком. Разумею, *противное Белинскому*: он ни к черту не годится своими общими, теперь устарелыми, идеями, которые в нем по-старому преданно тянутся от школьных лекций Надеждина по Шеллингу «...»⁵⁷

(ГПБ — архив Шевырева).

⁵¹ Попов Александр Николаевич (1821—1877), историк, славянофил.

⁵² О брошюре К. Аксакова и рецензии на нее Белинского см. прим. 47. В письме к Ю. Ф. Самарину от начала августа 1842 года («Литературное наследство», т. 56, стр. 167) Аксаков также называл рецензию Белинского «подлой статьей» и спрашивал, печатать ли написанный им на нее ответ. 17 сентября Боткин извещал Белинского, что его рецензия «взбесила» Аксакова, «и он пишет ответ, который напечатает в „Москвитянина“» (Литературная мысль. Альманах. II. Пгр., 1923, стр. 182). Ответ Аксакова на рецензию Белинского был напечатан в девятом номере «Москвитянина» за 1842 год, на основании чего и датируется публикуемое письмо. На «Объяснение» Аксакова последовало «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души“» Белинского («Отчестственные записки», 1842, № 11 — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 410).

⁵³ Бакунин Алексей Александрович (1823—1882), младший из братьев Бакуниных.

⁵⁴ Белинский в письме к Н. А. Бакунину от 24 мая 1843 года сообщал о своем приезде в Премухино 4 июня (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 162). О намерении пробыть в Премухине «может быть, и неделю» он писал тогда же Боткину и Герцену (там же, стр. 164). Надо думать, что свидание с Бакуниными в Премухине не было столь радостным, как это предполагал, судя по письму к Н. А. Бакунину, Белинский. В архиве Бакуниных сохранилось письмо Павла Бакунина к Михаилу Бакунину от 19 июля/7 августа 1843 года. В нем он писал: «В июне видел Белинского, он заезжал к нам по дороге в Москву. Что? Жаль, но право — пигмей. Впрочем, добрый человек, но стар, а у нее и старики да дети. Я не рад был, что видел его — и не печалюсь, что он уехал...» (ИРЛИ, ф. 16, оп. 4, № 306, л. 21 об.).

⁵⁵ Беер Наталья Андреевна (1808—1887) в замужестве фон Вейсенфельд, подруга сестер Бакуниных, приятельница Белинского. «Рад, от всей души буду рад увидаться с нею...», — писал Белинский Михаилу Бакунину 28 ноября 1842 года (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 121). Он вспоминал о ней и жалел ее, похоронившую сестру и брата, в письме к М. В. Белинской из Зальцбрунна 16/28 июня 1847 года (там же, стр. 375).

⁵⁶ Зеленецкий Константин Петрович (1812—1858), профессор русской словесности Ришельевского лицея в Одессе, автор «Истории русской литературы для учащихся», вышедшей в Одессе в 1849 году, в которой впервые после смерти Белинского упоминалось о нем (правда, на предпоследней странице книги и без указания его имени в оглавлении). Говоря о журналах «с 1834 года» и упомянув «Отчестственные записки», он добавил: «Критики и рецензии писал в этом журнале покойный В. Г. Белинский, увлекавшийся иногда в односторонность, но замечательный по остроте ума и необыкновенному труженичеству» (стр. 226).

⁵⁷ Лекции Надеждина Белинский слушал в 1832 году. В сентябре того же года он был уволен из университета.

М. П. Погодин — С. П. Шевыреву

<1844>⁵⁸

Наше место свято! Кого я вызывал? На кого? Ни, ни, ни! Я сказал тебе в последний раз, что мы должны сохранить до конца характер, данный журналу, и ты согласился. Презрение и молчание! Поверь, что оно-то и выведет из себя эту поганую сволочь! Отвечая им, сердясь на них, мы доставили бы им торжество! Растолкуй это нашим витязям!⁵⁹ Пусть они вспомнят «Телеграф» и Полевого. Кто помнит об нем теперь? То же будет и с «Отечественными записками». Еще более, потому что в них меньше сил, чем было в Полевом! <...>⁶⁰

(ГПБ, ф. 850, письма Погодина к Шевыреву, 1844—1846).

А. А. Бакунин⁶¹ — М. А. Бакунину

15 марта <1846 года>

<...> У нас Белинский на Руси прославляется и как критик всем, кому следует, перцу задает, Герцен философские статьи пишет, Ефремов географию преподаёт в университете;⁶² недавно бедный попался: Гумбольдта Александра статью перевел да под своим именем издал — его, грешного, и поймали <...>⁶³

(ИРЛИ, ф. 16, оп. 4, № 165, л. 20 об.)..

С. Т. Аксаков — И. С. Аксакову

Москва, 29 мая 1846 года

<...> Как мне досадно, что я не предупредил Ал(ександру) Ос(иповну)⁶⁴ насчет Белинского и даже Щепкина; жаль, что ты этого не сделал. Мне больно, что она допустила их, наравне с тобою, в свое короткое общество⁶⁵ и удостоила Белинского спора, когда следовало бы только сказать, что она не хочет слушать его мнений об этом предмете.⁶⁶ Щепкин тоже довольно гадок и еще больше смешон, проповедуя отчаянные западные идеи, как я слышал <...>

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, № 10, л. 19).

⁵⁸ Письмо не датировано, имеет карандашную помету «1844» и лежит в папке писем 1844—1846 годов. Можно предполагать, что письмо связано со статьей М. Лихонина «Заметки на статью, помещенную в „Смеси“ „Отечественных записок“ 1844 г. № 4, отдел III» («Москвитянин», 1844, № 6; см. также: Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, стр. 382). Слова Погодина: «Кого я вызывал? на кого? Ни, ни, ни!» — позволяют думать об этом.

⁵⁹ «Нашим витязям» — сотрудникам «Москвитянина».

⁶⁰ Письмо характерно для отношения Погодина к «Отечественным запискам». Таким же остается оно и в позднейшие годы. В неопубликованных письмах 1848 года к тому же Шевыреву он писал: «Прочел статью вчера в „Отечественных записках“. Ты не можешь вообразить омерзения, произведенного ею в душе: просто тошнит». И в другом: «Для „Отечественных записок“ и „Современника“ надо завести хамелеонистику. Нет — подлецов жалеть нечего» (ГПБ, ф. 850, письма Погодина к Шевыреву 1848—1849, №№ 159 и 163).

⁶¹ Бакунин Алексей Александрович — см. прим. 53.

⁶² Ефремов Александр Павлович — см. прим. 9.

⁶³ Бакунин имел в виду статью В. Соколова «Братья Гумбольдты — псевдонимы в науке» («Отечественные записки», 1846, т. XLIV, № 2, отд. VIII, стр. 117—121), в которой Соколов высмеял статью А. П. Ефремова, напечатанную в 1845 году в «Библиотеке для воспитания». К тому же он обвинил его в плагиате из книги А. Гумбольдта «Картины природы». В письме к Герцену от 6 февраля 1846 года Белинский писал: «Какой это Соколов так жестоко отвалил в „Отечественных записках“ бедного Ефремова? Жаль даже» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 263).

⁶⁴ Александра Осиповна Смирнова.

⁶⁵ У Смирновых Белинский был 19, 20, 22, 25 и 28 мая 1846 года.

⁶⁶ Письмо служит ответом на письмо И. Аксакова от 26 мая 1846 года (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, ч. I. Учебные и служебные годы, т. I. Письма 1839—1848 годов. М., 1888, стр. 332). И. Аксаков писал, что он «не успел хорошо предупредить А. О.», чтобы она не подымала острых вопросов, в том числе об отношении Белинского к Гоголю. Слова С. Т.: «не хочет слушать его мнений об этом предмете» — относятся к Жорж Санд, о которой Белинский говорил «как о некоем божестве», а Смирнова доказывала «весь вред и всю степень разврата Жорж-Занд» (там же, стр. 333).

УПРАВЛЕНИЕ С-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
КАНЦЕЛЯРИЯ
Отделение
стол секретный 23 апреля 1847 № 5583
О заграничном паспорте

Господину министру внутренних дел

Не служащий дворянин Виссарион Григорьев Белинский, имеющий от роду 36 лет, предполагая отправиться в Силезию для пользования зальцбургскими минеральными водами, а равно и в Ниццу к морским купальням, обратился ко мне с просьбою о снабжении его заграничным паспортом, представив все установленные законом документы.

Не находя препятствия к выдаче г-ну Белинскому заграничного паспорта, имею честь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство о присылке оного ко мне.

Исправляющий должность С.-Петербургского военного
генерал-губернатора, генерал-лейтенант

Шульгин

(ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 10, № 214, л. 1).⁶⁷

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Департамент
полиции исполнительной
Канцелярия 24 апреля 1847
№ 939

Копия

Г-ну исправляющему должность
с.-петербургского военного генерал-губернатора

Вследствие отношения Вашего превосходительства от 23 сего апреля за №№ 5583, 5585 имею честь препроводить к Вам, м. г., два заграничных паспорта. Покорнейшая просьба Вам приказать выдать оный на законном основании дворянину Белинскому и дочери коллежского советника девице Тимофеевой, отправляющимся за границу для лечения болезни.

Подп. министр вн. дел Перовский
скреп.: директор (подпись)

Верно (подпись)

(ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 10, № 214, л. 3).⁶⁸

⁶⁷ См. прим. 68 к публикуемому ниже ответному отношению Департамента полиции исполнительной от 24 апреля 1847 года.

⁶⁸ В публикуемых документах Управления с.-петербургского генерал-губернатора от 23 апреля и Департамента полиции исполнительной от 24 апреля 1847 года о разрешении Белинскому выезда за границу для лечения следует отметить, во-первых, быстрое согласие департамента, свидетельствующее о том, что в это время отношение властей к Белинскому еще было терпимым. Во-вторых, не будучи еще окончательно утвержденным в правах на потомственное дворянство, Белинский счел полезным при хлопотах о выезде за границу именовать себя таковым. То же и, по-видимому, в тех же целях было сделано еще в 1835 году Надеждиным, когда, уезжая за границу, он управление делами временной редакции передал «живущему в Москве дворянину Белинскому» (Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, стр. 98).

Между прочим, хлопоты Белинского о дворянстве начались не в 1843 году, как об этом писал В. Рудаков («Исторический вестник», 1911, т. СХХIV, май, стр. 594—602) и не в 1838—1839 годах, как об этом свидетельствуют письма Белинского брату Константину от 1—5 июня 1838 года (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 238), Д. П. Иванову от 6 ноября 1842 года (там же, т. XII, стр. 112) и письма родных к Белинскому 1838—1839 годов («Литературное наследство», т. 57, стр. 202—204), а еще в 1836 году. В ИРЛИ хранятся неопубликованные письма П. П. Иванова к К. Г. Белинскому от 31 октября 1836 года и 3 января 1838 года, которые касаются этих хлопот. В первом Иванов писал: «... между тем надобно позаботиться о Виссарионе Григорьевиче, которому я дал слово хлопотать насчет грамоты, но дела владыкинские меня отвлекают; я по Владимирскому дворянскому собранию изведывал, как приступить к сему делу, и главное затруднение выходит в свидетельстве о времени рождения и что он сын штаб-лекаря Бел(инского). Старики жизнь кончили, спросить некого, почему теперь остается

Дневник А. И. Артемьева⁶⁹

Воскресенье, 19 июня 1855 года

«...» «Москвитянин» — хоть я и знаком с Погодиным — должно сказать — не-
 мог соперничать в литературном отношении с «Современником» или «Отечествен-
 ными записками», но как сборник исторических материалов и вестей из провинций
 заслуживал похвалы. Ныне и этот отдел как-то слабее. Смеялись над Погодиным за
 его аристотелевский тон в рецензиях, а между тем это давало «Москвитянину»
 особый колорит. Теперь и рецензии и «Исторические заметки» встречаются редко.
 Явилась какая-то критика с воззрениями на эстетику, человеческое etc... Будто
 воскресает Белинский «...»

(ГПБ, дневник А. И. Артемьева, 1855, 1 VI—31 XII, л. 8—8 об.).

М. А. Дмитриев⁷⁰ — Я. К. Гроту

С. Богородское, 27 июля 1862 года

«...» По поводу Вашей статьи о Белинском⁷¹ скажу Вам, что я вижу в нем
 человека умного, но мало сведущего в литературе, а главное — человека, который
 употребляет литературные мнения для особенных целей, плоды чего теперь и со-
 зревают.⁷²

Не мудрено, что некоторые наши цивилизаторы уже объявили печатно свои
 требования на право его быть на Рюриковом пьедестале. Я знал его лично: удиви-
 тельно мало ученья и основательных сведений, но дерзкий ум заменял ему многое
 в средних московских кружках того времени. В лучшие и образованнейшие он не
 попадал и по бешеным своим мнениям и по неприличию его персоны «...»

(ААН, ф. 137, оп. 3, № 311, л. 4 об.).

А. Н. Майков — А. И. Майковой⁷³

«Октябрь 1864 года»

«...» После Белинского критика раздвоилась, как и Белинский представлял
 два направления: 1) Белинский натуральный, как он был, и 2) Белинский, сбитый
 с толку политическими тенденциями. Последнее продолжалось Добролюбовым и
 окончательно теперь достигло своего абсурда в «Русском слове», а первое, т. е.
 хорошая сторона Белинского, — в Григорьеве⁷⁴ «...»

(ИРЛИ, 16996/С VIII, л. 283 об.).

узнать от бабушки Дарьи Евсеевны, где именно было рождение во всех подробно-
 стях, т. е. городе, приходе, имя священника, восприемников, и как покойник тогда
 служил в морском ведомстве, то кто был тогда ведомства обер-священник или он
 один по всем званиям. Когда это со всею точностью будет известно, то депутатское
 собрание примет на себя снести с тем местом...» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 182).

⁶⁹ Артемьев Александр Иванович (1820—1874), статистик, этнограф, историк,
 чиновник Министерства внутренних дел.

⁷⁰ Дмитриев Михаил Александрович, бездарный поэт (Лже-Дмитриев, как его
 в письмах называл Пушкин), реакционный критик, сотрудник «Москвитянина»,
 автор стихотворного пасквиля на Белинского — «Безымянному критику», носившего
 характер доноса. Белинский, в свою очередь, неоднократно высмеивал его (см.:
 «Литературное наследство», т. 56, стр. 157; В. Г. Белинский, Полное собрание
 сочинений, т. VI, стр. 505—508). Вскоре после смерти Белинского Дмитриев
 в неопубликованном письме от 17 декабря 1848 года писал Шевыреву: «... в первой
 книжке „Москвитянина“ следовало бы быть Вашему разбору „Одиссей“. Жаль, что
 у „Отечественных записок“ нет теперь Белинского: вот бы теперь расписал по по-
 воду „Одиссей“, и об Ломоносове, и об немцах, и об Кольцове; так уж кстати
 заодно обо всем!...» (ГПБ, архив Шевырева).

⁷¹ Я. К. Грот. Белинский и его мнимые исследователи. «С.-Петербургские
 ведомости», 1861, № 109.

⁷² Под «плодами» Дмитриев подразумевает происшедшие незадолго до того
 страшные петербургские пожары, в которых власти пытались обвинить револю-
 ционеров, а также арест Чернышевского, Серно-Соловьевича и др.

⁷³ Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт; Анна Ивановна — жена его.

⁷⁴ Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), критик, поэт, переводчик.

А. Н. Андреев⁷⁵ — А. А. Краевскому

<1873>

<...> В №№ 186 и 187 «Петербургских ведомостей» 1869 года напечатано было известное письмо Белинского, причем г. Н. С—кий, приславший его в редакцию, объяснил, что «рукопись куплена нами в Москве, у Сухаревой башни». Затем покойный В. П. Боткин заявил в «Голосе», что письмо это вместе с другими документами было похищено у него племянником С. и проч.⁷⁶ Позвольте Вам объяснить, что письмо Белинского, о котором идет речь, вовсе не составляло подспудной тайны; во 1-х, оно писано для прочтения «соборне», во 2-х, зимой 1857, т. е. через десять лет, читано в одном кружке, где были М. Н. Лонгинов (ныне орловский губернатор), М. Е. Кублицкий, автор «Истории театра у древних и новых народов», Н. Н. Бабарыкин, люди, принадлежащие к высшему кругу;⁷⁷ в 3-х, письмо существовало в бесчисленных копиях; в 4-х, некто Дядков представил его (в конце 50-х годов) Герцену для напечатания в «Полярной звезде», но тот не только отказался напечатать, но даже упростил и обязал честным словом не печатать письма отдельной брошюрой, в чем Дядков, молюсь подспудной литературы, не мог отказать Герцену. Вероятно, это известно В. И. Кельсезу, по крайней мере Дядков говорил о последнем как о своем близком. Отсюда ясно, что в продолжение 23 лет из бесчисленных редакций русской периодической прессы только «Петерб. ведомости» решились опубликовать раздражительно-позорный бред Белинского. Вообще как по этому делу, так и по поводу «Воспоминаний о Белинском» И. С. Тургенева у меня собраны любопытные материалы, которые я могу прислать в «Голос», если, конечно, последует на то Ваше согласие <...>

(ГПБ, письма к А. А. Краевскому, «А», лл. 215—216).

М. П. Погодин — М. М. Стасюлевичу⁷⁸

10 июня <1874 года>

Получил «Вестник Европы». <...> Прочел его «Пыпина» главу, не всю, о Белинском⁷⁹ и замечу: Белинский никогда не жил у Надеждина против Страстного монастыря в доме Самариных. Такого-то дома там и не было, а был дом Сухова-Кобылиных, у которых жил Надеждин. Дом Самариных, задолго пред тем был оставлен имп. Белинский жил, кажется, у него, когда Надеждин занимал квартиру в Ректорском доме, на Университетском дворе, пока тот уезжал за границу.⁸⁰ Надеждин поручил ему «Молву» и «Телескоп», велел

⁷⁵ Андреев Александр Николаевич (1830—1891), в молодости драматург, позже составитель ряда изданий по искусству («Картинные галереи Европы», «Картинные галереи Италии» и др.), автор путевых заметок и газетных статей, сотрудник ряда журналов и газет, в том числе «Голоса».

⁷⁶ Письмо Белинского Боткину от 4—8 ноября 1847 года (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 403) было еще раньше частично опубликовано Пыпиным в № 11 «Русского слова» 1859 года (за подписью «Р.»). В «С.-Петербургских ведомостях» в №№ 187 и 188 (а не 186 и 187) от 10 и 11 июня 1869 года письмо, переданное в редакцию Н. Скандинавом, было напечатано с меньшими пропусками, но также не целиком и без расшифровки ряда имен. В связи с этой публикацией П. П. Пекарский в неопубликованном письме от 12 июля 1864 года сообщал Я. К. Гроту: «...помещено чрезвычайно характерное письмо Белинского; хотя там не сказано к кому, но несомненно к Боткину. При чтении его некоторым придется не по себе; не говорю уже о Краевском или Соловьеве, но, напр., о Г...ве, это никто иной, как А. Д. Галахов, который тут является прихвостнем Краевского...» (ААН, ф. 137, оп. 3, № 723, л. 41).

⁷⁷ Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), библиограф, историк литературы, начальник Главного управления по делам печати; Кублицкий Михаил Егорович (1821—1875), критик и историк театра; Боборыкин Николай Николаевич (1812—1888), поэт, в 70—80-х годах цензор русских драматических произведений при Главном управлении по делам печати.

⁷⁸ Публикуется часть письма. Письмо Стасюлевичем было переслано Пыпину с припиской: «Примите на себя труд разобрать сию историю; записка больше для Вас, чем для меня».

⁷⁹ А. Н. Пыпин. В. Г. Белинский. Опыт биографии, III. «Вестник Европы», 1874, июнь.

⁸⁰ Утверждение Погодина, что дома Самариных у Страстного монастыря не было, верно. Дом Самариных помещался (снесен в 1937 году) по ул. Горького у проезда Художественного театра. О проживании Белинского у Надеждина см. «Памятные места в Москве и Ленинграде, связанные с Белинским» («Литературное наследство», т. 57, стр. 375—394), а также: Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского, стр. 70—74.

в важных случаях обращаться ко мне за решени^{ем}, и в первый раз, как Белкин-ский» был у меня, я после разговора с ним подал совет оказываться холодной водою под колодезцем по утрам и вечерам. Кажется, этим советом Белинский» не воспользовался.⁸¹

Вскоре после того Гоголь проездом через Моск^{ву} в 1834 г. читал у меня «Женихов» и я, кажется, пригласил и Белкинского» с прочими, но не могу сказать наверное; надо бы справиться в дневнике, но не имею теперь времени ни для этой справки, ни для других <...>⁸²

(ИРЛИ, ф. 250, № 752).

П. А. Гайдебуров⁸³ — К. Д. Кавелину

1 октября <1875 года>

<...> Я пробовал, как Вы увидите, сделать несколько отметок в корректуре, но это оказалось более трудным, чем я предполагал. Дело в том, что, на мой взгляд, решительно невозможно определить характерные черты эпох Белинского и его преемников с помощью отрицания. Я думаю, что определение вышло бы более точным и верным, если бы сказать, что Белинский старался установить *общую* формулу человеческой деятельности, которая включала в себя и правила человеческого поведения при каждых данных условиях, а его преемники полагали возможным ограничиться одними этими правилами. Таким образом, идеал был и у него, и у них, но у Белинского он был высок и широк, а у его преемников он был приноровлен к данному времени и к данным обстоятельствам. Белинский старался сформировать *человека*, а его последователи заботились только о создании *бойца* известных начал, приноровленного к потребностям минуты. Оттого, когда эта минута прошла, — бойцы оказались без дела и их силы — без приложения. Человек Белинского не потерялся бы ни при каких обстоятельствах, опираясь на свою внутреннюю силу, а бойцы его последователей, оставшись без дела и руководителей, растерялись и изобразили из себя войско без полководца. Вот откуда (в дальнейшем развитии) эти самоубийства, эти холодные, чисто головные, бесстрастные хождения в народ и т. д. <...>

В Вашем письме Пыпину есть отдельные указания на это отличие (напр., некоторые места в предпоследнем столбце), но они не выступают достаточно рельефно, потому что Вы делаете их мимоходом <...>⁸⁴

(ИРЛИ, 20418/СХХХІХ б. 20).

⁸¹ Известен отказ И. В. Киреевского, С. Т. Аксакова и Погодина в связи с отъездом Надеждина за границу принять на себя заведование «Телескопом» (см.: Н. Козмин. Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804—1836. СПб., 1912, стр. 495). Советовал ли Надеждин когда-либо Белинскому «в важных случаях обращаться за решением к Погодину» — неизвестно. Наоборот, имеются сведения, что «решение» временами представлялось С. Т. Аксакову («Литературное наследство», т. 56, стр. 100; В. Г. Белинский. Избранные письма, т. I. Гослитиздат, М., 1955, стр. XVI).

⁸² Гоголь читал «Женитьбу» у Погодина 4 мая 1835 года (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 118). Белинский и вся редакция «Телескопа» и «Молвы» (за исключением К. Аксакова) приглашены не были. Через несколько дней должно было состояться чтение у С. Т. Аксакова, куда были приглашены не слышавшие комедию, в том числе Белинский и Станкевич, но приехавший Гоголь читать «Женитьбу» не стал (С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. Изд. АН СССР, М., 1960, стр. 14—15).

⁸³ Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893), журналист, публицист, с 1875 года издатель «Недели».

⁸⁴ Корректурa статьи К. Д. Кавелина «Белинский и последующее движение нашей критики. (Письмо А. Н. Пыпину)» («Неделя», 1875, № 40; см. также: К. Д. Кавелин, Собрание сочинений, СПб., т. III, 1899, стр. 1099—1114). Ответ Пыпина на статью Кавелина см.: «Вестник Европы», 1876, кн. 1, стр. 410—429. Статья Кавелина была по его же просьбе в печати исправлена и значительно сокращена. В опущенной части Кавелин писал: «...я не совсем понимаю, отчего и зачем у Тургенева эта кислая гримаса, заставившая его употребить Белинского» как орудие для полемики с направлением, которому он не сочувствует, и исказить образ этой личности, прелестной в своей полноте и многосторонности... Мы, люди сороковых годов, разошлись с последующим движением мысли и литературы, потому что оно развивало только одну сторону фазы, выразившейся в Белинском... Конечно, первые отрицатели, Добролюбов и другие, были далеки от своих последователей и ближе гораздо к Белинскому, чем к ним. Но я говорю не о лицах, а о направлениях, которые имеют свою логику и свои неумолимые законы развития...» (ИРЛИ, ф. 250, № 384).

М. Ф. Де Пуле⁸⁵ — И. С. Аксакову

Тамбов, 5 апреля 1876 года

«...» Сделайте одолжение, поделитесь со мною Вашими воспоминаниями о Кольцове. Кольцов был когда-то близок с Константином Сергеевичем, бывал несомненно в Вашем доме; Вы должны его помнить, могли слышать потом мнения и речи о нем покойных: батюшки Вашего, брата, может быть, Хомякова. Нет ли у Вас писем Кольцова к кому-либо из них? Словом, покорнейше Вас прошу поделиться со мною всем, что только известно Вам о Кольцове. Мое мнение о нем то, что Белинский крайними своими взглядами разбил жизнь Кольцова и испортил его домашние и воронежские отношения. Но и без того в натуре Кольцова много было лжи и очень мало чистых, идеальных стремлений «...»⁸⁶

(ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, № 498, л. 5).

И. С. Аксаков — М. Ф. Де Пуле

20 апреля 1876 года⁸⁷

«...» Я был мальчиком лет 12, когда видел Кольцова у нас в доме за большим обедом (у отца моего лет 10 сряду велись субботние обеды, за которыми сходились все его приятели литературного и артистического кружка и старые товарищи). Кольцов не произвел на меня приятного впечатления, напротив: его взгляд исподобья мне не понравился, и мы, дети, о том толковали. Очень может быть, что по природной его застенчивости, по непривычке к большому обществу (тут были, кроме моих сестер, и другие дамы) ему было просто неловко и, как говорится, конфузно: он не знал, что делать с вилокю, ложкою и т. д. Эти мелочи бывают источником истинных страданий у многих даровитейших людей, выдвинутых талантами из своей грубой среды, где они что-то вроде изгоев, в среду, родственную им по духу, но чужую им по внешним условиям быта и цивилизации. Не знаю, была ли ложь в самой натуре Кольцова, но несомненно, что было много лжи в положении, которое было создано для него обстоятельствами и создается для всякого, кто, отчавив от одного берега, не в силах пристать к другому. Его друзья или почитатели его таланта вроде Белинского, конечно, поступали неразумно, искусственно влагая в него высшие запросы, раздражая его поверхностным прикосновением солнечных лучей высшей мудрости (чуть ли не философией Гегеля!) и не позаботясь о том, чтобы изъять его совсем из прасольской среды и просто заставить его поучиться.

Смутно помнится мне, что Станкевич, который, впрочем, и издал на свой счет стихи Кольцова,⁸⁸ не одобрял такого форсированного развития или, по крайней мере, не увлекался им в той же мере, как Белинский. Брат мой никогда особенно

⁸⁵ Де Пуле Михаил Федорович (1822—1885), историк и публицист, автор книги «Алексей Васильевич Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке» (СПб., 1878).

⁸⁶ Стараясь обелить семью и воронежских знакомых Кольцова и тем опровергнуть характеристику, данную им Белинским в его предисловии («О жизни и сочинениях Кольцова») к «Стихотворениям Кольцова» (1846), Де Пуле пытался возложить основную вину на самого Кольцова и на его литературных друзей, в первую очередь на Белинского. Несколько позже, подготавливая свою книгу о Кольцове, Де Пуле 5 мая 1877 года в неопубликованном письме писал Краевскому: «...давно уже для меня не было новостью, что Белинский изобразил Кольцова в самом фальшивом свете; но эта ложь прикрывалась и до сих пор поддерживается его друзьями, вымирающими западниками, вроде Кетчера и А. Станкевича. О потной биографии Кольцова я не думал, но меня вызвала на этот труд книга Пыпина „Белинский, его жизнь и переписка“. Признаюсь, я возмущен тем фактом, что автор этой книги в рассказе о Кольцове буквально повторяет Белинского... Молчать более невозможно: пора же сказать правду, которую после нас и сказать будет некому... Конечно, неумышленно и не преднамеренно, но Белинский разбил всю жизнь Кольцова, испортил и извратил эту первобытную русскую натуру...» (ГПБ, письма к А. А. Краевскому, «Д. К», лл. 72 об.—73).

⁸⁷ Ответ на публикуемое выше письмо Де Пуле к Аксакову от 5 апреля 1876 года.

⁸⁸ Стихотворения Алексея Кольцова. Москва. В типографии Н. Степанова. 1835.

не восторгался Кольцовым,⁸⁹ и мне случалось слышать, как, пожимая плечами, рассказывали, что Кольцов также изволил повторять целиком фразы или выражения, выработавшиеся в этом кружке,⁹⁰ вроде «прекраснодушие» (гегелевское *schöne Seele* — особый момент развития) и т. п., что уже начинало казаться смешным. Впрочем, весь язык Белинского был испещрен такими, переведенными ему с немецкого из книг, им не штудированных и даже не читанных, модными тогда терминами философского характера. Белинский вложил в душу Кольцова высшие стремления, но *без содержания*, внес в его ум мысли высшего порядка, но *неопределенные*, как у него самого, и сам по складу своего ума и характера, по объему своей науки не в силах был ни поставить его на твердую почву, ни дать в руки орудие или посох, чтобы выбраться на путь, ни внести в душу несчастного мир духовный и гармоничный <...> Едва ли было бы справедливо обрушивать вину на самого Кольцова. Сам он жалок и истинно несчастлив. Виноваты его *развиватели*. Беда еще в том, что он попал не просто в круг образованных людей, а в *кружок*, в котором под конец заводится всегда много условности и лжи. Брат мой в 40-м году разорвал формально и открыто связь с кружком, где находились Бакунины и Белинский,⁹¹ — Станкевич бежал от него за границу:⁹² становилось невыносимо душно и все изолгалось внутри человека. А Кольцов сюда-то и попал. Я говорю о кружке, каким он был в конце 30-х и в самом начале 40-х годов. Впрочем, из напечатанных Пыпиным писем Белинского⁹³ видно, каково было то умственное и духовное колесо, под которое попал воронежский прасол <...>

(ИРЛИ, ф. 569, 6 106, лл. 15—17).

А. И. Эртель — А. Н. Пыпину

Тверь, 7 января 1886 года

<...> Нового о Белинском я действительно ничего не узнал из разговоров со стариком Бакуниным,⁹⁴ но все как-то живее и рельефнее восстает в воображении, когда слышишь рассказ очевидца о таких фактах, которые, может быть, и излишни в биографии. Вот, например, молодые приятели, собравшиеся в Премухине, спорили как-то всю ночь до самого рассвета, утомились ужасно; философские определения, философские термины набили буквальную оскомину... и вот осовевые, поникшие, раздраженные вышли из комнат на воздух. Вдруг видят — Станкевич подбежал к лежащей метле, сел на нее верхом и торжественным курц-галопом проследовал по двору.

Разумеется, раздался общий хохот, и вмиг усталость, раздражение, тяжесть в головах как рукой сняло. Вот такие рассказы как-то невольно подбавляют красок в историю Белинского и его приятелей <...>

(ГПБ, архив А. Н. Пыпина, письма А. И. Эртеля, письмо 37-е, л. 54—54 об.).

⁸⁹ В опущенной части публикуемого письма Аксаков писал: «Брат мой, К. С., страстный поклонник народного поэтического творчества, не любил литературно-народной поэзии, т. е. поэзии литературной с приемами и ухватками „маненько-мужицкими“, народность, возведенная или, вернее, низведенная в *genre*, была ему противна. Признавая несомненный талант Кольцова в первых его произведениях, он не мог, конечно, не замечать в стихах Кольцова позднейшего периода уже отсутствие той простоты и искренности, той непосредственной внутренней правды, которая в поэзии есть существеннейшее достоинство».

⁹⁰ Кружок Станкевича.

⁹¹ Отход К. Аксакова от кружка произошел раньше. 8 июня 1839 года в неопубликованном письме к отцу он писал: «Надежда моя на то, что занятия мои пойдут хорошо, надежда, не совсем верная, основывается на том, что только с некоторого, очень недавнего времени я совершенно освободился от постороннего влияния, вырвался из кружка, в котором кружился целых 7 лет, вырвался собственной силой, свободно и стал один, опираясь сам на себя; это главное: всего нужнее для человека быть *им самим*. Теперь все движения моего сердца исповедую я смело и свободно...» (ЦГИАЛ, ф. 883, ед. хр. 6, л. 5—5 об.).

⁹² «Бегство» Станкевича за границу было вызвано болезнью и сложными взаимоотношениями с невестой, Л. А. Бакуниной. Кружок, несмотря на возникавшие идейные разногласия и споры, был ко времени отъезда Станкевича еще дружен.

⁹³ Имеется в виду работа А. Н. Пыпина «В. Г. Белинский. Опыт биографии», напечатанная в «Вестнике Европы» за 1874 и 1875 годы. Отдельным изданием: А. Н. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка. СПб., 1876.

⁹⁴ Бакунин Алексей Александрович — см. прим. 53.

И. Л. Леонтьев (Щеглов) — Дневник 1898 года

26 мая

На Волковом (пятьдесят со дня смерти В. Белинского). Много народу, но настоящих литераторов один-два и обчелся (Коробчевский,⁹⁵ Н. Михайловский, Короленько, Фофанов... и я) <...>⁹⁶

(ИРЛИ, 1417, IV с. 28).



⁹⁵ Карабчевский Николай Платонович (1851—1925), видный адвокат, автор ряда статей и воспоминаний.

⁹⁶ Можно думать, что отсутствие многих на кладбище объяснялось не только одним равнодушием, но и отрицательным отношением к Белинскому, а также страхом. В неизданном (но лишь кратко изложенном — «Литературное наследство», т. 57, стр. 316) письме к Пыпину от 4 октября 1884 года (об устраиваемом обеде в память Белинского) Кавелин сообщал: «Грот не постыдился мотивировать свой отказ тем, что „Литературные мечтания“ недостаточный повод для юбилея». «Сухомлипов... я, дескать, душевно рад, но меня во время обеда не будет в Петербурге...», «наш старец <Галахов> сделал это просто: трясется от страха и чисто-сердечно в этом признается... Краевский согласился, но тоже рекомендует большую осторожность» (ГПБ, письма Кавелина к Пыпину).

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И «ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»

«Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского сблизили писателя с демократическим лагерем, несмотря на то, что руководимый им с 1861 года журнал «Время» занимал межеумочную, чуждую революционно-демократической идеологии позицию «почвенничества». Демократическая печать, высмеивая туманные воззрения почвенников, несколько иначе относилась к органу Достоевского, чем к своим многочисленным противникам из реакционных и либеральных изданий.

Неизвестный эпизод из общественно-литературной жизни начала 60-х годов, о котором мы хотим рассказать, вносит новый штрих в наши представления о взаимоотношениях Достоевского и Чернышевского.

О своих встречах с Чернышевским Достоевский рассказал в 1873 году в «Дневнике писателя». Весной 1862 года он пришел к Чернышевскому по поводу известной революционной прокламации «Молодая Россия». Он просил Чернышевского воздействовать на революционную молодежь и осудить прокламацию. В разговоре, по словам Достоевского, Чернышевский «чрезвычайно веско и внушительно» сказал: «Неужели Вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?»¹

В конце мая 1862 года Достоевский написал для «Времени» статью «Пожары». Она значительно выделялась из общего хора тогдашней реакционной и либеральной печати, открыто обвинявшей студенческую молодежь в поджигательстве. Известно, что появление «Молодой России» совпало с полосой крупных пожаров, свирепствовавших в Петербурге во второй половине мая. Говорят, писал автор статьи, что люди, напечатавшие «Молодую Россию», способны на все, что поджог — «первые симптомы их деятельности». Он отвергал несправедливое обвинение. «Но доказано ли, — писал Достоевский, — во-первых, что люди, производящие поджоги, — в связи с „Молодой Россией“... доказано ли — и это самое главное, — то особенно важное обстоятельство, что настоящее наше молодое поколение и именно студенты солидарны с „Молодой Россией“?»²

Статья «Пожары» была запрещена цензурой (1 июня) и даже навлекла на журнал угрозу приостановки на восемь месяцев.³

До сих пор как-то проходили мимо того факта, что эта статья и по времени и по содержанию связана с предшествовавшим ей разговором Достоевского с Чернышевским. В записи Чернышевского «Мои свидания с Ф. М. Достоевским», сделанной в 1888 году и являющейся откликом на рассказ в «Дневнике писателя», прямо говорится, что Достоевский просил его воздействовать на людей, которые «сожгли Толкучий рынок». Разговор должен был убедить Достоевского в нелепости реакционных слухов об участии молодежи в поджогах.

В записи Чернышевского, кроме того, указывается, что, в свою очередь, состоялся и его ответный визит, который был предпринят с целью получить согласие писателя на издание отрывков из его рассказов.

«Через неделю или полторы (после посещения Достоевского, — В. Л.), — писал Чернышевский, — зашел ко мне незнакомый человек скромного и почтенного вида... сказал, что думает издать книгу для чтения малообразованным, по любознательным людям, не имеющим много денег; это будет нечто вроде хрестоматии для взрослых».⁴ Ознакомившись с оглавлением предполагаемой книги, Чернышев-

¹ Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений в тринадцати томах, т. 11, ГИЗ, М.—Л., 1929, стр. 25.

² См.: Б. Козьмин. Бр. Достоевские и прокламация «Молодая Россия». «Печать и революция», 1929, кн. 2—3, стр. 69—76. Отрывок из статьи «Пожары» напечатан: Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений в тринадцати томах, т. 13, стр. 613.

³ См. об этом: Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений в тринадцати томах, т. 13, стр. 614.

⁴ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. I, Гослитиздат, М., 1939, стр. 778.

ский одобрил подбор, сделанный «человеком, хорошо понявшим, каков должен быть состав хрестоматии для взрослых, прекрасно знающим нашу беллетристику и популярную научную литературу». Цена книги была назначена самая дешевая. Составитель просил Чернышевского получить согласие авторов на публикацию их произведений. Чернышевский поручился почти за всех авторов, кроме Достоевского, в отношении которого он был не совсем уверен. Выписав из оглавления названия отрывков из рассказов Достоевского, он на следующее же утро отправился к нему. Достоевский «охотно дал» свое согласие.

Чернышевский здесь не упоминает о том, что речь шла о «Записках из Мертвого дома». Сведения о попытке издать выборки из «Записок из Мертвого дома» и участия в этом деле Чернышевского более подробно освещены в неопубликованной рукописи А. Д. Путятя, того самого «незнакомого человека», имя которого Чернышевский из осторожности опустил. Происхождение этой рукописи заставляет признать ее весьма достоверным документом. Офицер Путятя — в то время штабс-капитан или майор, преподаватель математики и механики в военно-учебных заведениях Петербурга, один из активных членов тайного общества «Земля и воля» 60-х годов — был, конечно, хорошо известен Чернышевскому. По инициативе Путятя в марте 1862 года возникло общество для издания дешевых научно-популярных и беллетристических книг для народа. Подобного рода издательские замыслы были широко распространены в среде демократической интеллигенции 60-х годов (упомянем имена И. А. Худякова, С. С. Рымаренко, А. Ф. Погосского). В 1865 году аналогичная попытка была предпринята Иваном Рождественским. В общество Путятя записались 44 человека, преимущественно преподаватели военно-учебных заведений, но среди них были и преподаватели университета, в том числе Д. И. Менделеев, а также несколько писателей. Общество разрабатывало устав, планировало разные издания, распределяло будущую работу между своими членами; были собраны некоторые средства. Ожидалось его легальное оформление. Путятя к очередному собранию готовил подробный отчет о деятельности общества. Вот этот-то отчет, написанный в 1862 году, значительно дополняет и уточняет рассказ Чернышевского, написанный через 25 с лишним лет.⁵

Документ позволяет заключить, что Путятя вел переговоры с Чернышевским не в качестве частного лица, а как представитель известного издательского общества. Из отчета также видно, что Чернышевский принимал самое живое участие в осуществлении планов этого общества. В рассказе Чернышевского сообщалось о книге, содержание которой было уже определено и которая включала некоторые отрывки из произведений Достоевского. В действительности же дело обстояло несколько иначе. Речь шла не об одной, а о двух книгах. Прежде всего предполагалось издать в виде отдельной книжки выборки из «Записок из Мертвого дома»; вопрос об их издании, по отчету Путятя, неоднократно ставился на собраниях общества. Но Чернышевский, по-видимому, и сам предлагал это издание. Об этом свидетельствует любопытная подробность, проскользнувшая в показаниях Путятя, которые он давал во время своего ареста в 1866 году. В них говорится о том, что предложение «о напечатании отрывка из „Записок из Мертвого дома“» исходило от самого Чернышевского и было сделано им Путятю «при встрече на улице».⁶

Отчет Путятя не только подтверждает, но и дополняет рассказ Чернышевского о переговорах с Достоевским. В июле, сообщает Путятя, Чернышевский сказал ему, что Достоевский перед своим отъездом за границу (7 июня 1862 года) «изъявил согласие на предложение Н. Г. Чернышевского сделать выбор из „Записок из Мертвого дома“ и дал право Чернышевскому самому взять на себя упомянутый выбор, редакцию и издание или поручить это кому угодно, по его усмотрению». Желание Чернышевского самому «сделать выбор из „Записок из Мертвого дома“» и согласие на это Достоевского позволяют думать, что отношения между ними в это время были более дружественными, чем это отражено в их позднейших воспоминаниях.

Из отчета Путятя видно, что Чернышевский предложил обществу одновременно издать и вторую книгу, в составлении которой он также хотел принять личное участие. Этот важный факт совсем не нашел отражения в воспоминаниях Чернышевского. Путятя писал: «Находя, что для нашего общества может быть будет удобным⁷ воспользоваться дозволением Ф. М. Достоевского, Н. Г. Чернышевский изъявил нам свою готовность в несколько недель заготовить материал для двух книжек листов по 10 каждая; содержанием этих книжек были бы отрывки из „Записок из Мертвого дома“ и некоторые другие коротенькие статьи, взятые из „Совре-

⁵ ЦГИАМ., ф. 95, оп. 1, д. 214.

⁶ Это показание интересно тем, что Путятя старался затуманить роль Чернышевского в делах общества и писал, что «этот разговор был единственное соприкосновение Чернышевского к делу о народных книжках» (ЦГИАМ., ф. 95, оп. 1, д. 214, л. 15 и об.).

⁷ Далее зачеркнуто: начать деятельность с выпуска в свет сказанных выборок

менника“, по согласию их авторов; при этом Н. Г. Чернышевский согласен был принять на себя заботы и по материальной части издания, именно обещал напечатать в числе 10 тысяч экземпляров, с тем, что цена каждого печатного листа с издержками за комиссию при продаже не превзойдет 1 коп. серебром».⁸

Таким образом, Чернышевский, лишившийся к этому времени «Современника», приостановленного на 8 месяцев, готов был посвятить себя изданию книжек для народа. Он даже предложил для этого издания кредит на типографской базе «Современника».

Арест Чернышевского 7 июля 1862 года и прекращение собраний издательского общества в обстановке наступившей реакции не позволили осуществить задуманные издания. Однако какая-то часть этих планов была реализована благодаря энергии Путьяты, в руках которого оставались соборные общественные средства. По возвращении Достоевского из-за границы Путьята продолжил с ним переговоры, начатые Чернышевским. Подтверждением этого может служить неопубликованное письмо Путьяты Достоевскому от 8 октября 1862 года. «Благоволите, — писал он, — сообщить подательно этой записки Николаю Николаевичу Литвинову, согласны ли Вы дозволить нам издать для чтения народа выборки из „Мертвого дома“. Если эти выборки уже сделаны Вами, то не угодно ли будет Вам передать их Ник. Николаевичу: нам весьма бы желательно начать беллетристический отдел наших книжек Вашими записками. Если время не дозволяет Вам принять на себя самую редакцию этих выборок, то не согласитесь ли Вы поручить это дело нам, с тем, что мы не приступим к изданию прежде, нежели сделанные нами выборки будут Вами одобрены».⁹

Достоевский, продавший в июне 1862 года книгоиздателю Базунову право на издание «Записок из Мертвого дома», не мог уже распоряжаться своим произведением. Возможно, что при переговорах с Чернышевским этот вопрос еще не вставал перед ним. Во всяком случае, в тот же день, 8 октября, отвечая Путьяте, Достоевский писал, что Базунов «ни за что не соглашается на перепечатку Записок из Мерт. Дома, несмотря на все мои доводы». «И потому, — объяснял он, — к величайшему моему сожалению, ни редакция не могу на себя взять, ни даже согласиться на перепечатку. Разве каких-нибудь 8 или 10 страниц».¹⁰

Разрешение Достоевского на перепечатку небольшого отрывка из «Записок» было сразу же использовано. Выбор пал на рассказ «Акушкин муж» (4-я глава повести), вошедший в «Сборник рассказов в прозе и стихах», изданный Путьятой в 1863 году. Книга была напечатана большим для того времени тиражом (10 тысяч экземпляров) на льготных условиях в типографии О. И. Бакста, издателя, известного своими демократическими симпатиями и помогавшего типографскими средствами обществу «Земля и воля». По показанию Путьяты в 1866 году, материал для сборника был отобран А. А. Слепцовым.¹¹ Слепцов, являвшийся одним из руководителей «Земли и воли» и близко стоявший к Чернышевскому, был членом издательского общества. Несомненно, что отобранные им произведения были бы одобрены Чернышевским. В сборник вошли стихотворения Некрасова («В дороге», «Забывтая деревня», «Вино», «Огородник») и Никитина (отрывок из «Бурлака»), рассказы «Небывалая рыба и особого устройства машина» Голицынского (из «Очерков фабричной жизни»), «Развеселое житье» Щедрина, «Сеченый» анонимного автора (из журнала «Грамотей») и, наконец, известный нам рассказ «Акушкин муж», имевший подзаголовок «Из рассказа каторжного в записках из Мертвого дома Ф. Достоевского».

Произведения для сборника, как видим, были подобраны очень умело. Прежде всего их объединяла общая тема — тема трагической судьбы людей из народа, в силу крепостнических общественных отношений лишенных прав на человеческую жизнь и личное счастье и по этой причине гибнущих или становящихся преступниками.

Рассказ «Акушкин муж» подвергся редакционной обработке. В нем был оставлен только текст от лица рассказчика; описание же острожной обстановки, личности рассказчика и реакции слушателей были изъяты. В качестве концовки рассказа были взяты заключительные строки последней главы «Записок из Мертвого дома». Она как бы завершает и подытоживает содержание всего сборника. «Вот как люди гибнут! А ведь надо уж все сказать, ведь этот народ — необыкновенный народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погбили даром могучие силы, погбили незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то кто виноват?» В таком контексте слова Достоевского неизбежно подводили читателя к революционным выводам.

⁸ ЦГИАМ, ф. 95, оп. 1, д. 214, л. 28 об.

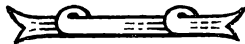
⁹ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, 29827/ССХИ б. 9.

¹⁰ Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1. ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 312.

¹¹ ЦГИАМ, ф. 95, оп. 1, д. 214, л. 31.

Недаром сборник обратил на себя внимание III отделения «односторонностью и крайним направлением» статей, а также значительным тиражом и необычной дешевизной. В январе 1864 года по распоряжению министра внутренних дел он был изъят из продажи. Полиция отобрала в Петербурге и в Харькове 672, а на квартире у Путьяты — 1309 экземпляров. Следовательно, около 8 тысяч книжек успело разойтись.¹²

Приведенные факты показывают, что «Записки из Мертвого дома» Достоевского были высоко оценены демократическим лагерем 60-х годов и что Чернышевский непосредственно принимал живое участие в попытке издать это произведение в доступной для широких масс форме.



¹² Там же, лл. 38 и об., 58 об., 32.

КАПИТОН СУНГУРОВ И ЕГО ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

В словаре «Деятели революционного движения в России» А. А. Шилова несколько строк посвящено Капитону Сунгурову. Скупая биографическая справка, почти некролог. «Сунгуров, Капитон. Род. в 1835 г. По окончании 2-й Казанской гимназии поступил студентом в Казанск. ун-т, из которого исключен в 1859 г. за участие в демонстрации на лекции Булича. Переведен в СПб. ун-т, где был вольнослушателем. Арестован в 1863 г. за распространение землевольческ. воззваний. По постановлению выс. учр. следств. комиссии предан суду Сената, которым приговорен к годичному заключению в крепости и к высылке из Петербурга. Приговор утвержден 25 ноября 1863 г. В декабре т. г. заключен в Шлиссельбургскую крепость; в июне 1864 г. заболел психически и переведен в больницу».¹ Биография скорбная, ничем не отличающаяся от многих других биографий, прерванных тюрьмой и каторгой. Это был рядовой участник общественно-освободительного движения и начинающий литератор, успевший выступить с несколькими статьями в журнале «Время».

В собрании рукописей «Русской старины» хранится толстая тетрадь в коричневом переплете. В тетрадь переписаны ценнейшие воспоминания и письма декабристов, в частности письма Рылеева к жене из Петропавловской крепости (1825—1826), воспоминания Евг. Оболенского о Рылееве (с пометкой: «Ялутогорск, 10 апреля 1856 г.»), «Дневник достопамятного путешествия из Читы в Петровский завод 1830 года» В. И. Штейнгеля, его же заметка «Вот что значит гласность...» (1833), несколько русских загадок, собранных Штейнгелем, и т. д.² В настоящее время этот рукописный сборник не представляет значительной ценности. Большинство документов, входящих в тетрадь, теперь хорошо известно по неоднократно и проверенным публикациям. Исключение составляет заметка В. И. Штейн-

¹ Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь, т. I, М., 1928, стр. 397—398.

² Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, архив «Русской старины», ф. 265, оп. 2, № 2468. Дневник В. И. Штейнгеля опубликован в сб. «Декабристы. Незданные материалы и статьи» (Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. М., 1925, стр. 128—148). В тетрадь входят также заметки Е. П. Якушкина о бумагах Рылеева (в 1862 году опубликованы в «Полярной звезде», вып. 1), известные примечания А. О. Корниловича к поэме «Войнаровский», письма Г. С. Батенькова к В. И. Штейнгелю (опубликованные в «Русской старине», 1889, т. 63), отрывки из стихотворений Державина, Козлова и Соколового. Наибольший интерес представляют списки декабристских стихотворений: «Одичалый» Г. С. Батенькова (стихотворение переписано за подписью «Г. С. Батеньков», с пометкой: «Май, 1827, Шварцгольм»), «Утренняя песнь. Из Канне. С немецкого» (обозначены год и место написания: «1827 г. Шварцгольм»). «Утренняя песнь» обычно приписывалась А. А. Бестужеву, но Н. И. Мордовченко справедливо усомнился в возможности авторства Бестужева-Марлинского; сейчас можно с уверенностью утверждать, что автором стихотворения является Г. С. Батеньков: он в 1827 году сидел в Шварцгольмской крепости, стилистическая манера «Утренней песни» типично «батеньковская». Дума «Прокаженный», входящая в тетрадь, тоже считалась стихотворением А. А. Бестужева. Как и «Утренняя песнь», дума печаталась под его именем в «Собрании стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1862). Возможно, что эта ошибка идет от М. И. Семевского: в тетради его рукой под этим стихотворением поставлена подпись: «А. Бестужев». В оглавлении к тетради первоначально стояло «Г. С. Батеньков», потом Семевский зачеркнул его фамилию и написал: «А. Бестужев». Видимо, и Семевский колебался: Батеньков или Бестужев! В издании 1948 года («Библиотека поэта») это стихотворение выведено из состава произведений Бестужева-Марлинского. В тетрадь переписаны, кроме того, стихотворные отрывки. В оглавлении к сборнику М. И. Семевский делает приписку: «Три стихотворных отрывка, кажется, Ал. Бестужева, тут же привет Москве и России». Стихотворные отрывки также не принадлежат Бестужеву. Наконец, в тетрадь входит стихотворение «Вдох. Перевод с польского» с точной паспортировкой: «Чита, 1829, 18 января». Автор этого стихотворения не указан.

геля, написанная в Петровской тюрьме. Из нее следует, что Штейнгель около 1823 года, т. е. будучи членом Северного общества, написал две записки: о крепостном праве и раскольниках. Обе эти записки остались без всякого внимания: одна затерялась в канцелярии Аракчеева, другая — в Департаменте духовных дел. Приводим заметку Штейнгеля:

«Вот что значит гласность и свобода мыслить о тех предметах, на которые правительства присвоили себе монополию. Я писал в 1823 году, если не ошибаюсь теперь, о возможности уничтожить в нашем отечестве гнусную продажу людей, не негров, россиян. Я мог ошибаться в средствах, кои мне казались легкими, безобидными для владельцев, справедливыми во всех отношениях; другие это бы исправили, сказали бы свое мнение и развили бы идею до возможности исполнения. Теперь, может быть, уже не читали бы постыдную ложь, которую, если не самих себя, то бог знает кого обманывают, — ложь, столь часто повторяемую: *Отпускаются во услужение: повар с женою, девица 18-ти лет, умеющая шить и гладить*. Я писал, говорю, писал к самому царю, сколько мог убедительно, за вопиющее человечество и за честь России; но моя бумага с надписанием монаршим: *читал* — поступила в канцелярию графа Аракчеева, как в Пету. Кто знает об ней? и будет ли когда-либо кто знать?..»

Около того же времени я изложил свои мысли о жестокости и несообразности с духом самой веры закона на богохульников и святотатцев, доставил это в Департамент духовных дел. Сказали: прекрасно, много обязаны, это нам очень кстати, — и тем кончилось. Кто из сограждан проведает, что я вступался за страждущее человечество? Лет пять спустя Тьер, если не ошибаюсь, повторил во французской палате из слова в слово некоторые мои мысли: это целый свет узнал, целый свет аплодировал!

И после этого не больно ли читать и слышать: Как французы мыслят! Как говорят! как пишут!.. а что у нас?!»³

В 1860—1861 годах письма, дневники и воспоминания декабристов еще находились под цензурным запретом, они хранились в частных коллекциях или только готовились к публикации М. И. Семевским. Для Семевского эти документы и были скопированы. Переписывал их Капитон Сунгуров.

На втором (после оглавления) листе тетради М. И. Семевский в июле 1881 года сделал памятную заметку:

«Весь сборник списан с разных рукописей в 1860—1861 гг., частью с подлинных бумаг от барона В. И. Штейнгеля, частью из бумаг Бестужевых, частью с других рукописей. Копию снимал студент СПб. университета Капитон Корнилович Сунгуров, имевший несчастье за отпечатание около 1861 г. какой-то прокламации быть заключенным в Шлиссельбургскую крепость и там умерший вскоре после заточения. Молодой человек этот был в высшей степени способный, но, к сожалению, предавался излишествам в употреблении крепких напитков. Как корректор журнала «Время» (1860—1861) он обратил на себя внимание братьев Достоевских, редакторов журнала, которые с удовольствием дали место в этом журнале его филологическим заметкам».

В приписке Семевский сообщает, что сборник, составленный Капитоном Сунгуровым, в 1879 году посылался Л. Н. Толстому, собиравшему тогда материалы для замышляемого романа «Декабристы». «Настоящий сборник, в числе некоторых моих других рукописных сборников, — пишет М. И. Семевский, — был дан мною графу Льву Николаевичу Толстому, когда знаменитый и высокоталантливый романист этот обратился ко мне лично весной 1879 г., в СПб., с просьбой дать ему возможность познакомиться с материалами о декабристах. Гр. Л. Н. Толстой предполагал тогда писать роман из эпохи 1825—1826 гг., но мысль эта затем была им, к сожалению, оставлена». Тетрадь с декабристскими материалами побывала в руках Толстого; Толстой был первым ее читателем.

Капитон Сунгуров не был просто «списчиком», копировавшим для Семевского ценнейшие документы. Он и сам интересовался декабристским движением. В Центральном государственном историческом архиве (Москва) сохранилось дело «О быв. студенте СПб. университета Сунгурове, судимом за государственное преступление» (ф. 112, оп. 1, д. 48; в дальнейшем ссылки на это дело). Из следственного дела выписывается политическая биография недоучившегося студента, которого приютили Достоевские во «Времени». Полицейский надзиратель третьего квартала московской части Козицкий в июле 1863 года встретил Сунгурова на Невском проспекте. У Сунгурова, по словам надзирателя, был «озабоченный» вид, он «оглядывался в разные стороны». Короче говоря, Сунгуров навлек на себя подозрение. В доме Логинаова по Средней Мещанской, в квартире жены поручика Петровой, где Сунгуров снимал комнату, был произведен срочный обыск. При обыске была захвачена записная книжка Сунгурова. Следователи обратили внимание прежде всего на переписанные в ней прокламации «Великорусс № 3» и «Что надо делать войску», а также текст «Марсельезы» с приложением нот. На вопросы

³ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, архив «Русской старины», ф. 285, оп. 2, № 2468, л. 87 и об.

«Откуда вы списали эти воззвания и для какой надобности? Кому принадлежат экземпляры, с которых вы списали?» Сунгуров отвечал крайне уклончиво, отговаривался незнаем («не помню», «не знаю»). Сунгуров говорил: «Оба воззвания списаны, сколько теперь помню, с печатных экземпляров, но от кого эти экземпляры были получены мною, не помню. Куда девались эти экземпляры, не знаю; они были или возвращены обратно, или уничтожены» (л. 69). Спрашивали и о «Марсельезе»: «В той же книжке вашей списаны ноты и слова песни возмутительного содержания под заглавием „Marseillaise“. Где вы списали оную и для какой надобности имели у себя?» Последовал ответ: «Эти ноты достать трудно было печатные или литографированные, и я списал их потому, что раньше слышал мотив „Марсельезы“, а списав ноты, я мог слышать эту песню с аккомпаниментом фортепьяно. Где списал, не помню. Они лежали у меня без употребления, но со временем я надеялся переписать ноты на большой лист, чтобы можно было по ним разыгрывать, и попросить кого-нибудь из знакомых разыграть ее» (л. 70).

В карманной книжке были и другие записи, оставленные без внимания следователями. Возможно, что их просто не смогли прочитать, так как почерк Сунгурова трудно разбирался. Записи эти двух родов: выписки из произведений разных авторов, полюбившиеся читаты и собственно сунгуровские сочинения. Сунгуров выписывает из «Полярной звезды» Герцена и Огарева и общую оценку декабристского движения, и характеристику его отдельных деятелей, в частности Александра Бестужева и Каховского. Сунгуров конспектирует: «Александр Бестужев и Каховский показывали себя пламенными террористами, готовыми на ужаснейшие действия... Каховский кричал: с этими филантропами не сделаешь ничего, тут надобно резать да и только» и т. д.⁴ Вместе с записной книжкой у Сунгурова хранился акварельный портрет Каховского. Из записок Н. Бестужева, доставленных из Минусинска М. И. Семевскому, Сунгуров выписывает стихи:

При нем случилось возмущенье,
Но он явился на коне,
Провозглашая всепрощенье.
И слово он свое сдержал.
Как сохранилось в преданьи:
Лет сорок сряду все прощал,
Пока не умерли в изгнании...⁵

Ясно, что Сунгуров не просто копировал декабристские произведения для М. И. Семевского, но и изучал их, воспитывал себя на примерах прошлого, замыслил использовать воспоминания о Рылееве и декабристские стихи в своей пропагандистской работе.

До знакомства с Ф. М. Достоевским и М. И. Семевским Сунгуров принимал активное участие в студетском движении. О нем упоминается в «Колоколе» от 1 января 1860 года (в анонимной статье «Гонение гласности и студентов», л. 60): «Тут (в XI аудитории университета, — В. Б.) прочитано г. Сунгуровым, одним из вольнослушающих Петербургского университета, письмо из Казани, объясняющее подробности и ход дела...» Во время следствия Сунгурова спрашивали: «Когда, где и с какою целью вывешивали вы объявления об истории казанских студентов, кто писал эти объявления? Был ли объявлен, где, когда и каким образом найденный в ваших бумагах листок с заглавием „Студентам Казани. Живая весть“». Сунгуров отвечал: «6 ноября 1859 года, в здешнем университете, в курительной комнате было вывешено мной объявление о казанской студенческой истории. Объявления писал я. Цель была та, чтобы прекратить ложные слухи, ходившие в то время между студентами об этой истории. За это объявление я был уволен из университета, но через год опять принят, причем с меня взяли подписку, чтобы я не вмешивался ни в какие студенческие дела» (л. 72).⁶

⁴ ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, д. 48, л. 3 (далее: Записная книжка).

⁵ Отрывок из недошедшего до нас большого сатирического стихотворения декабриста Вас. Давыдова «Николосарос». См. статью А. Л. Дымшица «Сатирические стихотворения В. Л. Давыдова» в «Литературном наследстве» (т. 60, 1956, кн. I, стр. 283—289).

⁶ Сунгуров давал показания 14, 15 и 20 июня 1863 года в высочайше учрежденной в Петербурге следственной комиссии. На первый вопрос, касавшийся его биографии, последовал ответ: «Капитан Корнилович Сунгуров. От роду 28 лет (род. 1 марта 1835). Происхожу из купеческого звания; уроженец Вятской губ. города Малмыжа. Вероисповедания православного, на исповеди бываю, хотя и не ежегодно, и в последний раз исповедывался и св. тайне приобщался в нынешнем году, па শেষтой неделе великого поста. В настоящее время родитель мой приписался к обществу мещан Царского Села. Отец жив, родная мать померла в 1840 году, и теперь имею мачеху. Кроме того, есть у меня брат лет восемнадцати, сестра лет двадцати трех. Есть родственники в Вятской губ. в городе Котельниче (дед по матери). Недвижимой собственности родители не имеют.

В записной книжке, отобранной при аресте, студенческая история изложена со всеми подробностями. Сунгуров сам на себя составил как бы «следственное» дело, выделив в записной книжке специальным разделом: «По делу студента Сунгурова (ноябрь 1859)». Это «Дело» начинается «Выпиской из высочайшего повеления», объявленного университетам министром народного просвещения 17 декабря 1858 года. «Выписка» гласила: «Внушить студентам, что они не имеют законного права изъяслять публично своим профессорам знаки одобрения (посредством рукоплесканий и т. п.) или порицания (шikanьем, свистом, выходом из аудиторий и т. п.); что законы наши строго воспрещают всякого рода сборища и демонстрации; а потому если студенты, не вняв сему предостережению, окажутся виновными в каком-либо из означенных проступков, то немедленно будут исключены из университета, несмотря на то, какое бы ни было число виновных». За подписью ректора П. Плетнева этот приказ был вывешен в Петербургском университете. Для Сунгурова было важно сохранить для истории не сам приказ, а все, что последовало за «высочайшим повелением». 6 ноября 1859 года Сунгуров в курительной комнате Петербургского университета вывесил следующее обращение:

«Студентам-казанцам

(Живая весть)

Нашего полку убыло. В конце октября восемь человек студентов схвачены вечером на своих квартирах, представлены к губернатору (Козлянинову) и от него разосланы (ночью):

Булыгин	
Копиченко	в Сибирь
Шпловский	
Ефремов	в Пермь
Щербаков	— в Астрах. губернию, в №№ казакскую станицу
Горенбург	— в Симбирск
Аристов	— в Петербург
Пушкарёв	— в Арзамас (Нижегор. губ.), —

за то что аплодировали Буличу.⁷ Все восьмеро отправлены из Казани под прикрытием жандармов, которые сопровождали их до места ссылки. Кроме жандармов, из Казани до границы города провожала их полиция.

Что будет с осужденными завтра, неизвестно. Третьего дня Ковалевский (министр) уехал в Гатчину с докладом о деле казанских студентов государю.

Пишут из Казани: после ареста 8 означенных студентов схвачено еще 20 человек (студентов), и где они теперь, никто не знает; 8 лучших профессоров намерены подать в отставку; 180 студентов выходят из университета.

6 ноября 1859, пятница.

Второе объявление Сунгуров вывесил на следующий день, т. е. 7 ноября. В нем оповещалось о предстоящем студенческом собрании: «В четверг (12 ноября) в 12 часов, в 11 аудитории будет читаться подробный ход того дела, о котором 6 ноября была объявлена казанцам-студентам живая весть». На сходке читалось

Первоначальное образование получил дома (в Малмыже); на девятом году меня поместили вместе с покойным братом во вторую казанскую гимназию. По окончании курса в гимназии (1853) я был принят без экзамена в Казанский же университет, отсюда по желанию отца, проживавшего в это время в Петербурге, перешел в Петербургский университет. Это было в марте 1856 г. После того обстоятельства заставляли меня несколько раз оставлять университет и потом снова вступать в него; в 1859 году я поступил на юридический факультет, раньше был на историко-филологическом; был выключен за дело казанских студентов, потом опять принят, потом университет закрыли.

Квартиры я переменил довольно часто. В последнее время проживал у жены поручика Юлии Алексеевны Петровой, в Сред. Мещанской, д. Логинава № 7, кв. 32. Деньги на содержание я получал за корректуру, за переводы с франц. п с немец., за оригинальные статьи. Холост. Под следствием не был» (л. 65 п об.).

⁷ Студенты Казанского университета в июле 1859 года дружными аплодисментами встретили в ту пору еще либерального проф. Булича, вернувшегося из-за границы, где он пробыл два года. Сунгуров писал в следственных показаниях: «История же казанских студентов была такого рода. Студенты собрались на лекцию проф. Булича, читавшего в то время историю русской литературы, и по окончании лекции аплодировали профессору, чем нарушили циркуляр г. министра народ. просвещения, запрещающий студентам пзъявлять свое одобрение или порицание профессорам. Виновные, в числе восьми человек, были разосланы из Казани по месту жительства их родителей» (л. 73). О «деле с аплодисментами Буличу» в Казанском университете см.: Е. Г. Бушканец. Нелегальная поэзия революционных кружков конца 50-х—начала 60-х годов XIX века. Казань, 1961, стр. 23.

письмо казанских студентов (текст письма не приводится), затем выступил с речью Сунгуров. В записной книжке мы находим речь Сунгурова, произнесенную 12 ноября 1859 года в Петербургском университете.

«Братья.

Я перестал быть вашим товарищем по мундиру, но сердцем, но душою я навсегда им останусь.

Могу ли я молчать, когда вы собрались выразить ваше сочувствие жертвам полицейских мер? Могу ли я не послать вам слово совета, когда вы собрались не из пустого любопытства, но для того, чтоб изъять ваши чувства?

Но какие есть у вас средства для выражения ваших чувств? Можете ли вы воспользоваться гласностью, чтоб заклеймить поступки казанских начальств, вероятно обманывающих доверенность государя? Есть ли у вас даже простейшее право моления, право просьбы о несчастных наших братьях?

Нет! даже этого права нет у нас!..

Что же остается вам, что же остается нам всем, соединенным одним чувством уважения к правам человека?

Молчать.

Молчать — мы не можем, даже, если бы захотели.

Нам остается одно только право слова, правда не печатного, но все однако ж слова.

Воспользуемся же им для распространения того глубокого чувства любви к справедливости и праву, которое дало нам наше студенческое образование.

Только распространение этих мыслей может устранить явления, подобные казанским происшествиям. Бесправие, столь сильное против отдельных лиц, падет перед могуществом мысли.

И тогда исполнится желание нашего доброго государя: не только крепостные, но и мы будем свободны.

Свобода слова, личности явится следствием свободы труда» (Записная книжка, л. 35 и об.).

Сунгуров имел все основания выступать от лица казанских студентов и в защиту их. В Казани находился друг Сунгурова лекарь А. И. Баканин, закончивший в 1858 году курс в Казанском университете. 7 ноября 1859 года у него на квартире состоялась первая сходка студентов. Баканин и был одним из информаторов Сунгурова о казанских делах. Вскоре он переедет в Петербург и снова сойдется с Сунгуровым. Сунгурова хорошо знал профессор Шапов, стоявший во главе революционной казанской молодежи. Находясь в 1863 году в Петербурге, Шапов заболел и лечился в больнице. В записной книжке Сунгурова имеется следующая запись («31 марта, ночь»): «Сегодня первый день пасхи — глупейший день в году, праздников праздник и торжество есть торжество. Православие пьянствует, скука смертельная. Заходил утром к Шапову, во 2-й сухопутный госпиталь — на Выборгской. Теперь заметнo поправляется. 20 апреля он «должен» выезжать из Петербурга... Познакомился у него с Помяловским. Хохряков-то на пять лет в каторжную работу (мне, впрочем, сказали на 9)... Какая тоска! Чем трезвее я становлюсь, тем делаюсь раздражительней» (Записная книжка, л. 31 и об.).

Капитан Сунгуров, по словам М. И. Семевского, был «в высшей степени способным» человеком. Ф. М. Достоевский не случайно обратил на него внимание, устроив исключенного из университета студента на работу корректором в журнал «Время». Более того. Во «Времени» Сунгуров печатает свои филологические статьи и фельетоны. За подписью «К. Су—в» появилось три статьи: «Плач корректора» (1860, октябрь), «Орфографическая распря» (1862, март), «Непотребные буквы (из дневника корректора)» (1862, июль).⁸ Участие Сунгурова в журнале Достоевского

⁸ Возможно, что Сунгуров помещал свои статьи и переводы и в других журналах, в частности в «Юридическом вестнике». С издателем «Юридического вестника» Н. В. Калачевым Сунгуров был знаком и пользовался с его стороны некоторым покровительством. На вопрос о петербургских знакомых Сунгуров отвечал следственной комиссии: «Знакомых семейств в Петербурге у меня почти ни одного нет; из семейных домов, в которых я был принят, я могу указать на Н. В. Калачева, издателя „Юридического вестника“, познакомился с ним в то время, когда я занимался в Археографич. комиссии. Это было в 1858 году. Он же мне предложил поступить на юридический факультет и содержаться на его счет. Остальные мои знакомства были или с хозяевами квартир, где я нанимал себе комнату, или с своими товарищами по университету. Отношения мои с товарищами определялись нашими общими университетскими занятиями. Из лиц особенно мне близких укажу на бывшего моего товарища по гимназии и университету, ныне врача — Анатолия Ивановича Баканина. Мы с ним виделись почти ежедневно. Переписки ни с кем из прежних товарищей не имею (получил недавно из Кутаиса от князя Туманова письмо, но еще не отвечал)» (л. 66). Сунгуров не раскрывал всех своих знакомых. Квартирная хозяйка Ю. А. Петрова, например, свидетельствовала в своих показаниях, что Сунгурова «иногда посещали Баканин и Достоевский» (л. 102).

заслуживает внимания. В записной книжке — несколько страниц из «Дневника корректора» явно цензурного характера, несмотря на признание автора: «Свой дневник я назначаю для печати». «Здесь читатель увидит, что я, — пишет корректор «Времени», — могу плакать очень несмешно, что меня занимают не одни буквы да запятые». Корректор плачет не столько от тяжести труда, сколько от притеснения цензуры. В «Дневнике» приводятся соответствующие факты из цензурной истории «Времени», рассказывается о встречах с А. А. Яковлевым, тогда уже арестованным, и М. И. Семевским, на себе испытывавшем цензурные придирки.⁹

Кроме отрывка из «Дневника корректора», в записную книжку входят дневниковые записи Сунгурова, которые он вел отнюдь не регулярно, от случая к случаю. На первом месте здесь «целлюлярные попойки» и постоянные хлопоты о куске хлеба. В какой-то степени эти записи характеризуют быт разночинной молодежи, сложные отношения Сунгурова с отцом-купцом, тщетные попытки опубликовать рассказ «Темный коридор», надежды на Достоевского и т. п. Приводим из этих записей два отрывка:

«1862, 14 дек., 12 ч. ночи

Вчера отнес Достоевскому „Темный коридор“... глупо, скверно, подло, но что же делать? В других редакциях нужно еще кланяться. Черт их дери с поклонами-то. Нельзя ли просмотреть скорее... нельзя ли поместить пораньше... Это „нельзя ли“ отвратительно.

От Достоевского зашел к старым хозяевам. Хозяйка очень больна, Наденька больна, но не очень. Больна! Не даром я продумал о ней целый день четвертого дня. Я ей сказал, что, может быть, числа 3 января я опять к ней приеду... Если статья будет принята и Достоевский даст на первый раз не меньше 25 руб., дело в шляпе: куплю разные необходимые вещи, в том числе два подсвечника, и переезжаю. Adieu, папа!

Эти поклоны отцу... Ужас! Сестра больна, а я не показываюсь. Как приедешь к нашим, череп точно сдавливает, дышать тяжело, сказать слова нельзя. Визит к нашим — чистая пытка. Вот теперь должны пойти объяснения с отцом — как же, дескать, ты обещал в декабре кончить курс, с тем и в квартала тебе нанята, а экзамены не сдаешь? Ведь это конца не будет и т. д., и т. д. Разумеется, он прав, но ведь и я тоже не черт знает как виноват. В случае отец откажет, пойду к Калачеву. Январь, февраль, март, апрель — всего 4 месяца — 100 руб. Надеюсь, не откажет. Но какими глазами он будет смотреть на отца?

Сижу за лекциями. В голову почти ничего не лезет. Голова слишком занята Наденькой и статьей. А время-то как летит. Способности, на которые я с такой самоуверенностью рассчитывал, оказываются ни к черту не годными, память дрянь, просто не знаю что и делать. Бог мой, неужели я не кончу курса? К тому же во мнении некоторых профессоров я стою на видном месте как человек трудолюбивый, дельный, подающий порядочные надежды — и вдруг на экзамене — пшик!

1863, 7 января, ночь

Вчера был у старой хозяйки и формально объявил, чтобы с 10 числа она считала меня опять своим жильцом. Денег буквально ни полушки. «Темный коридор» отдал в Иллюстрацию; неизвестно, будет ли принят, что-то сомнительно. А на него все и надежды. Впрочем, есть еще надежда — на Калачева. Здесь я остался должен минимум 10 рублей» (Записная книжка, лл. 30, 31).

Особый раздел в записной книжке составляют стихотворения, распространявшиеся в списках. Видимо, Сунгуров придавал политическим стихам и прокламациям особое значение, если он так внимательно их переписывал. Среди переписанных стихотворений — «Тятка! евоң что народу» (приписывается П. Шумахеру),¹⁰ «Двуглавый орел» В. Курочкина (у Сунгурова без последней строфы и за подписью «А. Григорьев»),¹¹ «Сказка про белого царя» (приписывается Шумахеру, у Сунгурова без обозначения автора), «Ответ» М. Михайлова и др. Стихотворение «Ответ» воспроизведено с известной припиской Михайлова («Спасибо вам за слезы» и т. д.). Обычно это стихотворение, написанное М. Михайловым в ноябре 1861 года в Петропавловской крепости (у Сунгурова точная дата: «23 ноября 1861 года»), рассматривается как ответ на стихотворное послание «Узник» (автором послания предположительно считается студент Петербургского университета И. А. Рождественский).¹² Из записной книжки Сунгурова следует, что Михайлов отвечал на

⁹ «Дневник корректора», представляющий историко-литературный интерес, приобщен в приложение.

¹⁰ У Сунгурова датируется «1863, II, 9» (возможно, что это дата записи в книжку) и с пояснением: «В pendant к „Картинке“ А. Майкова». Еще одно подтверждение того, что стихотворение «Тятка, евоң что народу» направлено против «Картинки. (После манифеста 19 февраля 1861 года)» А. Майкова.

¹¹ Авторство В. С. Курочкина обосновывается И. Г. Ямпольским.

¹² Л. Ф. Пантелеев считал автором стихотворения «Узник» Н. И. Утика, видного деятеля «Земли и воли». С. А. Рейсер справедливо замечает, что «вопрос об

письмо студентов, адресованное узнику Петропавловской крепости. Письмо за инициалами «З. А.» Сунгуров приводит в записной книжке (л. 27):

«Письмо к М. Л. Михайлову

(во время его заключения)

Михаил Ларионович.

Наш братский привет Вам и наше полное и неизменное уважение к заслугам Вашим перед обществом. Мы полны веры в Вас и в грядущее время. Тяжелая участь, доставшаяся Вам на долю, не сломит Вас, и Вы скоро опять будете между нами и снова с тою же готовностью будете служить своему народу. Вот все, что мы желали и что могли выразить Вам. Пусть будет это сопутствием на Вашу дальнюю дорогу и пусть в тяжелую минуту Вашей ссылки останется Вам утешение, что есть молодое поколение, глубоко сочувствующее и уважающее Вас. Не забывайте этого. Это облегчит хоть несколько Ваш тяжелый труд.

З. А.»

Все эти произведения потаенной литературы не случайно появляются в карманной книжке. Стихотворения, как и отрывки из статьи Герцена о декабристах, соседствуют с текстами прокламации «Великорусс» и воззванием «Что надо делать войску?».

Сунгуров и сам писал стихи; правда, поэзия ему плохо давалась. Стихи его несовершенны в художественном отношении, но искренны и потому ценны для нас. Стихотворение «Свобода, равенство и братство», видимо, относится к ранним опытам, условно оно датируется 1861 годом. В самом названии — традиционный лозунг русских вольнодумцев. Однако стихотворение по своему содержанию тяготеет к «хмельным» застольным песням. На полях записной книжки Сунгуров сообщает обстоятельства, при которых это стихотворение написано:

«Стихи (?) писаны мной во 2 часу ночи 29 июня (в день Пьера и Поля) в пьяном виде. Я целый день был один, Анатолий «Баканин» блаженствовал на даче; у меня полбутылки коньяку еще было — ну с чайком и покончили, начиная с 6 часов утра. Кончили и последнюю посудину разбили... в печке, камнем [с тех пор] пить заклились значит. Посмотрим, в состоянии ли мы быть постоянно трезвыми, постоянно» (Записная книжка, л. 6 об.).

СВОБОДА, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО

(Heres- und Cognac-Lied)

Жизнь в трезвом положении
Куда нехороша!

Как! разве нет у нас *свободы*?
Мы пьем тогда, когда хотим:
Будь радость ли, или невзгоды —
Мы все равно уж подкутим!

У нас есть *братство*: мы ведь братья,
Когда подвыпьем, господа?
Конечно, завтра, послезавтра
Прощай уж братство!.. так ведь, да?

А *равенство*... Да разве здесь
Мы не равны, что пьем поровну?
Для каждого стакан здесь есть,
И каждый пьет кому угодно,

Мы только пьяные и годны,
Чтоб быть как следует людьми:
А трезвые мы *несвободны*,
Не братья мы и неравны!..

Теперь же мы,
Пока пьяны —
Свободны мы
И братья мы
Да и равны —
Урррppa!!..

Vive liberté,
Egalité,
Fraternité!

Урррppa!!..

авторе не может считаться окончательно решенным» (см.: Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Большая серия «Библиотеки поэта». «Советский писатель», Л., 1959, стр. 726).

Это единственное стихотворение, автором которого безошибочно можно считать владельца записной книжки.

Точно датируется в записной книжке стихотворение «В былые дни Елисаветы»: 18 декабря 1861 года. Вероятно, оно принадлежит Сунгурову, переключаясь с его речью в защиту казанских студентов. Стихотворение написано по живым следам событий: реакционная «путятинская» реформа, закрывавшая двери в университет для разночинцев, подавление студенческой демонстрации с помощью гвардейских штыков. В стихотворении названы усмирители студенческих волнений: «шпион Шувалов» — шеф жандармов П. А. Шувалов; «глупца — Игнатьева» — генерал-губернатор Петербурга П. Н. Игнатьев; «Под предводительством Толстого преображенские штыки» — речь идет о командире роты Преображенского полка, принимавшей участие в подавлении демонстрации; «с Путятиним иная мода» — отъявленный реакционер Е. В. Путятин в 1861 году был назначен Александром II на пост министра народного просвещения.

Приводим текст стихотворения по записной книжке (л. 74 об.):

В былые дни Елисаветы
Вельможа, сердцем и умом,
Шувалов, университеты
Завел у нас в краю родном.
Теперь не то: шпион Шувалов,
Глупца — Игнатьева клевет,
Идет с толпою генералов
На приступ в университет.
И с ними, помня штурм Азова,
Шли стройно гвардии полки —
И забыли нынче снова
Под предводительством Толстого
Преображенские штыки.

В те дни великий Ломоносов
Всех к просвещенью призывал
И без матрикул и без взносов
К науке двери отворял;
С Путятиним иная мода:
Он, по обычаю попов,
Стал с медной кружкою у входа
И в шею гонит бедняков...
И бысть науке то препона.
Живем мы десять сотен лет,
Но так же, как во время оно,
В родной стране порядка нет!
XII, 18 1861

В записную книжку Сунгурова входят и другие стихи политического содержания. На л. 29 об. с пометкой «1863, 9 февр.» (первоначально «январь», затем перечеркнуто) вписаны два стихотворения:

Мужайся, Русь, на подвиг бражный,
Готовься к пламенной борьбе!
Ты посмотри, какой вальжный
Становят памятник тебе.
Десятый век ты доживаешь,
Но и века тебе не в прок:
До сих пор грамоты не знаешь
И ходишь чуть не без порток.
Смотри, наедут иноземцы,¹³
Так не ударь же рожей в грязь!
И без того толкуют немцы,
Что ты до нитки пропилась.

* * *
Ты не кори меня горем-злосчастьем,
А подари меня словом участия!
Сколько лет маются все под опекою,
По миру шляются нищим-калекою;
Князи-грабители всю истерянили,
Душеспасители ум отуманили!..¹⁴
Вот и маюсь¹⁵ я под опекою,
По миру шлеюсь нищим-калекою...
Так не кори ж меня горем-злосчастьем,
А подари меня словом участия!

В заключение скажем о самом главном: Сунгурова арестовали и судили за хранение 9 экземпляров прокламации «Свобода № 1». Следственная комиссия настойчиво требовала «объяснить подробно: в каком именно месте, в какое время и при ком получили вы найденные при вас воззвания? При каких обстоятельствах они были вам переданы, какой происходил при этом у вас разговор с тем лицом, от которого вы получили воззвания, кто это лицо, какие его приметы, и почему именно вам, а не кому другому были переданы воззвания? Как вы могли принять оные, зная, что они преступного содержания? Почему вы не объявили тотчас же полиции о передаче вам воззваний и не представили их в полицию?» Сунгуров отвечал с чувством собственного достоинства и старался не увеличивать следственный материал: «Сколько теперь помню, это было у Казанского моста, днем, до обеда. Народу было не так много. Навстречу мне скорыми шагами шел какой-то молодой человек в темном пальто с рыжими баками. Поравнявшись со мной, он быстро сунул мне пачку каких-то бумаг и сам скрылся, пошел дальше еще скорее; что заставило этого господина сунуть пачку прокламаций именно мне, а не кому другому, это уже его дело. Полиции я потому не объявил о прокламациях, что не хотел, не считал нужным. Принимать прокламации мне никто запретить не может» (л. 74). Сунгурова спрашивали: «В ответ на 4-й вопрос вы показали, что получили

¹³ Первоначально: иностранцы. Полагаем, что здесь и далее Сунгуров исправлял ошибки, допущенные при переписке.

¹⁴ Карандашом пояснение: «попы».

¹⁵ Первоначально: шатаются.

прокламации от одних и передавали другим, и что называть тех лиц, от которых получали и которым передавали, не можете, потому что не помните их. Так как ответ этот нельзя признать удовлетворительным, то комиссия требует, чтобы вы объяснили положительно: какие именно прокламации, кроме названных вами («Великорусс» три нумера и Шедо-Феротти)¹⁶ вы имели у себя, кто, когда и где давал вам каждую из бывших у вас прокламаций; кому и какую именно прокламацию вы предлагали и для какой надобности, имели ли те лица, от коих вы получали прокламации, другие экземпляры, кроме переданных вами, что вам говорили передавшие прокламации лица о том, где сами они приобрели?» Сунгуров настойчиво отказывается выдавать своих сообщников, хотя не скрывает, что сам он распространял прокламации. В ответах подсудимого постоянно чувствуется несклонность: «Удивляюсь, почему мой ответ комиссия находит неудовлетворительным. Если дело только шло об одной прокламации, тогда, пожалуй, я мог бы еще сказать, что она получена мной от такого-то; но тут дело идет о нескольких прокламациях, и чтобы запомнить, от кого я получаю каждую из них, это требует не совсем обыкновенной памяти. Кроме „Великорусс“ (три №№) и Шедо-Феротти, я читал еще воззвание к офицерам русской армии, потом прокламацию, начинающуюся словами: „Льется польская кровь“. — И еще другие, которых заглавий не помню. Другим я сообщал прокламации вообще, как интересную новость. Лица, от которых я получал прокламации, никогда ничего не говорили о том, откуда они приобрели; спрашивать же их об этом я всегда считал для себя слишком дерзким, неуместным» (л. 75).

Допрос продолжался целый месяц, но он не дал никаких результатов. Следственной комиссии так и не удалось получить от Сунгурова необходимых сведений о его политических связях и тех лицах, которые снабжали его воззваниями. Председатель следственной комиссии кн. Голицын 16 июня сообщал в Министерство юстиции: «По рассмотрении высочайше учрежденного под моим председательством следственной комиссией оконченного ею производства о бывшем студенте С.-Петербургского университета Сунгурове оказалось, что у него при обыске найдено девять экземпляров воззвания под заглавием „Свобода № 1“». Сунгуров показал, что воззвания будто бы получены им от неизвестного лица на Невском проспекте, присовокупив, «что ему никто не может воспретить принимать воззвания, не представил же их потому, что не считал этого нужным».

Из дневника Сунгурова видно, что он находился в самых близких, дружеских отношениях с бывшим студентом здешнего университета Алексеем Яковлевым,¹⁷ сосланным на каторжную работу, которому давал для чтения „Колокол“, и кроме сего, находясь в университете, Сунгуров вывешивал там объявления о беспорядках, произведенных студентами Казанского университета.

Относительно приобретения „Колокола“, равно и других запрещенных сочинений, Сунгуров отзывался запамätыванием, от кого он их получил и кому давал для чтения.

На повальном обыске, произведенном здешнею полицией о поведении Сунгурова, обнаружено, что он вел нетрезвую жизнь.

По воеподданейшему моему о сем докладу государь император высочайше повелеть соизволил: бывшего студента Капитона Сунгурова за изъясненные поступки предать суду Правительствующего Сената, с тем чтобы Сенат предварительно постановил определение, должен ли Сунгуров оставаться во время суда под арестом или может быть освобожден на поручительство».¹⁸

¹⁶ Имеется в виду прокламация Д. И. Писарева «Царское правительство под покровительством Шедо-Феротти».

¹⁷ Яковлев Алексей Андреевич, принимал участие в студенческом движении. Арестован осенью 1861 года, содержался в Петропавловской крепости, но был освобожден. Вторично был арестован 10 мая 1862 года за распространение прокламаций и пропаганду в казармах среди солдат лейб-гвардейского Саперного полка и приговорен военным судом к смертной казни. Казнь была заменена каторжными работами. На каторге, в Забайкальской области, умер от тифа. Вот и все, что известно о Яковлеве по словарию «Деятели революционного движения в России» (стр. 491—492). Можно предполагать, что Яковлев и Сунгуров принадлежали к одному революционному кружку и действовали совместно. Сунгуров в своих ответах сознательно умалчивал о связях с Яковлевым, хотя не скрывал, что вместе читали «Колокол». В карманную книжку Сунгуров переписал записку друга: «Капитон К. Я был у Вольфа, у Якова Исакова, Сергея Исакова, Витеняжа и Дюфура, и нигде не нашел 4-го тома *Causes célèbres*; книгопродавцы говорят, что он будет у них не раньше мая месяца. Не оставили ли вы его у Крона или где в другом месте? И к чему таскать с собою к Крону книги? Черт знает что такое. А. Яковлев». Записка датируется 12 февраля 1862 года. Далее следует приписка Сунгурова: «Не делай никогда для другого того, что можешь сделать для себя» (Записная книжка, л. 28).

¹⁸ ЦГИАМ, ф. 95, оп. 1, д. 105, лл. 1—2.

Остается несколько загадочным эпизод с прокламацией «Свобода № 1». Известно, что у Сунгурова было обнаружено 9 печатных экземпляров землевольческой прокламации. «Свобода № 1» начинается словами «Единственным источником всех бедствий, терзающих Россию, — есть самодержавный деспотизм...» Далее содержится прямой призыв разрушить деспотизм: «...цепи деспотизма, глубоко врезавшиеся в народный организм, должны быть разорваны».

М. И. Семевский, хорошо знавший Сунгурова, дает понять, что корректор «Времени» попал в Шлиссельбургскую крепость «за печатание около 1862 года какой-то прокламации». Мы не решаемся утверждать, что Сунгуров использовал положение корректора во «Времени» и свои связи с типографией для печатания революционных воззваний. Это было бы слишком романтично. Листовка «Свобода № 1» издана от имени Русского центрального народного комитета «Земли и воли». Руководители «Земли и воли» надеялись, что в 1863 году в России произойдет всеобщее крестьянское восстание; для возбуждения революционного энтузиазма среди молодежи они издавали прокламации (вышло два номера листовки «Свобода») и широко их распространяли. Землевольцы использовали лондонскую типографию Герцена и имели свою в Берне. Возможно, что Сунгуров не был далек от истины, когда утверждал, что 9 экземпляров «Свобода № 1» сунул ему в карман на Невском проспекте неизвестный человек. «В это прокламационное время, — вспоминал Н. В. Шелгунов, — прокламации вообще распространялись с большой смелостью и довольно открыто. Случалось встречать знакомых с оттопыренными боковыми карманами, и на вопрос „что это у вас“ получался совершенно спокойный ответ: „прокламации“, точно это какое-нибудь дозволенное и даже одобренное произведение печати. Или у вас звонят. Вы отворяете дверь и видите знакомого, который, не говоря ни слова и даже делая вид, что не узнал вас, сует вам в руку пук прокламаций и торопливо уходит с таким же инкогнито. Прокламации раскладывались в театре на кресла, в виде афиш приклеивали к стенам в концертных залах, совали, как рассказывают, даже в карманы, а про прокламацию „К молодому поколению“ говорили, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево. С особенной смелостью распространялась и прокламация „К офицерам“. Она была распространена в христовую заутреню и, как рассказывают, раздавалась даже в церквях».¹⁹

В этих рассказах о «прокламационном времени» содержится большая доля вымысла, преувеличений — материалы политических процессов 60-х годов говорят о жестоких полицейских мерах, направленных против распространителей прокламаций. Не так-то было легко подбрасывать революционные воззвания, агитаторам часто приходилось рисковать жизнью. Но были, конечно, и такие случаи, о которых рассказывает Н. В. Шелгунов. Сунгуров тоже могли просто всунуть 9 экземпляров «Свободы № 1». Важно, что прокламации часто попадали в надежные руки. Так, Сунгурову не пришлось в голову сообщить в полицейский участок или уничтожить полученные воззвания. Он и сам сочинял воззвания к студентам, переписывал и распространял «Великорусс» и «К офицерам». Записная книжка — неопровержимое свидетельство определенных политических убеждений. Революционные демократы ориентировались на Сунгуровых, на студентов, исключенных из университета, на целую армию русских разночинцев.

Судьба Сунгурова, едва вступившего на путь революционного агитатора, совсем печальна. Его арестовали больным, с повышенной температурой. По случаю «крайне тяжелого болезненного состояния» Сунгурова перевели из лазарета тюремного замка в Обуховскую городскую больницу. Несмотря на тяжелое заболевание (чахотка), Сунгурова судили. Суд был скорый. Александр II утвердил приговор Правительствующего Сената от 11 ноября 1863 года. «Правительствующий Сенат, рассмотрев дело о бывшем студенте С.-Петербургского университета Сунгурове, определил: Бывшего студента С.-Петербургского университета Капитона Сунгурова, 28 лет, по предмету распространения им возмутительных воззваний со злым умыслом оставить в сильном подозрении, а за недонесением о получении им таких, именне оных и передаче другим, на основании 62, 138, 285 ст. кн. I, т. XV, св. Зак. Угол. выдержать в крепости в течение одного года, без ограничений прав, с высылкою потом из Петербурга по усмотрению министра внутренних дел».²⁰ 10 декабря 1863 года Сунгуров был заключен в Шлиссельбургскую крепость и помещен в девятый каземат. Здесь он и сошел с ума. Комendant Шлиссельбургской крепости докладывал в своем рапорте от 23 июня 1864 года: «Сунгуров 20 числа сего месяца помешался в рассудке. И так как он постоянным и сильным своим криком во время дня и ночи беспокоит и раздражает других арестованных, то я просил о переводе его из крепости в дом умалишенных».²¹ 27 июня петербургский военный генерал-губернатор отдал распоряжение о переводе Капитона Сунгурова в дом умалишенных. Из жизни выбыл еще один революционный разночинец.

¹⁹ Н. В. Шелгунов, Сочинения, т. II, СПб., 1895, стр. 703.

²⁰ Конfirmацию по делу Сунгурова см. в «СПб. сенатских ведомостях» от 13 декабря 1863 года, № 100.

²¹ ЦГИАМ, экзп. 1, № 97, ч. 66, на 6 листах.

¹/₄, 15. Русская литература. № 1. 1962 г.

ДНЕВНИК КОРРЕКТОРА ²²

(Записки Сунгурова, корректора «Времени»)

(1862)

11 июля, ночь

Свой дневник я назначаю для печати.

Здесь, в своих записках, я перестаю быть паяцем, каким российская публика видела меня в «Плаче корректора» (сентябрь 1861), в «Орфографической расправе» (февраль 1862) и, может быть, еще увидит в «Непотребных буквах» (эта статья пока еще лежит неисправленная; она назначается для нынешней, июльской книжки). Здесь читатель увидит, что я могу плакать очень несмешно, что меня занимают не одни буквы да запятые. Скажу больше: я бы желал, чтобы в корректуре читатель увидел — и даже прежде всего увидел — человека, а не машину, без которой типография обойтись не может.

Начну с того, что такое корректор, т. е. в чем заключаются его обязанности.

Вы написали ученую статью, повесть, роман, заметку, перевели что-нибудь и отправляйтесь с своим трудом к редактору: не напечатаете ли? Редактор просматривает вашу статью, находит ее удобною для помещения в своем журнале и отправляет в типографию. Там ее набирают. Наборщики могут не разобрать иное слово, пропустить иной раз строку, две, даже три, вообще наделать ошибок, в которых они большей частью нисколько не виноваты. Из типографии ваша статья является ко мне, в печатном виде, с ошибками: это *первая* корректура. Ее «тискают» (отпечатывают) в двух экземплярах: один идет ко мне, другой к цензору. (Известно, что журнальные статьи цензор просматривает не в рукописи, а в корректуре). Вместе с первой корректурой присылается ко мне и оригинал, т. е. рукопись вашей статьи. Я обязуюсь исправить грамматические ошибки, сверяя при этом напечатанное с оригиналом. Потом в типографии исправляют замеченные мной ошибки, «тискают» статью сызнова и отсылают к редактору; это *вторая* корректура. К редактору вторая корректура посылается тоже вместе с оригиналом, но главное — с цензурской корректурой, которая к тому времени получается от цензора. Редактор прежде всего вычеркивает места, не пропущенные цензором, делает разные поправки, вставки, выпускает, что ему кажется лишним, и в то же время исправляет мои недосмотры. Труд громадный, по-видимому, но большей частью, если не всегда, он сводится просто к прочтению статьи, если, во-первых, добросовестен корректор — потому что если во второй корректуре и остались кой-какие ошибки, то они будут исправлены им в сводке, т. е. в третьей корректуре; во-вторых, нецензурные места вычеркиваются иногда в типографии; в-третьих, редактор не будет делать разных мелочных поправок в статье, автор которой известен ему по прежним сочинениям.

Редакторская корректура отправляется опять в типографию; там ее исправляют и разбивают на страницы. Как только наберется шестнадцать страниц, т. е. печатный лист, тотчас же этот лист тискают, и он является ко мне вместе со второй, т. е. редакторской корректурой: это *третья* и последняя корректура, или, как обыкновенно ее называют, — *сводка*. На этот раз я обязан сверить, все ли цензурные места выпущены в сводке (иногда они остаются по небрежности наборщиков), и исправить грамматические ошибки, недосмотренные мной в первой корректуре и редактором во второй. Этим мои подвиги и оканчиваются.

Стало быть, мой труд чисто механический. И даже не труд, а просто занятие, очень нетяжелое. Даже приятное, можно сказать. Найдешь ошибку и закричишь: «а-а, шельма, попалась! вот тебе!» — и поправишь, точно муху на щек прихлопнешь. Да это прелесть. И сколько вы за это удовольствие получаете в месяц?

— С прошлого месяца сорок пять рублей, до тех пор получал по тридцати

— Сорок рублей! при нынешнем безденежье! и за такой, можно сказать, приятный труд!

На подобные восклицания я обыкновенно ничего не отвечаю, потому что они глупы и, в сущности, тождественны восклицаниям одной барыни, которая поминутно вскрикивала на иллюминации в день коронации государя: «ah comme c'est gentil! excellent!» — и дальше своего носу (прехорошенького, впрочем) и разноцветных фонариков ничего не видела. А, может быть, за этими фонариками сколько скрыто проклятий, побоев, зверства... А, может быть, за приятным трудом корректора сколько скрыто неприятностей, горя, потерпимое колотье в боку, кровохарканье...

При этом поневоле вспоминается мне одна милая, симпатичная, ну просто милая личность. Это Яковлев, бывший мой товарищ по университету. Способности громадные, и как молод: ему еще и девятнадцати нет. Он был у нас библиотекарем в студенческой библиотеке. Мне редко когда встречались личности, к которым так и тянет, так и тянет: до того они симпатичны. Ну просто глаз бы с них не спускал. Яковлев был для меня именно такой личностью. Я его каждый день

²² ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, д. 48, лл. 46—48 и об.

встречал в нашей библиотеке, слышал его разговор — мне ужасно понравился Яковлев, день и ночь я только и занят был, что Яковлевым, я влюбился, я втянулся в него, я жить не мог без него. Бог мой! что же это такое? — думаю себе. Болезнь? «Нервная раздражительность»? (Этого выражения, как не медик, я не понимаю; но что я слишком нервен и раздражителен, это знаю). Посылаю по городской почте записку Яковлеву (я даже и знаком с ним не был).

«Приходите туда-то, — писал я ему: я получил последний номер „Колокола“; посмотрите, если не читали. Жду. Приходите же непременно». Это было в конце мая или в начале июня прошлого года — хорошенько теперь не помню; помню только одно, что я в то время корректором еще не был (корректуру я стал держать с июля прошлого года). Приходит. Мы познакомились. Тут же кстати один приезжий был из Парика — Рудановский, еще кто-то. Вечер прошел незаметно. После этого вечера Яковлев стал бывать у меня — раз в неделю, два раза. Я полюбил его пуще прежнего, хотя, кажется, это было невозможно.

После этого я уже не мог объяснить себе своей любви к Яковлеву «нервной раздражительностью»: раздражительность, будь она хоть разнервная, не может же продолжаться целые месяцы. Значит, болезнь. А если болезнь, значит, нехудо лечиться. Но чем, как? Нет ли в Яковлеве чего-нибудь пошленького (пошлого моя мысль в нем не допускала), отталкивающего, гадкого, чего, может быть, сам он не замечает? Ничего такого не оказывалось. Случалось подметить тот-другой грешок, но ведь Яковлев не идеальное же существо, чтобы быть безгрешным. Эх, да чертoberи в объяснения-то все! — подумал я после этого, и до сих пор люблю Яковлева — без всяких объяснений.

Приходит он раз ко мне, в июле или в августе — не помню, только я сидел за корректурой. Корректировал я какую-то плохонькую, но очень мило переписанную статью; набрана отлично (наборщики у Праца великолепные), поправок мало. Яковлев спрашивает, сколько я получаю. Тридцать рублей в месяц. По его глазам (у него такие хорошенькие глаза) видно было, что он чуть не завидует мне. Он улыбнулся и сказал, что думал, что я получаю гораздо меньше, судя по работе. Я посмотрел на него, думаю: «ах, Лешенька, Лешенька! (вслух я называю его Алексеей Андреевичем) видно, что вы не занимаетесь корректурой!» — и просто заметил ему, что бывает корректура и потруднее.

Потом как-то он пришел ко мне, когда я сидел за «Свежим преданьем» Полонского. Оригинальный преподлейший, безграмотность возмутительная, помарки, списки, в типографии не разбирают... Я готов был плакать от злости, был раздражен ужаснейшим образом, бесился чертовски и непременно разругался бы со всяким, кто бы пришел ко мне в эти часы. (Это и бывало, нечего греха таить; зато после-то какая тоска на меня падала и как мне было тяжело!) Яковлев и приходит. Куда и вся злость во мне делась... Позвольте же после этого не верить в явление ангелов!

Он сообщил мне какие-то новости, потом, как увидел корректуру, — «ну, говорю, да это просто смерть! И тридцать целковых в месяц!.. а?»

Однако ж скоро три часа. Светать уже начинает. Сейчас кончу. Мне о многом хотелось написать сегодня, но за письмом уходит столько времени, а время летит... Кончу Яковлевым.

После студенческой истории я до декабря не видал Яковлева: он сидел и в третьем отделении (в одной комнате со Всеволодом Костомаровым), и в Петропавловской крепости, и в Кронштадте. В это время я познакомился с его матерью. Я к ней часто таскался. Об ней я ничего не скажу... незачем. Ну генеральша, жена покойного статс-секретаря Государственного Совета. Деликатная жепщина. Потом кронштадтских крепостных отпустили на волю, в том числе и Яковлева. В мае он снова взят — за то будто бы, что читал солдатам прокламации в саперных казармах. С тех пор я его не вижу...

Лешенька, Лешенька! Приведется ли нам когда опять увидеться?

12 июля, ночь

Из того, что я написал вчера, понятно кажется, что я хотел сказать: я хотел сказать, что сорок пять рублей в месяц я получаю *не даром*, что корректорский труд есть действительно *труд*.

Кроме корректуры статей, помещаемых в книжке каждый месяц, на моей обязанности лежит корректура приложений, выдаваемых подписчикам в виде премий, — например, теперь перепечатываются «Записки из Мертвого дома» (в числе четырехсот экземпляров).

Иногда мой труд пропадает совершенно задаром. Прокорректируешь иную статью — и вдруг ее цензура не пропускает. Так в прошлом году в одной из последних книжек «Времени» цензура запретила довольно большую статью Бибикова о Фурье. И за что, за что? Статья была не что иное, как résumé ученья Фурье; от себя автор почти ничего не прибавил, кроме небольшого предисловия, но оно было написано больше, чем умеренно. Нет вот, не приемли имени социалистов все! Помню, что где только в статьях попадется имя Прудона, цензура возьмет да и вычеркнет. В своей статье вы можете проводить прудоновские мысли сколько вам

угодно, и они пройдут преспокойно, но имени Прудона не употребляйте. После тех пор цензура, впрочем, несколько одумалась (хоть и ненадолго), и, например, прудоновская «Теория палого» была пропущена — понятное дело, что с выпусками.

В последней книжке нынешнего года (июньской) запрещена статья П. Сокальского, того самого, который писал о музыке в России, — об остзейских крестьянах. В статье проведена та мысль, что положение *свободных* (с 1817 года) остзейских крестьян еще хуже, невыносимее быта наших крепостных.

Из последних глав «Записок из Мертвого дома» выпущена *целая глава* «Ссыланные из дворян».²³ Последняя статья Семевского «Семейство Монсов» обезображена до уродливости. Именно до уродливости, потому что самое содержание-то изуродовано. Монс был любовником (Liebhaber) Екатерины I; цензура вычеркивает изо всех статей (а их пять) все, что говорилось об интимных отношениях любовников. А между тем на этой любви и основан весь интерес статьи.

На днях как-то приезжает ко мне Семевский — именно в день выхода книжки, 2 июля. Он только что вернулся из деревни и еще не выдал июньской книжки «Времени». «Ну что моя статья?» — спрашивает. Я рассказал ему, что наделала цензура с его статьей. Видно было, что Михаил Иванович никак не ожидал от цензуры такой прыти. Он ломал руки, его лицо, кажется, вытягивалось и вытягивалось по мере того, как я высчитывал цензурные пометки. В комнату ко мне он вошел просто постыжком (у него очень худое лицо), а вышел от меня великодушником и страстотерпцем. Даже голос переменялся. Он был убит... Еще бы!

А перед отъездом в деревню в середине июня Михаил Иванович жаловался, что у него прежней энергии уж нет...

Цензура — и авторская энергия!.. Даже смешно.

В утешенье я обещал прислать ему вторую корректуру его последней статьи, отметив в ней все места, выпущенные цензурой. 5 июля получаю от Семевского по городской почте записку, из которой видно, насколько приятна была ему моя посылка:

«Благодарствуйте и благодарствуйте, мой добрый и многоуважаемый друг К. К., за посылку последней статьи моей в формах. Все они так тщательно обрезаны, в них выброски все до мельчайшего слова, что мне остается благодарить вас за внимание и вашу дружбу ко мне. Я не нашел вчера М. Г. Гаврилова в типографии. Пожалуйста, попросите его, чтоб он оттискивал скорей листы отдельных моих оттисков. Тогда уж, пересматривая оттиск, я составлю перечень опечаток и поправок с ссылкой на страницы оттиска.

Присланные вами формы я по истечении в них надобности перешлю вам через Ф. К. Сунг. Ваш друг М. Семевский».

А, например, в майской книжке не пропущена статья о пожарах...²⁴ Впрочем, последний огарок догорает, сидеть больше не с чем. Второй час. Иду завтра к редактору — денег просить, рублей двадцать, двадцать пять. Неужели откажет? Ничего нет. Главное кой-как должнпки уплатить.

Не понимаю, что с типографией делалось. Сегодня даже не присылали из типографии. Обыкновенно печатание книжки начинается числа второго, третьего — а... вот уже и тринадцатое, а до сих пор ни одного листа не напечатано. Что бы это значило? Решительно ума не приложу. Видно, цензура зашалаила. Во всяком случае эта штука плохо на мне отзовется: в последних числах месяца придется ночи просиживать, чего до сих пор со мной не случалось. Зато сорок пять рублей!..

14 июля

Вчера я не писал, потому что был пьян. На новоселье были у Нерковых, там и заночевали — с Мулловым.²⁵ Я и сию минуту пьян. Пить ужасно хочется. Вообразите: я недавно пришел, выпил четыре стакана кофею (четыре стакана!), сию минуту сижу за чаем и послал еще за боварским квасом. Ужасно пить хочется.

Я теперь в приятнейшем расположении духа. Ужасно хочется смеяться, острить. Увы! Никого нет. Хозяева спят. Написал записку брату, завтра пошлю по городской почте.

²³ Имеется в виду VIII глава («Товарищи») второй части «Записок из Мертвого дома», не появившаяся в майской книжке «Времени» за 1862 год. Цензурные материалы см.: Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. СПб., 1922, стр. 359—368.

²⁴ См. сообщение В. Р. Лейкиной-Свирской «Н. Г. Чернышевский и „Записки из Мертвого дома“» в этом номере журнала.

²⁵ Вероятно, П. Муллов, автор статьи «Вопрос о местах заключения арестантов в России» («Век», 1862, № 9—10).

«Христос воскрес!»

Здравствуй, Феденька, здравствуй. Ты был у меня и не застал дома. Ну да немудрено. Я вчера был ужасно пьян и теперь пьян, но не ужасно. За Половцова я просто не знаю, как тебя благодарить. Оно хоть и поздно... Статью свою («Непотребные буквы») вчера сдал в типографию. Кутим значит. Рублишков семьдесят-восемьдесят нынче получим. Из коих шестьдесят долгу. Остается двадцать — брюки купим, остатки пропьем. Я, было, хотел бросить пить, но теперь вижу и убеждаюсь, что пить — вещь очень хорошая. За Половцова тебе пять стаканов кофею. Впрочем, это будет глупо. Я просто дам тебе рубль, и ты купишь какую-нибудь душевительную книжку, вроде французской грамматики. Само собою разумеется, что придешь ко мне в воскресенье (5 августа) до обеда, и потом мы вдвоем пойдём обедать. Слышишь? Ну так приходи. Да Феденьку с собой тащи — втроем и пойдёмте обедать. В Большую Конюшенную, черт подери».



НЕИЗВЕСТНЫЕ ПАМЯТНИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ 1880-х ГОДОВ

История русской нелегальной поэзии изучена еще недостаточно. Особенно слабо исследована агитационная поэзия 80-х годов. Многие стихотворения, нелегально изданные революционными кружками и организациями той эпохи, выпали из внимания историков русской литературы и оказались забытыми. Очень неполно представлены, например, революционные стихотворения в сборнике «Вольная русская поэзия второй половины XIX века» (1959), подготовленном А. А. Шиловым и С. А. Рейсером, причем, как это видно из приложенного к сборнику указателя не включенных в него произведений, некоторые замечательные памятники агитационной поэзии 80-х годов остались его составителям неизвестными.

Задача настоящего сообщения — ввести в научный оборот три неизвестных поэтических памятника 80-х годов, представляющих, на наш взгляд, несомненный интерес как для истории русской литературы, так и для истории революционного движения и общественной мысли периода кризиса «Народной воли».

1

Первое из этих произведений датируется 1880—началом 1881 года. Принадлежит оно перу известного народовольца Николая Евгеньевича Суханова. Вступив под влиянием Желябова в «Народную волю», Суханов стал не только одним из ее активнейших деятелей, но и членом Исполнительного комитета. Благодаря его неутомимой энергии была создана военная организация «Народной воли» во флоте. Человек исключительной моральной чистоты и удивительной стойкости, Суханов, как свидетельствуют В. Н. Фигнер и Э. А. Серебряков, пользовался огромным авторитетом среди товарищей.¹ Он участвовал в подготовке ряда террористических актов. В 1881 году Суханов был арестован, в начале 1882 года судился по «процессу 20-ти» и 19 марта был расстрелян в Кронштадте.

В литературе о Суханове нет указаний на то, что он писал стихи. Но в мае 1882 года появились два нелегальных издания его стихотворения «Декабрист». Первое вышло в виде гектографированной листовки с пометкой: «С.-Петербург. 1882 г., мая 1 дня». Второе представляет собой гектографированную брошюру. На первой странице ее обложки значится: «Декабрист. Стихотворение Н. Е. Суханова. Харьков. 1882», на последней: «Гектографировано в Петербурге. Издание 16 мая». Экземпляры обоих изданий сохранились в фондах Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде.²

Стихотворение Суханова «Декабрист», несмотря на художественное несовершенство, — интереснейший памятник общественной мысли начала 80-х годов. Премущественность поколений в борьбе за свободу родины — основная идея стихотворения. От имени революционеров-разночинцев автор воспекает подвиг их предшественников — декабристов. Стихотворение пронизано верой в непобедимость начатого декабристами дела.

Несомненный интерес представляет исключительно высокая оценка, которую Суханов дает песням и сказаниям народа. Им противопоставлены творения «модных писателей» — казенных историографов и продажных беллетристов, в искаженном свете изображающих как прошлое, так и современную жизнь народа.

Приводим текст стихотворения полностью.

¹ См.: «Голос минувшего», 1919, № 5—12, стр. 40—49; «Былое», 1907, апрель, стр. 96—129.

² ЦГИАЛ. ф. 1410, т. 1, ед. хр. 466 и 453; отметим, что одновременно была издана брошюра «Последнее слово, сказанное в особом присутствии сената флота лейтенантом Н. Е. Сухановым, подсудимым по делу 20-ти» (гектограф, 1882, ед. хр. 391).

ДЕКАБРИСТ

Мы сидели кругом у огня,
Говорили о быте народа,
О событиях текущего дня,
О писателях разного рода.
Говорили, что можно узнать
Быт народа из их сочинений,
Если к ним отнестись, так сказать,
Без предвзятых каких-нибудь мнений.
Старый дед мой на кресле дремал;
Оживленно велась беседа;
Наш камин уж совсем догорал,
И забыли совсем мы про деда.
Вдруг очнулся наш дед и сказал:
«Пощадите от глупостей ваших!
Очень странен был тот, кто искал
Всех ответов в писателях наших.
Так, по-вашему, книги важны
С повестями из жизни народа
Да истории нашей страны
От призванья варяжского рода?!
Есть одна только книга — та книга

свята —

Жизни, песен, сказаний народных,
Пред которой ничто, лишь одна пустота,
Все творенья писателей модных.
И страницы из книги святой
Постоянно вам слышать придется:
Их поет каждый нищий слепой,
В них и плачет народ и смеется;
Их поет и усталая мать,
В колыбели ребенка качая;
Их поет, начиная пахать,
Пахарь наш, на солу налегая.
А из жизни вы будете знать,
Как в России живет народу,
Что давно бы пора ему дать
Светоч знания, хлеб и свободу.
О народных же, внуки, нуждах
Сонм писателей правды не скажет:
Он ведь должен быть в вечных ладах
С теми, кто и решает и вяжет.
И в историях правды не жди,
Что их пишет и сам им не верит:
Ждет он часто наград впереди
И постыдно всегда лицемерит.
Потому-то подчас хвалят тех,
Кто презрения только достоин,
Кто один может вызвать лишь смех,
Кто, быть может, палач, а не воин.
Я страдал за святую любовь,

За желанье народу свободы...
Вспомнать — леденеет вся кровь,
Как томился я долгие годы;
Как я шел, кандалами звуча,
По холодным пустыням Сибири
По приказу царя-палача...
Тяжелы кандалы, словно гири!..
Я на каторге был, я руду добывал
В рудниках самодержца России...
Много, много я лет с нетерпением ждал
Для себя и народа Мессии...
Внуки милые, я изнывал,
Добывая руду золотую...
За добытый же нами металл
Нам давали одежду худую.
Чем кормили нас — стыдно сказать;
Где мы жили — там воздух ужасный.
Многим там и пришлось умирать;
Лучший друг мой там умер несчастный.
Если б золото, нами добытое,
Шло на кровные нужды народные,
Население, богом забытое,
Не терпело бы в годы голодные.
Нет, все в царские руки идет:
Рудники — его собственность частная.
Сколько, внуки, народу там мрет —
Страшно вспомнить: картина ужасная!!
На разврат и на роскошь царей
Шли богатства, добытые нами,
Да на тех, кто народу цепей
Припасает все больше с годами.
Когда я одряхлел, когда старым я стал,
Наконец-то меня пощадили;
Но я вижу теперь, что без пользы стра-
дал..

В старину люди лучшие были;
За свободу могли умирать
И за счастье родимого края.
Нет, я вижу, тебе не видать
Света вольного, Русь дорогая!
Кончили дед и уныло молчал,
Но глядел он с надеждой, с любовью...
«Дед, ты прав! — я ему тут сказал. —
Мы докажем и жизнью и кровью,
Что свобода для нас не пустые слова!
Да, тиранов дрожать мы заставим!
Пусть на плаху ведут, пусть падет го-
лова,

Но мы зная свободы поставим!»

2

К числу забытых памятников агитационной поэзии 80-х годов относится также поэма «Царь Романовы и русский народ», изданная в 1883 году гектографированной брошюрой.³ Она представляет собой своеобразное воззвание в стихах к крестьянам. В ней нет характерного для агитационной поэзии народовольцев воспеания одиночек, вступивших в героическую схватку с царями-тиранами. Наоборот, с первых же строк в поэме проводится мысль, что народ должен сам разорвать свои цепи. Автор ее, как видим, был верен лучшим традициям 60-х годов, когда Чернышевский и его ученики направляли свои усилия прежде всего на разоблачение царистских иллюзий масс, против надежд крестьян на доброго «царя-батюшку». Сила народа, вынесшего на своих плечах «нашествие татарское, усобицы боярские, опричнину и барщину, рекрутчину и плеть», по-прежнему, подчеркивается в поэме,

³ Библиотека Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, архивный фонд, ЦБ-16

скованы. Народ в 1861 году не получил настоящей воли, у него отобрали землю, его заставили платить огромные подати, отдали во власть урядника... Но народ продолжает ждать и надеяться.

Наивность крестьянских упований на помещика, попа и царя подтверждается, как показывает автор, прежде всего самой историей:

Припомним-ка историю:
Начнем хотя б с Романовых,
От Михаила Первого
До Александра Третьего, —
Посмотрим, полюбуемся,

Что сделали, как думали
И как пеклись, заботились
Твои цари любимые
О мужике-крестьянине...

Читатель воочию видит результаты такой «заботы»: Михаил отобрал у народа то, что не посмел или не успел отобрать Борис Годунов. В награду за поднесенный ему трон он приказал,

Чтоб за долги помещиков
Крестьянское имущество
В уплату шло. Ты понял ли:
Что если у помещиков

Не хватит, чем долги платить,
Тогда продать крестьянское —
Указ под годом значится
Шестьсот двадцать восьмым.

Алексей Михайлович узаконил в «Уложении» насильственное возвращение владельцам убежавших крестьян. Петр I распорядился «отдать в холопы барину или приписать на фабрику» тех, кто еще оставался вольными («гулящими», как он их называл). При Анне Иоанновне помещики выменивали крестьян на скот, Елизавета приказала отправлять в Сибирь всех, кто осмеливался жаловаться на помещиков. Особенно «отличилась» на этом поприще Екатерина II. Она уничтожила вольности украинского казачества, раздала общинные земли и полмиллиона крестьян своим «постельникам». Как ни надеялся народ получить волю за «великое и славное спасение отечества» — свой бессмертный подвиг в 1812 году, он еще раз смог убедиться, что «от царей ждать волюшки — так век не получить ее».

Одно из значительных мест поэмы — картина крестьянской войны 1773—1774 годов под руководством Е. Пугачева. Народ не выдержал рабства,

Увидел, что не ждать ему
Своей земли-кормилицы
От государя-батюшки,
Решил своими силами

Назад вернуть кормилицу.
И шел на Волгу-матушку,
Куда собрал обиженных
Емелька Пугачев...

Большой интерес представляет объяснение причин поражения Пугачева. Автор пытается раскрыть глаза читателю-крестьянину на необходимость единства масс в борьбе за землю и волю.

Сошлось народу множество,
Да против войска царского
Не устояли слабые:
В то войско государево
Собрали, вишь, помещики
Тех робких, да напуганных,
Что убежать боялися
На Волгу и склонилися
Стоять с царем да с бари

Против своей же братии
В том деле заодно.
Сломали рать крестьянскую
Не царь и не помещики,
А то, что в деле праведном
Не вышло единения
Среди народа честного,
А разделила рознь!..

В центре поэмы — пресловутое «освобождение» 1861 года. То тут, то там начинали подниматься вновь против бар крестьяне. Они убивали помещиков,

...усадыбы их,
Хлеба и все имущество
Пожгли или повыбили,
Скотину всю помещичью
Позабрали себе:
Спугалися помещики,
Спугалися и царь-батюшка;

Увидели, что далее
Держать крестьян холопами
Отныне не приходится.
Что ежели обманывать
И дальше все крестьянина,
А воли не давать ему,
Так пропадать самим.

Напуганный царь Александр II понимал, что крестьяне могут сами забрать «не только волю — землю всю, имущество и скот». Потому он и уговаривает помещиков:

«Так лучше сами скажем им,
Что мы своею милостью,
Любовью к ним отеческой
Даруем волю им;
А нам земля останется.

А вы, чай, сами знаете,
Что без земли хоть с волею
Крестьянин все ж у нас в руках
По-прежнему останется...»

Тем яснее становилось читателю значение «воли» 1861 года.

Не лучше остальных Романовых и «теперешний царь-батюшка» — Александр III. В своей речи на коронации он прямо сказал представителям крестьян:

«Не верьте вздорным слухам,
Что земли переделаются
Иль даром вам прирежются.
Те слухи распускаются
Врагами да крамолою,

Речей вы сих не слушайте,
А слушайте помещиков,
Любезных нам дворян», —
Так говорил старшинам он
В Москве в этом году.

Коронация Александра III состоялась в мае 1883 года. Речь его к волостным старшинам, собранным тогда со всех концов России, с призывом следовать во всем «советам и руководству ваших предводителей дворянства» и не верить «вздорным и нелепым слухам и толкам о переделах земли» и явилась, вероятно, непосредственным поводом, вызвавшим появление поэмы «Цари Романовы и русский народ».

Замечательны по своему революционному пафосу заключительные строки поэмы, обращенные к русскому народу:

Ужель и после этого
Ты будешь ждать по-прежнему
От государя-батюшки
Земли, честной народ?
Ужель твое терпение
Еще не исчерпается,
Не лопнет, наконец?
Пойми, что и помещики,
И царь с его министрами
Сошлись на одном.
Один другого держатся,
Друг дружкой защищаются,
Чтоб вместе им с крестьянина
Тянуть последний грош.

Что не на них надеяться,
А собственными силами,
Соединясь всем братственно,
Восстать и с божьей помощью
Назад забрать вам надобно
Ту землю, что Христом самим
Тому лишь заповедана,
Кто до смерти работою
Своей над ней старается,
Кто век свой с горем знает,
Кто потом обливается,
С ней, как с родною, мается, —
А больше никому.

Призыв к крестьянской революции звучит в поэме также в духе лучших традиций 60-х годов. Автор ее подхватывает страстный клич Чернышевского и его единомышленников: «К топору!» Верность традициям революционной демократии, горячая любовь к народу, вера в возможность революционным путем осуществить его чаяния и надежды не могут, однако, скрыть исторической ограниченности автора, который, тяжело переживая отсутствие революционности среди крестьянских масс, не смог увидеть выступившего к этому времени на историческую арену русского пролетариата.

Мы не знаем имени автора поэмы «Цари Романовы и русский народ». Поскольку сообщение о ней появилось в 1884 году в третьем номере выходившего нелегально под руководством П. Ф. Якубовича журнала «Свободное слово», автора ее следует искать среди петербургских революционеров, группировавшихся в 1883—1884 годах вокруг журнала «Студенчество» и сменившего его журнала «Свободное слово». Но независимо от того, удачи или нет в дальнейшем установить имя автора поэмы, она воendet в историю русской бесцензурной поэзии как интереснейший памятник агитационной литературы революционеров-разночинцев, стремившихся поднять крестьянские массы против царя и помещиков за землю и волю.

3

Многие агитационные стихотворения, распространявшиеся народовольцами в середине 80-х годов, принадлежали перу В. Г. Богораза. Он редактировал № 11—12 «Народной воли», в котором появились его стихотворения «Кровавые реки, веревка и плаха» и «На смерть Судейкина»; участвовал в подготовке сборника революционных стихотворений «Отголоски революции», материалы которого были захвачены полицией при разгроме таганрогской типографии в январе 1886 года. Часть стихотворений из этого сборника была передана Богоразом московской народовольческой группе М. Р. Гоца, Н. Дмитриева, И. Фундаминского и А. Сиповича для сборника «Стихи и песни», вышедшего в том же году.

После Великой Октябрьской социалистической революции В. Г. Богораз-Тан выступал как беллетрист и исследователь, был профессором Ленинградского университета, много работал как этнограф и музеевед. Умер он в 1936 году.

В 1928 году в печати появились воспоминания К. М. Терешковича о московской народовольческой организации середины 80-х годов и, в частности, об истории выпуска сборника «Стихи и песни». При этом Терешкович указал, что организацией была выпущена также прокламация в стихах «Современному поколению»,

принадлежавшая перу Богораза. Терешкович привел из нее на память лишь три строчки:

Бойцы могучие, титаны, а не люди,
Поднявши грозно меч, выдерживали грудью
Врагов озлобленных безжалостный напор.⁴

С тех пор в научной литературе фигурирует упоминание о прокламации В. Г. Богораза как о несохранившейся.

С. Лившицу в работе «Подпольные типографии 60-х, 70-х и 80-х годов» удалось установить, что листовка «Современному поколению» была отпечатана в сентябре 1886 года на квартирах Дмитриева и Сиповича. В октябре того же года члены организации подверглись обыску и аресту. Все типографские принадлежности, отпечатанные брошюры и листовки и подготовленные к печати рукописи были захвачены властями. Но среди этих материалов листовку «Современному поколению» Лившиц не обнаружил.⁵

Материалы сборника «Стихи и песни» были включены в изданный в 1959 году С. А. Рейсером и А. А. Шиловым сборник «Вольная русская поэзия второй половины XIX века». Но прокламация «Современному поколению» по-прежнему упоминается ими в комментариях как несохранившаяся.⁶

Между тем экземпляр листовки имеется в фондах Центрального государственного исторического архива в Москве;⁷ треть четверостишие из нее и было приведено в несколько искаженном виде в воспоминаниях Терешковича.

Вот текст листовки:

СОВРЕМЕННОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Пора недавняя, сияющая славой,
Великой доблести исполненные дни,
Волненье жаркое и пыл борьбы кровавой,—
Безвременно ушли в прошедшее они.

Какие подвиги! Не хочет верить разум
Тому, о чем с трудом передает язык,
И замирает дух, взволнованный рассказом,
И с уст срывается восторга страстный крик.

Бойцы бесстрашные, титаны, а не люди,
России лучший цвет, как будто на подбор;—
Сомкнувшись в тесный строй, выдерживали грудью
Врагов бесчисленных озлобленный напор.

И все они легли в разгаре страшной битвы
На грудь широкую вскормившей их земли;
Их не спасли страны измученной молитвы
И наши слезы не спасли.

А мы, дававшие священные обеты
Вчера, над свежими могилами бойцов,
Мы предали врагу великие заветы,
Наследье славное погибших мертвецов!

Герои жалкие, приниженные братья,
Сердца холодные, бессильные умы,
Пигмеи слабые, не страстного проклятья,
Плевка заслуживаем мы.

Создавши полосу короткого покоя
Меж двух периодов отчаянной борьбы,
Мы жизнь свою влечим с холодною тоскою,
В пыли лежащие рабы.

Великой мыслию мы землю не осветим,
На дело славное у нас не хватит сил,
Наследство скудное мы завещаем детям
За дверью близкою зияющих могил.

⁴ Народовольцы после 1-го марта 1881 года. М., 1928, стр. 111—114.

⁵ «Каторга и ссылка», 1929, № 2 (51), стр. 71.

⁶ Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Большая серия «Библиотеки поэта». «Советский писатель», Л., 1959, стр. 829.

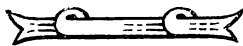
⁷ ЦГИАМ, коллекция нелегальных изданий, арх. № 1564.

И с негодующим, язвительным укором,
Над нашим именем ругаясь и смеясь,
Нас заклеят они заслуженным позором
И нашу память втопчут в грязь.

И наше прошлое, пустое поколение,
Совсем забытое, исчезнет без следа,
И вновь появятся великие стремленья,
И старая любовь, и старая вражда...

В прокламации точно передана растерянность, охватившая в середине 80-х годов ряды народовольцев. Героические схватки с самодержавием оставались позади. В стране торжествовала реакция. Всякие попытки возродить «Народную волю» как централизованную организацию терпели неудачу. Вера в возрождение «великих стремлений» вдохновляла на борьбу только немногочисленные группы революционно настроенной молодежи. Но и они быстро оказывались в руках полиции.

Новые схватки «отчаянной борьбы» действительно приближались. Но «великие стремленья» суждено было осуществить не кучке героев-народовольцев, а миллионам пролетариев, выступившим под бессмертным знаменем марксизма.



ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

ЕЩЕ О КАВКАЗСКОМ СПИСКЕ «ГОРЯ ОТ УМА»

В 1946 году издательство «Заря Востока» (Тбилиси) выпустило комедию Грибоедова «Горе от ума». В книге воспроизводилась общепринятая редакция пьесы и были напечатаны две мои статьи («К истории создания „Горя от ума“ и «„Горе от ума“ на тифлисской сцене»¹).

В первой из этих статей я рассказывал, в частности, о имеющемся у меня списке комедии, унаследованном от деда М. А. Епиколопова — сослуживца Грибоедова по Дипломатической канцелярии главнокомандующего на Кавказе, и указывал на характерные особенности рукописи. Этот список во многом отличается от канонического текста, составленного на основании раппего автографа комедии и рукописных списков, принадлежавших Жандру и Булгарину.

В рукописном списке деда по сравнению с указанными имеются чисто стилистические изменения, а также такие, которые придают стихам (хотя иногда в ущерб рифме) большую содержательность. Значительно расширены ремарки. Характерно, что даже те места, которые после долгой переработки утвердились в Жандровской рукописи, здесь вновь подверглись изменению.

Достоин внимания, что многие разночтения списка имеются в тех местах, которые вызвали замечания у П. П. Гнедича — крупного искусствоведа и театрального критика — после выхода в свет канонического текста.

Помимо отмеченных мною в опубликованной ранее статье заметных расхождений отдельных фраз и знаков препинания в списке моего деда по сравнению с каноническим, хотелось бы коснуться еще некоторых, не менее важных.

Так, в монологе Чацкого (конец III действия) имеется фраза:

Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.

Между тем в большинстве списков, в том числе и в принадлежавшем С. Уварову (хранится в Историческом музее — ф. 17, № 567), слово «бодрый» заменено на «добрый». Так и в моем списке.

В то время эпитет «добрый» по отношению к русскому народу был общепринятым.²

Заслуживает внимания также разночтение в 10 явлении IV действия.

Канонический текст

Список М. А. Епиколопова

Буду здесь, и не смыкаю глазу,
Хоть до утра. Уж коли горе пить,
Так лучше сразу,
Чем медлить, — а беды медленьем
не избыть.
Дверь отворяется.

Тс... Буду здесь и не сомкну я
глазу,
Хоть до утра... уж коли горе пить
Так лучше сразу
Чем медлить; беды медлением
не сбыть

(Прячется за колонну).

*(Дверь отворяется, Чацкий прячется
за колоннами)*

Относимая в академическом издании Чацкому фраза «Дверь отворяется» в нашей рукописи включена в авторскую ремарку, которая соединяется с последующей. Так она значится в очень многих списках, в том числе Уваровском, Уральском.³

¹ А. С. Грибоедов. Горе от ума. Вступление к статье И. К. Епиколопова. «Заря Востока», Тбилиси, 1946.

² Его употреблял А. Пушкин (см., например, рецензию на роман «Юрий Милославский» М. Загоскина), А. Бесгужев (в письме к Н. Полевому), Н. Тургенев (дневник) и другие.

³ См.: «Ученые записки Пермского государственного университета», 1929, вып. 1, стр. 210.

Защитники старого чтения могут указать, что фразу «Дверь отворяется» следует относить к реплике Чацкого, так как она вместе со словами Лизы (из следующего явления) образует полную стихотворную строку. Однако строки с неравным количеством стоп встречаются в пьесе Грибоедова сплошь и рядом.

Следует обратить внимание также на фразу из монолога Фамусова, где идет речь о Максиме Петровиче, — «Упал, да так, что чуть затылка не пришиб». У меня: «Упал, да так, что чуть затылка не прошиб». Такое изменение в последнем слове (прошиб), конечно, более приемлемо.

Замена буквы «и» на «о» имеется также в рукописном списке, помеченном 1829 годом (Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 221, № 10, л. 19 об.), в издании Ефремова (СПб., 1887) и, что особенно важно, в Музейном автографе (рукою самого Грибоедова).

Приведенные примеры позволяют судить, насколько общепринятый текст «Горя от ума» расходится не только с кавказским списком, но и с принадлежавшими С. Уварову, семье Быковых и другим.

Это приводит нас к убеждению, что следует еще раз критически пересмотреть канонический текст «Горя от ума» и, по-видимому, внести в него некоторые изменения.

И. ЕНИКОЛОВ

АНТОНОВИЧ ИЛИ САЛТЫКОВ?

В книге П. Г. Пустовойта «Роман И. С. Тургенева „Отцы и дети“ и идейная борьба 60-х годов XIX века»¹ содержатся серьезные ошибки в атрибутировании некоторых анонимных статей — Пустовойт безоговорочно приписывает авторство статей «Литературные мелочи», печатавшихся в «Современнике» под псевдонимом «Посторонний сатирик», Салтыкову-Щедрину — и в связи с этим неправильно освещается щедринская точка зрения на образ Базарова.²

«Статьи, помещенные в „Современнике“ за 1863 и 1864 гг. и озаглавленные „Наша общественная жизнь“ и „Литературные мелочи“, — заявляет Пустовойт, — принадлежат Салтыкову-Щедрину, как пишет об этом А. Пыпин в статье „Журнальная деятельность М. Е. Салтыкова“ (журнал „Вестник Европы“, 1889 год, № 12, стр. 658). Эти статьи вошли в Полное собрание сочинений Н. Щедрина. Следовательно, утверждение А. Мезьер о том, что „Литературные мелочи“ принадлежат Антоновичу, не может быть принято» (стр. 15). В этом высказывании что ни слово, что ни утверждение, то неточность или прямая ошибка. А. Пыпин только одну статью из серии «Литературные мелочи», а именно ту, которая напечатана в майском номере «Современника» за 1864 год, включил в список работ, публиковавшихся Щедриным в журнале до его выхода из состава редакции. Возникает вопрос, читал ли Пустовойт А. Пыпина?

Известно также, что в полное собрание сочинений Щедрина вошла опять-таки только одна статья из цикла «Литературные мелочи», указанная Пыпиным. Заглядывал ли Пустовойт в шестой том названного издания?

Пустовойт выделяет курсивом те места в статьях «Литературные мелочи», где Посторонний сатирик говорит о своей солидарности с Антоновичем в трактовке образа Базарова: «...я вполне согласен с суждением „Современника“ о романе г. Тургенева...» И еще: «Мнение „Современника“ об этом предмете выражено в статье г. Антоновича об „Асмодее“, и я вполне согласен с этим мнением» (стр. 265). Но подобного рода высказывания вовсе не доказывают принадлежности этих строк Салтыкову-Щедрину. Публичное признание Постороннего сатирика в единстве взглядов с Антоновичем следует рассматривать как своеобразный прием, позволявший автору «Асмодея» некоторое время вводить в заблуждение своих оппонентов из «Русского слова».

Под псевдонимом Посторонний сатирик скрывался М. А. Антонович. Еще Гр. Благовестлов в открытом письме «Последнее мое объяснение с г. Посторонним сатириком „Современника“» раскрыл загадочный для некоторых современников псевдоним. «Платя вам простою взаимностью, — писал Благовестлов, — я должен объявить, что под маской Постороннего сатирика дебютирует г. Антонович, и кроме г. Антоновича едва ли кто стал бы так умно и так прилично дебютировать в „Литературных мелочах“».³

¹ П. Г. Пустовойт. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» и идейная борьба 60-х годов XIX века. Изд. Московского университета, М., 1960. Далее ссылки приводятся в тексте.

² Эти ошибки не были учтены Н. Лоцининым в рецензии, опубликованной в майском номере журнала «Вопросы литературы» за 1961 год.

³ «Русское слово», 1865, № 2, стр. 78. С. Венгеров в «Источнике словаря русских писателей» (1900) адресует все статьи Гр. Благовестлова и В. Зайцева, polemически заостренные против Постороннего сатирика, Антоновичу.

В опубликованной в «Литературном наследстве» выписке из конторской книги «Современника», в которой расписан подробный счет заработанного Салтыковым в журнале за 1864 год, отмечено, что ему принадлежит статья «Литературные мелочи» объемом в 1 л. 9 стр., напечатанная в 5-м номере (в счете ошибочно назван 4-й номер). Никаких указаний на принадлежность ему остальных статей под тем же названием, публиковавшихся в 1864 году, нет.⁴

Из гонорарных ведомостей «Современника» за 1864 год явствует, что гонорар за «Литературные мелочи», опубликованные в 7—12-м номерах журнала, получил Антонович.⁵

И. Ф. Масанов, автор «Словаря псевдонимов», также расшифровывает подпись Посторонний сатирик как псевдоним М. А. Антоновича. В том случае, когда он относит тот же псевдоним и к Салтыкову-Щедрину, он ссылается лишь на одну статью, опубликованную в 7-м номере «Современника» за 1864 год, написанную Антоновичем и Щедриным,⁶ в которой Щедрина принадлежит лишь первая страница.⁷

Пустовойт оказался недостаточно осведомленным в творческой и редакторской деятельности Салтыкова-Щедрина в «Современнике».

В декабре 1864 года Щедрин вышел из состава редакции журнала в связи с серьезными внутриредакционными разногласиями. Известно, что в течение 1865 года в «Современнике» не появилось ни одного произведения писателя. Не учитывая этих фактов, Пустовойт приписывает Салтыкову-Щедрина и те «Литературные мелочи», которые были опубликованы в журнале в 1865 году (стр. 257, 265).

В результате допущенной Пустовойтом произвольной переадресовки статей Антоновича оказалось, что высказывания Щедрина об «Отцах и детях» в один и тот же период, как пишет автор, были «в одних случаях резкие и смыкающиеся» с мнением Антоновича, в других — «оригинальные, но, в зависимости от существа и объекта полемики, в той или иной степени противоречивые» (стр. 265). Между тем в 60-е годы Салтыков-Щедрин был совершенно последователен в своей оценке образа Базарова. Непременным условием общественной значимости любого передового деятеля эпохи Щедрин считал его тесную, органическую связь с практической деятельностью, подготовляющей «почву для осуществления идеалов». Этот принцип был руководящим для Салтыкова и в оценке тургеневского героя. Он рассматривал Базарова как характер, не способный к проявлению себя в практической деятельности. Насколько был прав Салтыков в этой своей оценке Базарова — это, конечно, другой вопрос.

В 1863 году свой взгляд на Базарова Щедрин изложил в рецензии на пьесу Ф. Н. Устрялова «Слово и дело» и в хронике «Наша общественная жизнь», опубликованных в «Современнике». Салтыков-Щедрин считал ошибочной точку зрения тех, кто принимает тургеневского героя «за представителя современного молодого поколения»,⁸ кто превращает его в тип «современного прогрессиста».⁹ По мнению Салтыкова, передовой представитель молодого поколения должен обнаружить себя «в соприкосновении не с госпожою Одинцовой и братьями Кирсановыми, но с жизнью действительною». Критикуя Базарова, Щедрин пропагандировал тип активного «деятеля общественного и политического».¹⁰

Антонович же в своих многочисленных выступлениях по поводу романа «Отцы и дети» меньше всего делал акцент именно на этих, выделенных сатириком сторонах характера Базарова. Он видел в тургеневском герое прежде всего дискредитацию общественных, эстетических и морально-нравственных идеалов революционных демократов.

Приписывание Щедрина статей Антоновича привело к уничтожению специфически щедринского акцента в решении вопроса о целях и задачах, стоящих перед передовой частью молодежи. Освобождение Салтыкова-Щедрина от авторства статей «Литературные мелочи» снимает с него ответственность за промахи Антоновича.

Г. С А М О С Ю К

⁴ «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 68.

⁵ См.: В. Боград. Журнал «Современник» 1847—1866. Указатель содержания. Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 443, 583; 444, 583; 445, 583; 448, 584.

⁶ И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов, т. II, 1957, стр. 374.

⁷ «Литературное наследство», т. 53—54, 1949, стр. 288, 486.

⁸ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. V, ГИХЛ, М., 1937, стр. 158.

⁹ Там же, т. VI, стр. 324.

¹⁰ Там же, стр. 50.

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОЙ ВОЛИ

В. Г. Короленко, готовя в 1914 году собрание своих сочинений, писал: «Обещание „полного издания“ обязывает дать и такие вещи, которые иначе я бы не печатал. Таков и „Ненасостоящий город“. Я просто удивляюсь, как это плохо написано с внешней стороны. Пришлось пройти весь рассказ почти заново, сохраняя, конечно, те взгляды и обиды характер. Таких вещей еще не мало».¹

К числу несовершенных, с точки зрения Короленко, вещей принадлежит и большой его рассказ «Глушь», относящийся, как и «Ненасостоящий город», к началу литературной работы писателя и напечатанный в 1885 году в казанской газете «Волжский вестник». В 1893 году Короленко сообщал, что включит «Глушь» в сборник своих очерков и рассказов «в значительно измененном виде».²

За переработку «Глуши» Короленко принялся только в 1914 году. Сохранились рукописи, свидетельствующие о коренном изменении произведения: правка содержится на 61 странице из 75; первые 60 страниц после авторской правки переписаны набело, на них сделаны новые поправки; к рассказу Короленко написал предисловие.³

Новая редакция также не удовлетворила Короленко; 19 сентября 1914 года он сообщил А. Е. Розинеру, ведавшему изданием полного собрания его сочинений: «„Содержающая“ не пойдет совсем, как и „Глушь“».⁴

В 1960—1961 годах издательство «Молодая гвардия» выпустило приложением к журналу «Молодой колхозник» массовое собрание сочинений Короленко. Составительница М. А. Соколова вопреки авторской воле включила в издание рассказ «Глушь».⁵ При этом воспроизведен текст 1885 года, категорически забракованный автором, ни словом не упомянуто о существовании позднейшей редакции, более совершенной и зрелой, сделанной спустя 29 лет.

Короленко, как и всякий настоящий писатель, был непримиримо строг при издании ранних произведений. «Мне бы очень не хотелось, чтобы эта повесть была напечатана „Нивой“ в прежней редакции», — писал он о повести «С двух сторон». «Если бы, паче чаяния, „По пути“ («Старые знакомые») потерялись, — то их ни в каком случае не восстанавливайте в непроредактированном виде».⁶

Очень жаль, что в новом собрании сочинений В. Г. Короленко, рассчитанном на массового читателя, допущено столь серьезное нарушение авторской воли.

А. ХРАБРОВИЦКИЙ



¹ Письмо к И. Г. Короленко от 10 января 1914 года (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ГБЛ), шифр Кор. II. 5. 126).

² Письмо к Н. Д. Россову от 13 июля 1893 года (ГБЛ, Кор. II. 11, л. 213).

³ ГБЛ, Кор. 4. 163, 164. В «Описании рукописей В. Г. Короленко» (М., 1950, стр. 20) эти рукописи датированы 1885 годом. Однако их следует отнести к 1914 году, о чем свидетельствует факт получения их из Франции (см. надпись на рукописи двенадцатого тома посмертного, украинского, собрания сочинений Короленко — ГБЛ, без шифра), где Короленко в 1914 году редактировал собрание своих сочинений. Поздняя датировка подтверждается также сравнением почерка Короленко в 1885 и 1914 годах.

⁴ ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 3, ед. хр. 10, л. 63 (письмо из Ройя, Франция).

⁵ В. Г. Короленко, Собрание сочинений в пяти томах, т. 3, изд. «Молодая гвардия», М., 1960, стр. 5—64, 405.

⁶ Письмо к А. Е. Розинеру от 5 октября 1914 года (ЦГАЛИ, ф. 335, оп. 3, ед. хр. 10, лл. 64, 66; курсив наш, — А. Х.).

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

К. МУРАТОВА

ГОРЬКИЙ-ПУБЛИЦИСТ *

Публицистика М. Горького давно уже привлекает внимание литературоведов и критиков. Интенсивно изучались статьи и фельетоны, опубликованные в газетах Самары и Нижнего Новгорода, революционная публицистика 1905 года, выступления в первые годы Октября, пламенные воззвания последних лет жизни писателя. Появилось немало исследований, посвященных более частным темам — проблематике, языку и стилю отдельных произведений. Публицистические выступления рассматривались также в работах, характеризующих общественные и литературные взгляды писателя.

Книга А. Овчаренко «Публицистика М. Горького» как бы завершает это изучение. В ней прослежен весь сложный путь Горького-публициста, выявлены «переклички» публицистики и художественного творчества писателя, раскрыто значение ее в истории развития марксистской публицистики. При этом автор нового исследования не только подводит итоги, но и значительно обогащает, а порою и переоценивает то, что сделано его предшественниками.

Критики обычно стремятся подчеркнуть широту охвата действительности в публицистике Горького. Но среди ее многочисленных тем у писателя было несколько излюбленных, к которым он постоянно возвращался. Изучение видоизменения этих органических тем позволяет ярче раскрыть связь писателя с современностью и его идейно-художественный рост.

В книге А. Овчаренко убедительно показано, что центральной темой горьковской публицистики являлась тема пробуждения России и борьбы ее новых людей за построение социалистического общества. Данная тема становится как бы организующим началом исследования, ее «сюжетом», другие выступления писателя рассматриваются в свете этой проблематики.

В главах, посвященных ранней публицистике Горького, исследователя привлекают в основном статьи, связанные с развитием указанной темы. Интерес писателя к противоречиям между трудом и капиталом подготавливал почву для постановки вопроса о революционном разрешении все более углубляющегося конфликта. В статьях конца 90-х—начала 900-х годов отмечено появление новых людей, чувствующих приближение революционной бури. Рождению «юной Руси» и передового отряда ее борцов посвящена одна из наиболее интересных глав книги — «Революционные годы (1905—1907)». И хотя уже многие писали о публицистической деятельности Горького в эпоху первой русской революции, А. Овчаренко удалось по-новому взглянуть на статьи и памфлеты Горького. Главная тема, утверждаемая революцией, не исчезает из творчества писателя до конца его деятельности.

Настойчиво напоминая в годы реакции о продолжающемся революционизировании народного сознания и невозможности приостановить этот бурный процесс, Горький неутомимо борется с теми, кто хотел бы задушить, уничтожить пробудившуюся Русь.

Публицистика Горького обычно рассматривалась изолированно от работы публицистов-современников. В рецензируемой книге творчество Горького характеризуется в историко-литературном аспекте, что позволяет более четко выявить особенности публицистического дара писателя и воссоздать яркую картину напряженной общественно-литературной борьбы.

В главе «Специальный корреспондент (1896)» А. Овчаренко противопоставляет выступления Горького, посвященные Всероссийской промышленной и художественной выставке, выступлениям других авторов. Молодой публицист оказался более критически настроенным и прозорливым в оценках «достижений» русского капитала, демонстрируемых на этой выставке, чем представители либеральных органов печати.

Сравнительный анализ продолжен и далее. Выявляя идеологическую позицию Горького, А. Овчаренко в главе «Между двух битв (1907—1917)» сопостав-

* А. Овчаренко. Публицистика М. Горького. «Советский писатель», М., 1961

ляет критические статьи писателя с родственными статьями В. Воровского и М. Ольминского. Подчеркивая «политическое и эстетическое единомыслие большевиков», эти сопоставления показывают в то же время, что Горький не только шел в одном ряду с критиками-марксистами, но порою и опережал их в борьбе с антидемократической литературой.

Литературно-публицистические статьи Горького часто таят в себе помимо прямой и скрытую полемику, легко угадывавшуюся современниками, но не всегда осязаемую для читателей последующих поколений. Такова, например, полемика Горького с А. Белым в статье «Разрушение личности». Автор книги нередко раскрывает подобную полемику, увеличивая тем самым интерес читателей наших дней к боевым выступлениям писателя. Возражение вызывает, однако, стремление несколько умерить «накал» некоторых гневных замечаний Горького. Сам писатель в одной из статей советских лет говорил: «Мы — люди страстные, мы страстно ненавидим, и мы будем пристрасти — с тем нас и берите!» Эта черта несомненно была присуща Горькому и до Октября.

Отметив активное вмешательство А. Богданова в горьковскую работу над статьей «Разрушение личности», А. Овчаренко все же несколько преувеличивает воздействие Богданова на литературную позицию писателя.

Нет сомнения в том, что философские воззрения А. Богданова нашли отражение в этой статье Горького. Это обстоятельство уже не раз отмечалось в критической литературе. Однако суждения о влиянии Богданова на литературные оценки Горького нуждаются в развернутой аргументации. Как известно, статья «Разрушение личности» возникла в процессе длительной борьбы с литераторами-отстуниками. Своими корнями она восходит к знаменитым «Заметкам о мещанстве». Сражаясь со своими многочисленными противниками (сторонников горьковской точки зрения на задачи литературы в этот период было не так уж много), Горький был вынужден как можно острее оттачивать свое оружие публициста и как можно сильнее разить им. И здесь никак нельзя согласиться с А. Овчаренко, который утверждает, что, борясь за таких писателей, как А. Куприн и Л. Андреев, Горький был «непримирим, беспощаден и — предельно осторожен». «Предельная осторожность» в подобных идеологических схватках была для Горького невозможна. Утверждение исследователя, что слова об Андрееве как о «первом писателе наших дней» были сняты в последней корректуре под давлением Богданова, не убеждает. Сохранившаяся переписка красноречиво свидетельствует о дружеских отношениях писателей. Появление «Тьмы» привело к их разрыву. На просьбу Андреева сообщить — согласен ли его друг с резкою оценкой, которую дал этому произведению А. Луначарский, Горький ответил уже не личным письмом, а выступлением в печати. Первая публичная горьковская оценка не могла не ранить Андреева, но такова ведь была и цель Горького: только таким путем и можно было, по его мнению, доказать бывшему «знанцевцу» ложность избранного им пути. Горький при этом назвал в «Разрушении личности» не только сомкнувшуюся с реакционной литературой «Тьму», но и «Рассказ о семи повешенных». Этот рассказ ошибочно поставлен в один ряд с «Морской болезнью» А. Куприна и другими произведениями, обливавшими «грязью передовую русскую женщину». Рассказ, направленный против разгула террора, не имел ничего общего с этой литературой. В статье Горького речь шла об ином. Положительно встреченный прогрессивной критикой, «Рассказ о семи повешенных» вызвал протест со стороны Горького в связи с не удовлетворившим его изображением революционеров: ни один из них, идя на виселицу, не вспомнил о своем большом деле. Это было продолжение ожесточенного спора писателей об отношении к человеку и его деянию. Андреева интересовало равенство людей перед лицом смерти, в то время как следовало говорить о все более активном, героическом сопротивлении людей силам старого мира. Деятельное участие Богданова в этом споре, отмеченное А. Овчаренко, сомнительно. Талантливость Л. Андреева была признана в то время критиками всех лагерей, многие из них называли его крупнейшим писателем современности, но Горький, видимо, не захотел подобной оговоркой смягчить силу своего критического выступления.

В изучении горьковской публицистики существуют «белые пятна»; в новом исследовании число их значительно уменьшено. Наряду со статьями «О писателе, который зазнался», «Разрушение личности», «О цинизме» в нем рассмотрены полузабытые циклы «О современности» и «Издалека», значительно расширяющие наше представление о горьковской публицистике в годы нового революционного подъема. Специальный раздел посвящен также малоисследованной публицистике эпохи первой мировой войны. Здесь впервые наиболее полно раскрыты общественно-политические взгляды Горького 1914—1916 годов.

Воссоздавая образ страстного пропагандиста социалистических идей, А. Овчаренко не замалчивает ошибочности ряда горьковских суждений; его задача выяснить, чем были обусловлены неверные взгляды писателя и что помогло ему довольно быстро изжить их. При этом А. Овчаренко справедливо предостерегает как от умаления, так и от преувеличения горьковских ошибок, ибо за ними «неизменно стояла большая, мучительная любовь писателя к своей стране».

В книге, хотя еще и с недостаточной полнотой, раскрыта предыстория горьковских ошибок первых лет Октябрьской революции. Убедительно показано, например, как «своеобразное понимание Горьким задачи объединения демократических сил России» (к этому можно было бы присоединить обойденное А. Овчаренко увлечение идеей создания «Интернациональной лиги» интеллигенции) сделало писателя защитником всей интеллигенции в целом. Большое внимание уделено также анализу статьи «Две души», нередко замалчиваемой в работах о Горьком. Разъясняя ошибочность ряда горьковских обобщений, А. Овчаренко вместе с тем отмечает, что статьи «Две души», «Письма к читателю» и «Приветствие И. Д. Сытину» «сыграли все-таки известную положительную роль в политической борьбе предреволюционной эпохи, поскольку, кроме ошибочных идей, содержали также уничтожающую критику самодержавия, всего общественного строя и его защитников».

Немало нового найдет читатель и в главе «В эпоху небывалую (1917—1927)», рисующей один из наиболее сложных периодов жизни Горького. Глава эта содержит большой фактический материал, позволяющий дополнить, а в ряде случаев и уточнить характеристику позиции Горького этих лет, данную другими литературоведами. Здесь, как и ранее, основное внимание уделено центральной теме горьковской публицистики. Возникновение образа новой России в статьях 1918—1920 годов знаменовало пересмотр Горьким своих заблуждений в оценке основных сил революции. Недавний критик становился пламенным защитником завоеваний Октября. В отличие от писателей-публицистов той поры Горький освещал деятельность революционной России «в широком аспекте международных обязанностей, возложенных на русский пролетариат, на русский народ социалистической революции». Высокая оценка работы державенных строителей социализма повлекла за собой столь же высокую оценку работы большевиков. Горький делает первые попытки запечатлеть образ В. И. Ленина. Характеризуя статью «Владимир Ильич Ленин», опубликованную в журнале «Коммунистический интернационал» (1920, № 12), исследователь использует неизвестные ранее материалы, позволяющие более глубоко раскрыть отношение вождя революции к этой статье. Вместе с тем нельзя не пожалеть о том, что А. Овчаренко, явно не соглашающийся с общей оценкой художественного мастерства публицистики Горького 1917—1921 годов, сделанной его предшественниками, не обратил внимания на язык и стиль статьи о Ленине, которую мы вправе рассматривать как одно из достижений горьковской публицистики тех лет. Это позволило бы разрешить возникающий спор.

Книга значительно расширяет представление читателей о пребывании Горького за рубежом в 20-е годы. Привлечение новых материалов помогает глубже понять процесс изживания писателем своих старых ошибок и заблуждений. Особенно интересны страницы, посвященные взаимоотношениям Горького с Р. Ролланом и А. Барбюсом.

Последняя глава «На стройке социализма (1928—1936)» подводит итог многочисленным исследованиям на данную тему, блестяще начатым А. В. Луначарским. Образ нового человека, о котором так горячо мечтал Горький и конкретные черты которого постоянно выявлял в своем творчестве, встал теперь во весь рост со страниц его публицистических произведений. Сравнивая, как и ранее, работу писателя с работой других публицистов, А. Овчаренко приходит к справедливому выводу, что «Горький внес в создаваемую ими картину Союза Советов недостававший ей элемент синтеза, широкого обобщения, раздвинул ее масштабы вширь и вглубь, выдвинул на первый план изображение нового, светлого, человеческого — положительного, показав его всемирно-историческое значение». И тем самым, заключает автор, «он поднял публицистическую работу советских писателей на новую высоту».

Книга А. Овчаренко в целом дает, таким образом, представление не только об идейно-творческом развитии самого Горького, но и о развитии публицистики предоктябрьской и советской поры. При этом следует отметить, что, рассматривая выступления Горького в русле марксистской публицистики, А. Овчаренко отказался от присущих его ранним работам натяжек при сопоставлении статей Горького со статьями В. И. Ленина и других марксистов. В настоящей книге основное внимание уделено творческому овладению писателем идеями марксизма. Отмечены не только высказывания, сближающие Горького и публицистов-марксистов, но и статьи, в которых писатель выступал как принципиальный политик и первооткрыватель новых явлений жизни.

Анализ публицистики Горького в связи с ее основной темой оказался весьма плодотворным. Но в отдельных случаях эта тема все же неоправданно «потеснила» другие, не менее существенные темы, также прошедшие через все горьковское творчество. Так, например, разоблачению мещанства и изменению «масштабов» этого разоблачения уделено значительное внимание лишь в первой части книги. Однако нельзя забывать, что в публицистике советских лет звучит не только «отходная вырождающемуся, но еще не умершему мещанству в нашей стране»; в ней была воссоздана и зловещая фигура международного мещанина, цепко держащегося за свою власть. Изучение социальной практики зарубежных

мещан позволило Горькому значительно расширить свое раннее определение мещанства.

Характеристика художественного своеобразия удалась исследователю менее, чем идейно-тематический анализ. Весьма трудно причислить к памфлетам годовое поздравление из цикла «Между прочим» (1896), как это делает автор. Осталось нераскрытым утверждение, что «Очерки и наброски» 1895—1896 годов включают в свой состав «пламенные воззвания». А. Овчаренко почему-то не привел ни заглавий, ни текстов этих «воззваний», что, на наш взгляд, необходимо, поскольку горьковеды обычно относят возникновение их к более позднему периоду публицистической деятельности писателя.

Разговор о художественном своеобразии писателя следовало бы сосредоточить в одном месте. Это, с одной стороны, позволило бы избежать ненужных повторений, а с другой, более выразительно показать эволюцию отдельных жанров и приемов. В частности, необходимо обратить больше внимания на тесное объединение в публицистике Горького общественной и литературной проблематики. Порой бывает трудно определить: к «критике» или «публицистике» следует отнести ту или иную статью. «Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как будто вступаю в бой», — писал Горький. Статьи «Разрушение личности», «Заметки о мещанстве» не могут быть обойдены ни в книге «Горький-публицист», ни в книге «Горький-критик».

Широко используя подобные материалы в первой части книги, А. Овчаренко отказался от привлечения их в обзор публицистики 1928—1936 годов. Чем это вызвано? Разве Горький перестал насыщать критические статьи злободневной общественной проблематикой? Вспомним хотя бы статью об «истории молодого человека». В данном исследовании, конечно, не было нужды специально останавливаться на этих работах. Темы, затронутые в них, нашли отражение и в «чистой» публицистике. Однако читателю следовало напомнить о том, что тип статей, созданный Горьким в дооктябрьский период, не исчез из его творчества советских лет. Нам кажется неоправданным также сужение проблематики цикла статей Горького о выставке 1896 года. Здесь писателем впервые вопросы искусства рассматривались в тесной связи с социальными проблемами.

Книга А. Овчаренко «Публицистика М. Горького», как отмечено выше, богато оснащена малоизвестными и новыми архивными материалами — отрывками из писем, статей и заметок писателя.

Весьма ценна публикация наброска 1934 года, в котором еще раз дана высокая оценка деятельности В. И. Ленина. Этот набросок почему-то не привлек внимания редакторов специального сборника «В. И. Ленин и А. М. Горький». Во второе издание сборника не вошли и другие горьковские высказывания о Ленине, цитируемые А. Овчаренко.

Впервые на русском языке публикуются горьковские воззвания 1921 года «Рабочим Франции» и «Французам». Не мешало бы напомнить об оценках этих воззваний самими французами. Отклики французской печати (как положительные, так и отрицательные) характеризуют Горького как пламенного защитника завоеваний социалистической революции. Для газеты «Humanité» Горький — писатель, обладающий огромным авторитетом, выступления которого помогают облачать политику капиталистов по отношению к Советской России. Буржуазная же пресса пестрела оскорбительными выпадами против Горького как сподвижника большевиков. Сводка таких высказываний приводится в том же номере «Humanité» (1921, № 6332, 26 июля).

Существенны текстологические разыскания исследователя. Изучение рукописи «О беломигрантской литературе» позволяет установить более точные даты работы над нею. В конце статьи, опубликованной в 1928 году, оказался использованным текст более раннего произведения. А. Овчаренко не без основания отождествляет его со статьей «Психология каторжников», о которой Максим Пешков писал в феврале 1924 года: «За эти две недели папа написал большую статью о смерти В. И. [Ленина] и вторую: „Психология каторжников“ — о поведении эмиграции».

Подобные разыскания позволяют внести необходимые поправки в тексты, опубликованные в тридцатитомном собрании сочинений. Так, например, в «Заметках о мещанстве» не была учтена последняя горьковская правка 20-х годов.

Таким образом, создано ценное исследование, опирающееся на большой фактический материал. Знакома читателя как с широко, так и мало изученными эпизодами борьбы Горького-публициста, книга вносит значительный вклад в изучение развития его мировоззрения.

В то же время нельзя не посветовать на чрезмерное обеднение справочного аппарата книги, в чем, очевидно, повинен не только автор, но и издательство. Отказываясь от рассмотрения отдельных проблем горьковской публицистики, так как они уже были освещены в работах других литературоведов, А. Овчаренко часто не указывает ни заглавий работ, ни места их публикации. В ряде случаев не названы и имена авторов. Книга адресована квалифицированным читателям, которые могут заинтересоваться вопросами, не освещенными в данном исследовании. Однако самостоятельные разыски материалов при отсутствии библиографий,

учитывающих литературу о Горьком 40—60-х годов (в настоящее время такая библиография готовится к изданию сотрудниками библиотеки Института русской литературы), будут для них затруднительны. Гослитиздату пора уделять больше внимания библиографической оснащенности своих изданий.

Н. БЕРКОВСКИЙ

КРИТИКА В СОДРУЖЕСТВЕ С ИСТОРИЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ *

Большая книга П. П. Громова обогащает нашу критическую литературу. Книга отличается широтой и разнообразием тем, она касается явлений злободневных и от них переходит к литературе прошлого, иногда это прошлое — XVI век, Шекспир и театр Шекспира. Заслуга не в том только, что автор книги совершает большие пробоги во времени и умеет сказать свое слово как о Вере Пановой, так и о русской и зарубежной классике. Сила книги в очень гибком и живом соединении того, что называется собственно литературной критикой, с научным литературоведением, с академической историей и теорией литературы. О необходимости такого соединения писалось и говорилось очень много, проводились в пользу него целые кампании, довольно длительные, историки литературы и критики клялись в любви друг к другу, заявляли, что не могут жить и работать врозь, и все же между одной областью и другой сохранилось отчуждение, порой очень глубокое. В лице П. П. Громова сошлись запросы и навыки литературного критика со свойствами, необходимыми для академического исследователя литературы. В его статьях интересы критики и интересы литературоведения питают и поддерживают друг друга. Заправский историк литературы найдет нечто для себя нужное не в одном лишь четвертом разделе книги, где помещены три статьи о театре Александра Блока, более других выдержанные в строгом исследовательском стиле. Историко-литературные вкрапления присутствуют и в других работах, казалось бы обращенных к совсем иным темам и предметам. Литературная теория и история литературы бывают в книге П. П. Громова призваны на помощь в тех случаях, когда решаются вопросы, относящиеся к текущему дню, и эта их помощь осуществляется действительным образом. Мы находим здесь и обратное: под напором современных интересов и соображений вдруг поддаются автору книги многие старые, традиционные проблемы литературы, и для них находится решение, они получают правильную формулировку, в которой это решение уже скрывается — стоит только извлечь его оттуда. Такова, например, одна из лучших статей сборника — статья о «Гамлете» Шекспира, написанная по поводу постановок «Гамлета», предпринятых в Ленинграде Г. М. Козинцевым и в Москве Н. П. Охлопковым. Статья названа «Два Гамлета», а ведет она к одному, единственному «Гамлету», созданному Шекспиром, и о великой трагедии Шекспира П. П. Громову удается сказать нечто новое после той библиотеки книг и статей, которые уже написаны о ней на всех языках мира. Более решительно, чем это делалось другими истолкователями Шекспира, П. П. Громов подчеркивает в «Гамлете» генеральную тему с ее вариациями, тему принца Гамлета, мстящего за смерть отца, сопровождаемую темами Фортинбраса и Лаэрта, тоже сыновей, которым обстоятельства судили рассчитаться за поражение и гибель своих отцов: один из них пал от руки Гамлета-старшего, другой от руки Гамлета-младшего, и это еще более сближает все три темы друг с другом. И Фортинбрас и Лаэрт стремительны в своей мести, Гамлет задумывается и все откладывает месть. По Шекспиру, Фортинбрас и Лаэрт принадлежат к низшим, уже пройденным этапам общественной истории и этического развития; следовательно, по Шекспиру, Гамлет поступает правильно, размышляя над своими поступками и не торопясь казнить короля Клавдия, убийцу Гамлета-старшего. Как считает П. П. Громов, коллизия Гамлета в том, что он один по положению своему обязан исправить вещи, лежащие на ответственности всего общественного коллектива и только для этого коллектива посылать. «Век вывихнут», нельзя выправлять пострадавшие сочленения, действуя лишь от собственного имени. У Лаэрта и у Фортинбраса — мальчишеский азарт и примитивные, давно превзойденные представления о том, как делается история общества и государства. Гамлет — носитель более высокого и умудренного сознания, поэтому перед ним зияют труднейшие проблемы там, где Лаэрт и Фортинбрас никаких проблем не подозревают. Таково в общих чертах толкование «Гамлета», развитое П. П. Громовым. Конечно, то здесь, то там

* Павел Громов. Герой и время. Статьи о литературе и театре. «Советский писатель», Л., 1961.

проглядывают идеи, уже известные из шекспировской литературы. Многим обязан автор, как он сам на это указывает, В. Г. Белинскому. Многое идет от других наших классических критиков, от традиций русской шекспирологии. И все же мы имеем толкование отнюдь не доскутное, стройное и последовательное, современное по своему замыслу и в силу этих своих качеств от начала до конца новое или по меньшей мере обновленное. Статья П. П. Громова обладает правами на свое особое место в истории русского «Гамлета», рядом с новейшими интерпретациями этой драмы на наших сценах.

И в этом и в других случаях литературоведческие концепции П. П. Громова возникают по поводу явлений современного искусства. Вероятно, автору и приходилось и придется услышать предложения и советы: зачем вы пишете о Шекспире вслед спектаклям современных режиссеров или же о Достоевском вслед инсценировке «Идиота» с актером Смоктуновским в главной роли, — есть и такая статья в сборнике П. П. Громова, и она тоже одна из лучших. Советчики этого рода, вероятно, станут убеждать автора разделить свои литературоведческие построения от повода. Их вызвавшего, и развивать их совершенно самостоятельно. Мы не думаем, чтобы совет этот был хорош. Ведь именно повод, злободневный, сегодняшний повод, обладает особой силой внушения, и если оставить повод за порогом познания, то, быть может, построения эти и не возникли бы или же, возникнув, не дочислялись бы многих важных своих подробностей, были бы пзложены не в том колорите, менее убежденно и энергично, чем это сделано в книге сейчас. Живой повод обладает высокой плодотворностью, он умеет далеко распространить жизненность, присущую ему. Наконец, нужно подумать и о читателе. Когда с ним говорят о Шекспире после спектаклей, только что им увиденных, о Достоевском после актера, с редкостным пониманием воскресившего на сцене одного из пленительных его героев, то внимание читателя и восприятие читателя совсем иные, чем если бы ему предстояло ознакомление с отвлеченно изложенными литературоведческими статьями. Другой пример такого приурочения общих вопросов к живым, частным интересам сегодняшнего дня в искусстве мы имеем в статье П. П. Громова «Ансамбль и стиль спектакля», где интересные соображения о характерах у Достоевского, синтетически построенных, и о характерах у Л. Толстого, аналитически построенных, появляются в связи с некоторыми постановками Московского Художественного театра.

П. П. Громов очень схотно обращается к театру. Быть может, более всего удалась ему статья, связывающая литературу с театром: третий отдел его сборника. Мы считаем темы литературно-театральные очень существенными именно при изучении литературы, и нет надобности непременно отдавать их в другое ведомство, как это часто делается. Марксизм учит, что содержание и суть вещей раскрываются для нас, когда эти вещи изучаются в их действии, в их практических соотношениях. Сцена — это своеобразная практика художественной литературы. Драма, инсценированный роман, пройдя через театр, через практику театра, становятся лучше видны нам, мы вернее о них судим, изучая их театральную судьбу. Нет сомнения, современный советский театр нечто доуяснит для нас и в Шекспире и в Достоевском. П. П. Громов стремится в своих статьях уловить эти уроки, преподанные нашей сценой. В то же время он встречается и действительно вмешаться в эти дела сцены, и, думаем, это дает особую твердость и определенность его статьям на литературно-театральные темы. О том же «Гамлете» Шекспира в литературе были высказаны самые прихотливые, капризные суждения, часто ни к чему не припугдавшие авторов этих суждений. П. П. Громов пишет о Шекспире, имея в виду современные постановки его трагедии. Он воюет за «Гамлета», который будет демонстрироваться со сцены, потребует труда множества людей театра, потребует затрат материальных и духовных, пройдет перед глазами десятков тысяч советских зрителей, и это паллагает на него подлинную ответственность. Тут не место произвольным фантазиям, всяким опытам приспособить великое произведение к случайным потребностям и вкусам. Думаем, чувство ответственности подсказывает П. П. Громову верные и продуктивные мысли. Мы бы сказали: как критик он поставлен перед необходимостью давать ответы, которые немедленно проверяются или будут проверены художественной практикой, поэтому как литературовед он действительно умеет подготовить эти ответы и собрать должным образом аргументы в их пользу. Так, нельзя было поощрять на нашей сцене устаревшую, неверную и для нас бесплодную концепцию «Гамлета» как трагедии безволия. Нельзя было поощрять и другое: бывали случаи, когда наши режиссеры ударялись в противоположность, выводили Гамлета с чертами Фортинбраса, с наружностью то ли полководца, то ли лесоруба или спортсмена, превращали его в планомерно действующую, волевою личность и сами не замечали, что Гамлет отсутствует в их спектаклях. П. П. Громов стоит за более верное: Гамлету сохраняется его рефлексия, и она объясняется не зыбкостью характера, свойственной датскому принцу, но исторической ситуацией, в условиях которой он действует.

У П. П. Громова литература проверяется театром, как и обратное — правильное понимание природы театра подсказывается опытом литературы. Мы имеем в виду прекрасную статью «Ансамбль и стиль спектакля». В ней П. П. Громов опро-

вергает ходячие представления о том, что такое апсамбль. Под этим понятием разумеют нередко некое отвлеченное совершенство исполнения: и театральный художник хорош, и театральный портной хорош, и все актеры, запятые в спектакле, все от мала до велика, равно хороши. П. П. Громов доказывает, что ансамбль создается не на других, более правдоподобных основах: ансамбль там, где есть единый, последовательно проводимый режиссерский замысел, где есть единая идея спектакля и где ощутима стихия художественного стиля. Мы думаем, что П. П. Громов в данном случае идет от литературы. Ведь никто еще, кажется, не утверждал, что превосходное стихотворение есть сумма отдельных совершенств, что оно складывается из слов, каждое из которых превосходно, из превосходно проведенной ритмики, из превосходных, каждая в отдельности, рифм, и т. д. и т. д. Однако же о театральном спектакле сплошь да рядом судят в духе эстетической арифметики.

В книге П. П. Громова можно найти интересные положения, относящиеся к литературному процессу в целом. Любопытно, что и опи навеяны живыми представлениями и аналогиями. По поводу «Кюхли» Юрия Тынянова говорится о драматизме, свойственном этому процессу. Писатели, нужные литературе, сделавшие важное дело, тем не менее оказываются всего лишь историческим материалом, почвой для других писателей, иной удачи и иного масштаба; эти первые остаются на положении непризнанных, неизвестных, их роль в литературе не получает даже самой скромной оценки. Кюхельбекер — носитель двойной трагедии: общественно-политической и литературной, точнее сказать, историко-литературной. Один из самых преданных и полезнейших работников литературы, он по особому закону, ей свойственному, не узнал благодарности ни от современников, ни от потомства. У истории литературы есть свои герои-победители и свои герои-жертвы.

Книга П. П. Громова, как отмечено уже, говорит о многих именах и о многих явлениях литературы. Есть статьи, посвященные тому или иному писателю, но и в этих статьях можно найти побочные имена и побочные эпизоды, появившиеся мимоходом, ради беглого сопоставления и тем не менее содержательные и самостоятельно интересные. П. П. Громов принадлежит к числу авторов, которые постоянно заняты литературой вообще, литературой как таковой. Литературный кругозор его широк, он движется по литературе свободно, не смущаясь историческими и национальными границами. Та или иная специальная тема никогда не приобретает над автором этих статей деспотической власти. Он умеет трактовать ее в свете своего пространного и многообразного литературного опыта. По поводу нашей военной прозы дается новый по своему характеру анализ «Взятия редута» Проспера Мериме, по поводу драм Александра Блока дается поучительный анализ одного фрагмента из романа Флобера «Мадам Бовари», причем по-новому трактуется такой литературный прием, как антитеза: обычно довольствуются самым указанием на антитезу, а П. П. Громов старается найти основания, почему она возможна, почему один член антитезы способен уничтожить, убить другой, вне антитезы казавшийся достаточно действенным и сильным.

Вера Панова, Леонид Леонов, Эренбург, Кожевников, Бек, Чирсков, Тынянов, Ольга Форш, Достоевский, Шекспир, Александр Блок — действующие лица этой книги, причем мы называем здесь не всех, ибо автору удается нечто сказать о писателе даже посвящая ему две-три строки в чужом контексте. Не нужно думать, что эта лиричность ведет к дилетантизму. Когда автор хочет этого, он умеет предпринимать самые специальные и точные изыскания, как это сделано в статьях о Блоке.

Следует сказать о темпераменте автора. В большой этой книге едва ли можно насчитать вялые страницы: автор подлинно неравнодушен к литературе, к театру, к другим искусствам, и поэтому читатель тоже не может остаться равнодушным к этим предметам. Темперамент, разнообразие познаний, новизна мысли равно украшают эту книгу, по-своему отчетную, подводящую итоги 20 годам работы в литературе. В этой книге весьма не хватает уже бывших в печати статей о Лескове (написано совместно с Б. М. Эйхенбаумом) и о поэзии Аполлона Григорьева, без которых отчет П. П. Громова существенно неполон.

В. КОВАЛЕВ

СЕРЬЕЗНЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ *

Советская литература привлекает внимание многих миллионов читателей за рубежом, не даром о ней так часто пишут и наши идеологические противники, стремящиеся умалить ее ценности, исказить ее содержание, и наши многочисленные друзья, любящие и понимающие литературу нового мира, пропагандирующие ее,

* Miroslav Drozda. Ruská sovětská literatura. «Orbis», Praha, 1961.

стремящиеся ее глубоко осмыслить. В течение последнего десятилетия за рубежом вышли обширные истории советской литературы, принадлежащие перу различных по своим взглядам авторов.

С реакционных позиций антикоммунизма написаны книги американских авторов Г. Струве («Русская советская литература 1917—1950», 1951), М. Слонима («Современная русская литература. От Чехова до наших дней», 1953) и западногерманского литературоведа В. Леттенбауэра («История русской литературы», 1955). Объективным в общем подходом к советской литературе отличается книга итальянца Э. Ло Гатто («История современной русской литературы», 1958), но и на ее страницах сказывается влияние предрассудков и тенденциозных суждений буржуазной критики в вопросе о социалистическом реализме.

До сих пор, однако, за рубежом не появлялись истории советской литературы, написанные с позиций марксистской методологии.

Книга Мпрослава Дрозды, заведующего кафедрой русской и советской литературы Карлова университета (Прага), является «первой ласточкой». Мы высоко ценим творческую смелость автора, взявшегося за столь трудную задачу. Ведь ему нужно было решить ряд сложных вопросов, над которыми работает мысль современного литературоведения, — таких, как периодизация истории советской литературы, определение ее пафоса и специфических черт на отдельных этапах, расположение материала внутри каждого раздела, соотношение обзорного и монографического материалов и других. От автора такой книги требуются не только обширные фактические знания, ясные представления о становлении и историческом развитии метода социалистического реализма, но и умение ярко и содержательно рассказать о литературе нового мира, сжато изложить теорию социалистического реализма.

М. Дрозда с успехом справился с этой задачей. Он сумел нарисовать картину развития русской литературы за сорок с лишним лет, охарактеризовать творчество крупнейших советских писателей, кратко проанализировать множество произведений 20—50-х годов. М. Дрозда опирается на достижения советской литературно-критической мысли и часто «предоставляет слово» то авторам академической «Истории русской советской литературы», то отдельным советским критикам и литературоведам — Днепрову, Кожинovu, Гурвичу, Синявскому, Перцову, Иващенко, Бялику, Макарову и другим, то писателям — Горькому, Федину, Фадееву, Твардовскому, Шагиняну, Павленко, А. Толстому, Антокольскому.

Особенно часто автор обращается к высказываниям Леонова. И это оправдано — ведь у Леонова можно найти много глубоких мыслей о повздорской сущности социалистического реализма, которые пока что еще недостаточно учитывались в общих работах по истории советской литературы. В то же время мы не можем не выразить сожаления, что автором не учтены высказывания Шолохова. А между тем ему принадлежат известные слова о народности и партийности советской литературы, изжалуй, наилучшим образом определяющие эту ее особенность. Сказать об этом более выразительно и проникновенно, чем Шолохов, трудно.

Рецензируемая книга состоит из следующих разделов: введение («К социалистическому реализму»), литература 1917—1929 годов («Великое возрождение»), литература 1930—1941 годов («Литература для миллионов»), период Великой отечественной войны («Героизмы»), послевоенные годы (1945—1953) («Время славы и противоречий»), литература последних лет (1953—1960) («Великая инициатива»), заключение. Как видим, автор в основном придерживается периодизации, принятой в трехтомной «Истории русской советской литературы». Обособленно выделяются им в качестве особого периода 1953—1960 годы (в обзорной главе третьего тома «Истории русской советской литературы» этот период еще слит с предшествующим, хотя и там говорится об этих годах как о «новом этапе развития советской литературы, связанном с крупными событиями в жизни Советского Союза в 1953—1957 гг., с историческими решениями XX съезда КПСС»).

Каждая из глав включает общую характеристику периода и анализ литературы по основным жанрам (поэзия, проза, драматургия).

Как видим, книге нельзя отказать в четкости общей структуры и в ясном определении содержания каждого из разделов. В ней легко ориентироваться, находить нужный материал, наводить справки (чему помогает также имеющийся в книге именной указатель).

Автор отказался от монографических глав о крупнейших художниках слова. Он задансь целью обрисовать сам литературный процесс эпохи, дать историю советской литературы «в главных этапах и тенденциях ее развития» (стр. 5). Крупные писатели не оторваны от литературного процесса (как это произошло в трехтомной «Истории русской советской литературы»), их творчество включено в общий поток и тем самым обогащает «обзоры», делает последние более полными и содержательными.

Историк советской литературы имеет дело с огромным количеством имен, произведений. Как отобрать из этого множества наиболее важное, существенное, типичное? Как уместить это множество на страницах одной, сравнительно небольшой, книги? В целом автор успешно преодолел трудности, показав читателю богатство

советской литературы, многообразие талантов. Не оставил он без внимания и тех писателей, которые в условиях культа личности замалчивались и стали переиздаваться после длительного перерыва лишь в последние годы (А. Веселый, Б. Ясенский, И. Катаев и др.). В последней главе даже говорится о писателях, имена которых еще не утвердились в историко-литературных работах (Е. Винокуров, Р. Казакова и др.). И это хорошо. Но есть в книге и досадные пропуски, неоправданная «скороговорка». Лишь упоминаются имена таких писателей, как С. Сергеев-Цепский, Новпков-Прибой, В. Шипшов, А. Прокофьев, М. Бубеннов, С. Смирнов, А. Софронов, и вовсе не упоминаются А. Караваева, П. Бажов, Б. Корнилов, Б. Ручьев, В. Федоров, В. Смирнов, Е. Пермитян, Т. Семушкин, С. Васильев, Л. Ленч, Г. Марков, К. Седых, Э. Грин, Ю. Герман, В. Закруткин, А. Калинин, А. Чаковский... Конечно, всего не объять, но ведь упомянуты же в книге А. Володин (не раз), В. Британишский, Р. Рождественский...

Книга открывается введением, посвященным проблеме генезиса социалистического реализма и соотношению последнего с критическим реализмом, а также краткой характеристике основных черт советской литературы. Здесь определены исходные методологические позиции автора книги.

Автор, естественно, излагает ряд общепризнанных теоретических положений, но вносит и свой особенный оттенок в их трактовку.

Становление нового художественного метода связывается во введении с духовным возрождением личности в эпоху социалистической революции. Рождается новый человек — человек с ясным материалистическим взглядом на мир, коллективист, революционный практик, творец, знающий реальные пути к осуществлению идеала; и вот эти-то «качественные изменения в человеке, этом главном предмете искусства, являются причиной далеко идущих изменений в художественном методе» (стр. 14). В искусстве возникает социалистический реализм, основывающийся на революционном анализе действительности с позиций коммунистического мировоззрения. Рождается новое художественное видение мира, новая концепция искусства.

Автор подчеркивает, что в творчестве художника «социалистический реализм не возникает посредством некоей рациональной прививки марксистского мировоззрения к стволу искусства; в каждом отдельном случае это есть процесс самостоятельного художественного познания человека, его идейного мира и сферы его чувств» (стр. 22). М. Дрозда обращает внимание на слова М. Горького относительно «эмоциональной грамотности» как необходимым качеством писателя нового мира, который должен не только знать новые идеи, руководствоваться ими, но и проникнуться новой эмоциональностью, тем социалистическим жизненным ощущением, которое свойственно строителям социализма.

Социалистический реализм наследует все лучшее в классическом реализме и создает качественно новые эстетические ценности, ставит новые идейно-художественные задачи, что особенно сказывается, подчеркивает автор, в разработке принципиально новых эпических и драматических сюжетов, характере изображения положительных героев, становящихся примером и образцом для миллионов читателей, в раскрытии «трудовой координаты», определяющей поведение и мышление людей, в самом пафосе советской литературы, расширении средств художественной изобразительности.

Автор подчеркивает такую особенность советской литературы, как изображение человека в труде, в творчестве. М. Дрозда приводит следующие яркие слова Леонова, сказанные в 1934 году и затерявшиеся на страницах «Литературной газеты»: «Ныне литература перестала быть зеркалом домашней жизни отдельного персонажа; глядишь ярко и выпукло во всем, вплоть до бутылки в руках прогульщика, играет могучее пламя эпохи. Слишком крепко сегодня все личное связано с общественным, — вот почему так много людей, посторонних нашей профессии, так часто и требовательно заглядывают в наш литературный цех. Ответственность писателя возрастает предельно. В любом образе, создаваемом им, отражаются качества и особенности эпохи. Уровень самых знаний его должен быть выше, самый интуитивный его — богаче, чем у какого-либо собрата нашего по перу в дореволюционное время. Почти всегда герои их — рантье, судьбу и день которого легко было компоновать в прямой зависимости от авторского замысла. Наш герой всегда имеет профессию, которая и есть социальный привод, соединяющий его с общественной действительностью. Мало знать его профессию, — мы должны проникнуть в философию его профессии, а может быть, и в рефлексологию его. Без всего этого образ наш вряд ли приобретет художественную убедительность и социальную правдивость» (стр. 22).

Думается, что следовало бы уже во введении (а не в последующих, историко-литературных, разделах) подробно охарактеризовать ленинский принцип партийности как основополагающий в системе социалистического искусства. Это придало бы большую стройность и цельность изложению во введении концепции автора.

Мы позволим себе не пересказывать содержание каждого историко-литературного раздела книги. Обратим внимание лишь на то, как именно в них обрисована общая картина литературной жизни на том или ином этапе, какой отобран материал

и как он расположен, проанализирован и истолкован, какие сделаны выводы и заключения о закономерностях развития литературы социалистического реализма.

Первый раздел (1917—1929 годы) состоит из четырех глав: «Ленинский курс», «Справедливое дело», «В поисках человека революции», «Конфликт двух миров». Конечно, названия этих глав не следует понимать строго ограниченно: ведь, в сущности, каждое из этих названий подходит для характеристики литературы 20-х годов в ее лучших достижениях и устремлениях. Названия глав в книге это своеобразные девизы, так сказать, авторские напоминания об идейном наполнении, о направлении творчества советских писателей.

Рисуя литературную жизнь 20-х годов, автор подробно рассказывает о деятельности Пролеткульта и пролетарских литературных организаций, остро критикует их вульгаризаторские позиции. Другие группы, стоявшие также на ошибочных во многом позициях, однако, остались в тени. Слабо подчеркнута в главе такая специфическая черта 20-х годов, как острая классовая борьба, находившая свое выражение в борьбе различных точек зрения на современность и в области литературы.

М. Дрозда вводит одно важное разграничение, говоря о писателях 20-х годов. Блок и Есенин, по его определению, революционные поэты, которые еще не стали поэтами социалистическими; Маяковский же, став на сторону революции, проникся глубоким пониманием ее целей, идеалов нового человека, сделался поэтом социалистическим. Интересен анализ своеобразия реализма в поэзии Маяковского: автор видит это своеобразие в том, что поэт, отказываясь делить жизнь на сферу героического и повседневного, видит высокое и важное в реальном процессе воплощения идеала в живых чертах современника, вышедшего из прежних узких рамок частного существования к широкой творческой жизни. Для Маяковского поэтично в действительности все то, что отражает реальную борьбу человека за будущее.

Говоря о художественных исканиях писателей 20-х годов (в изображении человека, в структуре стиха, в языке, в композиции), М. Дрозда высказывает справедливое предположение: «...литература 20-х годов именно потому, что начинала на поле жизни, пишем еще не вспаханном, сильно экспериментировала, и последствия, результаты ее попыток стали ясными лишь спустя долгое время» (стр. 71).

Свежо пишет М. Дрозда о поэзии Э. Багрицкого.

Главу о прозе 20-х годов автор начинает с цитаты из Леонова: «Нужно, чтобы Октябрьская революция не только давала темы писателю, но и насыщала их своим содержанием — именно в этом и состоит созвучность каждого художника своей великой эпохе» (стр. 81). Тщательно прослеживает автор логику роста молодых советских прозаиков, стремившихся понять не только свое место в эпохе, но и роль массы в ней, репавших сложную задачу художественного освоения всего нового, что принесла людям Октябрьская революция. Автор оценивает эстетические поиски писателей — в области сюжета, способов стилистического выражения, новых возможностей психологического анализа.

Не уходит автор от острых проблем, связанных с осмыслением литературы 20-х годов. Так, например, подробно он пишет о Бабеле, о противоречиях и неосуществившихся возможностях его творчества. Внимательно прослеживается в книге путь советской литературы ко все более разностороннему изображению человека, к художественному синтезу действительности.

Характерной особенностью авторского метода изложения истории советской литературы являются постоянно проводимые сравнения и сопоставления различных литературных фактов в целях лучшего выявления их своеобразия и их смысла, а также формулирование теоретических заключений и выводов, вытекающих из анализа конкретного материала. Говоря о Серафимовиче, автор замечает, что если эпичность «Падения Даяра» выражена во внешнем движении, а внутреннее содержание повести перенесено «в торжественную лирику рассказчика», то «Железный поток» — это «шика, полная внутреннего драматического напряжения» (стр. 105). Особенность изображения человека в «Разгроме» А. Фадеева оттеняется сравнением его творчества с творчеством Бабеля. У Фадеева мы находим процесс формирования личности, а не статическое сопоставление полярных противоположностей; изображая этот процесс, писатель позволяет читателю понять самую сущность каждого характера. «То, чем человек кажется, и то, чем он действительно является, проявляются не неожиданным кадром в причудливой ситуации (как у Бабеля, — В. К.), но развитием взаимоотношений между персонажами» (стр. 107).

Порядок расположения материала в этой главе в некоторых отношениях спорен, и, думается, вернее было бы сначала проанализировать все важнейшие произведения первой половины 20-х годов, заложившие основы советской литературы, чтобы затем уж перейти к изложению процесса ее роста и обогащения. Автор книги не учитывает этого движения и относит разбор «Цемент» и «Доменной печи» (написанных в начале 20-х годов) в самый конец главы, после «Вора», «Разгрома» и «Жизни Клим» Самгина». Оттого несколько нарушается реальная логика становления молодой советской литературы.

Не нашли себе места в главе характеристики «Барсуков» Л. Леонова, «Виринея» Л. Сейфуллиной, «Лесозавода» А. Караваевой и некоторых других произведений той поры.

Бегло обзревается драматургия 20-х годов. Здесь мало самостоятельных наблюдений.

Второй раздел (1930—1941 годы) включает главы: «Единый фронт», «Время песни», «Эпичность трудового мира», «Новые возможности драматургии при социализме».

Общая характеристика литературной жизни 30-х годов, пожалуй, чересчур кратка и уступает по своей содержательности соответствующей главе в предыдущем разделе. Автор правильно напоминает о том, что во второй половине 30-х годов начало проявляться вредное влияние культа личности, но не указывает фактов его влияния на литературу, например на творчество А. Толстого в период создания им повести «Хлеб» и пьес об Иване Грозном.

В главе о поэзии даются «портреты» восьми поэтов — М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, С. Щипачева, Д. Кедрина, Н. Тихопова, В. Луговского, Н. Асеева, А. Твардовского. Конечно, список этот мог быть продолжен (Б. Корнилов, П. Васильев, А. Сурков и другие поэты, столь же характерные для эпохи 30-х годов).

В главе о прозе охват материала более полон, по расположению его могло бы быть иным, исторически более обоснованным. Ведь тема социалистического строительства начинается, в сущности, Леоновым и Шолоховым — «Соть» написана в 1928—1929 годах, «Поднятая целина» в 1930 году, — и разбор этих романов безусловно должен был предшествовать рассмотрению романа 30-х годов. Леонов, Шолохов — вот начало прозы 30-х годов, вот то самое большое и художественно ценное, что открывает 30-е годы. Автор располагает материал в главе несколько беспорядочно.

В книге много вдумчивых наблюдений над прозой 30-х годов, особенно над творчеством Л. Леонова и М. Шолохова. Как и в предшествующем разделе, Дрозда продолжает линию сравнений писателей между собой, а также сопоставлений советской литературы с литературой классической. Часто напоминает он о критических дискуссиях тех лет, не обходя и такие, в ходе которых отдельные писатели порою делали ошибочные заключения. Так, М. Горькому и А. Фадееву принадлежат замечания об «областичестве» романа «Тихий Дон», и М. Дрозда не умалчивает об этом. Он не удовлетворяется тем, что приводит упоминаемый отзыв Горького о «Тихом Доне», и отвечает на вопрос о том, чем именно он объясняется. По мнению М. Дрозды, Горький и Шолохов — во многом различные художники, по-разному выражающие свои идейные концепции: «Шолоховский мыслительный фонд... не так очевиден, как горьковский» (стр. 181). В другом случае М. Дрозда останавливается на «прямолинейных» суждениях некоторых критиков об образе Увадьева в романе «Соть» (образ-де лишен внутреннего мира). М. Дрозда указывает, что реалистическая традиция литературы приучила читателя к тому, что богатство личности выражалось в обстоятельных идейных спорах, во внутренней речи героев, раскрывающей систему его взглядов на мир, Леонов же нарушил традицию психологического анализа, дав психологию героя «в динамическом развороте», исходя из того, что зачастую действие героя значит больше для его понимания, чем то, что он говорит и думает о себе. «Внутреннее богатство нового героя выливается в его труде» (стр. 165).

В главе о драматургии 30-х годов привлекают внимание весьма любопытные соображения автора о подтексте у Чехова, Горького и Леонова (стр. 211—213).

Раздел о литературе 30-х годов дает представление о развитии метода социалистического реализма, об утверждении принципов реализма нового типа в творчестве многих советских художников слова.

Третий раздел (1941—1945 годы) содержит три главы: «Поэзия героизма», «Героическая эпика», «Драматургия справедливой войны». Большая часть раздела посвящена поэзии. Прозе уделено меньше внимания, чем она того заслуживает. Некоторые значительные произведения военной поры не попали в обзор, среди них произведения Б. Горбатова. В целом же в разделе дается верная картина участия художников слова в общепародной борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

Четвертый раздел (1945—1953 годы) делится на главы: «Культурная политика», «Лирическая защита мира», «Величие и простота героизма», «Неиспользованные конфликты».

Следует сказать, что оба раздела послевоенной литературы непропорционально малы в сравнении с разделами о 20-х и 30-х годах. И этим, может быть, объясняется то, что о творчестве ряда писателей (например, В. Кочетова, М. Бубенцова, А. Софронова, И. Грибачева, В. Кожешникова, С. Бабаевского, Г. Николаевой) мы узнаем очень мало.

Интересна общая характеристика литературы первых послевоенных лет. Подробно автор говорит о вредном влиянии на литературу культа личности, выразившемся в иллюстративности, ложной «монументальности», в «очищении» действительности от «примеси» того, что не соответствовало идеалу, в тенденции к дидактиче-

ской идеализации и к бесконфликтности. «Часть литературы рассталась с реалистическими основами социалистической эстетики» (стр. 249). Отмечается и то, что в эти годы критика недостатков творчества отдельных писателей порою переходила границы идейной полемики и выливалась в гражданскую и моральную дисквалификацию критикуемых и в административные акции» (стр. 250). Вместе с тем автор подчеркивает, что было бы неправильно думать, будто бы эти «негативные тенденции» определяли развитие литературы: «...как не перестал героически творить советский народ, как не перестали во главе его работать коммунисты, люди, готовые на крайние жертвы, так не могла не расти дальше настоящая социалистическая, партийная литература» (стр. 250). Из произведений этой поры автор особенно выделяет роман Л. Леонова «Русский лес». «Ведь изображением типического конфликта Вихрова — Грацианского автор обращал внимание на фальшь внешнего здания, выступал против алиби, угодничества, конъюнктуры, как явлений, чуждых по своей сущности нормам социалистической жизни» (стр. 280).

М. Дрозда подчеркивает, что партия поддерживала все хорошее и сильное в литературе, принимала меры к исправлению некоторых недостатков: так, в 1952 году на страницах «Правды» была подвергнута критике теория бесконфликтности, выдвинута задача развития советской сатиры.

Не со всеми конкретными авторскими оценками произведений этой поры можно согласиться. Думается, что автор несколько односторонне подошел к творчеству В. Некрасова и И. Эренбурга: он видит у них лишь достоинства и не замечает недостатков. Автор довольно определенно выражает свои симпатии «непатетической» линии в литературе, представленной В. Некрасовым, и как-то забывает о том, что высоко ценимое им творчество Л. Леонова отнюдь не чуждо яркой патетичности («Взятие Великошумска», «Русский лес»). Видимо, сама по себе «непатетичность» не может лечь в основание идейно-эстетической оценки. Нужны и другие критерии, позволяющие в совокупности всесторонне и объективно оценить творчество писателей.

Последний — пятый — раздел (1953—1960 годы) не имеет членения на главы: автор этим как бы подчеркивает, что последние годы — это только начало нового большого этапа в развитии советской литературы, соответствующего великим революционным преобразованиям, которые партия начала осуществлять после XX съезда КПСС.

Раздел этот безусловно интересен, но менее удовлетворяет, чем предшествующий. В нем порою значительное с идейно-эстетической точки зрения уравнивается с менее значительным, последнее порою дается «крупным планом», а о первом ничего не говорится. Это нарушение пропорций сказывается и в том, что для большого поэта А. Прокофьева автор не находит места в своем обзоре, между тем как о ничем не примечательной поэзии Б. Слуцкого он говорит довольно подробно, и в том, что неровно написанная повесть В. Некрасова «В родном городе» не вызывает у автора никаких критических замечаний, в то время как значительный роман Г. Николаевой «Битва в пути» оценивается лишь как не весьма удачная попытка создания современного социального романа (стр. 310), а «Братья Ершовы» В. Кочетова — как произведение весьма невысокого художественного уровня (стр. 292).

Следует напомнить, что М. Дрозда известен своими работами о Леонове. Страницы, посвященные характеристике творчества Леонова, принадлежат к самым лучшим в книге. Советские исследователи творчества Л. Леонова найдут в книге много интереснейших наблюдений и обобщений, помогающих лучше понять и творческую индивидуальность писателя, и его роль в развитии советской литературы.

В своем предисловии автор говорит, что его цель дать «информационное обозрение истории русской советской литературы в главных этапах и тенденциях ее развития» (стр. 5). Но хотя здесь и подчеркивается справочный характер книги, ее содержание, однако, шире и значительнее: в ней, в сущности, дается краткая, весьма содержательная история русской советской литературы.

Мастерски написано резюме книги. Автор сумел очень сжато, в пределах печатного листа, дать краткий «энциклопедический» обзор всей истории советской литературы, ясно подчеркнув линии роста, развития и обогащения социалистического реализма в каждый исторический период.

Книга обращена к зарубежному читателю. Но она представляет определенный интерес и для советского читателя, так как в ней предлагается решение ряда сложных проблем построения истории русской советской литературы, которые так оживленно и остро обсуждаются у нас после выхода трехтомника «История русской советской литературы». С интересом познакомятся наш читатель и с меткими характеристиками советских писателей, умным и тонким анализом отдельных произведений советской художественной классики, сделанными человеком, любящим нашу литературу, ценящим ее новаторскую роль в развитии мировой литературы.

Г. ГАЛАГАН, Н. ПРУЦКОВ

ПРОБЛЕМА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО ПОСЛЕДНЕГО ПЕРИОДА *

Художественное и публицистическое наследие Толстого последнего периода, особенно после революции 1905—1907 годов, изучено слабо. В литературоведении сложилось представление, что Толстой рассматриваемой эпохи — сильный художник-обличитель, но крайне слабый мыслитель, нравственное учение которого сводится к религиозным заповедям («не убий», «не войой», «не блуди» и т. п.). Поэтому и положительный нравственный идеал Толстого подвергался обычно резкой критике, развенчанию. В условиях подготовки масс к революционным битвам, в обстановке борьбы за их освобождение от толстовства такой подход к нравственному учению гениального художника был единственно верным, последовательно революционным, он диктовался насущными задачами борьбы за раскрепощение трудящихся. Однако это обстоятельство вовсе не означает, что в нравственном кодексе Толстого нет ничего ценного, что в нем отсутствуют здоровые, демократические элементы. Не следует забывать, что нравственный идеал Толстого был связан не только с религией, он имеет глубочайшие корни в демократическом движении крестьянских масс дореволюционной России, является симптомом и спутником этого движения. Некоторые литературоведы (Т. Мотылева, Л. Мышковская, Е. Купреянова, И. Вишневская) уже обратили внимание на то зерно здорового демократизма, которое заключалось в нравственном идеале Толстого последнего периода. Несомненно, что такое направление исследований должно оказать плодотворное воздействие на дальнейшее развитие науки о Толстом. К этому же направлению принадлежит и книжка Е. Андреевой «Проблема положительного героя в творчестве Льва Толстого последнего периода».

Е. Андреева в течение ряда лет исследует наследие Л. Н. Толстого. Известна ее статья о романе «Воскресение», напечатанная в сборнике «Творчество Л. Н. Толстого» (Изд. АН СССР, 1954). Другие работы Е. Андреевой опубликованы в изданиях Воронежского государственного университета. Среди них следует назвать «Своеобразие сатиры Л. Толстого в сравнении с сатирой Салтыкова-Щедрина» («Труды Воронежского государственного университета», т. 51, 1958), а также «Лев Толстой — обличитель капитализма и войны» («Филологический сборник», 1961).

Содержание статей Е. Андреевой всегда отличается независимостью развиваемых в них суждений. В ее работах, как правило, ставятся новые, очень важные и сложные проблемы. Опираясь на анализ наследия Толстого и Щедрина, она в свое время убедительно показала своеобразие сатирических форм у каждого из этих художников, а также то общее, что было присуще их сатире. И новая работа Е. П. Андреевой о положительном герое в произведениях Толстого также характеризруется свежестью и смелостью замысла, тонкостью наблюдений над текстом творений великого писателя.

Привлекая художественные и публицистические произведения Толстого, особенно народные рассказы, «Крейцеров сонату» и роман «Воскресение», автор показывает, что религиозные идеи писателя были порождены временем, сближением писателя с наивной патриархально-крестьянской демократией. Но в то же время Толстой-мыслитель поставил вопросы всемирно-исторического значения, общечеловеческого масштаба (о земле и труде на ней, о капитализме и войнах, о путях возрождения человеческой личности и т. д.). Европейски образованный писатель, критически переработавший все социально-этические, философские и религиозные учения своего времени, Толстой пришел к выводу, что человечество не может жить по законам буржуазной, человеконенавистнической морали. Историческая тенденция XX века, утверждал Толстой, ведет к установлению закона любви, братского существования народов («Закон насилия и закон любви»).

Л. Н. Толстой с потрясающей силой показал человека, изуродованного, развращенного всеми мерзостями собственнического мира (Нехлюдов, Позднышев, Степан Пелагеюшкин, мужик Мирон). Но он же признал неизбежность душевного кризиса и перелома в человеке, возникновение в нем неистребимой потребности стать лучше и выше, очиститься от скверны индивидуализма и эгоизма. Нравственное перерождение и просветление человека в изображении Толстого проходит, как правило, не под воздействием религиозных побуждений, а в силу огромной и все более возрастающей беспощадной требовательности героев к себе, под влиянием жизненных, социальных обстоятельств, под могучим воздействием страданий народа и его борьбы. Положительная программа Толстого — это свободная жизнь

* Е. П. Андреева. Проблема положительного героя в творчестве Льва Толстого последнего периода. Изд. Воронежского государственного университета, 1961.

трудовых людей, связанных узами равенства, братской любви, трудом на благо общества, возвышающим человека нравственным чувством. Нехлюдов, Позднышев, Никита, отец Сергей, Иван Ильич, при всем своеобразии судьбы каждого из них, люди ищущие, а некоторые — бескомпромиссные, идущие к свободе человеческой личности, к осуществлению в жизни единственного закона, достойного людей, закона обязательного труда, братства и любви. И в этом нет ничего религиозного. Мысли Толстого, конечно, зачастую воплощались в религиозной форме. Но освобожденные от этой сковывающей, а иногда и уродующей их оболочки, они приобретают огромное воспитательное значение в современной борьбе народов против разбойничьего империализма, против несправедливых войн и колониализма во имя мирного сосуществования народов, их сотрудничества и братства.

Такова исходная позиция Е. Андреевой, методология ее исследования и пафос ее книжки. Она убедительно показала, что положительные герои Толстого — всегда бесстрашные люди. Они прошли жестокую школу, на их пути были тяжелые испытания и падения, беспощадное отрицание существующего порядка жизни, конфликт с самим собой, с родной средой, с господствующей моралью, осознание трагизма своего существования, а рядом — упорные, мужественные искания новых путей жизни. В этой драматической и трагической борьбе, пережитой положительным героем Толстого, отразился процесс коренной ломки всей русской жизни после 1861 года и процесс подготовки буржуазно-демократической революции.

Е. П. Андреева права, когда утверждает, что толстовские герои из дворянства с пробудившимся нравственным чувством тянутся к народу, начинают смотреть на мир глазами народа. Лучшие же люди из народа сближаются с революционерами. «Знаменательно, — пишет автор, — что в конце романа Катюша приходит к революционерам. И для нее это сближение с революционерами было школой жизни». Толстой это сближение оценивает так: «Она очень легко и без усилия поняла мотивы, руководившие этими людьми, и, как человек из народа, вполне сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за народ против господ; и то, что люди эти сами были господа и жертвовали своими преимуществами, свободой и жизнью за народ, заставляло ее особенно ценить этих людей и восхитаться ими».¹ Е. Андреева обоснованно приходит к заключению, что Катюша «едет в Сибирь не униженной, „падшей“ женщиной, а духовно и физически окрепшим человеком, перед которым открыты двери в широкий мир трудовой жизни... Она сама освобождает Нехлюдова от себя. Здесь раскрывается моральное превосходство женщины из народа перед аристократами. Мисси, не любя Нехлюдова, делала все, чтобы женить его на себе. Mariette, забавляясь любовью, желала покорить его. Катюша любила Нехлюдова и отталкивала его от себя, не желая портить ему жизнь. Она так строга и сдержанна с ним именно потому, что слишком любила его» (стр. 44).

Думается, что Е. П. Андреева не сделала всех необходимых обобщенных выводов, следующих из той новой концепции жизни, которая воплощена Толстым в его последних произведениях. Проблемам народа и революции посвящены две заключительные главы книжки Е. Андреевой. Автор ставит перед собой задачу — показать эволюцию отношения Толстого к народу. Новое слово, сказанное художником, Е. Андреева видит в том, что он пришел к признанию творческих сил народа. Но Андреева считает, что Толстой изобразил народ как качественно однородную массу. Однако в некоторых работах последних лет показано, что критерием добра и истины у Толстого второго периода выступает не весь народ, а его определенная часть, достигшая высшей ступени в своем нравственном развитии.² Такая тенденция действительно определилась у Толстого, и с нею необходимо считаться, когда речь идет об определении положительного героя и положительного идеала в его творениях заключительного периода.

Далее. Представляется возможным при разработке проблемы положительного героя у Толстого более широко осветить вопрос о соотношении героя и народа как выражении идейно-эстетической позиции писателя на разных этапах его творчества. Если в первый период творчества Толстой говорит лишь о перестройке мироощущения героя таким образом, чтобы он мог понять крестьянина, если народ в этот период выступает как критерий оценки героя, то в период работы над «Воскресением» традиционный толстовский герой отходит на второй план и художник ищет героя нового типа, что явилось отражением коренных сдвигов в русской жизни на новом этапе революционно-освободительного движения. Вот почему традиционный толстовский герой становится лишь наблюдателем событий. В процессе работы над разными редакциями романа «Воскресение» ведущей становится тема народа и революции, а сюжетные ситуации начинают концентрироваться вокруг лиц, не

¹ Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 32, Гослитиздат, М.—Л., 1933, стр. 367.

² См. работы Я. Билинского: 1) О творчестве Толстого. «Советский писатель», Л., 1959, стр. 340—412; 2) Народ и революционеры в романе Л. Н. Толстого «Воскресение». В кн.: О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. Гослитиздат, М.—Л., 1960, стр. 402—447.

входивших в первоначальный замысел романа. И очень характерно, что в окончательной редакции «Воскресения» основным предметом повествования становится изображение движения к истине не Нехлюдова, а людей другого, ему противоположного социального плана.

К сожалению, все эти проблемы, позволяющие осознать творчество Толстого в широком социологическом и историко-литературном планах, или почти выпадают из поля зрения Е. П. Андреевой, или же являются подтекстом ее исследования. Но существенно, что ее работа возбуждает творческую мысль, заставляет спорить по большим проблемам, имеющим историко-литературное, теоретическое и современное значение.

В. КУЛЕШОВ

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ МОНОГРАФИЯ О С. Т. АКСАКОВЕ *

Появилась первая советская монография о писателе, произведения которого («Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и др.) читались старшими поколениями и почти не пользовались спросом сегодня. Аксакова не изучали в школе, не популяризировали в критике. Его «научная» характеристика до последнего времени исчерпывалась презрительным определением «славянофил». А между тем Аксаков — обаятельный писатель, знаток русской жизни и природы, мастер языка. Можно привести целую серию самых положительных и даже восторженных высказываний о нем Чернышевского, Добролюбова, Короленко, Горького. Высоко ценил его реализм В. И. Ленин.

Монография С. И. Машинского об Аксакове результат остро осознанной сейчас советскими литературоведами необходимости изучения родной литературы во всей полноте ее богатств. Но достоинство этого капитального труда не только в том, что еще одно «белое пятно» на нашей литературной карте заполнено и интересный писатель «реабилитируется» в глазах широкого читателя. Главное в книге С. И. Машинского — широта подхода к теме, совершенство метода исследования, стремление ничего не упустить из виду (неатрибутированные тексты Аксакова, архивные материалы). Думается, мы не впадем в преувеличение, заявив, что нужна была определенная ступень методологической зрелости нашего литературоведения, чтобы оно начало решать трудные задачи, связанные с творчеством наиболее противоречивых писателей. Старое буржуазное литературоведение почти не занималось Аксаковым. Писатель казался заслоненным корифеями, запутанным, сложным.

С. И. Машинским снято много легенд об Аксакове как «наименьшем писателе», певце старого барства, патриархальном славянофиле, вскормившем самых рьяных ратоборцев этого идейного, реакционного течения, главе семьи, в которой якобы царили всегда мир и согласие и которая погубила своим тлетворным влиянием гений Гоголя. Это была легкая работа. В романах Тургенева, Чернышевского прямо и полно отразились идейные битвы эпохи. Но куда труднее разглядеть эти приметы времени в прозе Аксакова. А ведь она не простое повторение того, что было у корифеев. У него своя связь с эпохой, и он говорил о ней свои слова, которые ценили и революционные демократы.

Аксаков необычный писатель, в его творчестве нет сплошной восходящей линии, логика развития то и дело нарушалась, результат нередко совсем непохож на предпосылки. Исследователю же надо было воссоздать целостный облик писателя, ничего не замалчивая и не срезая углов. Аксаков прожил долгую жизнь, а художником сделался только в самые последние годы; классик и сторонник Шишкова в молодости, он равнодушно прошел мимо шумного романтизма, сразу выступив как крупный реалист 50—60-х годов; консерватор по убеждениям, он нарисовал такие правдивые картины жизни русского барства, которые могли бы принадлежать перу сторонников немедленной ликвидации крепостничества; чадолюбивый домосед, годами пропадавший в деревне, он в 20—30-х годах прослыл в Москве как страстный театрал, острый критик, борец за «народный театр», пропагандист новаторской русской сценической школы Мочалова, Щепкина, что так блестяще потом продолжил Беллинский. Кстати, эта сторона наследия Аксакова впервые специально освещается именно в монографии С. И. Машинского. Самый талантливый из «всех» Аксаковых, старик Аксаков во многом отличался от своих сыновей Константина и Ивана. У «отесеньки», как его звали в семье, были свои дружеские общения с Беллинским, которого некоторые в семье недолюбливали, у него было свое безусловно критическое отношение к курьезной брошюре сына Константина о «Мертвых душах», вызвавшей отповедь Беллинского, своя критическая оценка «Выбранных мест из переписки с друзьями».

* С. Машинский. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Гослитиздат, М. 1961.

Автор монографии прослеживает диалектически прихотливую связь разума и предрассудков, сильных и слабых сторон в творчестве и мировоззрении писателя. Ему удается в едином целостном исследовании связать, казалось бы, несвязуемое — «Семейную хронику», «Детские годы Багрова-внука» и «Записки об ужасии рыбы», «Записки ружейного охотника», цензорство и педагогические интересы Аксакова, его реализм и классовые предрассудки. И это все раскрывается как развитие одной оригинальной личности. Очерки о природе подготовили очерки о людях. Здесь все решало глубокое проникновение исследователя в творческий метод Аксакова, «наблюдателя» по преимуществу. Но приходилось и специализироваться в ряде смежных, а порой и далеко отстоящих от литературоведения областях.

Естественно, центральной проблемой книги является отношение Аксакова к славянофильству, его место в борьбе идейных направлений, отношение к крестьянскому вопросу. Как же ее решает С. И. Машинский?

В основном решает правильно и тонко. В этом-то и достоинство книги, что в ней поднята сама проблема. Отношение Аксакова к славянофильству было сложным и противоречивым. Для него почти не имели значения путаные шеллингианские теоретические формулировки учения его сыновей и других славянофилов. Он мало вникал в них. Прав автор монографии, когда показывает большие отличия между Аксаковым и славянофилами в области эстетики, конкретной оценки современных реалистических произведений. Как писатель-реалист он стоял ближе к той жизненной правде, которая была знаменем Гоголя и его школы. Между тем славянофильство в области эстетики и художественного творчества стояло на позициях консервативного романтизма. Все это так.

Но нельзя согласиться с заявлением С. И. Машинского о том, что Аксакова «занимала проблема народности лишь с точки зрения эстетической» (стр. 206), или утверждением, что со взглядами славянофилов на задачи искусства «ничего общего не имела эстетическая позиция С. Т. Аксакова» (стр. 216). Автор порой абстрагируется от всего того, что (при всех различиях) сближало Аксакова со славянофилами в области эстетики. Все же он был «наблюдателем» по преимуществу и не понимал идейного пафоса творчества Гоголя. И к проблеме народности он подходил не только эстетически. Ведь Аксаков считал славянофилов искренними представителями интересов народа, он разделял их отрицательное отношение к реформам Петра I. В воспоминаниях о Гоголе он сам писал «о наших святых убеждениях», имея в виду славянофильство в целом. Несколько искусственно звучит заявление С. И. Машинского о том, что Аксаков «питал» «симпатии к славянофилам», — не к славянофильству как определенному идейному течению» (стр. 208). Фальшивая теория славянофилов о социальной индивидуальности русского исторического процесса, изложенная Константином Аксаковым в записке на имя царя «О внутреннем состоянии России» (1855), была результатом усилий и «вкладов» всех славянофилов. С. И. Машинский сам подчеркивает, что в обсуждении и редактировании этой записки участвовала вся семья Аксаковых (см. стр. 197). Ссылка на эволюцию взглядов старика Аксакова, на его постепенное «поправление» ничего не решает, так как именно в конце жизни развернулась его писательская деятельность. Автор иногда уходит от остро социологического, точной трактовки проблем мировоззрения Аксакова, прибегая к расплывчатым морально-этическим категориям и определениям. Вот, например, один из заключительных в книге выводов: «Аксаков разумел свой гражданский писательский долг по-иному, чем, скажем, Некрасов и Щедрин, но высота его моральных принципов, безупречная правдивость и прямота, душевное здоровье — эти личные качества Аксакова снискали ему всеобщую любовь и уважение среди всех честных людей России» (стр. 524). Тут было бы важно показать, в какой мере снискали любовь Аксакову не только его личные душевные качества, но и само понимание им гражданского долга. Ведь и у Некрасова и Щедрина были «высота» «моральных принципов», «безупречная правдивость» и «душевное здоровье»...

Когда в книге говорится о позиции Аксакова в крестьянском вопросе накануне реформы, С. И. Машинский незаметно для себя слишком сближает его с либералами, подчеркивая, что он тоже уповал на царя, на реформы сверху. Но таких сближений недостаточно. Надо затронуть весь строй идей Аксакова. Славянофильство нет-нет и вырывалось у него: то в подчеркивании добродетелей таких помещиков, как его герой Степан Михайлович, которых бы не допустил до напряженности и «спас» положение в деревне, то в реабилитации садиста «бессребренника» Куролева, то в ядовитых выпадах против «немецких выгод» правящих верхов и против «европеизма без толку», в котором нет «русского направления». Все это отличает Аксакова от тех, кто вместе с ним уповал на царя (см. стр. 409—410, 415).

Не всегда точно С. И. Машинский характеризует существо отдельных идейных течений и их соотношение в данную историческую эпоху. Ретроспективно перенося критерии пореформенной эпохи на 1840-е годы (ошибка, которую совершают у нас многие, разумеется из самых благих побуждений), автор дает слишком резкие формулировки. Конечно, Боткин, Анненков, Кавелин не были единомышленниками Белинского в 1840-е годы, но вряд ли они и «были его идейными противниками в решении коренных вопросов современности». С. И. Машинский пишет: «Борьба

молодой революционной демократии против либералов-западников, славянофилов, равно как и против идеологов „официальной народности“, составляет одну из важнейших особенностей общественного движения этой поры» (стр. 193). Не слишком ли свалены все враги в одну кучу? Степень противоречий Белинского с ними была различной, иначе непонятно, почему критик дружил с Боткиным, Анненковым, Кавелиным, дорожил их сотрудничеством и старался привлечь их к участию в «Современнике». В 1840-е годы еще не было в антикрепостническом лагере того резкого размежевания, которое произойдет в годы первой революционной ситуации. Все это надо было в книге провести четче в соответствии с исторической истиной. Аксаков — тонкая «материя», и тут уж никак нельзя пользоваться суммарными формулировками и характеристиками.

Гораздо убедительнее в книге характеристика художественного метода и мастерства Аксакова.

С. И. Машинский показывает, как, идя своими путями, Аксаков в решающих пунктах выходил на магистраль русского и всевропейского литературного развития, ставшая одним из его неотъемлемых звеньев. Это особенно касается важнейшей проблемы его творчества — обрисовки внутреннего портрета рассказчика, повествователя, через призму которого воспринимаются и оцениваются все картины жизни. Практически речь идет о «положительном герое» у Аксакова. Эта проблема была центральной и в романтизме и в реализме. Каждое направление решало ее по-своему, внутри же направлений было множество откликов ее решений.

Когда-то еще Руссо сказал в «Исповеди»: «Как бы скромна и безынтересна ни была моя жизнь, если я думал больше и лучше, чем короли, — история моей души более интересна, чем история их душ». Чутко уловив революционный и демократический дух этой тирады, Гейне в «Путевых картинах» придал ей романтический размах: «... каждый человек — есть вселенная». В твердые берега социального детерминизма и углубленного психологизма вводил решение этой проблемы русский критический реализм. Лермонтов — зачинатель русского психологического романа — декларировал эту мысль так: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие и удивление». Отталкиваясь от сентиментального «участия» и от романтического «удивления», Лермонтов в «Герое нашего времени» делает упор на историю души человека простого, хотя и недоожинного. «Натуральная школа» пошла еще дальше по пути демократизации своего основного героя. «Бедные люди» Достоевского открывали двери для «маленького человека»; на левом фланге этой галереи образов стоят в 40—50-х годах крестьяне Тургенева, Григоровича, Некрасова, словно вызвавшие из бытия на страницы художественной литературы страстным возгласом Белинского: «А мужик разве не человек?»

Автобиографический герой в русской литературе изображался двояким способом: либо это была история души великой, властителя дум, представителя современности (Герцен, Короленко), либо история обыкновенного ребенка, юноши, душевные искания и перевероты которого — свидетельства глубинных процессов, происходящих в общественности (Аксаков, Л. Толстой). Обе эти линии продолжены и в советской литературе (Горький, А. Толстой). Разумеется, разграничение носит до некоторой степени условный характер.

Своеобразием героя Аксакова является то, что его душевные муки не подпадают даже на уровень нравственных терзаний Николеньки Иртышева. И тем не менее они симптоматичны, они показывают, до чего же прогнил весь крепостнический строй; сознание социальной несправедливости пропикает даже в душу крепостников и потрясает воображение провинциального недоросля, воспитанного в довольстве и холе. В выборе героя и жанра повествования Аксакова можно сблизить с Салтыковым-Щедриным, автором «Пошехонской старины». Русская революционная демократия ценила такие добросовестные свидетельства о внутреннем разложении правящего класса и умела сливать их с открытым протестом самых радикальных реалистов. Чернышевский отмечал в произведениях Аксакова «резвость слов», яркую способность писателя «давать словам истинное их значение». Хроника Аксакова и его повесть о детстве Багрова отличаются, по выражению Добролюбова, той «простой правдой, которую нет нужды возвышать какую-нибудь художественно прибавкою». Такова покоряющая сила простого, пезадачливого на вид, но наблюдательного, честного искателя правды — героя, рассказчика в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука», иногда сливающегося с автором, но никогда ему не тождественного.

С. И. Машинский тщательно осветил место Аксакова среди крупнейших русских писателей.

Аксаков не поднимался до сатиры и гротеска Гоголя, ему чужд метод психологического самоанализа Толстого. Вообще аксаковский реализм сложился на до-толстовской стадии. Память была «первоэлементом» его таланта, он мало домысливал и фантазировал. Но дагерротипическая точность и добросовестность в духе «натуральной школы» придают какую-то особенную прелесть достоверным «воспо-

минаниям» Аксакова. Аксаков не простой натуралист, он как, может быть, никто другой умел отыскивать типы и «готовые» характеры в самой жизни, умел их описывать самыми «ближайшими к разговору» словами. Он совмещал пушкинскую нагую простоту изложения с гоголевским интересом к маленькому человеку, бытовым деталям и «мелочным безделкам», «из которых соткана действительная, обыкновенная жизнь» (стр. 359). Он умел точно воспроизводить детское «полусознание», остро подмечающее контрасты жизни, инстинктивно и навсегда улавливающее ложь и правду, зло и добро.

Аксаков, при всей свойственной ему «созерцательности», обладал такой изобразительной силой, способностью проникать в толщу жизненных явлений, что картины, им нарисованные, сами по себе давали читателю материал для критических обобщений. В ряду классических образов русской литературы стоят герои произведений Аксакова: Степан Михайлович Багров, Куролесов. Ярко и живо нарисованы образы Татьяны Николаевны Багровой, слуги Евсеича, так напоминающего пушкинского Савельича.

Всякий большой художник создает свои формы и жанры. Произведения Аксакова не романы, не повести, не мемуары. И вместе с тем они и то, и другое, и третье. «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» — это скорее мемуары в форме романа. Они совмещают в себе воспоминания, записки, дневники, автобиографию. Но искусственных «швов» при этом не видно. Всею повествованию придан тон романа, развивающегося без натяжек и заданных положений, сюжетом которого является само течение жизни, взрывающееся резкими экссессами, глубоко коренящимися в самом этом сонном течении. Так потом будет показывать жизнь и Чехов. Он ведь тоже писал «самыми близкими к жизни словами». Несомненно, такая манера изображения была органически присуща русскому реализму.

Но и в этом разделе книги рецензент может придраться к некоторым положениям, которые кажутся спорными или просто неверными.

Мы поставили в заслугу автору его главу об Аксакове — театральном критике. Но правомерно ли полностью отождествлять Мочалова и Щепкина и объявлять их обоих реалистами? Нам кажется, Мочалов в целом был романтиком на сцене. Не выясняя принципиально своей позиции в этом вопросе, автор монографии оперирует такими формулировками: Аксаков «горячо пропагандировал реалистические принципы их игры» (стр. 71), новую школу «сценического искусства» «утверждали в комедии — Щепкин, а в трагедии — Мочалов» (стр. 75). Итак, у Мочалова и Щепкина было даже «разделение труда», но был ли одинаков их творческий метод? Неужели не бросается в глаза различие между Мочаловым и Щепкиным? Современникам оно бросалось. Это видно и из оценок Белинского. Возможен ли Щепкин — Гамлет и Мочалов — городничий? Разве Белинский не отмечал в качестве одной из характернейших особенностей реалистического таланта Щепкина смешение в его игре комических и трагических элементов, что он также подчеркивал и в таланте Гоголя. Как же решал все эти вопросы Аксаков, видел ли он различия между актерами? В книге С. И. Машинского это остается неясным. Автор уклонился, по существу, от решения до сих пор спорного, породившего целую литературу вопроса о принадлежности Аксакову анонимных рецензий в «Молве» об игре Мочалова и Каратыгина, подписанных буквами П. Щ. Он обещает сделать это в будущей книге об Аксакове — театральном критике, а пока ограничился простым заявлением в примечании, что не считает Аксакова автором этих рецензий.

Очень хорошо показана в книге связь «Записок об ужении рыбы», «Записок ружейного охотника» с современным естествознанием, с призывами Герцена к естественнонаучному воспитанию молодежи. Автор сумел вскрыть в этих книгах Аксакова нравственно возвышающий пафос поэзии труда, радости общения с природой. Но, думается, он недостаточно показал чисто литературные качества этих произведений, их связь с традициями «натуральной школы».

В целом монография С. И. Машинского удачная и своевременная, она дает правильное освещение сложного облика Аксакова, хотя, как мы видели, нужна еще большая четкость при характеристике мировоззренческих проблем и некоторых частных вопросов. Книга написана тем спокойным, ясным языком, который запечатлевает мысль автора. Такая свобода изложения приходит с творческой зрелостью. Скупо, но интересно намечены перспективы изучения традиций мемуарной классики на современном материале.

Итак, одно из «белых пятен» на литературной карте удачно заполнено. А сколько еще остается таких пятен... Найдут ли своих вдумчивых исследователей Писемский, Аполлон Григорьев, Гаршин? Будем надеяться, что пример не пропадет даром.



ХРОНИКА

НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА

В дни ломоносовских торжеств, 20—21 ноября, в Институте русской литературы состоялась научная сессия, посвященная проблемам изучения литературного наследия М. В. Ломоносова.

Открывая сессию, директор института, член-корреспондент АН СССР А. С. Бушмин подчеркнул значение деятельности Ломоносова-поэта как зачинателя новой русской литературы, определившего своим творчеством пути ее развития на многие десятилетия вперед.

Доклад члена-корреспондента АН СССР П. Н. Беркова «Литературное направление Ломоносова» был посвящен спорному вопросу об отношении Ломоносова к стилю европейского барокко и ставил задачей показать своеобразие позиции Ломоносова среди представителей русского классицизма. Полемизируя с зарубежными исследователями литературного барокко (Д. Чижевский, Э. А. Андъял), докладчик показал, что Ломоносов враждебно относился к основным принципам барочной поэзии: маньеризму и мистике. Продемонстрировав общие принципы поэтики русского классицизма на примерах творчества Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, П. Н. Берков объяснил особенности классицизма Ломоносова характером его научной филологической подготовки. Он отметил глубокое знакомство Ломоносова с новолатинской европейской литературой, хорошее знание древнерусской письменности и усвоение ее традиций. Ни Сумароков, ни Тредиаковский, современники и соперники Ломоносова, не испытали плодотворного влияния этих традиций, будучи по-настоящему хорошо знакомы лишь с классицизмом французского толка.

В творчестве Ломоносова сложился особый, обогащенный тип русского классицизма.

Член-корреспондент АН СССР Д. Д. Благой докладом «Ломоносовское у Пушкина» открыл обсуждение вопроса о восприятии в русской литературе традиций гражданской поэзии Ломоносова, об отношении потомков к предшественнику и зачинателю.

В творчестве Пушкина Д. Д. Благой выделил три периода, в которые поэт различно оценивал литературную деятельность Ломоносова. Резко крити-

чески охарактеризована поэтическая манера Ломоносова в пушкинской статье 1825 года «О предисловии г. Лемонте к переводу басен И. А. Крылова». В то же время Пушкин отмечает заслуги Ломоносова-ученого, реформатора русского литературного языка. В этот период вольнолюбивых надежд, обусловленных подъемом декабристского движения, поэту ближе революционная позиция Радищева, нежели просветительский пафос Ломоносова.

Крушение надежд на победу революции после 1825 года и либеральные обещания Николая I приводят Пушкина к мысли, что ломоносовский путь «просвещения» монарха является более правильным, чем политическая оппозиция правительству. Этот сдвиг в мировоззрении поэта реализуется в «Стансах», где в пажиданше царствующему монарху приводится пример Петра I, звучит ломоносовская тема царя-строителя. Образ Петра I в ломоносовской трактовке становится центральным в творчестве Пушкина конца 20-х—начала 30-х годов («Полтава», «Арап Петра Великого»), а сам поэт в ряде стихотворений подчеркивает близость своей позиции к гражданской позиции Ломоносова, «помощника царей».

К 1834 году относится решительное ослабление иллюзий Пушкина в отношении благих намерений Николая I, с чем связано новое обращение к идеям «Путешествия» Радищева. Но признавая слабость просветительской теории Ломоносова и порывая с ней, Пушкин в это время как бы сравнивает свою судьбу с судьбой «придворного» поэта. Он особенно интересуется личностью Ломоносова, восхищается его независимым характером и прямо ориентируется на его личный пример: «...я, подобно Ломоносову, шуюм ни у кого, ниже у господа бога, быть не хочу».

Доктор филологических наук Л. И. Кулакова свой доклад «Радищев о Ломоносове» посвятила анализу «Слова о Ломоносове», помещенного в «Путешествии из Петербурга в Москву».

Она осветила полемику Радищева с генденциозными, промонархическими настроенными биографами Ломоносова, создавшими легенду о придворном поэте, «певце Елизаветы». Вопреки академической биографии, написанной Ве-

ревкимым по материалам Штелина, Радищев отмечает народные черты характера Ломоносова, глубоко национальную сущность его деятельности. Отвергая версию, согласно которой ломоносовская теория стихосложения не была оригинальной, Радищев впервые высказал мысль, что сама идея реформы родилась у Ломоносова в России, при сравнении русских стихов с латинскими, и лишь подтвердилась наблюдениями над немецким стихосложением. Он выдвинул тезис о Ломоносове как отце русской словесности: «В стезе Российской словесности Ломоносов есть первый».

«Слово о Ломоносове» явилось гимном творческим силам русского народа, и не случайно Радищев поместил его в конце «Путешествия», где оно звучит как оптимистический финал трагической книги.

Кандидат филологических наук И. З. Серман в докладе «О принципах поэтического стиля Ломоносова» остановился на проблеме эпитета у Ломоносова. На большом количестве примеров он показал, что, вопреки распространенному мнению о глубоко рационалистическом характере поэтической системы Ломоносова, в недрах этой системы рождается «эмоциональный» эпитет, не псуший строго смысловой нагрузки. Это было новым явлением для русского классицизма середины XVIII века, и Ломоносову приходилось отражать нападки на стилевые особенности своих од со стороны Сумарокова и Тредиаковского. Незавершенные Ломоносовым поиски нового понимания поэтического слова шли в русле общего развития русской поэзии и были закончены Батюшковым и близкими ему поэтами. Отсюда восхищение Батюшкова поэзией Ломоносова, образным строем его стихотворений.

Вопрос об особенностях мировоззрения Ломоносова был поставлен в докладе кандидата филологических наук Ю. М. Лотмана «Ломоносов и русское просветительство». Докладчик рассматривает деятельность Ломоносова на фоне идейных исканий русского общества конца XVI—XVII века, когда совершалось становление русского рациона-

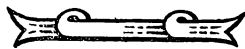
лизма. Этот процесс происходил стихийно в народной среде и нашел выражение в народной поэзии и художественной литературе («Житие протопопа Аввакума»). Самой характерной чертой этого народного мирозерцания был гуманизм, противопоставление идеальной нормы жизни реально существующему порядку вещей. Указанная линия в рационализме существовала рядом и одновременно с рационализмом государственного толка, который философски обосновывал принципы просвещенного абсолютизма.

Под знаком рационализма шло развитие России в первой половине XVIII века, и это наложило отпечаток на мировоззрение Ломоносова, впитавшее как народный гуманистический протест против угнетения человека, так и философскую доктрину просвещенной монархии. Рационализм Ломоносова обогащался также за счет его научных воззрений, материалистическая сущность которых особенно ясно выразилась в его взглядах на природу. В общественных взглядах Ломоносова этот научный подход нашел выражение лишь как тенденция.

Ломоносов блестяще завершал героический период борьбы со средневековым догматическим мировоззрением. Великий представитель русского рационализма, своею деятельностью он открывал дорогу русским просветителям.

Кроме докладов, на сессии были прочитаны сообщения Т. А. Быковой (Ленинград) — «Литературная судьба „Древней российской истории“ Ломоносова»; Г. И. Бомштейном (Пермь) — «Национально-исторические мотивы в поэзии Ломоносова»; А. И. Дуденковой (Ужгород) — «О построении образа в лирике Ломоносова»; Г. Н. Мойсеевой (Ленинград) — «Ломоносов и древнерусская литература»; В. Л. Микитасем (Ужгород) — «Ломоносов и литература Закарпатской Украины XVIII—XIX веков»; А. В. Позднеевым (Москва) — «Становление Ломоносова как поэта. (Ломоносов в рукописных песенниках)»; Ф. Я. Шоломом (Киев) — «Ломоносов и украинская литература».

В. СТЕПАНОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

к 125-летию со дня смерти

А. С. ПУШКИНА

ВЫПУСТИЛО МОНОГРАФИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ТВОРЧЕСТВУ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА

Б. П. ГОРОДЕЦКИЙ

ЛИРИКА ПУШКИНА

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ).

Цена 2 р. 17 к.

В монографии раскрывается своеобразие пушкинской лирики, определяется ее место в истории русской лирической поэзии, выясняется соотношение лирики Пушкина с лирическим наследием его предшественников и современников в России и за рубежом. Автор выделяет некоторые закономерности в развитии пушкинской лирики и дает ее периодизацию.

Издание рассчитано на литературоведов и на широкие круги читателей, интересующихся русской поэзией.

Б. С. МЕЙЛАХ

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ ПУШКИНА
КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.**

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ).

Цена 1 р. 42 к.

В книге освещаются общие проблемы и методика изучения художественного мышления и творческого процесса писателя; показана кристаллизация принципов творчества в сознании Пушкина в отношении с различными художественными направлениями его времени; анализируется творческий процесс Пушкина на разных стадиях и фазах, начиная от зарождения планов и возникновения образов и до завершения произведения. К книге приложены фотографии листов рукописей Пушкина, которые позволяют проследить ход его работы.

Издание рассчитано на литературоведов, преподавателей и студентов высшей школы, широкие круги читателей.

**Книги можно купить в магазинах «Академкнига»,
или заказать через отдел «Книга—почтой».**

Ваши заказы на книги просим прислать по адресу:

Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10.

*Контора «Академкнига», отдел «Книга—почтой»
или в ближайший магазин «Академкнига».*

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «АКАДЕМКНИГА»:

Москва, ул. Горького, 6 (магазин № 1); Москва, 1-й Академический проезд, 55/5 (магазин № 2); Ленинград, Лигеинский проспект, 57; Свердловск, ул. Белинского, 71-в; Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, Горьковские пер., 4/6; Алма-Ата, ул. Фурманова, 129; Ташкент, ул. Карла Маркса, 29; Баку, ул. Джапаридзе, 13.

При получении Вашего заказа, книги будут направлены в Ваш адрес наложенным платежом. Пересылка за счет заказчика.

Предварительные заказы на книги принимаются также местными магазинами книоторгов и потребительской кооперации.

О П Е Ч А Т К И

Номер	Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
1961, № 4	30	21—22 сверху	художествен- ная	мужественная
1962, № 1	51	7 снизу	دوپ (туб) или توپ (туб)	توب (туб) или توپ (туп)

Русская литература, № 1, 1962 г.